11
1965
ИНОСТРАННАЯ
литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

СТЭН БАРСТОУ — Любовь... любовь?, 8

РАССКАЗЫ

РАССКАЗЫ ВЬЕТНАМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. Нгуен Динь Тхи, Минь Тхюи, Ван Ан, Фан Ты 122

ХУАН БОШ — Две новеллы 144

СТИХИ

ПЕТАР ДЖУРАНОВИЧ — Мамаев Курган 3

СТИХИ РУМЫНСКИХ ПОЭТОВ. Тудор Аргези, Михай Бенюк, Демостене Ботез, Мирон Раду Параскивеску 137

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛУИС БЕРЛАНГА, РАФАЭЛЬ АСКОНА, ЭННИО ФЛАЙАНО — Палач (Послесловие М. Ромма) 152

11

НОЯБРЬ

1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

КРИТИКА

ЛАДИСЛАВ ШТОЛЛ — «Коммунизм — ведущая идея будущего» (Зденек Неедлы, ученый и борец) 205

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

ПРИЗВАНИЕ ХУДОЖНИКА (Из писем Томаса Манна. Предисловие Т. Мотылевой) 211

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

А. СУРКОВ — Песню нельзя расстрелять (К 50-летию со дня гибели Джо Хилла) 229

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

П. ТОПЕР — За «круглым столом» с писателями Финляндии 231

ПУБЛИЦИСТИКА

ФИЛИПС ПРАЙС — Незабываемое время... 234

А. СТАРЦЕВ — Джон Рид в предоктябрьские дни 248

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Е. ВИНОГРАДОВА — Чешский художник Ян Рамбоусек 241

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Вл. Матусевич — Двадцать лет спустя ◇ Л. Эйдлин — Все живое. ◇ Виктор Важдаев — Сказки народов — сказки о жизни. ◇ Борис Слуцкий — Короленко — переводчик Сенкевича 260

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Л. Степанов — Поэзия далекого Сомали ◇ Вл. Рубин — Кэт Уокер — дочь Австралии. ◇ В. Ивашева — Голос искателя правды 268

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

272

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 273

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

287

Обложка художника С. ВАСИЛЬЕВА

ПЕТАР ДЖУРАНОВИЧ

Мамаев курган

ПОЭМА

Перевод с сербохорватского
ЯКОВА БЕЛИНСКОГО

Ивану Степному, рожденному в Стране Советов и покоящемуся на Мамаевом Кургане, и скойевцу Влайко Брайовичу из югославского Косового Луга, навечно оставшемуся на Любином Холме.*

Добрый день,
тишина,
и трава, и гора,
и большая вода,
что собой утоляет
вселенскую жажду...

Добрый день.
Боль разлита вокруг.
и солдатские очи
зажмурены крепко...
Добрый день.
Добрый день
нашей красной свободе,
чье знамя
готов,
если нужно,
обагрить своей кровью,
пред которой
готов,
как светильник,
я сердце зажечь.

Словно две половинки
солдатской палатки,
сомкнулись
большие дела и слова
двух бойцов.
И глаза их
сияют, как луны...
У вселенной под сердцем
бряцала
оружьем
война...
И во всех каждодневных атаках
ты шел с ними рядом,
товарищ
Коммунизм...
И они
были рядом с тобой.
Молодые.
Им жить бы да жить!

Расскажи мне, земля,
растет ли трава
на высоких курганах
или горькие травы
стали пищей
свистящих ветров?

* Скойевец — член Союза коммунистической молодежи Югославии.

Ведь твои неоглядные дали
видали,
как умели они умирать,
их атаки
стремительны были,
как потоки,
бьющие из родников,
и без страха глядели они
на свои
кровоточащие раны,
и когда умирали,
их взгляды
вытекали по каплям
на красные травы зари.
Пила их земля,
словно первое
сладкое молодое вино,
словно песню,
и знали солдаты,
что гибнут они не напрасно!

II

Добрый день, Иван,
добрый день,
дорогой Ваня...
Заковала зима,
озорная молодка,
Волгу-матушку льдами —
и рада.
Издалёка, с «Красного Октября»,
в гулком небе
слышна канонада...
Друже, Любин Холм,
расскажи о том,
кто тебя и мертвого
не отдал врагам.
Ты раскинь свои руки,
чтоб я мог сосчитать
кости павших бойцов,
что белеют, как иней...
Добрый день,
Любин Холм,
добрый день и тебе,
Мамаев Курган,—
две горы,
две вершины свободных,
не доступных врагам...
И сегодня
ничто мне не страшно.

III

Приди в заброшенный окоп,
чтобы собрать
былой войны осколки —
ведь на железе
не расти зерну.
Сейчас
другое время —
я хочу,
чтоб зарумянилась
от радости
любая крыша,
чтоб каждый человечий дом
плыл вдаль,
просторен,
как морской корабль...

Есть у тебя, гора,
друзья —
погибшие в атаках,
коммунары.
Когда растают по весне снега —
над Любиным Холмом
кружится волчий вой.
Огромная печаль
в обличье брата
сюда приходит.
В молодой руке
зажато неостывшее оружье:
спокойно ли сегодня на планете?
Исчезла ли навек несправедливость?
Что ждет тебя,
страдалица-земля?

IV

Глаза
погибших красных батальонов
не видят больше
солнца:
в глазницы тьма вошла.
Но кажется,
когда
становятся холодными
от боли
дни,
далекая земля
опять приходит к павшим
в грохочущем сиянье взрывов,
как тогда,
на том рассвете синем,
с которым их последняя заря
прощалась,
протянув ему
немеющие руки...

На горе,
одетой тьмою,
крик:

косое пламя
обожгло бойцов,
и кто-то
шлет проклятье богу.
Ремни винтовок.
Пашня пушек...
Так прорастают
победы жаркие побеги...

V

Скажи мне, Родина,
когда идут дожди,
их струи
не смывают ли
святую кровь
героев?
Ведь кровь — напоминанье!..
Здесь
был построен
к батальону батальон,
плечом к плечу,
плотней, чем к залпу залп
перед атакой в полдень,
и бойцы
уже тогда
предчувствовали
мирные степные дали.
Так отдыхайте, пашни,
кормите досыта
людей,
зверей
и птиц
и красные рождайте маки!
Высокие могилы
хранят свободу вашу,
как бойцы!

Добрый день,
Иван Степной!
Здравствуй,
родной Владимир Череда!
Добрый день вам!..
Кости Влайко
в земле
лежат с костями вашими
рядом,
кость касается кости —
рукопожатье мертвых...
Добрый день,
добрый день,
товарищ Мамаев Курган,
очи Влайко,
его погасшие очи
разговаривают с тобой...

Добрый день,
серый холм
в чистой волжской степи,
хранимый у каждого в сердце,
словно год
неслыханного урожая!
Добрый день,
молодые,
родные
мечты твои, Влайко!..

А под черным корнем сосны
молчит
кисть без пальца —
на курке этот палец остался,
в том бою,
когда четвертая рота
распята была
без креста —
на смертельном огне,
в дни,
когда не щадила
свистящая сталь
даже тихого плача
детей.

VI

Не для того
они свои сложили кости,
чтобы вскормить зеленую траву
или цветок
для вычурной прически,
не для того сложили кости,
чтобы в них
гнездились птицы
и выводили
в черепе
птенцов,—
из тех костей
соорудят мосты,—
чтоб разнести по свету
всю быль и боль
военных лет!
Не счесть костей,
они лежат повсюду —
на Любином Холме,
на Сремском фронте,
на Мамаевом Кургане,
на Кавказе
у горных перевалов,
под Челе-Кулой...

Людские кости,
чья взрывная сила
огромна,
как землетрясенье!

VII

Белеет небо
над зеленым гребнем
от холода,
как в тот далекий день,
когда, чисты, как солнце,
они упали
в разных странах
рядом...
А падало их столько,
сколько было
смертельных выстрелов...
Косили пули
косарей
и сеятелей,
как колосья,
как маки,
погибли
мать милая моя,
и сверстники, с которыми учился,
и старые рабочие —
скойевцы
и коммунисты...

VIII

И, может быть,
настанет день —
не знаю лишь когда,—
и мне придется
шагать
с кровавой раной в сердце
и с пулею свинцовой
в голове...
Смогу ли я
своею плотью
заплатить
за этот мир?..

Добрый день,
воробей под стрехой,
добрый день,
плодоносные нивы,
смеющиеся колосьями...
Добрый день,
добрый день,
товарищ Мамаев Курган,—
имя твое
словно выстрелы революции,
имя твое
непреклонно, как люди,
сбросившие корону
с Зимнего дворца...
Лежат безмолвно кости,
в их молчанье
сила —
десять русских красных матросов,
девять сербов,
два кордунаша,
три черногорца...—
все из огромного коммунистического
батальона.

Чем дышат нынче весны? —
спрашивают кости.—
Смеющиеся весны
проклинают
тех, кто сегодня
глух ко всем призывам,
тех, кто окаменел от страха,
как жалкие зверьки?..
А может быть,
те весны
еще боятся
спуститься в одряхлевшие окопы,
боятся,
как бы их не съели
голодные большие рты
солдатских котелков!..

IX

Воспоминаний пушки
бьют
с Мамаева Кургана
и с Любина Холма.
Скажите солнцу —
пусть в этот день воспоминаний
оно согреет кости,—
эта кисть когда-то
была мозолистой рабочею рукой...

Добрый день,
добрый день,
великий день,
красный день...
День миллионов Вань,
подхваченных огромным ураганом,
день, сотканный
из множества сердец,
из Влайковой мечты —
пускай он спит
на высоте

в могиле
вечным сном...
Какое нынче время года
на дворе?
Как поживаешь
ты, Победа?..
Земля,
они не виноваты
в том,
что им сегодня не дано
шагать
дорогою,
расцвеченной
огнями радостной свободы.
Они
одно
неколебимо знали:
как убивают смерть.
Земля,
запомни —
им ничего не нужно,
лишь вода,
хлеб
и свинец —
ведь до сих пор
их руки
дрожат, как в лихорадке,
прикипев
к горячим рукоятям пулеметов,
и гнев кривит им рты.

Добрый день,
добрый день вам,
Любин Холм и Мамаев Курган!
Печаль солдатских дум
желта, как лунный диск...
Добрый день
всем Ваням и Володям,
которые погибли за отчизну
во имя жизни.

СТЭН БАРСТОУ

Любовь... любовь?

РОМАН

Перевод с английского
Т. КУДРЯВЦЕВОЙ и Т. ОЗЕРСКОЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

I

Началось все со свадьбы — с того дня на святках, когда обвенчалась Крис, потому что в тот день я решил: надо что-то *делать*, хватит млеть и смотреть на Ингрид Росуэлл, как влюбленная корова. А смотреть так на нее я стал за месяц до рождества — это я точно помню. С чего все началось, сам не знаю Да разве кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Сегодня ходит себе девчонка, самая обыкновенная среди десятков других. а завтра она уже единственная и ни на кого не похожая! Так, во всяком случае, кажется Так оно было и со мной, и я млел вот уже целый месяц, а вернее, полтора и до того дошел, что понял. хватит дурака валять, пора действовать.

Последние полгода — по крайней мере с тех пор, как Крис и Дэвид перестали таиться и купили кольца — у нас дома только и разговору было что о свадьбе, и я — ей-богу — считал, что после стольких обсуждений и планов она должна быть, право же, чем-то из ряда вон выходящим. Но я был новичком в такого рода делах. До сих пор мне ни разу не приходилось бывать на свадьбах, и, должен сказать, это настоящее испытание.

Начать с того, что к вам с ночи наезжает куча народу, и утром все начинают вставать и одеваться. Дом превращается в большущую театральную уборную, вроде тех, какие показывают в музыкальных фильмах, и появись вдруг в коридоре тот малый. который перед спектаклем стучит в дверь уборных и громко возглашает: «До начала осталось пять минут!» — никто бы не удивился. По-моему, никогда в жизни я не видел вокруг себя столько незнакомых лиц, и самое поразительное, что почти все они — мои родственники. Или вроде того. Интересно, откуда наша Старушенция выкопала их, наверняка ведь сама всех не знает? А вот то, что она переоценила вместимость нашего дома,— это уж точно. Старик, например, вчера вечером заявил, что поставил бы палатку на лужайке, если б знал, что люди будут спать на лестнице и он не сможет добраться до постели.

Но все-таки ему повезло, и до постели он добрался. Я же провел ночь на диване в гостиной, а потом часа четыре или пять болтался в коридоре, тщетно пытаясь проникнуть в ванную. К тому времени, когда мне наконец удалось завладеть ею, я был настроен весьма кисло по отношению ко всем этим людям, запрудившим наш дом, как и к остальным приглашенным, которые живут в разных концах города и ждут, чтобы их переправили в церковь. Будучи в расстроенных чувствах, я забываю закрыть дверь на задвижку, и настроение мое отнюдь не улучшается, когда она распахивается настежь и Дороти с Анджелой застают меня без штанов. Они весело хохочут, а я думаю: не свалиться ли мне с лестницы и не сломать ли себе ногу, чтобы доставить им еще больше удовольствия. Не люди, а уроды эти двойняшки Дороти и Анджела, дочки тети Агнессы, одной из маминых сестер. Я знаю, наша Старушенция терпеть их не может, и Крис пригласила их быть шаферицами, только чтобы не обидеть тетю Агнессу: очень уж она чувствительная — из тех, кто всю жизнь выискивает то одну обиду, то другую. За все это время я лишь мельком видел Крис на площадке лестницы и, решив приободрить ее, шутливо заметил, что надеюсь, она не пожалеет о случившемся, когда все будет позади, и они с Дэвидом сядут на поезд 3.45, который помчит их в Великую Столицу, но Крис лишь натянуто улыбнулась в ответ. Ажиотаж захлестнул даже Старика. Только я собрался спуститься вниз, чтобы взяться за дело, как он окликнул меня из спальни. Захожу к нему — он стоит перед зеркальным шкафом в майке и брюках.

— Послушай, Вик,— говорит он мне,— что ты скажешь насчет моих новых брюк?

Присаживаюсь на край постели и внимательно оглядываю его.

— Блеск, пап. Сидят что надо. Но, конечно, нужно посмотреть, как будет с пиджаком.

— Сейчас я его натяну.

Он надевает пиджак и снова принимается рассматривать себя в зеркале. Дергает одним плечом, потом другим, точно портной оставил в пиджаке булавки.

— Что-то он, по-моему, мешковато сидит,— замечает он.

— Теперь так носят, пап,— говорю я.— Он лучше ляжет, когда ты наденешь рубашку и жилет. Только мне некогда ждать, пока ты все это проделаешь,— добавляю я, видя, что он озирается в поисках рубашки и жилета.

Старик у меня высокий, сухопарый, и костюм сидит на нем отлично, когда он не дергается. Костюм у него синий, даже темно-синий, в тоненькую серую полоску.

— Здорово он его сшил.— Протягиваю руку и щупаю материю.— А шерсть-то какая!

— Мда-а,— соглашается Старик с самодовольным видом, какой он иногда на себя напускает.— На материи меня не проведешь. Я сразу вижу хороший кусок...— И умолкает. Вид у него сегодня утром далеко не счастливый.— А вот хорошо ли он сшит, никак не пойму. Что-то мне в нем не нравится.

— Но ведь это же один из лучших портных в Кресслн, пап. Иначе я б тебе его не посоветовал.— Я поднимаюсь с постели, на которой до сих пор сидел.— Посмотри, разве мой костюм плохо сшит, а?

Он внимательно осматривает меня в зеркале, но ничего не говорит.

— Цену-то он берет хорошую, это верно,— помолчав, добавляет он.— Меня даже пот прошиб, как он сказал, сколько это будет стоить. До сих пор я еще ни разу не платил больше десяти-одиннадцати фунтов за костюм.

— Ну, сколько ты платил за него, ты скоро забудешь, а костюм еще долго тебе послужит,— говорю я.— Надо всегда смотреть вперед.

Мне уже поднадоел этот разговор — в сотый раз одно и то же.

— Может, и так.— Старик снова стянул с себя пиджак.— А все-таки надо было мне пойти к Ливерсиджу — это дело проверенное.

— И купить готовый костюм! Да они же там топором кроят.

Но Старика все равно не переубедишь, лучше оставить его в покое, пусть думает, что хочет. Он ведь исходит из прежних расчетов, когда люди получали по три фунта десять шиллингов в неделю, а костюм-то стоит полсотни.

— Ну ладно,— говорю я,— мне пора.

И уже направляясь к двери, замечаю под стулом коричневые ботинки.

— Ты, надеюсь, не собираешься надевать их сегодня?

— А? — отзывается он.— Что?

— Коричневые ботинки.

— А почему нет? Это моя лучшая пара.

— Послушай,— говорю я, набираясь терпения,— не носят коричневые башмаки с темно-синим костюмом. Ты же слышал, что говорил Стэнли Холлоуэй, да?

— Но ведь то были похороны,— возражает он.

— Так же одеваются и на свадьбу. Ты что, хочешь, чтобы наша Крис со стыда сгорела? Подумай, сколько народу уставится на тебя, когда ты будешь стоять впереди.

— Никто меня и не заметит — все будут глазеть на Кристину.

— Кое-кто из этих наших гостей только и делает, что высматривает, где что не так,— сказал я.— Хотя больше половины сами ничего не понимают.

— А, черт! — срывается он вдруг.— До чего же я буду рад, когда все это кончится. Что ни делаю, все не так.

— Но тебе же говорят, как надо.

— Да не могу я надеть старые ботинки с новым костюмом,— упрямо стоит он на своем.

— Но коричневые ботинки ты тоже не можешь надеть. Я сейчас спущусь вниз, спрошу у матери — посмотрим, что она скажет.

Этот козырь уже не побьешь. Старик сдается.

— Обожди минутку. Ну, к чему еще ввязывать в это дело мать, у меня и без того забот хватает.

Тут снизу доносится голос нашей Старушенции:

— Виктор! Да где же ты, Виктор?! Такси ждет, поторапливайся, а то мы все опоздаем.

— Вот видишь, она сейчас сама ввяжется, если я не спущусь.— Я снова направляюсь к двери.— Только запомни: никаких коричневых ботинок! — И я выхожу из комнаты, предоставив вконец растерявшемуся Старику разглядывать себя в зеркале.

— Скорее, Виктор, скорей! — торопит меня Старушенция. Она стоит внизу у лестницы, точно военное судно на якоре,— большая, грузная. Волосы ее — как быстро стали они седеть! — тщательно подстрижены и уложены.— Будто не знаешь, что сейчас не время прохлаждаться!

Кому же это и знать, как не мне, ведь я сам составлял список гостей, за которыми надо заехать.

— Я там отца одевал.

— О господи, опять отец! — говорит она, закатывая глаза.— Много от него сегодня проку! — Я на минуту останавливаюсь перед зеркалом, чтобы причесаться.— Сойдет, сойдет и так,— говорит она.— Ведь не твоя же сегодня свадьба!

— Ну, для этого меня еще надо поймать на крючок.

— И поймают, не беспокойся.

— Не так-то это просто.

— Ничего, желающие найдутся: плохо ли заполучить красивого парня, не беспутного, хорошо устроенного.

Я искоса поглядываю на нее. Выдала замуж Крис, так теперь что ж, за меня возьмется? Видно, брачующий клоп укусил ее сильнее, чем я думал. Я беру ее за подбородок.

— Откуда ты знаешь, путный я или беспутный?

— Пошел, пошел,— говорит она.— Займись наконец делом.

Я одергиваю пиджак и поправляю галстук.

— Что ж, я готов. Где наш Джим?

— В гостиной. Он уже целых полчаса тебя ждет.

Весьма похвально для школьника! Иду за ним в гостиную. Там жуткий бедлам. Кто-то включил радио, и оно орет вовсю: «Передаем вашу любимую пластинку...» Стою на пороге, а самого так и подмывает крикнуть: «Да неужели никто не может прикрутить это дурацкое радио?!» В комнате толчется уйма народу — все прихорашиваются, пудрятся, мажутся, стараются поближе протиснуться к зеркалу. Кто-то опрокинул на пол пепельницу, а последняя из трех пластмассовых уток, летящих по обоям, уткнулась носом в пол. В уголке, свернувшись клубочком, точно он совсем один, а кругом — пустыня, тихонько сидит Джим и по обыкновению читает какую-то книжку.

Я просовываю руку между чьих-то двух телес и дотрагиваюсь до его колена.

— Пошли, Эйнштейн.

Он встает, тоненький, как тростинка, слишком высокий для своих лет, делает пометку в книге и идет за мной. Ему предстоит рассаживать гостей в церкви. Глядя на него, можно подумать, что он вообще не заметил, что творится вокруг. Недаром, когда мы выходим на крыльцо и он видит большой «роллс-ройс», украшенный белыми лентами, с сиденьями в белых чехлах, у него вырывается: «Совсем как на свадьбе, правда?» Тут уж я не выдерживаю и прыскаю со смеху.

Вырвавшись из сутолоки, царящей у нас дома, я радостно намечаю первую жертву в своем списке.

— Едем к тетушке Мириэм.

Говорю шоферу адрес, и мы с Джимом садимся в такси. Джим открывает книжку, и все окружающее снова перестает для него существовать. А я не могу себе этого позволить: мне нужно до одиннадцати сделать уйму дел, только бы Джофф Листер, мой двоюродный брат, которому поручено второе такси, тоже справился со своей задачей. В тысячный раз пробегаю глазами список и спрашиваю себя, успеем ли мы вовремя доставить всех в церковь. Список большой, и я горжусь этим — ведь я сэкономил Дэвиду немало монет, взяв на одно такси меньше. Но времени в обрез, поэтому остается лишь надеяться, что к нашему приезду все будут готовы и не заставят нас ждать.

Такси разворачивается и мчится по улице. Свадьба началась.

II

За две недели до рождества снегу навалило в два раза больше обычного, и у подножия холма он все еще лежит грязными буграми по обе стороны дороги. Судя по небу, похоже, что со снегом еще не покончено: над крышами и печными трубами оно словно серое одеяло, и лишь у самого горизонта — там, где солнце тщетно пытается пробиться сквозь толщу облаков,— видна розовая полоса. Серебряные Трубы города Кресслн настраивали свои инструменты во дворе «Принца Уэльского», и, когда такси на развороте замедлило ход, до меня отчетливо долетело: «Стой! Поют герольды-ангелы!» Я опускаю окно и кричу:

— Зайдите в тридцать седьмой. Заработаете десятку.

Дирижер поднимает руку, показывая, что слышал, и оркестр продолжает свои упражнения на свежем воздухе. Я знаю, что Старик обрадуется, если они зайдут,— ведь из-за свадьбы он не может быть с ними, а, по его словам, это первые святки за двадцать лет, когда он не участвует в репетиции.

Такси мчится по городу, Джим читает, забившись в угол, а я принимаюсь размышлять о свадьбе и обо всем прочем. Я думаю, если взять всех нас: меня, отца, мать, Крис, юного Джима и даже, наверно, Дэвида,— то эта церемония доставляет радость только нашей Старушенции. Вот уж она наслаждается сполна, достаточно взглянуть, как она всеми командует. Сколько лет она дожидалась этого дня. Крис уже двадцать семь, и, по-моему, Старушенция опасалась, как бы товар не залежался на полке. Хорошенькая перспектива: корпеть весь век над чужими тетрадками, дотянуть до пенсии и выйти в тираж, а потом, может, и жить-то придется у чужих людей. Но я лично не видел оснований для беспокойства, я всегда был уверен, что Крис выйдет замуж. Да и как могло быть иначе, ведь она такая хорошенькая, такая славная. Хоть она и моя сестра, но прямо скажу: такая девушка для любого парня подарок. Я считал, что дело только во времени, появится парень, который придется нашей Крис по сердцу,— и только ее и видели. Но Старушенция не очень-то доверяет парням, которые приходятся по сердцу, ей подавай положение, заработки, характер, и чем парень тупей и уродливей, тем вроде бы сильнее у него характер. Красивые парни хороши в кино или в телевизоре, а в жизни за ними смотри в оба, хоть и винить их очень нельзя: чего тут требовать, когда кругом такой соблазн!

Так думает наша Старушенция или, вернее, думала; видно, поэтому она не очень-то ласково встретила и Дэвида: парень он красивый, родом с юга, и произношение у него чистейшее, не придерешься. Старший преподаватель английского языка в средней школе. Но это и все, что было о нем известно. Правда, это повысило его шансы: Старушенция наша считает, что по уму и силе характера учителя стоят на первом месте. Посиди она за партой, как я сидел еще совсем недавно, она бы так, конечно, не думала. Словом, ее огорчало то, что она не может жевать и пережевывать разные разности про родню Дэвида. (Его мать, вы знаете, была такая-то — у них еще был магазин тканей на Уайтли-стрит, а отец у него, знаете, кто? А сестра его сбежала с парнем из Уигана — бросила мужа с тремя детьми.) Нашу Старушенцию хлебом не корми — дай поболтать, иначе ей жизнь не в жизнь. Чтобы восполнить недостаток материала, она принялась вытягивать все, что можно, из Крис. Выяснилось, что Дэвид попал в плен в Северной Африке, когда ему было всего восемнадцать лет; что мать и отец его погибли при бомбежке Лондона, а подружка, устав ждать и писать письма, взяла да и выскочила замуж. Из Дэвида ей бы ни за что не выудить столь трогательную историю, а вот из Крис мало-помалу удалось. И как только она все это выудила, сразу к нему переменилась, не знала, куда посадить его и чем угостить. Она до того опекала его, что просто удивительно, как он не сбежал до свадьбы. Но такая уж у нас Старушенция: с виду — твердая как кремень, а душа у нее как воск мягкая.

Итак, мы заезжаем за первыми гостями и усаживаем в машину тетушку Мириэм и дядю Горация; люди они скромные и не будут в претензии, если приедут первыми и им придется торчать в церкви все утро. Оставляю с ними Джима и наказываю ему:

— Оторвись от книги и займись делом. Гостей невесты будешь проводить налево, а гостей жениха — направо. Ясно?

— Это слишком для меня сложно,— говорит Джим.— Надо было вам отрядить сюда кого-то потолковее.

— Никого другого, кроме тебя, у нас нет, так что будь внимателен, а не то получишь по уху.

— Зря будешь стараться — я взяток не беру,— говорит Джим.

Я не выдерживаю и улыбаюсь: ну и остряк же наш Джим, никогда за словом в карман не лезет.

— Ну, как хочешь.— Однако, изловчившись, я все же вырываю у него из рук книгу.—Это я забираю с собой, может, хоть тогда ты спустишься на землю.

— Эй, а что же я буду делать в перерывах? — вопрошает он.

— Изучай могильные плиты. А вдруг найдешь знакомого, которого забыли пригласить?

Сажусь рядом с шофером, заглядываю в книгу — «Философия со времен Платона до наших дней» — и сую ее в отделение для перчаток под ветровым стеклом. Джим временами, право же, действует мне на нервы: ну и умище! Только диву даюсь, как это у меня оказался такой брат и такая сестра, как Крис. Да, если говорить по-честному, то выродок в семействе — это я.

По составленному мной расписанию ровно без четверти одиннадцать я в последний раз отчаливаю от церкви и еду домой — за Крис и Стариком. Все сошло без сучка, без задоринки, думаю я, страшно довольный собой. Ни один из наших гостей не подкачал, все идет как по маслу — ура! По пути встречаем Старушенцию, которая восседает в такси с видом новоиспеченной аристократки, а Дотти и Мэнджи строят мне рожи, прильнув к заднему окну машины.

И вот тут-то все и произошло. Сворачиваем за угол, а на дороге лежит забрызганное грязью дно от молочной бутылки, зубьями вверх. Раздается звук, похожий на пушечный выстрел, мы подпрыгиваем и заваливаемся вперед — лопнула шина. Машина заворачивает, въезжает на панель и, задрав кверху нос, останавливается. Шофер откатывает ее назад, на дорогу, мы оба вылезаем и осматриваем повреждение. Шофер приседает, упершись руками в колени, сдвигает фуражку на затылок и свистит.

— Ну, что там? — спрашиваю я. А в голове с отчаянной быстротой мелькает: Крис и Старик ждут меня дома; в церкви полно народу, а невесты нет как нет, и Старушенция наша с каждой минутой распаляется все больше.

— Плохи дела,— говорит шофер.

— Это я и сам вижу,— говорю я.— Сейчас без десяти одиннадцать. Что будем делать?

— Поставим запаску,— говорит он.— Ничего другого не остается.

Он сбрасывает белую куртку и слой за слоем принимается стягивать с себя дюжину разных пуловеров и жилетов, которые надеты под ней,— все это спокойно, мило, точно он в воскресенье сидит у себя дома на заднем дворе и отдыхает. Я выскакиваю из машины, бросаюсь к багажнику и начинаю шуровать в нем в поисках домкрата. Устанавливаю его и принимаюсь свинчивать колесо, моля бога, чтобы не появился какой-нибудь фараон и не стал от нечего делать задавать всякие дурацкие вопросы. Этот шофер, видно, никогда в жизни не менял ни одного ската, всякий раз это проделывал за него кто-нибудь другой, а он только разоблачался и готовился. Так или иначе, но на этот раз он еще не успел достигнуть нужной степени оголенности, как я уже поставил запаску и, точно одержимый, стал завинчивать гайки. В начале двенадцатого машина была снова на ходу, и с опозданием минут на десять мы подкатываем к нашей калитке.

Старик стоит на крыльце, держа у глаз руку козырьком, точно вперед смотрящий на мачте в «вороньем гнезде».

— Где, гром и молния, тебя носило? — в панике спрашивает он.— Мы же опаздываем!

Меня так и подмывает сострить и сказать ему, что мы заглянули по дороге в кабачок промочить горло, но я вижу — он вне себя от волнения, а потому лишь показываю ему свои грязные руки и объясняю, что у нас был прокол. Тут из дому выходит Крис, и хотя на ней поверх платья накинуто пальто, все равно видно, что она — прямо как картинка из модного журнала.

— Ты их всех сразишь,— говорю я ей.— Наповал убьешь.

Ну, раз свадьба началась, теперь уже никто и не вспомнит об опоздании Крис А они с Дэвидом потом только посмеются. Я снимаю с нее пальто и останавливаюсь в задних рядах, чтоб побыстрее выйти, когда все будет кончено. Орган, игравший до сих пор под сурдинку, разражается торжественным свадебным маршем, звуки его заполняют всю церковь. Шурша одеждой, гости встают, и Крис со Стариком — в сопровождении Дотти и Мэнджи — направляются по проходу туда, где викарий с Дэвидом и его шафером ждут их. Ну и картинка: наша Крис вся в белом в маленькой шапочке из вуали и цветов, сквозь которую просвечивают ее блестящие волосы. Они у Крис с медным отливом, такие же как у нашей Старушенции в молодости, а мы с Джимом оба темноволосые — в Старика. Я бросаю взгляд на ноги Старика и вижу, что он меня послушался. Потом окидываю взглядом церковь — она заполнена, я бы сказал, однобоко: наше семейство представлено в полную силу, а со стороны Дэвида никого нет, кроме нескольких друзей, которыми он успел обзавестись с тех пор, как переехал в Кресслн.

Орган умолкает, и на минуту воцаряется мертвая тишина. Затем раздается писклявый голос викария:

— Дорогие братья и сестры, мы собрались здесь, чтобы сочетать этого мужчину и эту женщину священными узами брака...

Очень я за них рад, прямо очень, потому что Дэвид — славный малый, ну а Крис — настоящее сокровище. Я всегда считал, что она у нас особенная, и это, наверно, выглядит смешно, потому что многие знакомые ребята терпеть не могут своих сестер. Но я-то знаю, что мне крупно повезет, если я найду себе такую жену, как Крис. В общем, я надеюсь, что когда-нибудь встречу такую девушку. И в ней будут сочетаться все качества, какие должны быть в женщине: она будет веселая, общительная, чуткая, страстная — словом, такая, как надо. Ни о чем этом я, конечно, никому не говорю, и ребята считают, что девчонки интересуют меня только в одном плане. Ничего не поделаешь, приходится быть таким, потому что если рассказать, о чем ты думаешь, поднимут на смех, скажут, что ты слюнтяй и вообще ненормальный.

Тут я снова начинаю думать об Ингрид. Последнее время я только о ней и думаю, и мне очень хотелось бы знать, что она думает обо мне, если вообще моя персона занимает ее. Интересно, посчастливится ли мне сегодня ее увидеть и что я скажу ей, если увижу. А я непременно что-нибудь ей скажу — хоть умру, но скажу. Сколько можно ходить вокруг да около и только пялить на нее глаза?

Но вот церемония окончилась, и у церкви засуетились фотографы — и любители и настоящие, которых пригласили за плату. Мы им говорим, чтоб они поторапливались, потому что торчать на холоде никому неохота. Потом я накидываю на плечи Крис пальто, и они с Дэвидом, в сопровождении моего двоюродного братца Джоффа, отправляются в ресторан принимать гостей, а я должен следовать за ними вместе с нашей Стару-

шенцией и Стариком. Мы отчаливаем, оставляя в снегу глубокие впадины от колес и след из конфетти.

Старик, расположившийся на заднем сиденье, все время ерзает, точно он что-то потерял, и Старушенция спрашивает его:

— Ты что там ищешь?

— Да вот речь свою никак не найду,— говорит Старик, роясь во всех карманах.— А ведь она была у меня, когда...

— Речь? — повторяет Старушенция. Она, как и я, несомненно впервые слышит об этом.

— Ну да. Я тут набросал несколько фраз на бумажке и куда-то сунул ее... Стойте, стойте, нашел.

— Только не вздумай размусоливать про каждого,— говорит Старушенция.— Скажи просто, что мы рады всех видеть и благодарны им за то, что они пришли. Вот и все. Нечего пороть всякую чушь.

— Ты ведь хотела устроить свадебный обед в лучшем отеле Кресли,— говорит Старик,— так что теперь, хочешь не хочешь, тянись: на шикарных свадьбах всегда говорят речи. Вот если б мы сняли тот зал, где репетирует оркестр, как я предлагал, я бы там не стал выступать.

— Зал, где репетирует оркестр! — фыркает Старушенция.— Так тебя и тянет на дешевку! Неужто тебе жалко денег, чтобы устроить приличную свадьбу своей дочери? Ведь дочь-то у тебя единственная.

— Между приличной и шикарной свадьбой есть некоторая разница,— говорит Старик.— Я, как тебе известно, всего-навсего шахтер, а не фабрикант.

— И ты без конца об этом всем твердишь... В общем, хватит, все уже двадцать раз переговорено.— Старушенция, видно, только сейчас заметила, что стекло, отделяющее нас от шофера, опущено и он слушает наш разговор и ухмыляется.

— Правильно, переговорено,— соглашается Старик.

— И мы решили, что лучше всего устроить обед в «Старых доспехах».

— Правильно, решили,— говорит Старик.

Я-то знаю, что посмеивается не только шофер, но нашей Старушенции невдомек, она и не замечает, что над ней подтрунивают.

— А уж если деньги так тебя волнуют, запомни, что у тебя нет больше дочерей и следующую свадьбу будешь оплачивать не ты.

— О господи! — вздыхает Старик.

III

Как только Крис и Дэвид отбывают на вокзал, большинство гостей отправляется по домам, так как официально свадьба вроде бы кончилась. Но кое-кто — ближайшие родственники и друзья — едет к нам. Живем мы на Луговой улице в большом, старом, облицованном камнем доме, который мать уговорила отца купить еще до войны, когда дома ничего не стоили по сравнению с тем, что за них просят сейчас. Из окон спален открывается неплохой вид: с одной стороны — город, с другой — парк и на вершине холма — больница; по вечерам, когда в окнах ее загораются огни, кажется, что это старинный замок, вроде сказочного замка Дракулы, и что там идет бал. Домой к нам едет куча народу, и, чтобы всех рассадить, приходится бежать за стульями к соседям. Но и это не очень решает проблему, потому что теперь из вежливости приходится пригласить и соседей, то есть тех, кто не был на свадьбе. Старушенция говорит, что с похорон своего отца не припомнит, чтобы у нас в доме было столько народу. Только это совсем не похороны. Эти люди годами не собирались вместе и теперь, забыв про семейные распри, хотят веселиться вовсю.

А причиной тому была речь нашего Старика. Когда он поднялся из-за стола и положил перед собой бумагу среди пирожков с мясом, никто ничего особенного от него не ждал, а когда он стал что-то мямлить и шарить по карманам, как тогда, в такси,— подавно. Я сразу понял, что он потерял очки, а без них он ничего не может прочесть, разве что заголовок в газете. Ну, словом, покашлял он, помычал и вдруг заговорил. И точно что-то вселилось в него — может, на него так подействовало то, что все семейство собралось за столом и столько знакомых лиц смотрело на него и каждый как бы спрашивал: «Интересно, что это затеял старина Артур?!» Начал он с Крис и Дэвида, а потом перешел к семейству в целом: очень это глупо, когда люди ссорятся из-за пустяков, годами вынашивают злобу и обиды, и не пора ли подумать о том, чтобы сплотить семью и забыть все эти мелочи, которые отравляют жизнь. Вот тут он взял их за жабры. Кое-кого слова его здорово растрогали, и кто-то из женщин всплакнул. Наша Старушенция от удивления даже рот раскрыла — сидит и только головой покачивает в такт его словам, а он так разошелся, словно всю жизнь речи произносил. Крис тоже растрогалась, и, когда подошел ее черед, она смогла лишь пробормотать: «Спасибо вам всем!» — потом повернулась к Старику и ну целовать его, так что он от смущения даже покраснел.

Потом дядя Уильям, старший брат Старика, подошел к нему и сказал:

— Вот уж не знал, Артур, что ты у нас такой оратор, право, не знал.

— Я и сам этого не знал,— сказал Старик и добавил: — Я не очень глупо выглядел, как по-твоему? А то, если я свалял дурака, достанется мне от Люси.

— Глупо выглядел?! Да твоя речь — самое замечательное событие в нашей семье за много лет!

И похоже, что все так думают. За исключением тетушки Агнессы, которая приняла все сказанное Стариком на свой счет, распетушилась и отбыла восвояси. «Ну и скатертью дорога старой злыдне»,— думаю я.

Итак, пир продолжается, и мы съедаем все, что осталось от свадебного обеда, и вообще все, что есть в доме, а покончив с едой, решаем позабавиться. Теперь слово принадлежит дяде Джорджу. Он такой, что кого угодно расшевелит, наш дядя Джордж. Его излюбленная игра — завязать вам глаза и заставить валять дурака перед всем честным народом. То и дело раздается смех, и никто не обижается, когда тебе всаживают булавку в зад или тычут лицом в ватрушку с лимонным кремом,— что ж тут такого, просто милая семейная шутка. Когда это начинает немного надоедать и все уже нахохотались до слез, дядя Джордж, демонстрируя многогранность своих дарований, садится за пианино и аккомпанирует составленному наспех хору. Затем Старика заставляют притащить свой тромбон, и он играет «Лишь песня в сумерках» и свою любимую «Благослови же этот дом». Когда он берет самую высокую ноту, с треском лопается электрическая лампочка, разбрызгивая по всей комнате осколки стекла. Я слышал, что от пения одного певца разлетелась вдребезги винная рюмка, но никогда еще не слыхал, чтобы от игры на тромбоне лопались лампочки. В темноте начинается неразбериха, писк и визг, пока, чиркнув спичкой, я не отыскиваю новую лампочку.

Однако около половины девятого веселье постепенно затухает, потому что многим предстоит проделать изрядный путь; начинаются поиски пальто и шляп, рукопожатия и поцелуи, рождественские пожелания, и вот около девяти часов среди разгрома остаемся лишь мы да еще дядя Уильям с тетей Эдной, которые решили у нас переночевать. Минуты через две юный Джим отбывает в постель.

— Как после футбольного матча,— говорит, озираясь по сторонам, наша Старушенция. По всей комнате в беспорядке стоят стулья, в том числе и соседские. На полу валяются подушки, всюду пустые рюмки и полные окурков пепельницы. Огонь в камине почти потух — под конец всем и без того было очень жарко,— а накурено так, что хоть топор вешай. Я нагибаюсь, чтобы поднять рюмку, пока ее никто не опрокинул, и обнаруживаю в ковре прожженную окурком дыру. Однако я помалкиваю, считая, что наша Старушенция успеет узнать об этом и завтра.

— Ну как, свыкаешься понемногу с тем, что в семье у тебя на одного стало меньше? — через некоторое время спрашивает тетя Эдна.

— Это, знаешь ли, не так-то просто. И, конечно, мне будет ее не хватать. Она ведь у нас хорошая девушка, Кристина. Всегда была хорошая... Но настало время и ей обзавестись семьей. У многих в двадцать семь лет уже дети есть и даже школьного возраста.

— Она, по-моему, за славного парня вышла,— говорит дядя Уильям.

— Да, Дэвид отличный парень. Лучше трудно сыскать. Ей будет хорошо с ним, на этот счет я ни минуты не беспокоюсь.

— И так ладно говорит,— замечает тетя Эдна.— И такой воспитанный.

— Он ведь с образованием, Дэвид-то,— вставляет Старик, как будто этим все сказано.— С образованием.

— И нисколько этим не кичится,— добавляет Старушенция.— Да, лучшего мужа нашей Крис мы бы и пожелать не могли.

Тут тетя Эдна бросает взгляд в мою сторону, а я забрался в качалку, слушаю, наматываю себе все на ус и молчу.

— Что ж, теперь очередь Виктора,— говорит она.

Я очень люблю тетю Эдну, но, право же, иной раз зря она сует нос в чужие дела.

— Нет, мы еще не скоро будем пировать на свадьбе у Виктора,— говорит наша Старушенция, точно меня тут и нет.— Ведь ему и двадцати одного года не стукнуло, еще не время обзаводиться семьей. Да он как будто и не ухаживает ни за кем. Правда, я, наверно, последняя узнаю об этом. Но все равно — я за него не беспокоюсь. Дай бог, чтоб все парни были такие положительные и степенные. Вот Джим, тот меня иной раз тревожит. Понимаете, все время учится. Совсем голове отдыха не дает. Хочет быть доктором. Конечно, чтобы поступить в колледж, надо, видно, много поработать, но он все равно перебарщивает. Как-то ночью — вот поверишь, Эдна, ей-богу, не вру — захожу к нему в комнату, а он сидит в постели, весь книгами обложился и крепко спит. Да как крепко-то! Понимаешь, он и ночью не может со своей наукой расстаться. Мозг у него нисколько не отдыхает, все работает, работает. Не нравится мне это. И растет он больно быстро, а здоровья настоящего нет, не то что у Виктора. Тот у нас с самого рождения был силен как лошадь. Ничем никогда не болел, кроме, конечно, тех болезней, какие бывают у всех детей, да еще вот раз упал на рельсах и раскроил себе голову.

Тетя Эдна поворачивается и с улыбкой, любовно на меня смотрит. Я подмигиваю ей, а она — мне.

— Джим в самом деле сильно вырос с тех пор, как мы видели его в последний раз,— говорит она.

— Ну да, растет он быстро, а силенок-то мало. Вся сила у него уходит в мозг, а не в мускулы. Я уже решила, что схожу с ним к доктору после праздников и посоветуюсь.

— Если учение ему в охотку, значит все в порядке,— говорит дядя Уильям.— Он очень умный парень, это сразу видно, а такие ребята, если голова у них ничем не занята, становятся непоседами, шалыми.

Я бы на твоем месте, Люси, за него не опасался. С доктором поговорить, конечно, можно, а тревожиться нечего.

— Тебе хорошо говорить, Уильям, но когда у тебя дети, как о них не волноваться. Тут уж ничего не поделаешь.

По-моему, Старушенции не следовало бы так говорить, потому что у дяди Уильяма и тети Эдны нет детей, и, мне кажется, они частенько горюют об этом.

— Мы, конечно, вовсе не хотим, чтобы он что-то упустил в жизни,— говорит Старик.— Только бы хватило у нас средств поддержать его, пока он сам не начнет зарабатывать. С Кристиной дело было проще — она получала стипендию, но когда человек изучает медицину, тут, говорят, стипендия — капля в море.— Он сует руку в карман за трубкой и табаком и вспоминает, что в буфете лежит большая коробка сигар.— А ну-ка, Уильям,— говорит он,— угощайся. Это мне Дэвид купил. Молодец он, верно?

— Очень даже, Артур.— Дядя Уильям берет сигару и нюхает.— А я уж подумал было, что ты сам себя так балуешь.

— Ну и зря подумал,— говорит Старик.— Я не из тех, кто курит сигары.

— Но и не так уж тебе далеко до них, верно, Артур? — говорит дядя Уильям, и при свете спички я замечаю лукавый огонек в его глазах.— Чем ты не новая аристократия: живешь себе припеваючи, сына собираешься послать в колледж изучать медицину. У кого, у кого, а у тебя деньжата водятся. Ты ведь их каждый вечер не пускаешь на ветер.

— Полегче! Полегче! — говорит Старик, распаляясь и попадаясь на удочку.— В кои-то веки люди стали зарабатывать прилично, так все теперь прохаживаются на их счет.

— Я бы не возражал по двадцать фунтов в неделю зашибать,— говорит дядя Уильям,— а там пусть хоть весь мир на меня кидается.

— А ты попробуй,— говорит Старик,— попробуй их заработать, я буду только рад. Но вот что я тебе скажу, Уильям,— я это всем говорю,— если ты думаешь, что можешь заработать в забое двадцать фунтов в неделю, приходи попробуй. Заработать такие деньги можно, и кое-кто из ребят всегда столько получает. Но зато они и вкалывают, как каторжные. А эти трепачи только знают, что подпирать стойки в барах да языком молоть. Опрокинут кружку-другую — вот и вся их работа, более тяжелой они не знали. Да они одной смены в забое не выдержат. Я-то рубил уголь. Я знаю, каково оно, и очень рад, что могу больше этим не заниматься. Вот я теперь старший, и хотя многие под моим началом зарабатывают больше меня, я им не завидую, потому что сам когда-то выколачивал так деньгу и знаю, почем фунт лиха. И еще одно...

— Ну ладно, Артур, хватит уж,— вмешивается Старушенция.— Чего тут спорить. Уильям так об этом судит, а ты иначе.

— Никто не имеет права судить, если не знает фактов. Я ведь просто объясняю ему...

Старушенция и тетя Эдна переглядываются, и тут я решаю, что пора мне сматывать удочки. Я встаю.

— Ты что, спать пошел, Виктор?

— Нет, я ухожу. Сегодня в городе танцы. Думаю сходить туда на часок.

— Что?! В такую поздноту?

— Да там самый разгар сейчас.

— Ну ладно. Возьми ключ. И не задерживайся слишком долго, ты ведь сегодня целый день на ногах.

— Веселись хорошенько, Виктор,— говорит тетя Эдна.

IV

Поднявшись наверх, я первым делом оглядываю себя в туалетном зеркале. Оно трехстворчатое, и если поставить створки под определенным углом, можно увидеть не только свой фас, но и профиль. Что-то я последнее время слишком часто гляжусь в зеркало — и дома и на улице. Раньше я не замечал, что на свете так много зеркал — не только зеркал, а и зеркальных витрин, которые могут служить тем же целям, когда шторы за ними спущены. На работе я мою руки и вижу другую пару рук, которые проделывают те же движения. Иду в кино — и десять шансов против одного, что, взойдя по лестнице, я столкнусь лицом к лицу с моим двойником, поднимающимся по лестнице с другой стороны. (Правда, это не совсем мой двойник — у него, например, правая рука там, где у меня левая.) А вечером, глянув в окно автобуса, я вижу того же двойника, который смотрит на меня снаружи. Не скажу, чтобы я был так уж влюблен в себя,— во всяком случае, не всегда,— и, глядя на свое отражение в стекле или еще где-нибудь, я вовсе не умиляюсь: «Какой роскошный тип!», а стараюсь смотреть на себя как бы со стороны и представить себе, что я об этом парне думаю. А думаю я то, что этого типа в зеркале *никак* нельзя назвать роскошным. По крайней мере, в большинстве случаев. Но я ведь раньше не был такой. Помнится, мне было ровным счетом наплевать, как я выгляжу и что обо мне думают. А теперь все изменилось, потому что теперь, понимаете, меня стали интересовать женщины. И, признаться, даже очень.

Когда дома я смотрюсь в зеркало — вот как сейчас,— мне кажется, что я не так уж плохо выгляжу. Как ни посмотри и кто ни посмотри — уродом меня не назовешь. Может, я и не красавец, но уж, во всяком случае, не урод. Лицо у меня скорее квадратное, чем длинное, и как пишут в романах, открытое, кожа хорошая. (Слава богу, я не принадлежу к числу тех парней, которых насмерть изводят разные там прыщи, угри и прочая пакость.) Конечно, шрам над левым глазом, где я приложился к рельсу, не слишком украшает, хотя иногда мне кажется, что он делает меня более мужественным. Но — не знаю. Что же до волос, тут двух мнений быть не может — любой мужчина мне позавидует. Волосы у меня густые, темные, с блеском — никакого крема не надо — и слегка вьются: причешешь, рукой подправишь, и все в порядке. Да, насчет волос я спокоен. Я слежу за ними и стригусь каждые две недели, ну, может, иногда на день или на два позже. Вот росту мне бы не мешало набрать еще дюйма два. Но заморышем меня не назовешь, да и сложен я неплохо — грудь у меня широкая, плечи квадратные, так что я не боюсь показываться в купальных трусах. Теперь об одежде. Одеваться я умею — что да, то да. Я не плачу бешеных денег портным, но знаю, где хорошо шьют, и всегда слежу за тем, чтобы брюки у меня были отутюжены, а ботинки начищены. Стоит воротничку у рубашки чуть-чуть засалиться, я ее мигом отправляю в стирку. Можете спросить у нашей Старушенции. Она говорит, что легче обстирать армию солдат, чем одного меня.

Вот какой я, Виктор Артур Браун: мне двадцать лет, я не слишком уверен в себе и сразу теряюсь, когда начинаются всякие двусмысленные шуточки, остроты и сальности. Нравлюсь я вам или нет, но таков уж я есть. Да и какое значение имеет то, как ты выглядишь? Каждый день можно встретить шикарных девчонок с омерзительнейшими типами — казалось бы, на такого ни одна уважающая себя девушка в жизни не посмотрит. А какое значение имеет одежда? Скажем, приличнo ты одет или нет? Чем больше ты похож на пугало, тем вроде бы лучше: девчонки, точно бешеные, так и липнут к парням, которые черт-те

как одеты, я бы в таком костюме и за ограду своего палисадника не вышел. Так какого же черта!

В общем, я не хуже других и просто не пойму, почему бы Ингрид не разделять этой точки зрения. Но думаю-то я так, лишь пока я у себя в комнате, а стоит мне увидеть Ингрид, и я чувствую себя не более привлекательным, чем какое-нибудь чудище из научно-фантастического фильма.

Наконец я отрываюсь от зеркала и иду в ванную. Затем решаю, что надо одолжить у Джима его новый галстук — синий вязаный, с поперечными полосками. Под дверью его комнаты виден свет, я захожу и застаю его в постели, с книжкой на коленях и карандашом в руке.

Вытаскиваю из комода галстук.

— Дашь мне надеть?

Он что-то бурчит. Не думаю, чтобы он возражал. Подхожу к зеркалу (опять зеркало!) и принимаюсь завязывать галстук.

— В жизни не видал, чтобы человек так выдрючивался, завязывая галстук,— минуту спустя замечает он.

— Что значит — выдрючивался?

— Так вертелся, крутился и дергал галстук туда, сюда. Неужели нельзя затянуть узел и дело с концом?

— Это же виндзорский узел,— поясняю ему. Подтягиваю галстук и опускаю воротничок.— Когда галстук так завязываешь, узел получается аккуратный и не расползается.

— Зато галстук будет теперь весь мятый.

— А разве ты на это обращаешь внимание?

— М-м...— мычит он и вновь утыкается в книгу.

— Хороший у тебя галстук.

Он молчит.

— Давай махнем?

— Что?

— Да вот галстук. Ты не согласился бы его продать?

— Я его не покупал. Мне мама подарила.

Я смотрю в зеркало. Отличный галстук и уж, во всяком случае, не для Джима, которого одежда вообще не интересует.

— Я дам тебе за него полкроны.

— Он куда дороже стоит.

— Но ты же его не покупал.

— Нет. Поэтому я и не могу его продать!

— Но полкроны тебе наверняка больше нужны, а? — говорю я, глядя на него в зеркало. Джим у нас всегда сидит без гроша, потому что вечно что-нибудь покупает или копит деньги на то, чтобы что-то купить — то морских свинок, то кроликов, которых он держит в сарае, то марки для своей коллекции или что-нибудь еще.

Он смотрит на меня, что-то обдумывая.

— Вот что я тебе скажу,— говорит он.— Я буду тебе давать его, надевай, когда хочешь, но ты должен платить мне по три пенса за каждый раз. И за сегодняшний вечер тоже.

— И кто это меня за язык дернул — молчал бы себе в тряпочку! — Я сую руку в карман.— У меня нет мелочи, только шиллинг.

— Ничего. Зато потом ты три раза сможешь надевать его бесплатно.

Я бросаю ему шиллинг.

— Я вижу, друг, ты не теряешься, надо тебя будет по коммерческой части пустить. Глядишь, к тридцати годам миллионером станешь.— Подхожу к нему и выпячиваю подбородок.— Как, по-твоему, надо мне бриться?

— Пожалуй, к пасхе уже кое-что проглянет,— говорит он.

— Что? Да я теперь бреюсь каждый день.

— Ну, если тебе нравится доставлять себе столько хлопот... Ты что, куда-нибудь идешь?

— На танцы.

— Так поздно?

Я смотрю на часы.

— Без четверти десять. Детское время, малыш.

— Охота тебе тащиться куда-то в такую поздноту и потеть в этой толкучке под так называемый джаз?! — говорит он.

— Не суй нос не в свои дела и займись-ка лучше латынью.

— Откуда ты знаешь, что это латынь?

— Да уж уверен, что это не «Леди, не оборачивайтесь»!

— А что это такое?

— Неважно.

— Так вот: это не латынь, а математика,— говорит он.— И раз уж ты здесь, мне хотелось бы тебя кое-что спросить, я тут не понимаю.

— Ну, я тебе не помощник. Для меня что математика, что акробатика — один черт.— Произнося это, я чувствую, что сострил.— Как это я сказал, а? Математика — все равно что акробатика!

— Ха, ха! — иронически бросает Джим.— Как остроумно, Вик! Лопнуть можно! Кстати, старик Картрайт набросился тут на меня. Говорит, ждал лучших отметок от брата Вика Брауна.

Этого достаточно, чтобы снова оторвать меня от зеркала.

— Он так сказал? Старина Картрайт? В жизни не поверю.

— Вот-те крест,— говорит Джим.— Старик Картрайт, кажется, впрямь высокого мнения о тебе. А вот на уроках французского я стараюсь не афишировать наше с тобой родство.

— А, подумаешь, французский, кому он нужен?!

Подхожу к постели Джима и беру у него учебник.

— Что тут у тебя не ладится, малый? — бурчу я, подражая старику Картрайту.

— Вот здесь.— Джим тычет пальцем в учебник.— Никак это уравнение не выходит. Я уже полчаса над ним бьюсь. Верно, опечатка в книге.

— Никогда не видел опечаток в учебниках.— Начинаю проверять и сразу обнаруживаю ошибку. Бросаю учебник Джиму на колени.— Попробуй перевернуть последнее уравнение.

Он смотрит.

— Тьфу... Как же это я не сообразил!

— Вот так, не сообразил и готово — провалился на экзамене.

— Ну хватит тебе, гений.

Провожу рукой по подбородку и словно слышу, как шуршат волоски.

— Эх, все равно нет времени бриться. И так уже поздно.

— Неужели она не подождет? — спрашивает Джим.

— Кто?

— Кто? — повторяет он с ухмылкой.— Брижитт Бардо, конечно, а то кто же еще?

На секунду у меня мелькает мысль, что он, видно, знает. Но тут же я понимаю, что этого не может быть, потому что никто, кроме меня, ничего не знает. Даже и она еще не знает. Но теперь узнает. И скоро.

На улице ясно и холодно, настоящая зима. Утром казалось, что вот-вот пойдет снег, но сейчас небо все в звездах, и мороз пощипывает щеки. Я отмечаю это, но иду пешком, не дожидаясь автобуса, потому что слишком холодно стоять на месте. Однако через какую-нибудь минуту я уже слышу урчанье автобуса, взбирающегося в гору следом за мной, и пускаюсь бегом. На остановке я нагоняю автобус и беру билет в город

за три пенни. Наверху пусто. Сажусь на заднее сиденье и погружаюсь в созерцание голых и полуголых девиц в журнале, который дал мне Уилли Ломес перед праздником. Называется он «Chérie» *. Это французское издание с девицей на обложке. На девице пояс с резинками, черные нейлоновые чулки — и ничего больше, если не считать взгляда, этого самого... Ну, вы понимаете. «Журнальчик — первый сорт»,— сказал Уилли, и точно. Уж кто-кто, а эти французы мастера на такие штуки. Все в тебе растопляется, когда смотришь на этих девчонок. Есть птички, которые сняты в одном белье или в прозрачных нейлоновых рубашонках и прикрыты ровно настолько, чтобы раздразнить воображение, а на других и воображения тратить не надо. Там есть и текст, и я начинаю жалеть, что в школе не уделял должного внимания французскому, потому что если текст связан с картинками, он, должно быть, силен. Глядя на них, я в трехтысячный раз пытаюсь представить себе *это* и прихожу к выводу, что с такими девочками ничего у меня не получится — стоит такой подойти ко мне, и я мигом дам задний ход.

Но вот что любопытно: об Ингрид я никогда так не думаю. И не потому, что она уродка,— девчонка она хорошенькая, самая хорошенькая из всех, кого я знаю. Просто думаю я о ней, как о чем-то очень чистом, святом и нежном, и мне кажется, что коснуться ее щеки куда приятнее, чем все то, что могут дать мне другие девчонки.

Стоит мне подумать об Ингрид, как я забываю обо всем на свете, и, конечно, я проехал свою остановку и теперь иду пешком.

По мере того, как я продвигаюсь вперед по Иллингуорс-стрит, настроение у меня становится все лучше и лучше. На мне хороший костюм, свежее белье, я подстрижен, причесан, и звук моих шагов почему-то преисполняет меня уверенности в себе. Я знаю, что на танцах сейчас, наверно, перерыв, поэтому захожу в «Баранью голову» — кабачок, расположенный чуть дальше по той же улице,— пропустить для бодрости пивка и взглянуть, нет ли там ребят. В зале полным-полно народу, чувствуется, что на танцах перерыв; за баром, в курилке, топчутся оркестранты в стильных бежевых куртках и коричневых галстуках бабочкой. Получаю свою кружку пива, оглядываюсь и кого, вы думаете, вижу? Уилли Ломеса, который машет мне из-за столика в углу. Подхожу, парень, что с ним (зовут его Гарри, а фамилии не помню), пододвигается, и я сажусь. Оба они без пальто, и я спрашиваю, были ли они на танцах.

Они кивают, а Уилли говорит:

— Народу — пропасть. Все ноги оттоптали.

Вид у него тем не менее веселый. Впрочем, он всегда кажется веселым — наверно, потому, что у него такое лицо. А лицо у него длинное и бледное, как у клоуна; черные, будто вороново крыло, волосы гладко зачесаны назад и блестят, как хорошо начищенные ботинки. Он поднимает ногу и показывает порванный отворот брючины.

— Выставил ногу во время быстрого фокса,— говорит он.— Не успел опомниться — р-раз, какая-то девка зацепилась каблуком за мою брючину. Чуть не полетел вверх тормашками.

— Есть стоящие девчонки? — спрашиваю.

— Обычный сброд,— отвечает Гарри. Но это вовсе не то, что меня интересует. Впрочем, едва ли они знают Ингрид.

— А ничего у них певичка,— говорит Уилли.

— Да разве это птица твоего полета, Уилли? — говорит Гарри.— С такой на одних чулках разоришься.

— Но помечтать-то о ней ведь можно бесплатно или уж тоже нельзя? — говорит Уилли.

---

* Душка *(франц.)*.

— Так или иначе, она замужем,— вставляю я.

— А ты откуда знаешь? — спрашивает Уилли.

— Оттуда, что у нее на пальце обручальное кольцо, дуралей.

— Я иногда думаю, что замужние — это самое милое дело,— говорит Гарри.— Они хоть знают, чего ты хочешь, и обхаживать их не надо.

— А мне вовсе не улыбается вечно чувствовать у себя за спиной какого-нибудь тяжеловеса-мужа,— говорит Уилли.— Нет, мне подавайте одиноких девочек. Обучишь этакую маленькую девственницу уму-разуму, она тебе еще и благодарна будет за то, что ты открыл ей радости жизни.

И понес, и понес — Гарри хитро подмигивает мне, а я сижу себе, посмеиваюсь.

— Вся беда в том,— говорит Уилли, отхлебнув из своей кружки,— что все девчонки, которые мне нравятся, либо замужем, либо уже зафрахтованы. Познакомился я с одной в «Трокадеро» на той неделе. Девчонка — пальчики оближешь, и по морде видно — на все пойдет, угости ее голько рыбой с жареной картошкой. Провожаю ее до Гринфорда — целых две мили — и только хочу пристроиться с ней в подъезде магазина, чтобы немного ее потискать и уговориться о встрече, а она — что вы думаете, она мне говорит? «Моему жениху это не понравится»,— говорит. Ее жениху!.. А я-то, как последний дурак, прошагал туда и обратно четыре мили!

Смешно! Но у меня насчет Уилли своя теория. Я считаю, что в конце концов он женится на какой-нибудь шлюхе шести футов ростом, ничем не примечательной, как стена пакгауза, и всю жизнь будет у нее под каблуком.

— М-да, с бабами лучше не связываться,— заявляет Гарри, из чего я заключаю, что и у него не все идет гладко.— Встречался я тут с одной девчонкой. Целый год за ней ухаживал, и мы даже стали подумывать о помолвке. Она только об этом и твердила: «Ну, когда же мы объявим о помолвке, Гарри?» Только и твердила.

— Ну, я об этом никогда не думаю,— говорит Уилли, я же тихонько усмехаюсь, вспоминая свою теорию о девице-гренадере, которая уже где-то поджидает его.

— А вот я не возражал,— говорит Гарри.— Она меня совсем измотала. И я уже готов был сдаться, только бы меня оставили в покое. Но однажды отправляется она на субботу и воскресенье к своим родственникам в Уоррингтон. А потом начинает ездить туда каждое воскресенье и пускает меня под откос ради какого-то там янки.

— Ну, еще бы: мундир и монеты,— говорит Уилли.— Где уж нам с ними тягаться.

— Наймитесь кондукторами на автобус,— говорю я,— и у вас будут мундир и монеты.— Сам же думаю, что тоже начну жаловаться на судьбу, если еще посижу здесь. А сейчас все внутри у меня поет при мысли, что я скоро увижу Ингрид.

В кабачке стало тише; озираюсь вокруг — оркестрантов не видно, значит, перерыв кончился и я теряю драгоценное время.

— Да, кстати, Уилли...— Выуживаю «Chérie» и передаю ему, прикрыв рукою шлюху на обложке.— Спасибо.

Уилли с видом заговорщика сует журнал в карман.

— Ну как, понравилось, Вик?

— Ничего! Есть тут пара девчонок, с которыми я бы не прочь познакомиться поближе.

— Еще бы,— говорит Уилли.— Я не я, если на будущий год не смотаюсь в Париж. Ну его к черту, наш Блекпул. Вот увидите.

— Ты что, думаешь, они там разгуливают по улицам голышом? — говорит Гарри.

— Конечно нет,— говорит Уилли. Потом перегибается через стол и, понизив голос, добавляет:— Но вот что я тебе скажу: там есть девчонки — с виду все в порядке, идет себе в пальто, а как к ней подойдешь, она распахнет пальто, а под ним ничего.

У меня рот растягивается в ухмылке, а Гарри изрекает:

— Бред!

— Нет, правда,— говорит Уилли.— Я знаю одного парня, который все время туда ездит, этакий великий путешественник. Так у него было больше девчонок, чем у кошки из меблированных комнат котов. А потом притоны там на каждом углу, государственные. Все в открытую. Заходишь, платишь и выбираешь. Представляете, как было бы здорово, если б парочка таких заведений открылась у нас в Кресслн. Не надо было бы бегать за девчонками по танцулькам — пришел и получил, что надо и когда надо.

— Я обеими руками за,— говорит Гарри,— только в Париж ехать ты, Уилли, опоздал. Там все эти лавочки прикрыли.

— Что? — огрызается Уилли.— А ты откуда знаешь?

— Прочел недавно в одной книжке. Их закрыли сразу после войны.

— Может, и закрыли,— несколько разочарованно говорит Уилли,— а все равно там в два счета можно подцепить себе девочку.

— Смотри, как бы не подцепить такого, от чего не скоро избавишься,— говорит Гарри.

— Иди ты,— говорит Уилли.— На то, брат, существует наука.

— А ты думаешь, уличные девки очень разбираются в науке?

Похоже, что они тут прочно обосновались, и я встаю.

— Ты что, уходишь, Вик? — говорит Уилли.— Выпей еще перед уходом.

Я отказываюсь. Мне не терпится поскорее добраться до танцев и поискать Ингрид. Да и вообще выпивка — это не по моей части. На такого Уилли мог бы работать целый пивоваренный завод, а с меня одной кружки хватает.

— В общем, до скорого,— говорю я; оба отвечают: «До скорого, Вик» — и продолжают свой разговор о парижских шлюхах.

На улице, по дороге к танцульке, я сую в рот кусок мятной жвачки, чтобы приятней пахло. У входа плачу три монеты и спускаюсь в раздевалку скинуть пальто. Какой-то парень, хвативший лишку, распевает в туалете, и служитель то и дело поглядывает в ту сторону, видимо, обдумывая, не вышвырнуть ли его за дверь. Я причесываюсь, поправляю галстук и топаю наверх. Открываю тяжелую дверь в зал и словно натыкаюсь на завесу, образованную запахом пота и дешевого одеколона,— завесу такую плотную, что хоть режь ножом. На секунду останавливаюсь. Но потом решаю идти напролом — минуты через две привыкну! — и ныряю в толпу, стараясь не втягивать глубоко воздух.

Здесь действительно полным-полно, как и говорил Уилли, люди толпятся даже у дверей. Работая локтями, начинаю пробираться вдоль стены, где меня чуть не опрокидывает какая-то парочка, исполняющая нечто вроде индивидуальной боевой пляски. На парне зеленая бархатная куртка, желтая клетчатая рубашка без галстука и черные брюки, шириной дюймов в четырнадцать. Девчонка, с которой он трудится, жуть — одни ресницы и намалеванные губы на белом, без кровинки лице, не человек, а ходячая смерть; все ее прелести скрыты под черным свитером и торчат, как колышки для шляп у входа в церковь, а парень, согнувшись над ней в три погибели, не может оторвать от них глаз. В этом зале не бывает разухабистого джаза, рока и тому подобного — об этом гласят предупреждения на стенах. А потому тут же появляется администратор, хлопает парня по плечу и что-то ему говорит. Парочка

окидывает его убийственным взглядом и переходит на быстрый фокстрот, который здесь принято танцевать.

Ингрид нигде не видно, хотя я уже целых полчаса стою и слушаю оркестр, очень неплохой для любительского. Наконец, решаю, что, пожалуй, скорее отыщу ее, если не буду стоять на месте, протискиваюсь вперед и приглашаю какую-то девчонку, которая издали выглядит вполне прилично, а вблизи оказывается, что от нее разит, как от бочки с тухлым говяжьим салом. Я рад, что танец скоро подходит к концу — терпеть не могу девчонок, от которых воняет. Поднимаюсь на балкон, откуда мне всех видно, кроме тех, кто толпится у двери. Пока я там стою, оркестр начинает играть вальс-бостон. Огни гаснут, только высоко под потолком вращается граненый зеркальный шар, разбрасывая во все стороны лучи света. Как бы мне хотелось в эту минуту танцевать с Ингрид, крепко прижав ее к себе,— на меня часто нападает романтическое настроение, когда я танцую вальс-бостон и огни слегка притушены. Но Ингрид явно нет, теперь я в этом убедился. И едва ли она уже придет в такой поздний час. Я и сам бы не пришел, если б не услышал, что она собиралась сюда, и теперь я чувствую пустоту и разочарование. Может быть, она пошла в «Трокадеро». А может быть, сидит дома и смотрит телевизор или даже спит. Закуриваю сигарету и жду, пока зажгутся огни, чтобы в последний раз оглядеть зал — уж очень не хочется уходить ни с чем. Внизу вижу Уилли и Гарри, но их общество не интересует меня сегодня, а потому я направляюсь вниз, беру пальто и двигаю домой. Автобусы уже не ходят, и я всю дорогу топаю пешком.

Глава 2

I

Праздники кончились, и повседневная жизнь снова вошла в свою колею, и снова те же люди едут утром на работу на верхнем этаже автобуса. Большинство сидит, уткнувшись в газету, так что одного не отличишь от другого, но есть тут человека два или три, которых ни с кем не спутаешь. Один тип — он обычно сходит на второй остановке вниз по склону — очень похож на эсквайра. На нем обычно толстое, ворсистое твидовое пальто, темная отливающая сединой шляпа с опущенными вниз полями, и, держи он под мышкой охотничье ружье вместо «Дейли телеграф», картина была бы вполне законченная. Лицо у этого малого красное, все в крошечных прожилках и всегда напоминает мне апельсин «королек», а глядя на его большой, торчащий, словно руль, нос, кажется, что он каждое утро отвинчивает его, а побрившись, снова привинчивает. Малый этот помешан на свежем воздухе, и все сидящие наверху начинают ежиться, заслышав на лестнице стук его башмаков. Садится он всегда на одно и то же место в середине автобуса (а если кто-нибудь другой уже занял его, этот нарушитель традиции, кто бы он ни был, награждается уничтожающим взглядом) и первым делом открывает все окна, до которых только может дотянуться, так что по автобусу начинает гулять ветер, и шляпы слетают с голов. Ветер, дождь, пороша, снег или туман — ему все едино: при любой погоде он распахивает окна. Тот день, когда отменили открытые автобусы, был, наверно, самым печальным днем в его жизни.

Я прозвал этого малого кислородным алкоголиком — есть такой персонаж в одном эстрадном представлении. Я лично считаю, что это еще не столь большое зло, его можно вытерпеть, если как следует одеться. А вот любители поговорить — это гораздо хуже, их надо избегать всеми силами, как, например, того маленького старикашку, который садится

на следующей остановке после кислородного алкоголика и, точно мы с ним старые приятели, неизменно устраивается рядом со мной. У него, у этого старикана, обо всем свое мнение, и он необыкновенно веселый, за что все так нежно и любят его.

— Вот она — жизнь,— говорит он в это утро, пристроившись, как обычно, рядом со мной,— месяцами ждешь этих праздников, не дождешься, а потом день-другой — и конец.— Голос его разносится по всему автобусу, будто через микрофон, и глаза у всех постоянных пассажиров тотчас стекленеют.

— Да уж,— изрекаю я. Главное — всегда с ним соглашаться, таково мое правило. И ни в коем случае не вызывать на разговор, иначе погибнешь.

Он возится некоторое время с трубкой, потом раскуривает ее и окружает нас дымовой завесой. Он сам выращивает табак — это он всегда всем говорит и в подтверждение своих слов протягивает руку, показывая на ладони сухие желтые волокна, похожие на конский навоз, пролежавший весь день на солнце. Никто не оспаривает его утверждений, потому что трудно себе представить, какой сорт табака может так омерзительно пахнуть. Вот когда старикашка закуривает, мы начинаем с благодарностью думать о кислородном алкоголике и его открытых окнах.

— Не успеешь полчаса пробыть на работе, как уже кажется, будто и не отдыхал,— говорит он, посасывая трубку. Должно быть, он купил ее еще в юности, потому что чубук весь обгорел с одной стороны, а мундштук в месте полома скреплен изоляционной лентой. Я так думаю, что либо он очень привык к ней, либо такой скряга, что не хочет покупать новую. И решаю, что скорей всего он скряга, потому что люди, которые рассуждают так, обычно нелегко расстаются с деньгой.

— И мне тоже,— говорю я.

— Просто не пойму: и чего это люди так носятся с рождеством,— во всю мочь орет он.— Веры ни у кого ни на грош, настоящего чувства тоже. Одно издевательство. Вот лавочникам — тем рождество на руку. Они распродают все, что у них есть и чего даже не было. А все прочие напиваются, обжираются и потом сидят, осоловелые, и смотрят телевизор... Издевательство, да и только.

Он вытаскивает из кармана платок, громко сморкается и вытирает седые усики. Потом разглядывает содержимое, чтобы удостовериться, какой клад он там оставил, и сует платок обратно в карман.

— Правда, я и сам не большой любитель в церковь ходить,— говорит он.— Нынешняя церковь — сплошное лицемерие и обман. А священники... мелкота, вруны и паразиты, которые живут себе припеваючи, знают, что никто их не уволит, если они не будут в своих проповедях по-честному обрушивать громы и молнии на головы кого следует...

— Совершенно верно.

— А телевидение... Ни в жизни не куплю себе телевизор. Жена все время канючит. Но я ей сказал: «Если у тебя есть деньги, так и покупай. Но в тот день, когда телевизор появится в доме, я из дома уйду...» И куда только мы катимся... Вся страна точно помешалась на этих телевизорах. Они ее прямо заполонили. Заполонили всю как есть.

И мелет, и мелет, и мелет...

Но сегодня утром мне его болтовня не страшна: я могу замкнуться в себе и думать об Ингрид. Сегодня я непременно с ней заговорю. Как это произойдет, не знаю, но твердо знаю, что заговорю. Мы уже года два здороваемся, но только за месяц до рождества я вдруг понял, какая она необыкновенная. А ведь все это время она, можно сказать, была у меня под носом... И теперь я уже дошел до того, что больше выжидать не могу. Не могу — и все. К несчастью, я понятия не имею о том,

каковы мои шансы. Я не знаю, заметила ли она меня или же я для нее просто один из голоштанных чертежников, которые получают по тридцать монет. Зато я знаю, что никогда этого не выясню, если не соберусь с духом и не начну действовать. И прежде всего надо хотя бы заговорить с ней.

Покупаю утреннюю газету на автобусной станции и перехожу через улицу на остановку другого автобуса. Где-то на полпути замечаю в очереди ее, и на секунду все люди вокруг меня куда-то исчезают, и я стою один, и вся очередь на другой стороне улицы смотрит на меня, а я думаю о ней, и мне кажется, что мои мысли написаны на моем лице и все их читают. Я как будто даже краснею и, почувствовав это, спешу присоединиться к очереди. Мне, конечно, хотелось думать, что *она* смотрела на меня. На самом же деле она лишь случайно взглянула в мою сторону, а потом продолжала болтать с мисс Прайс из машинного бюро. Да и с чего бы это она обратила на меня внимание? Кто я такой? Просто парень, который работает в конструкторском бюро и притом на одной из самых маленьких должностей. Наверняка я не занимаю надолго ее внимания. И если я на этой неделе уйду от Уиттейкера, она едва ли это заметит. Ух, до чего же противное состояние: то возносишься на крыльях надежды, то погружаешься в самую черную меланхолию и сам не понимаешь, в конце концов, на каком же ты свете.

Выхожу на шаг из очереди и, развернув «Миррор», украдкой наблюдаю за Ингрид. Да, ничего не скажешь — хороша! Такая всегда аккуратная, чистенькая! Терпеть не могу девчонок с обломанными ногтями, растрепанных, от которых разит, как от протухшей бараньей ножки, которую поставили разогреваться. Я с трудом подавляю тошноту, когда мне попадается такая. А вот Ингрид — та наверняка принимает ванну каждое утро, и волосы у нее такие пушистые, чисто вымытые и блестящие, тоже каштановые, как у меня, но посветлее, а в лучах солнца так и вовсе светлые. И юбки с блузками и джемперами, которые она носит, всегда чистенькие, отутюженные и так ладно сидят на ее стройной фигурке, прямо загляденье. Но лучше всего у нее, по-моему, ноги, они такие красивые, недаром она всегда ходит на высоких каблучках и носит нейлоновые чулки без единой дырочки или дорожки. За всю свою жизнь я еще ни разу не встречал такой девчонки, и, конечно, нечего мне вздыхать по ней, потому что шансов на успех у меня нет ни малейших. Ну просто никаких.

Тут я поспешно снова ныряю за газету, потому что она, будто зная, что кто-то наблюдает за ней, вдруг поворачивает голову и смотрит прямо на меня.

С грохотом подкатывает автобус и останавливается. Кондуктор спрыгивает с площадки, обходит автобус и, прислонившись к радиатору, перебрасывается несколькими фразами с шофером. Пока я дохожу до двери, верхний этаж уже оказывается заполнен, и люди спускаются обратно, чтобы занять стоячие места внизу. Как всегда в таких случаях, тут подходит второй автобус, и большая часть тех, кто стоит в очереди, отступает в сторонку, чтобы сесть на него. В другое время я бы тоже так поступил, но сегодня я сажусь в первый автобус, хотя мне и придется стоять. Так, по крайней мере, я буду ближе к Ингрид. Она сидит впереди, у прохода, рядом с какой-то незнакомой женщиной. Пробираюсь вперед и останавливаюсь у следующего ряда позади нее. Автобус рывком трогается с места, и я хватаюсь за верхнюю перекладину, а сам все смотрю и смотрю на Ингрид, пока голос кондуктора не заставляет меня очнуться. Этот парень, кстати сказать, известен на линии как остряк-самоучка. Говорят, он был в армии сержантом и слывет человеком, которому все нипочем. Появись в автобусе сам архиепископ Кентерберийский в полном облачении, ему досталось бы не меньше, чем любому другому,—

разве что остроты были бы злее. И голосина у этого парня посильнее, чем у многих актеров из кресслийского театра «Альгамбра», а это уже кое-что. Итак, он входит в автобус.

— Ну-с, труженички, приготовьте плату за проезд, будьте любезны! Да встряхнитесь — нечего носом клевать. Вспомните тех, кто выехал в полвосьмого, когда вы еще в кроватках почивать изволили... Что вам угодно, мисс? Первого сорта—на три пенни? Извольте... А вам чем могу услужить, сударыня? На четыре пенни товару? Как раз столько дает старик своей старухе, а? Слушаю вас, сэр.

Так он продвигается по автобусу, мелет языком и отпускает свои дурацкие допотопные шуточки, а я принимаюсь шарить по карманам в поисках мелочи. В кармане пальто я обнаруживаю полпенни — то, что осталось от шестипенсовика после поездки в город и покупки газеты. Расстегиваю пальто, сую руку в карман брюк и — не обнаруживаю ничего. Не обнаруживаю я ничего и в других карманах — все осталось дома, на столике. Иными словами: платить за проезд мне нечем... Такого со мной еще не бывало, хотя я слышал, что это случается. Если в автобусе нет никого, кто бы заплатил за тебя, даешь кондуктору свою фамилию и адрес и платишь потом. Но все, кто меня знает, сидят наверху, и я уже представляю себе, что я буду говорить этому типу и как он это обыграет. Да к тому же при Ингрид! Потом над такими вещами смеешься, но не в тот момент, когда они происходят. Кондуктор все ближе подходит ко мне, и я поспешно оглядываю окружающие меня лица. Ну конечно же все наверху. Здесь я на чужой территории.

Значит, есть только два выхода из положения. Либо стать посмешищем и поострить вместе с шутником-кондуктором, либо... либо занять денег у Ингрид. Нет, у *нее* я занять не могу. Я ведь, можно сказать, и не знаком с ней. А будет ли у меня лучший случай с ней познакомиться? Разве я не искал такой возможности, разве все праздники не ломал себе голову над этим?

Не тратя времени на размышления, я наклоняюсь и дотрагиваюсь до ее плеча, она поворачивает голову, и до меня доносится запах ее волос. Лицо ее оказывается на расстоянии какого-нибудь фута от меня, и она смотрит прямо мне в глаза; колени у меня подгибаются, а из головы вылетает все, что я хотел сказать.

— Послушайте, я попал в дурацкое положение. Я забыл дома деньги и подумал, не могли бы вы... понимаете, я что-то не вижу никого из знакомых.— До нее наконец доходит, о чем я прошу, и она открывает сумочку; я вижу, как краснеет у нее шея.— Нет, нет,— говорю я.— Возьмите просто два билета.— Я выпрямляюсь и вижу, как краска ползет по обращенной ко мне щеке и заливает ее всю. В эту минуту я люблю ее так, что дух захватывает, и я чувствую, как у меня тает все внутри.

На нашей остановке я пропускаю ее вперед. Делаю попытку улыбнуться, но, кажется, улыбка получается весьма жалкая.

— Благодарю за спасение утопающего.

— Какие пустяки.

Мы идем по дорожке к заводу.

— Я сейчас же раздобуду денег и вам верну.

— Пожалуйста, не беспокойтесь.

— Забыл кошелек на туалетном столике. А в кармане пальто у меня был шестипенсовик, так что, понимаете, я спохватился, только когда пересел на другой автобус. Ничего, кто-нибудь из ребят выручит.

— Да я могу подождать,— говорит она.— Ведь это всего три пенса.

— Но все-таки деньги, и они вам нужны.

— В другой раз вы заплатите за меня.

— С радостью.

Представился бы только случай! И это лишь зацепка. А там пойдет — кино, танцы, театры! Не говоря уже о шоколадах, нейлоновых чулках, духах и прочем. Да я готов потратить на нее все, что у меня есть — до последнего гроша. Пусть только слово скажет.

Мы теперь оба молчим, и я думаю: «Вот и свершилось то, чего ты так долго ждал. Ты разговариваешь с ней». Что же мне ей сказать? «Дорогая Ингрид, я сохну по вас уже много месяцев (ну если и не много, то во всяком случае месяц). А как вы ко мне относитесь? Хотите сделать меня самым счастливым парнем в Кressли? Пойдемте сегодня в кино!»

— Хорошее утро, правда? — говорю я.

— Да, пожалуй, неплохое.

Что же еще сказать? Может, что-нибудь насчет зимы?

— Интересно, будет у нас еще снег в этом году?

— Не удивлюсь, если будет. Погода стоит довольно холодная.

А не все ли равно, какая она, погода?! Солнце, снег, ветер — я люблю ее и буду любить. Если бы только знать, что она думает обо мне. Держится она по-дружески, но ведь это, может, просто из вежливости и ровно ничего не значит. Я сам каждый день любезно беседую с людьми, которые мне вовсе не нравятся. Эх, хорошо бы как-нибудь намекнуть ей...

— Занятно, правда?

— М-м-м?.. Что?

Ну, конечно, она была за тысячу миль отсюда и думала о чем-то своем. А может, о *ком-то*. Так что же тогда? Что, если у нее уже есть парень? О господи, ведь мне это даже в голову не приходило! Во всяком случае, я никогда над этим не задумывался. Старался не думать. А ведь неизвестно, как оно на самом деле. Если поразмыслить, так, скорей всего, кто-то у нее есть... ведь она такая обаяшка и вообще...

— Я вот думаю, что работаем мы вместе уже два или три года, а впервые разговорились.

— Да,— соглашается она.— Занятно, верно?

Значит, так — занятно. Этот вопрос мы выяснили. Снова наступает молчание, и снова я отчаянно ворочаю мозгами. Ну почему *она* ничего не скажет? Слышу сзади чьи-то шаги, оборачиваюсь и вижу мисс Прайс, которая размашистой, мужской походкой быстро догоняет нас.

— Доброе утро, мистер Браун. Хорошо отдохнули на праздниках?

— Да, вполне.

Ну вот и конец. От этой напасти я уже не избавлюсь.

Мисс Прайс кивает и, выставив вперед крупный подбородок, пристраивается к нам. Она закидывает за спину конец своего длинного шарфа и вышагивает в ногу со мной. Мисс Прайс смущает меня. Слишком она хорошая — такая хорошая, что не верится. Ей бы следовало подписать контракт с Артуром Рэнком *: когда я смотрю на нее, мне все кажется, что она сбежала из какого-то английского комедийного фильма. А голос! Кто-то пустил у нас шутку, что, когда мисс Прайс разговаривает, ее слышно на другом конце завода, если ветер дует в нужном направлении, и мне приходит сейчас в голову, что неплохо бы поместить ее и этого шутника-самоучку вместе в железнодорожный туннель — пусть бы там перекликались.

— Вы весело провели рождество, Вик? — спрашивает Ингрид.

То, что она назвала меня по имени, приводит меня в такой неописуемый восторг, что на секунду я теряю всякую способность соображать. Подумать только — ведь она назвала меня не мистер Браун, как мисс Прайс, и даже не Виктор, а просто Вик — как зовут меня друзья.

---

* Глава английской кинофирмы.

— Да так себе,— бормочу я наконец.— Правда, святки у нас получились весьма бурные. У сестры была свадьба.

— Прелестная девушка! — изрекает мисс Прайс, оповещая об этом не только Ингрид и меня, но и всех на пятьсот ярдов вокруг.— И жених, по словам моей сестры, очаровательный, интеллигентный молодой человек.

Тут я вспоминаю, что у нее есть сестра, тоже мисс Прайс, которая преподает домоводство в школе. Преподавать она стала уже после того, как я окончил школу.

— Это была свадьба по всем правилам, Вик? — спрашивает Ингрид, и я чувствую, что теперь у нее явно пробудился интерес. Чудно, как девчонки интересуются свадьбами даже каких-то совершенно неизвестных им людей.— А как была одета ваша сестра? — спрашивает она, горя желанием узнать все подробности.

Я не большой специалист по этим вопросам и бормочу что-то невнятное, пока мисс Прайс не приходит мне на выручку.

— Мы с сестрой были в церкви.— (Странное дело, но я их там почему-то не видел.) — Ей очень хотелось посмотреть, как мистер Лестер будет венчать, а я вообще люблю свадьбы.

Вот те на — свадьбы, оказывается, любят даже те, кто уже давно вышел из брачного возраста!

Так или иначе, она выкладывает все сведения, какие интересуют Ингрид, и та говорит:

— Мне бы очень хотелось, Вик, посмотреть фотографии, когда вы их получите.

Тут мы входим в двери нашего здания, и мисс Прайс, бросив нам: «Всего наилучшего!» — удаляется по длинному коридору.

Ингрид смеется:

— Ну и кикимора!

Я мычу что-то нечленораздельное и смотрю вслед мисс Прайс. Не знаю, но мне почему-то всегда жаль таких людей.

Мы все еще стоим, когда раздается звонок, и Ингрид говорит, что ей пора.

— Да, конечно. Я прихвачу с собой эти фотографии, когда они будут готовы.

— Пожалуйста. Мне бы очень хотелось их посмотреть.

Она уходит в том же направлении, что и мисс Прайс, а я поднимаюсь наверх. Фотографии дадут мне возможность снова поговорить с ней, если я до тех пор не придумаю ничего другого. Мне очень хочется перегнуться через перила и посмотреть ей вслед, но вокруг слишком много народу, а по лестнице к тому же поднимается Джимми Слейд, мой коллега; шея у него замотана шарфом, брюки зашпилены, а в руке — велосипедный насос, который он никогда не оставляет в гараже: боится, как бы не стянули.

— Привет, Петушок.

— Привет, Джимми.

— Снова впрягаемся, а?

— Впрягаемся.

И мы вместе поднимаемся по лестнице.

II

Завод Уиттейкера — самое крупное промышленное предприятие в Кресслн и во всей округе. На наружной стене монтажного цеха белыми кирпичами выложено: «ДОУСОН УИТТЕЙКЕР И СЫНОВЬЯ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД». Таким способом пассажиры, прибывающие поездом, оповещаются о том, что представляет собой это смрадное место на подступах к Кресслн.

Очутившись в конторском здании, вы сразу чувствуете, что строители сооружали его на века. Повсюду — прочные дубовые двери, которые достаточно покрывать лаком раз в десять лет, чтобы они блестели как новенькие. Верхняя часть перегородок почти всюду стеклянная, и, если стать где-нибудь в конце нижнего этажа, видишь весь этаж, кабинет за кабинетом, видишь людей, сидящих за столами или стоящих и беседующих друг с другом, размахивая руками, но не слышишь ни слова — точно смотришь телевизор с выключенным звуком. Помещение, где работают чертежники, самое большое: оно тянется во всю длину верхнего этажа. Здесь стекла еще больше. Перегородка, отделяющая его от коридора, сделана наполовину из стекла, а противоположная стена прорезана большими окнами, выходящими во двор. Крыша тоже наполовину застеклена, и в стене, замыкающей зал, проделано огромное окно — вроде тех, что встречаешь в церкви, только без витражей. Света для работы хватает, это верно, зато летом здесь — как в оранжерее, а зимой — как в холодильнике. Чертежные доски стоят в три ряда, и за ними можно разместить тридцать пять чертежников и конструкторов. У каждой доски стоит пресс, на котором можно разгладить чертеж, и шкафчик для хранения старых чертежей, накопившихся с той поры, когда открылась эта фирма — в тысяча восемьсот семьдесят каком-то году. Есть там и ящик для ваших личных вещей, куда можно положить сандвичи, «Манчестер гардиан», «Дейли миррор», «Наготу в фотографиях», «Спорт», а также справочники и чертежный инструмент — словом, содержимое этого ящика зависит от того, что ты за человек и что тебя интересует. Из этого большого зала двери ведут в три помещения поменьше: одно — для калькуляторов, другое — для девочек, которые готовят кальку, и третье — где снимают копии с чертежей. Копировальная машина работает на угольной дуге, и очень напоминает механическое пианино времен Бурской войны — опустишь монету, и оно сыграет песенку. На этой машине работает парень по фамилии Лейстердайк и девушка, которую зовут Фёбе Джонсон. И, наконец, в глубине верхнего этажа расположены два стеклянных куба; в одном сидит заместитель начальника бюро Миллер, которого все любят, в другом — сам начальник, Хэссоп, которого в общем-то все недолюбливают.

А подлинным хозяином здесь является мистер Олторп, главный инженер-конструктор, и у него свой отдельный кабинет (без всякого стекла), на двери которого — дощечка с его фамилией. Он дает задания, а Хэссоп с Миллером передают их для выполнения начальникам групп. Каждый такой начальник имеет в своем распоряжении от двух до двенадцати человек — в зависимости от характера работы. Казалось бы, на таком предприятии сколько угодно возможностей для приобретения опыта и повышения квалификации, однако у каждой группы свой очень узкий участок, каждый осваивает что-то одно, и его держат на этом многие годы. Так, во всяком случае, построена работа конструкторского бюро на заводе Уиттейкера.

Меня вовсе не огорчает то, что праздники кончились, потому что я люблю свое бюро и свою работу. Правда, я уже не люблю их так, как в первые два или три года, но я еще и не дошел до того состояния, когда все тебе обрыдло. Поэтому вкалываю потихоньку. Да к тому же теперь у меня появился здесь особый интерес.

До обеденного перерыва мне не удается ее увидеть, да и потом я вижу ее только в столовой, где вокруг трех столиков толпится человек тридцать. Она сидит лицом ко мне и не смотрит на меня, а я не могу оторвать от нее глаз. У нее такая манера: говорит, говорит, вдруг откинет голову и рассмеется (и смех у нее, надо сказать, на редкость заразительный); а я смотрю, как выгибается ее шея, и мне хочется провести по ней рукой, потом — по подбородку... На шее под левым ухом у нее шрам,

и его мне тоже хочется погладить — самая мысль о том, что в ее тело вонзался нож, причиняет мне боль.

Рядом со мной сидит Кен Роулинсон; из нагрудного кармана у него торчит такое множество самописок и автоматических карандашей, что их хватило бы на половину конструкторского бюро. Он просит передать ему воду, и это на миг отвлекает мои мысли от Ингрид. Опять он нацепил этот зажим для галстука. Есть у Роулинсона вещи, которые действуют мне на нервы, как, например, этот зажим. Он сделан в виде клипса, с этакой красивой цепочкой. Клипс пристегиваешь к рубашке, а галстук пропускаешь под цепочку, но Роули пристегивает клипсом галстук к рубашке, а цепочка болтается просто так, для шику. Мне не раз хотелось подсказать ему, что так не носят, но тут мне приходила в голову мысль: «Собственно, чего ради?» Он из тех парней, которым ничего не стоит выбросить на ветер десяток монет. Ну и пусть себе выглядит клоуном — мне-то что?

Он наливает воды в стакан и говорит:

— Я вчера видел хороший французский фильм.

— Да?

— «Жервеза»,— говорит Роули.— По роману Золя.— Он усиленно ковыряется в тарелке, словно боится обнаружить там какую-нибудь мерзость.— Ты вообще-то знаешь его романы?

— Кажется, нет. Золя? Похоже на название игры — вроде бинго, или людо, или канаста.

— Отличный писатель. И удивительно современный, хоть и писал лет шестьдесят или семьдесят тому назад.

— Да?

— И притом очень откровенно для своего времени. Он был у нас запрещен. Не по вкусу пришелся.

— Что, слишком сексуален? — Скорей всего, так оно и есть.

— Да нет, пожалуй, прямолинеен! — говорит Роули.

Ну, не все ли равно, как его окрестить,— пусть себе изощряется, если хочет. Я же решаю поиграть немного в циника.

— Фильм, значит, был с перчиком?

— Все в полной норме, цензурой пропущено,— говорит он.— Никакой порнографии. Но в общем — картина для взрослых.

— Идет, наверно, на французском?

— О, да. Ну, конечно, есть субтитры — для тех, кто не знает языка.

По тому, как это говорится, я понимаю, что он не принадлежит к числу таких невежд.

— Вообще-то я не против заграничных фильмов, особенно когда в них стоящих девчонок показывают,— говорю я, а сам краешком глаза наблюдаю за ним. Он морщит нос, точно ему дали понюхать что-то гадкое, и слегка краснеет.— Но меня раздражает, что надо читать перевод внизу экрана. Мне подавайте все на добром английском языке.

— Кому что нравится,— бросает Роули и, отвернувшись от меня, говорит что-то парню, сидящему по другую руку от него.

Мне немного жаль, что я перестарался и дал ему повод считать меня полным тупицей. Но, в конце-то концов, не все ли равно, что будет думать обо мне какой-то там Роули?!

Официантка ставит передо мной кусок бисквита, облитого заварным кремом, и только я принимаюсь за него, как слышу скрежет отодвигаемых стульев и, подняв глаза, вижу, что Ингрид и ее подружки встали из-за стола. Она проходит так близко, что задевает рукавом мое плечо, но и виду не подает, что заметила меня. Так мне и надо. И чего я убиваюсь, сам не знаю. Только мне от этих рассуждений ничуть не легче. Перед самыми праздниками я напутал в расчетах — вместо де-

вяти футов семи десятых поставил восемь футов две десятых, и Боб Лейси, начальник моей группы, дружески указал мне на ошибку и велел быть внимательнее. Хорошо еще, что Боб заметил, а то срезали бы лишнее, и в цехе получился бы брак. Я теперь до того боюсь чего-нибудь напутать, что почти всегда тщательно проверяю чертежи, прежде чем передать их Бобу. Но рано или поздно я наверняка еще что-нибудь навру, никто этого не заметит, и не успею я и глазом моргнуть, как меня вызовут на завод и покажут груду железного лома, стоимостью, может, в несколько сот фунтов. Вот уж тут мне не поздоровится.

Я почти уверен, что Хэссоп тоже взял меня на заметку. Обернешься, а он тихонечко подкрался и стоит у тебя за спиной — маленький, рыжий,— смотрит сквозь свои простые круглые очки и дышит смрадом, ну прямо хоть беги. Волос на голове у него почти не осталось, зато они в избытке торчат из носа. Ходит он всегда в голубовато-серых костюмах, не новых, но и не старых — должно быть, влезает в костюм, носит, пока он не залоснится, а потом покупает другой, точно такой же. Хэссоп никогда не повышает голоса, иной раз прямо хочется, чтобы он взбесился и отлаял тебя как следует, но этого не бывает. Если он уж очень рассердится, то лишь побелеет, и все, но язык никогда не распускает, разве что прикрикнет на какого-нибудь ученика. Духу у него не хватает — вот в чем дело, и все за это презирают его. Но виду не подают, потому что за спиной Хэссопа стоит мистер Олторп, а это птица совсем другого сорта. Вот уж кто умеет поддать жару — пошлет ко всем чертям и не постесняется. Поэтому все уважают его, хоть, может, и не любят так, как, например, Миллера.

Вот я и думаю, что, если дело у меня и дальше так пойдет, придется мне рано или поздно предстать пред светлые очи Олторпа. И, видно, мне этого не миновать, потому что не могу я не думать об Ингрид. А все из-за неизвестности. Вот если бы я знал, как я котируюсь...

III

Сначала берется старый нож (я обычно пользуюсь сломанным ножом, которым наша Старушенция чистит картошку) и соскабливается вся грязь или отбивается, если она наросла комом под каблуком. Затем в ход пускается жесткая щетка — поработал ею как следует, и можно накладывать крем. (Вообще-то при этом полагается вытаскивать шнурки, но мне, как правило, бывает лень, даже сегодня, хотя сегодня я стараюсь, как никогда.) Я люблю чистить ботинки, особенно если какая-то мысль не дает мне покоя, потому что, когда руки заняты, легче думается, а бывает и наоборот: работа отвлекает от мыслей. Мне нравится брать крем на тряпочку, смазывать ботинок и потом наяривать его щеткой, наяривать до исступления, пока он не приобретет глянец и не начнет блестеть, а потом пройтись по нему бархоткой, чтобы носок стал как черное зеркало. Сегодня я начищаю ботинки, потому что иду развлекаться, но и подумать мне есть о чем; время от времени я прерываю работу и все твержу себе, что это не сон и что я — это я.

Произошло это в тот день, когда я одолжил у Ингрид денег на проезд. После обеда мне сильнее, чем когда-либо, стало казаться, что старик Хэссоп нацелился на меня, а когда он без десяти пять возник у моей доски и заявил, что чертеж, над которым я начал трудиться еще за неделю до рождества, должен быть готов к утру, у меня уже не осталось сомнений, что он решил меня поприжать. Значит, придется торчать тут допоздна, и все шансы увидеть Ингрид по пути домой летят к черту. Но делать нечего — чертеж надо кончать, независимо от того, в самом ли деле он нужен Хэссопу или ему просто взбрело в голову меня за-

держать, и я принимаюсь за дело, надеясь, что это не займет у меня много времени. В бюро полно работы, и обычно две-три группы задерживаются по вечерам. Но сегодня — первый рабочий день после праздников, и никому неохота торчать тут, а потому все сматываются ровно в половине шестого. Только слышно, как щелкают кнопки настольных лампочек — это мои коллеги, по одному, по двое, покидают помещение. Мимо проходят копировщицы — зал наполняется запахом пудры и щебетом девичьих голосов, произносящих по пятьдесят слов в минуту. Без двадцати шесть в помещении остаюсь только я да еще Хэссоп с Миллером — они всегда уходят последними. Без пяти шесть я снимаю с доски чертеж и несу его в кабинет Хэссопа. Проходит еще пять минут, пока он рассматривает его и придирается то к одному, то к другому, то к третьему. И наконец я свободен.

Свет в коридорах притушен, и до меня доносится громыханье ведер уборщиц. Спускаюсь вниз и уже толкаю тяжелую входную дверь, как вдруг за спиной у меня, в коридоре, раздается стук высоких каблучков. Верно, я уже стал полным психом, потому что сразу узнаю, кто это, и сердце у меня начинает трепыхаться. Поворачиваюсь, и она улыбается мне, словно очень рада меня видеть.

— Нам с вами по пути,— говорит она.

Я открываю дверь и пропускаю ее вперед — она проходит, обдав меня запахом духов. Мы желаем спокойной ночи дежурному и выходим на асфальтированную дорожку. Мне кажется, что Ингрид чем-то раздосадована.

— Некоторые люди,— говорит она,— ну просто ни о чем не думают: все уже уходят домой, а они, видите ли, только тут вспоминают, что им надо продиктовать письмо.

— Ну, я смотрю, у вас и начальничек! — говорю я.

— О, еще какой!

— Кто же это?

— Лесли Фелтон... Можно подумать, что у некоторых людей нет дома и им некуда деваться. Хотя, конечно, нашего Фелтона винить довольно трудно — при такой-то жене...

— А что же у него за жена?

— О, сущая ведьма. Неужели не знали? Я думала, это всем известно.

Выясняется, что я не знаю очень многого, и она начинает меня просвещать. Мне не приходится занимать ее разговором — она берет это целиком на себя. Оказывается, она буквально начинена сплетнями, как воскресная газета, и, пока мы добираемся до автобусной остановки, я узнаю о наших сотрудниках куда больше, чем успел узнать за все время моей работы здесь.

Я беру два билета до города; она говорит: «Теперь мы квиты» — и улыбается.

А улыбнувшись, тотчас снова принимается болтать, продолжая рассказ с того места, на котором остановилась, но я почти не слушаю ее. Мозг мой бешено работает над решением проблемы, как получше использовать подвернувшийся случай. Я все прикидываю, с чего бы начать, а автобус тем временем мчится по дороге в город. Когда мимо проносится школа, на меня нападает паника, потому что еще минута — и мы приедем.

— Послушайте, я...— Но тут она тоже начинает что-то говорить, и мы оба умолкаем.— Продолжайте, продолжайте,— говорю я.

— Я только хотела спросить, видели ли вы новую музыкальную комедию «Встань и засверкай», которая идет в «Паласе»,— говорит она.— Интересно, что это такое.

Признаться, я понятия не имею, с чем это едят, но говорю: «По-моему, это хороший фильм», а сам думаю: «Давай, давай, давай! Чего же ты ждешь?»

— Я, собственно, сам собирался посмотреть ее как-нибудь на этой неделе,— говорю я. Опять вранье, но какое это имеет значение! Откашливаюсь.— Может... э-э... вы бы не отказались пойти со мной... посмотрим вместе?..

Она говорит «о-о!» таким тоном, словно это самое удивительное, что она когда-либо слышала, а я начинаю усиленно соображать, как достойно выйти из положения, если она откажется.

— А когда?

Я еле усидел на месте. Эх, вскочить бы, заорать от восторга!

— Я-то собирался завтра, но вообще могу пойти в любой вечер.

— Завтра — канун нового года,— говорит она,— и я иду в гости. А как насчет среды?

— Отлично.— Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье... Я могу пойти с ней в любой вечер и ходить все вечера подряд. Только бы скорей.

— Значит, в среду,— говорит она, и я киваю.

— В среду.

Пока автобус притормаживает у станции, мы торопливо договариваемся о встрече — где и когда. Подумать только, что еще утром я бы ломаного гроша не поставил на свою удачу. Вот как порой бывает.

В среду... И как только я доживу до нее.

Но я, конечно, дожил и вот теперь поджидаю ее на углу. Время — тридцать пять минут восьмого. Она опаздывает — правда, всего на пять минут, но я пришел за десять минут до срока, чтобы уж наверняка не пропустить ее, так что мне кажется, будто я жду ее бесконечно долго. Погода внезапно стала очень мягкая. Сегодня шел довольно сильный дождь, и, хотя сейчас он перестал, ветер все еще влажный. Мостовые и тротуары блестят, отражая свет фонарей, и автомобили с шуршанием проносятся мимо. Черный «суперснайп» подкатывает к тротуару, и я поспешно отступаю, чтобы он не окатил меня водой. Я смотрю вслед машине, вижу, как она останавливается и из нее выходит парень. Потом она мягко трогает с места и, набирая скорость, уносится прочь, оставляя позади себя легкий дымок отработанных газов. Вот если б у *меня* была машина... Девчонки любят парней с машинами. И это понятно. К тому же машина как бы придает человеку уверенность, этакий шик. И я начинаю рисовать себе, как я сижу за рулем легкой двухместной машины со съемным верхом — большая колымага мне вовсе ни к чему,— как я подкатываю к тротуару, а там меня уже ждет Ингрид, и, наслаждаясь выражением ее лица, я распахиваю дверцу и приглашаю ее сесть рядом. «Ну-с, куда бы вы хотели сегодня пойти? Может, махнем в Лидс или в Бредфорд, посмотрим какой-нибудь спектакль?» Вот это я понимаю, это было бы неплохое первое свидание! А после спектакля мы бы остановили машину где-нибудь в укромном местечке, я обнял бы ее, а она бы шепнула, что уже давно без ума от меня... Да, но ведь я даже и водить машину не умею. Впрочем, я бы, наверно, быстро научился. И, пожалуй, лет через пятнадцать я бы мог купить себе машину, если бы стал копить деньги и бросил курить.

Я до того размечтался, что и не замечаю, как еще одна машина начинает прижиматься к тротуару, и не успеваю отскочить, как она проносится мимо, окатив водой мои ботинки и брюки. И пропал весь блеск, над которым я столько трудился, что наша Старушенция даже заподозрила что-то неладное. Надеюсь, хоть складка на брюках

останется, так как костюм у меня из терилена — это мой новый серый костюм, который я сшил к свадьбе Крис. А состояние моих ботинок Ингрид в темноте и не заметит. Во всем же остальном я выгляжу, по-моему, вполне прилично. Брился я совсем недавно — после вечернего чая, а потом протер лицо лосьоном, который купил за шесть монет по пути с работы домой, так что пахнет от меня хорошо. Зубы вычистил очень тщательно, проследив за тем, чтобы между ними не осталось кусочков сосисок и жареного картофеля. Словом, будь у меня свидание с самой Дианой Дорс *, я, наверно, не мог бы лучше к нему подготовиться.

Без четверти восемь. А ее все нет. Вечная история с этими девчонками, просто невозможно предугадать, когда они что выкинут. Некоторые парни считают, что это делается вроде бы для игры, но я люблю во всем ясность. Я люблю точно знать, как обстоит дело. Как, скажем, знают Крис с Дэвидом. Да, вот они нашли то, о чем я мечтаю,— правда, я держу свою мечту в тайне, никому о ней не говорю.

Без десяти восемь. Дурацкое положение — стоишь на углу, все идут мимо тебя и понимают, что ты поджидаешь девчонку, а она опаздывает. Конечно, понимают, потому что никто не назначает свидания без десяти минут, и, раз ее нет, значит, либо она опаздывает, либо вовсе не придет. По-моему, четверти часа опоздания для любой девушки вполне достаточно, но я, так и быть, подожду ее до восьми, поскольку это впервые. А потом придется поставить на ней крест. Нет, это просто невыносимо — то горишь надеждой, то снова скисаешь.

— Хелло!

Я подскакиваю, оборачиваюсь и улавливаю запах свежести, исходящий от нее. В волосах у нее застряли капельки дождя, глаза сверкают при свете фонарей, рот приоткрыт, обнажая белые зубы, и она часто дышит, словно бежала бегом.

— Извините, что я так опоздала. Никак не могла уйти раньше... бежала всю дорогу... Я была почти уверена, что вы перестали меня ждать и ушли.

— Нет.— Больше я ничего не в состоянии придумать: сейчас я могу только смотреть на нее. Как она хороша, рехнуться можно. И эта девушка всю дорогу бежала бегом, чтобы встретиться со мной! Она ведь сама так сказала.— Я знал, что вы придете,— вдоволь наглядевшись на нее, произношу я наконец. И как только эти слова слетают у меня с языка, мне кажется, что я и в самом деле так думал.— Вы не из тех, которые обманывают.

— А зачем мне это нужно? — говорит она.— Я ведь могла бы сказать сразу «нет», если б не хотела прийти, правда?

Я киваю, потому что опять всецело занят разглядыванием ее. Смотрю — и не верится. Просто не верится. Не могло этого случиться со мной, тут непременно где-нибудь подвох.

— Ну? — говорит она, и тут я понимаю, что смущаю ее: нельзя же так в упор разглядывать человека.

— Потопали,— говорю я, и мы направляемся к ярко освещенному кинотеатру. Билетер стоит, прислонившись к кассе, и от нечего делать болтает с кассиршей. Смотрю на него и думаю, что его, наверно, скоро отсюда попросят, если у них и дальше дела будут так же плохи.

— Похоже, никакого ажиотажа,— говорит Ингрид.— А я думала, что нам придется стоять в очереди.

— Года три-четыре назад мы бы и стояли,— говорю я,— но не теперь. Владельцам кино туго приходится. Зачем смотреть за деньги какую-то дрянь, когда можно сидеть у телевизора и смотреть ту же дрянь даром?

---

* Английская кинозвезда.

Это рассуждение я где-то вычитал, но Ингрид смеется, и я не выдаю своей тайны: пусть думает, что это я сочинил. Хотелось бы знать, где она любит сидеть, но спрашивать ее неудобно: а вдруг она любит сидеть на самых дорогих местах и постесняется сказать мне об этом. И я беру два билета в амфитеатре — сразу за дорогими местами. Так она не сочтет меня пижоном, а я не возьму на себя обязательств, которые будут мне не по карману, если мы станем часто ходить в кино. Девица с фонариком, увидев, что мы вдвоем, освещает задние ряды, где среди пустых кресел сидят, прижавшись друг к другу, парочки. К моему удивлению, Ингрид проходит несколько пустых рядов и направляется к самому последнему. Мы протискиваемся мимо какой-то парочки: они полулежат в объятиях друг друга и даже не замечают нас. Мы садимся в двойное кресло, где нас не разделяет подлокотник, что меня вполне устраивает. Через минуту Ингрид решает снять пальто, и я помогаю ей от него избавиться. Для этого мне приходится вытянуть руку за ее спиной. А что, если ее там и оставить? Но потом я решаю, что такая интимность, пожалуй, преждевременна, и жалко будет, если я испорчу столь многообещающее начало.

С того места, где примостилась та самая парочка, доносится какой-то звук — точно лопнула резинка; девчонка хихикает и пытается оттолкнуть парня.

— Я точно тот психиатр, который пошел в «Фоли бержер» и весь вечер только и делал, что наблюдал за публикой.

— Что? — переспрашивает Ингрид, и я так и не понимаю, то ли она меня не расслышала, то ли до нее не дошла моя острота.

— Не важно.— Я шарю в кармане.— Курить хотите?

— Постойте-ка.— Она роется в сумочке.— Давайте съедим сначала это.

Она достает плитку шоколада, разламывает ее на кусочки и кладет себе на колени. Мы едим шоколад и смотрим картину. Это шоколад с изюмом и орехами, который, на мой взгляд, уступает разве что кофейному крему.

Фильм уже подходит к концу, а я все никак не могу понять, в чем его смысл. Вообще музыкальные картины, как правило, довольно глупы. Почти во всех непременно действует какая-нибудь неудачливая труппа, которая надеется, что счастье ей, наконец, улыбнется, и кто-то даст денег, и они, наконец, поставят на Бродвее свой сногсшибательный спектакль. И всегда какой-нибудь славный молодой режиссер влюблен в милую молодую особу, но не сознает этого, потому что вторая героиня фильма, страшная стерва, хотя и бешено талантливая, прочно держит его при себе. И всегда рано или поздно наступает момент, когда кто-нибудь, зайдя в сарай или куда-нибудь еще, где происходит репетиция, озирается и говорит: «Послушайте, а почему бы нам не дать спектакль прямо здесь?» И после этого все сразу начинает идти как по маслу: в день премьеры среди зрителей непременно оказывается какой-нибудь жутко богатый банкир, и, пока он подписывает чек, славный молодой режиссер за сценой вдруг понимает, что он безумно влюблен в милую молодую особу, и поет ей об этом. Бывает, конечно, что нападешь и на что-нибудь более стоящее, но картина, которую мы сейчас смотрим, как раз из таких. Однако учтите: я вовсе не жалуюсь. Я бы мог смотреть сегодня любую муру — то, что на экране, меня мало интересует, я целиком поглощен той, что сидит рядом. Она сидит так близко, что у меня дух захватывает, и я то и дело поглядываю на нее и гадаю, в самом ли деле она так уж увлечена картиной или только делает вид и когда можно будет обнять ее.

Существует несколько мнений о том, как надо вести себя во время первого свидания. Одни говорят, что боже упаси шевельнуть хоть пальцем — терпение всегда вознаграждается. Философы противоположного

направления принадлежат к школе темных углов. Их метод, по-моему, применим лишь в тех случаях, когда ты имеешь дело с девчонкой определенного сорта, которая знает, зачем ты ее позвал, и заранее на все готова. И есть еще ребята, которые придерживаются средней точки зрения: по их мнению, надо хотя бы дать понять, что ты знаешь, чем девушка отличается от парня, и отнюдь к этому не безразличен. Я же считаю, что линия поведения зависит от того, какую ты поставил перед собой цель. Можно, к примеру, не сомневаться, какую цель поставил перед собой тот парень, что сидит в нашем ряду, и судя по тому, как ведет себя его девчонка, похоже, что он своего добьется. Но я отношусь к Ингрид иначе. Мне хочется только, чтобы она полюбила меня и позволила мне проявлять к ней внимание. Я хочу быть с ней добрым и нежным; мне так этого хочется, что, как только я начинаю думать о ней, чувства захлестывают меня. И сейчас, когда она сидит так близко, совсем рядом, в темноте...

Как назло, тут начинается перерыв, зажигается свет, и билетерши разносят мороженое. Я спрашиваю Ингрид, хочет ли она мороженого, она говорит: «Нет» — и я решаю тоже воздержаться. Разговаривая с ней, я кладу локоть на спинку кресла, и, когда свет тушат, рука моя как бы сама собой соскальзывает туда, куда ее так и тянет. Ингрид не возражает — даже наоборот: почувствовав мою руку у себя на плече, она придвигается ближе, уютно устраивается, прильнув ко мне, волосы ее касаются моего лица, и я вдыхаю приятный запах хорошей парфюмерии. В следующую секунду мы уже целуемся, впервые целуемся, и это удивительно хорошо.

На улице, когда мы выходим из кино, дует довольно холодный ветер. Некоторое время мы идем по главной магистрали, потом сворачиваем на дорогу, ведущую на вершину холма, где живет Ингрид. Мы почти не разговариваем. Мне хочется сказать что-то такое, что закрепило бы наши отношения, чтобы не пропало бесследно то, что произошло в кино, но все, что было там, во мраке и тепле, здесь, среди этого холода, словно испаряется куда-то, и кажется, что нам этого уже не вернуть.

— Я очень рад, что мы провели вечер вместе,— говорю я.

— Значит, вы все-таки довольны? — говорит она, и от удивления я чуть не разеваю рот. Доволен ли я?!

— А еще встретимся? — спрашиваю я.— Скажем, в конце недели?

— Если хотите.

А если я не хочу? Она-то сама что на этот счет думает? В конце концов, ну что такое поцелуй, которым мы обменялись, сидя в кино, в последнем ряду? Мы же ни о чем не договаривались, ничего друг другу не обещали.

— Если вам неохота, так не надо,— говорю я, а у самого душа уходит в пятки: ведь я же даю ей возможность отделаться от меня.

— Нет, я с удовольствием встречусь с вами,— говорит она.

Ну, теперь все в порядке. Мы останавливаемся в начале ее улицы. Да, ветер холодющий. Я засовываю руки в карманы и втягиваю голову в плечи. То, что было в кино, куда-то уходит, улетучивается. Я чувствую, как оно тает, тает. А может быть, уже и ушло навсегда... Вот если бы я мог поцеловать ее сейчас, возможно, какая-то крупица того, что было, сохранилась бы во мне до следующего раза. Но здесь, на улице, мы снова стали совсем чужими. И я уже не могу поцеловать ее так просто и естественно, как в кино. Здесь это будет выглядеть уж очень преднамеренно.

— Пошли,— говорю я.— Я провожу вас до калитки.

— Это вовсе не обязательно.

— Но мне хочется.

— Тогда другое дело.

Мы идем по извилистой улочке, хоть и рядом, но не касаясь друг друга. Наконец, она останавливается.

— Здесь?

— Здесь.

Маленький домик современной архитектуры, стоящий в глубине сада, который уступами спускается к дороге. По нынешним ценам тысячи на две с половиной потянет. Славный домик. И если его покрасить, прелесть какой нарядный будет. Не то, что наш дом — почерневший от времени каменный фасад, два этажа да еще мезонин, большущие комнаты. Не скажу, чтобы дом у нас был неуютный — наша Старушенция на этот счет большой мастак, но чтобы обогреть его, нужна собственная угольная шахта, и уж нарядным его никак не назовешь. Интересно, что за семья у Ингрид: кто ее мать и отец, чем он занимается, я ведь ничего о ней не знаю. Я почему-то стесняюсь отца Ингрид, а почему — неизвестно: я ведь никогда не видел его и ничего такого не сделал, чтобы стыдиться.

— У вас есть братья или сестры?

— Нет, единственный младенец — это я.— И она смеется. Губы у нее при свете фонаря кажутся лиловыми, а лицо — грязно-белым. «Не можем же мы стоять тут целую ночь»,— думаю я и снова прикидываю, как бы ее поцеловать. А она, интересно, ждет, что я ее поцелую, или нет? И все же здесь это как-то не с руки.

Она отпирает калитку — щелкает засов.

— Ну что ж, пожалуй, мне пора. Спасибо за кино. Такой хороший получился вечер.

— Очень рад. Значит, до завтра.

Ну вот сейчас самый подходящий момент, пока она еще стоит рядом и лицо ее обращено ко мне. Она ждет и не понимает, почему я не целую ее.

— Да. До завтра.

Все — теперь уже поздно: она входит в калитку и затворяет ее за собой. Я провожаю ее взглядом, пока она поднимается по ступенькам крыльца, затем по крутой, взбегающей вверх дорожке дохожу до угла дома. Она оборачивается, машет мне рукой, и я машу ей в ответ.

— Эй!

— Да?

— Счастливого Нового года!

Я смеюсь.

— Спасибо. И вам тоже.

И ухожу. Интересно, думаю я, что мы будем делать в это время через год, если еще будем встречаться. Наверно, я все-таки правильно поступил, что не поцеловал ее. Может, она теперь станет лучше обо мне думать. Скорее бы уж настал субботний вечер. И я пускаюсь бегом, потому что тут не до прогулок, когда надо столько всего обдумать.

Глава 3

I

Субботнее утро. Я, точно клоп, припухаю под одеялом, и мне снится, что кто-то зовет меня. Просыпаюсь и слышу: наша Старушенция под лестницей орет так, что на другом конце улицы мертвый встанет.

— Виктор! *Виктор*! Да сколько же тебя еще звать?!

Открываю глаза.

— Уже встаю.

В двух футах от моего носа — обои. Выбор нашей Старушенции: на сером фоне вьются, переплетаясь, розы величиной с капусту. На оконном стекле — тоже цветы, только нарисованные морозом, и, высунув из-под одеяла руку, я чувствую, какой холод стоит в комнате. Несколько секунд, пока я еще лежу, мне кажется, что это обычное субботнее утро, когда я хожу помогать м-ру ван Гуйтену в его магазине. Потом я вспоминаю, что день сегодня особенный, и в груди у меня расцветает счастье, словно большой желтый цветок, яркий, напоенный солнцем и теплый.

Дотягиваюсь до часов и вижу, что уже две минуты девятого и надо поторапливаться — не то... Отбрасываю одеяло, спускаю ноги и поспешно втягиваю их назад: я промахнулся и вместо коврика попал на линолеум, а он такой холодный, что кажется, нога сейчас примерзнет. Перевешиваюсь через край кровати и отыскиваю носки. Надеваю их, затем всовываю ноги в ночные туфли. Вылезаю из постели и снова сбрасываю ночные туфли — надо же снять пижамные штаны. Брюки у меня до того заледенели, что кажется, поставь их — будут стоять. В такую погоду за складку можно не опасаться — не разойдется. Я лечу в ванную, когда Старушенция подходит к лестнице и уже открывает рот, чтобы снова приняться за свою песню, но, увидев меня, умолкает, точно ей заткнули горло пробкой.

— Пора бы уж проспаться,— бормочет она и уходит на кухню.

Через две секунды я вылетаю из ванной и, уже спускаясь с лестницы, вспоминаю, что у меня не будет времени побриться до встречи с Ингрид. Я снова ныряю в ванную, намыливаюсь, наношу себе пять-шесть увечий и весь заливаюсь кровью, словно недорезанный поросенок. На площадке встречаю юного Джима, и он, естественно, замечает кусочки туалетной бумаги, наклеенные у меня по всей физиономии.

— В другой раз получше наточи нож с вилкой,— замечает он.

— Сгинь,— говорю я, сбегая с лестницы. Настроение у меня, надо сказать, прескверное: как же я теперь встречусь с Ингрид, весь в царапинах.

С кухни доносится запах яичницы с беконом, и в животе у меня начинает урчать. Сажусь за стол, и Старушенция ставит передо мной сковородку.

— Сам виноват, если немного пережарилась,— говорит она.— Я звала тебя *шесть* раз. И что только с тобой сталось: легче мертвого из могилы поднять, чем тебя из кровати вытащить. Ты теперь научился отвечать мне, не просыпаясь.

Я принимаюсь за еду,— пусть себе болтает. Ей полезно немножко побездельничать. Ведь она с пяти часов на ногах — отца на работу провожает. Старик уже тридцать лет твердит ей, что сам может справиться, но она и слушать не хочет. Говорит, он еще завтрак забудет, если она не проследит, и всегда встает проводить его, разве что сама лежит в лежку.

Она смотрит, как я вычищаю тарелку кусочком хлеба.

— Нельзя так глотать живьем,— говорит она.— От такой еды никакой пользы нет. А чаю ты выпьешь?

Я говорю, что выпью и еще съем хлеба с джемом, и она принимается делать мне бутерброд. Хлеб наша Старушенция берет так, точно это цыпленок, которому она сейчас свернет шею.

— Я бы на твоем месте пошевеливалась,— говорит она.— Нельзя опаздывать. Вовсе ни к чему, чтобы у мистера ван Гуйтена составилось о тебе плохое мнение, да еще после того, как он дал тебе пять фунтов на рождество.

— То ты говоришь, что я все живьем заглатываю, то велишь мне пошевеливаться, чтобы не опоздать.

— А надо делать все заблаговременно — тогда и есть будешь как следует и везде поспеешь. Тебе бы надо завести такую книжку, как у твоего двоюродного брата Уолтера. У него все утро по минутам расписано: столько-то на одно, столько-то на другое. Вот уж он не станет глотать не жуя или бежать сломя голову за автобусом.

Я корчу рожу. Мой двоюродный брат Уолтер — высокий тощий малый с огромным носом — работает в банке. Я его не слишком обожаю. В какой-то мере, наверно, потому, что все наше семейство считает его верхом совершенства. А я думаю, что стоит моему двоюродному брату Уолтеру расстроиться утром из-за денег, и вся его система полетит к черту.

— Не беспокойся,— говорю я нашей Старушенции,— я не опоздаю, только ты уж перестань меня донимать.

— Перестать-то я перестану, но сначала уши тебе надеру, молодой человек, за такие слова. Отхлестаю как следует, хоть ты и бреешься и считаешь себя совсем взрослым. Посмотрел бы на свое лицо. Да разве можно с такой физиономией показаться утром на улице и еще стоять в магазине за прилавком и обслуживать посетителей.

— Я сниму все эти заплатки, когда приду туда,— успокаиваю я ее. А в действительности я и сам несколько обеспокоен своим видом. Ничто так не раздражает меня, как порезы во время бритья — потом не один день приходится осторожничать, чтобы не содрать кожу снова на том же месте. Но сейчас уже ничего не поделаешь. Что же до Старушенции, то если она захочет выдрать меня, так выдерет и глазом не моргнет. У нее ведь нет чувства юмора, это всем известно, кроме нее.

Еще две минуты, и, проглотив чашку чаю и два куска хлеба с джемом, я выскакиваю из дома и мчусь под гору — на остановку автобуса. Солнце уже прогрело воздух, но мороз еще не везде сдался, оставив кое-где пластинки льда, так что я чуть не шлепаюсь. А бегу я на автобус, который останавливается у подножия холма, на углу. Кондуктор стоит на площадке и смотрит в мою сторону, и сначала мне кажется, что это он меня дожидается. Но он нажимает на кнопку звонка, когда мне остается еще ярдов двадцать до автобуса,— я делаю рывок и, ухватившись за поручень, прыгаю на площадку.

Кондуктор — жалкий малый — ковыряет в гнилых зубах обструганной спичкой.

— Если будешь так прыгать, рано или поздно останешься без головы,— говорит он, глядя на то, с какой жадностью я заглатываю воздух, будто это мой последний вздох.— Надо бы остановить автобус и высадить тебя.

— Ты же видел, что я бежал, да? Ты что, считал, что я бегу для тренировки, или как?

— Это же не последний автобус. А у нас график, понятно?

На языке у меня вертится одно хорошенькое словцо, но я проглатываю его и протягиваю деньги.

— Три пенни.

— Докуда тебе?

— До Рыночной улицы.

— Четыре пенса.

— С горы — всего три пенса.

— А это автобус специального следования,— говорит кондуктор.— И проезд на этой трассе стоит четыре пенса, потому что мы объезжаем вокруг ратуши.

Я протягиваю ему еще одно пенни.

— Скажи спасибо, что я сел: теперь ты на четыре пенса богаче будешь,— говорю я ему.

Он качает головой и прищелкивает языком, показывая гнилые зубы.

— Только не я, приятель. Мне-то ведь все равно.

Я беру билет и отправляюсь наверх. Второго такого жалкого типа я едва ли сегодня встречу, думаю я, и хорошо, что эта встреча позади.

По субботам я работаю в музыкальном магазине м-ра ван Гуйтена на Рыночной улице. Остальные дни недели там работает сам м-р ван Гуйтен да еще Генри Томас, который занимается мелким ремонтом в комнатке за магазином, а по субботам я встаю за прилавок и помогаю в предпраздничной торговле. Отец м-ра ван Гуйтена был голландцем, но сам м-р ван Гуйтен, по-моему, такой же англичанин, как и я,— голландского в нем только и осталось, что имя да иной раз, когда он очень разволнуется, несколько ломаных слов. Не все знают, что фамилия у него голландская. Многие вместо «ван» говорят «фон», и она сразу становится немецкой. Вот почему в первую мировую войну швыряли кирпичи в окна дома, принадлежавшего отцу м-ра ван Гуйтена. Люди тогда не были такие всезнайки, как сейчас, и даже не догадывались, что м-р ван Гуйтен и его отец ничем не отличались от прочих обитателей Кресс-ли и точно так же терпеть не могли немчуру; и догадались все об этом лишь тогда, когда м-р ван Гуйтен пошел добровольцем на фронт и вернулся домой в английской военной форме. Мой Старик тоже тогда вступил в армию, и они подружились с м-ром ван Гуйтеном, хотя м-р ван Гуйтен был уже солидный дядя, а мой отец — еще совсем сосунок, моложе, чем я сейчас. После войны дела у отца м-ра ван Гуйтена — а он был антикваром — пошли вкривь и вкось, и однажды вечером он застрелился, предоставив сыну выкручиваться, как сумеет. М-ру ван Гуйтену очень не везло: вскоре после смерти отца он женился, а через несколько лет жена его умерла от рака. Снова он остался один и больше уже не стал обзаводиться семьей. Долгое время он зарабатывал себе на жизнь тем. что играл на пианино в театральных оркестрах и на сеансах немого кино, а потом открыл этот магазин.

Нельзя сказать, чтобы м-р ван Гуйтен был близким другом нашей семьи, но Старик и Старушенция всегда вспоминают о нем и посылают ему поздравления к рождеству, а когда составляли список гостей на свадьбу Крис, он был в числе первых. Как я стал работать у него в магазине? Очень просто: однажды в субботу Старик прочел в «Аргусе» объявление о том, что магазину нужен приказчик на один день, и сказал об этом за обедом. Я увидел возможность подработать, да и место это было мне по душе. Старик пошел и без долгих разговоров условился обо всем. Это было год тому назад, и пока я не жалею о своем решении. Мне нравится обслуживать покупателей, заполняющих магазин по субботам, нравится видеть не только Хэссопа, Миллера, Роулинсона и Конроя изо дня в день, а и какие-то другие, каждый раз новые лица. Порой мне кажется, что вот та работа, для которой я создан; только если стать приказчиком насовсем, то это очень мало дает, а так м-р ван Гуйтен платит мне за субботу тридцать монет, и это ощутимо дополняет мое жалованье.

В магазине я появляюсь после девяти, когда м-р ван Гуйтен уже открыл его. У дверей стоит «моррис», и Генри дожидается меня, чтобы приступить к погрузке. Фургончик — светло-голубой, и на нем черными буквами выведено имя м-ра ван Гуйтена. Выглядит он как новенький, да и неудивительно, потому что куплен он всего полгода назад. Тот, который был у м-ра ван Гуйтена раньше, служил ему еще с довоенных времен и не имел никаких отличительных знаков. Когда я вхожу в магазин, м-р ван Гуйтен сидит в своей клетушке в конце длинного прилавка, отгороженный от всего света матовым стеклом, и просматривает свои книги. Мы с Генри выносим из магазина два новых телевизора и приемник, а также три телевизора, которые находились в ремонте.

— Недурная выручка у нас за эту неделю, а, Генри! — говорю я, когда, покончив с погрузкой, мы останавливаемся передохнуть у фургончика.— Добра тут больше, чем на двести монет.

Генри — маленький тощий человечек, обремененный толстухой женой и пятью мокроносыми детишками. Он носит очки, и волосы у него всегда стоят торчком, хотя кажется, что он смазывает их чем только можно, начиная с жидкого парафина и кончая салом. Он достает из-за уха сигарету, сует себе в клюв и закуривает. В ответ на мое замечание он покачивает головой, и я понимаю, что он сегодня встал с левой ноги. Не помню, впрочем, чтобы он когда-либо вставал с правой.

— Хотелось бы мне верить, что такой спрос удержится, Вик,— говорит он и снова покачивает головой.

— Удержится?! — говорю я.— Да ты что?! Дела идут блестяще. У нас еще хватает товара, чтобы всех удовлетворить.

Но таков уж он, наш Генри,— вечно видит все в черном свете, а если для этого нет оснований, так он их в два счета выдумает. Не знаю, может, и я был бы такой, будь у меня толстая жена и пять мокроносых ребят. А пока у меня не выходит из головы Ингрид, и стоит мне подумать о ней и при этом посмотреть на Генри, как мне становится жаль его.

— Ты считаешь, этот бум долго продержится, Вик? — говорит он, попыхивая сигаретой.— Но ведь рано или поздно настанет такой момент, когда все насытятся, а?

— А ты посмотри на пластинки,— говорю я.— Казалось бы, телевизор должен был начисто убить это дело, а получается наоборот. Люди видят на экране какого-нибудь парня — и бегут в магазин купить его пластинку. И ведь каждый месяц выпускают все новые и новые.

— Но ведь ты же не покупаешь каждый месяц новый телевизор?

— Ну и что же? Телевизоры ремонтируют, верно? Ну а как, например, с машинами? Вот скажи мне: как с машинами? А посмотри, сколько их выпускают. Куда же они все деваются? Не знаю. Казалось бы, сегодня у нас в стране у каждого должно быть по две машины, но у меня, к примеру, нет ни одной, да и у тебя тоже.

— Ах,— говорит Генри,— это же совсем другое дело. Ничего тут и общего-то нет...

Я вижу, что глаза у него заблестели и указательный палец поднят вверх — эти симптомы мне хорошо известны. Сейчас он начнет приводить цифры, а уж если Генри оседлает статистику — пиши пропало. И откуда только он все это берет, ума не приложу; иной раз мне кажется, что он, сам того не подозревая, сочиняет это во сне.

— Я на этот счет немало думал,— говорит он.— Ты же знаешь, это у меня вроде конька. И вот пришел к двум-трем выводам...

— Прибереги-ка свои выводы до обеденного перерыва, а то мистер ван Гуйтен накрутит нам хвост за то, что мы бьем баклуши.

Генри — человек сознательный, он понимает, что я прав, и умолкает. Но при этом издает горестный вздох — наверно, он всегда так вздыхает, когда ему не дают выговориться,— тушит сигарету, застегивает куртку и распахивает дверь кабины.

— Хорошо,— говорит он.— Но все мы живем иллюзиями, вот что я скажу. Иллюзиями, Вик. Всеобщая занятость и процветание в делах? Такого не бывает, мой милый. И когда наступит крах, не говори, что я тебя не предупреждал.

— Вместе будем получать пособие по безработице, Генри,— говорю я и улыбаюсь.

Он окидывает меня взглядом.

— Пособие по безработице? — говорит он.— Ты спроси своего отца, что такое пособие по безработице, милый.

И выпустив, как говорится, этот свой последний заряд, он захлопывает дверцу и включает мотор. Этакий горе-утешитель, как назвала бы его наша Старушенция. Я смотрю ему вслед и вхожу в магазин.

— Продавайте скорее свой магазин и вкладывайте деньги в зеленную торговлю, мистер ван Гуйтен,— говорю я, проходя мимо конторки.

М-р ван Гуйтен поднимает от книг свою большую косматую голову и серьезно смотрит на меня поверх матового стекла.

— Почему же это, Вик?

— Генри говорит, что мы живем иллюзиями.

— Ах, *Генри* говорит! Наш доморощенный экономист...— М-р ван Гуйтен широко улыбается, показывая зубы, которые торчат у него из десен, точно надгробия на старом кладбище, где уже давно никого не хоронят.— В работе приемников Генри разбирается отлично, и если чего и не знает, так сущей ерунды, а вот на его суждения о финансовых аспектах нашего дела никак нельзя положиться.— И м-р ван Гуйтен ухмыляется, точно открыл в Генри величайшего комика наших дней.

Я выжидаю немного и потом спрашиваю, чем мне заняться.

— Сейчас подумаем,— говорит он и поднимает очки на лоб.— Ну-ка, ну-ка...

Этот м-р ван Гуйтен — человечек совсем особого рода. Он говорит такое, чего ни от кого другого в жизни не услышишь. Одевается он как настоящий джентльмен старой закалки — черный пиджак, брюки в полоску и воротничок, как у пастора. Нужно очень присматриваться, чтобы заметить на его жилете и брюках пятнышки от завтрака и пепла. М-р ван Гуйтен много курит, хотя в общем-то его не назовешь рьяным курильщиком. Он закуривает сигарету, и она висит у него изо рта, а пепел сыплется на конторские книги, и он рассеянно сбрасывает его. Да, выглядит он как настоящий джентльмен, и мне особенно нравится белый платочек, который торчит из его нагрудного кармашка. Торчит этак небрежно, на артистический манер, словно м-р ван Гуйтен хочет этим сказать: «Не беспокойтесь, я знаю, как надо одеваться, но, право же, мне не до того, чтобы заниматься всякими мелочами».

Итак, м-р ван Гуйтен раздумывает и затем изрекает:

— По-моему, тебе следовало бы просмотреть новые пластинки, которые мы получили. Если ты, конечно, не возражаешь. Не сомневаюсь, что некоторые из них будут сегодня спрашивать, и надо знать, где их найти.

— Вы совершенно правы.

«Если не возражаешь»! Но ведь он хозяин — как же я могу возражать? Но таков уж м-р ван Гуйтен — всегда вежливый, обращается с тобой как с человеком; иметь дело с ним — сплошное удовольствие.

Итак, я начинаю разбирать пластинки, коробки с которыми громоздятся за прилавком. Тут все последние новинки — Фрэнки Воган, Томми Стил и Элвис. Сегодня целый день молодежь будет заходить за ними — накупят целую кучу, притащат домой и будут проигрывать до тех пор, пока и их самих, и всех соседей вокруг не начнет тошнить. А на следующей неделе они прибегут покупать новые. Каждую субботу они являются в магазин и покупают пластинки — и самых известных исполнителей, мода на которых держится годами, и мало известных, которых через полтора года никто и не вспомнит. Я не очень-то обращаю внимание на сетования и вздохи Генри, но иной раз и сам задаюсь вопросом, долго ли может так продолжаться. А пока дело м-ра ван Гуйтена, слава богу, процветает. Сам-то он любитель Бетховена. Я раз слышал, как он говорил одному покупателю, что очень любит какие-то там «последние квартеты» — понятия не имею, что это такое. Но вместе с тем он не прочь делать бизнес и на совсем других вещах. А я — я люб-

лю самые разные вещицы, главным образом такие, которые можно насвистывать. Но, что ни говори, немало всякой дряни попадает от нас к покупателю, на это нечего глаза закрывать.

Проверив поступления, я передаю м-ру ван Гуйтену накладные. Затем отбираю заказанные пластинки, а остальные сортирую и раскладываю по коробкам. Раскладывать пластинки по коробкам — это моя идея. Раньше м-р ван Гуйтен хранил их согласно номерам в каталоге.

— Послушайте, мистер ван Гуйтен,— говорю я ему однажды в субботу утром,— я все думаю насчет того, как вы сортируете ваш товар.

Он отрывается от каких-то своих дел и слушает меня.

— Когда покупатель приходит за пластинкой, мы отыскиваем ее в каталоге, находим нужный номер и, если она у нас есть, продаем ее. Так?

Он неторопливо кивает:

— Так.

— А если у нас ее нет, предлагаем покупателю заказать ее. Но люди не всегда согласны ждать, и в таких случаях они отправляются за пластинкой в другое место.

— Совершенно верно,— говорит м-р ван Гуйтен.— Но мы же не можем иметь все на свете.

— Конечно, не можем. А что, если разложить пластинки по коробкам — сообразно исполнителю, а для классической музыки — композитору и сделать соответствующие наклейки. Приходит к нам покупатель, скажем, за пластинкой Перри Комо, мы вынимаем коробку с Перри Комо и ищем ее. И покупатель ищет вместе с нами. Таким образом, он видит не просто каталог с названиями пластинок, которых у нас может и не быть, а сами пластинки, которые у нас есть. Десять шансов против одного, что он обнаружит какую-нибудь пластинку, про которую он либо забыл, либо не знал. В результате мы будем продавать в три, а то и в четыре раза больше, чем сейчас.

М-р ван Гуйтен глядит на меня поверх очков.

— Ты что же, предлагаешь, чтобы наши покупатели рылись в пластинках, как они роются в книгах у букинистов?

— Совершенно верно. Букинисты вылетели бы в трубу, если бы покупатель видел только ту книгу, которая ему нужна. Очень часто человек сам не знает, чего он хочет, а так человек зайдет и посмотрит пластинки, которые могут его интересовать. Конечно, придется смотреть в оба, чтобы покупатели не попортили пластинок... Вам ясна моя идея, мистер ван Гуйтен?

Он кивает.

— Я все понял, Виктор. Я подумаю и скажу тебе.— И он снова утыкается в свои книги, но я знаю, что он это сказал не зря: он обдумает мое предложение, потом скажет, что он решил.

Уже в следующую субботу он заводит об этом разговор.

— Эта твоя идея, Вик, мне нравится,— говорит он.— А как нам провести ее в жизнь?

Мне не терпится начать тут же.

— Да это не сложно,— говорю я.— Нам нужно только много коробок, а наклейки я сам сделаю — у меня есть дома детский набор для рисования.

— Я думаю не об этом, а о перестройке всего дела, Виктор. Это потребует времени, а ты работаешь у меня только по субботам, когда у нас и без того дел по горло.

Я говорю ему, что готов прийти раза два вечером, после работы. Он недоверчиво поглядывает на меня.

— Ну, если только тебе не жаль потратить на это свободное время,— говорит он.

— Да что вы! С удовольствием. Я люблю заниматься такими вещами.

— Ну, а я оплачу тебе эти вечера, как субботний день.

— Видите ли, я не думал о деньгах, мистер ван Гуйтен,— говорю я, и это правда. Я вовсе не хочу, чтобы он считал, будто я просто стремлюсь зашибить побольше. Главное-то ведь в идее.

— Ну, так теперь подумай, мой мальчик,— говорит он.— Ты будешь тратить на меня время, и я оплачу тебе его. Дело есть дело.

Словом, заготовил я дома наклейки, целую неделю по вечерам ходил в магазин и рассортировал все пластинки. У меня неплохая память на то, что меня интересует, и под конец я, по-моему, знал наизусть весь наш фонд и мог, не сверяясь, сказать, есть у нас та или иная пластинка или нет. Первые два вечера м-р ван Гуйтен помогал мне, а потом стал оставлять меня одного, и я сам запирал магазин, а ключ заносил ему домой. Мне приятно было, что он мне так доверяет. Ведь я мог унести что угодно, а он даже и не узнал бы об этом. Словом, это его доверие побудило меня подумать еще кое о чем — например, о том, чтобы по субботам изменить обеденные часы и не закрывать магазин в самое горячее время. Немного погодя мы и это провели в жизнь.

И вот теперь, разложив по коробкам все новые пластинки, я окидываю взглядом магазин. Раньше покупатели прослушивали у нас пластинки на одном из свободных граммофонов, а теперь в глубине магазина оборудованы звуконепроницаемые кабины. Но иной раз по субботам их не хватает, и я думаю о том, что надо бы перенять то, что я видел в Лидсе: там прямо в магазине стоят проигрыватели с наушниками, так что можно слушать, никуда не удаляясь. Интересно, понравится ли м-ру ван Гуйтену такая идея. Во всяком случае, я ему об этом непременно скажу.

II

— Привет!— говорит она.— Я привела с собой подругу. Надеюсь, вы не возражаете.

— Нет, нет...— говорю я, как идиот. Ну, а что еще, черт побери, могу я сказать? Сердце у меня сразу упало, так и шмякнулось в самые пятки: я понял, что дело мое худо. Это ведь известно, для чего так делают — чтобы отвадить парня. Девушка не отказывается от свидания, но приводит с собой подружку, чтобы ты и близко к ней подойти не мог. И если ты больше не пригласишь ее, что ж, значит, все в порядке: понял намек.

Я разглядываю их при свете фонаря. Они стоят под руку: Ингрид — аккуратная, чистенькая, свежая, как всегда, и эта уродка с землистым лицом, толстым носом и ртом словно трещина в пироге. Меня часто удивляло, как это девчонки так странно объединяются: если одна хорошенькая, то другая непременно страшилище. То и дело встречаешь такие пары: а сколько парней, наверно, из-за этого перессорились — ведь страшилище-то тоже должно кому-то достаться! А мне сегодня, похоже, либо надо быть с обеими, либо ни с одной. Подружка же не только присутствует, а еще и одаривает меня довольно-таки красноречивым взглядом.

Сегодня воскресенье, и вчера мы встречались во второй раз. Но было это совсем не так, как в нашу первую встречу. Мы пошли в центр, в кино с обитыми плюшем креслами и чинно сидели там, держась за руки. Впрочем, это тоже было совсем не плохо, но стоило нам очутиться на улице, как мы словно утратили все, чего успели за это время достичь,— совсем, как в среду вечером. Поэтому я и предложил сегодня погулять, чтобы поглядеть, как оно будет, если мы все время проведем на улице.

И вот теперь это. От ворот поворот, иначе не скажешь.

— Это Дороти,— говорит Ингрид.— А это Вик.

До чего же мило и благовоспитанно, как и подобает такой милой и благовоспитанной молодой особе. А эта самая Дороти не говорит ни слова, только таращит на меня глаза так, что мне даже хочется спросить ее, что она такое узрела. Итак, мы стоим под фонарем — стоим втроем, и один из нас явно лишний, и этот лишний я, рохля.

— А вы знаете такую девушку — Мэри Фицпатрик?— ни с того, ни с сего вдруг спрашивает меня Дороти.

Все они, эти девчонки, на один лад: обожают ошарашить человека каким-нибудь вопросом, под которым, кажется, черт-те что сокрыто. Этот, например, вопрос наводит меня на мысль, что ей известна обо мне какая-то пакость, и я пытаюсь представить себе, что бы это могло быть. Уродины знают, что не могут ослепить человека своей внешностью, так пытаются зацепить иначе.

— Да, знаю.

— Ну, а меня вы, конечно, не знаете, правда?— говорит она таким тоном, будто хочет сказать: «Но сейчас вы об этом пожалеете!»

— Насколько мне известно, с вами я раньше не был знаком,— говорю я ей.

— Зато я вас знаю,— говорит она,— и знаю Мэри Фицпатрик.

— Передайте ей от меня привет, когда увидите,— говорю я. А сам думаю: «Интересно, куда это она гнет?»

— В свое время вы это сами делали, а не поручали другим, правда?

— В отношении Мэри Фицпатрик? Я что-то не пойму, о чем вы.

Мы с Мэри Фицпатрик когда-то жили на одной улице, и помнится, однажды я танцевал с ней, а как-то раз проводил ее домой, потому что она была одна, а мне все равно было по пути с ней. Вот и все, и ничего больше. Правда, я ей, кажется, нравился, но она девчонка не моего типа, и притом католичка, а я хоть и не религиозен, все же принадлежу к англиканской церкви, и совсем уж ни к чему, чтобы еще и религия осложняла дело. Но эта Дороти говорит таким тоном, точно я наградил Мэри Фицпатрик младенцем.

— Я ведь едва знаком с ней,— говорю я.

Интересно, поверит этому Ингрид? А впрочем, не все ли теперь равно, поверит она или нет? Она смотрит то на меня, то на Дороти, как бы стараясь понять, что происходит, и у меня возникает неудержимое желание смазать этой Дороти по физиономии: я уже вижу, что она за птица, а я таких терпеть не могу.

— Ну,— говорит Ингрид,— куда же мы пойдем?

— Куда хотите,— говорю я. Мне уже расхотелось гулять. А вести ее опять в кино — как-то это примитивно.

— В таком случае, может, мы пойдем туда, к парку?

— Если хотите.

Во всяком случае, это не в сторону центра, и меньше будет опасности, что кто-нибудь увидит меня с ними двумя.

Итак, мы поднимаемся вверх, на холм, и они по-прежнему шагают рядом, вцепившись друг в дружку, точно боятся, что сейчас кто-нибудь выскочит на них из-за угла. Втроем идти рядом по тротуару невозможно, и мне приходится топать по мостовой. Это как-то уж совсем отрезает меня от Ингрид, и я все отчетливей чувствую, что я тут лишний. Интересно, сколько я так выдержу? А потом придумаю какой-нибудь предлог и сбегу. Однако вечер все-таки отличный. Мы идем по дороге, которая ведет вверх, на холм; с одной стороны — дома, а если взглянуть вниз, с обрыва,— перед тобой залитая огнями долина и дорога, вьющаяся к перевалу и дальше, на Калдерфорд. Именно о таком вечере я и мечтал — сухом и холодном, когда можно погулять и поболтать и получше узнать друг друга. А сейчас все пошло вкривь и вкось, и от прогулки нет ника-

кого толку. За пять минут я ни разу рта не раскрыл. Эта Дороти все мне испортила, да и вообще есть ли смысл стараться, когда и так все ясно. Я не самый умный парень на свете, но прочесть то, что написано черным по белому, могу не хуже всякого другого.

Дороти идет по другую сторону от Ингрид и что-то говорит ей, но что — я не слышу. Похоже, отпускает какую-то шуточку, не предназначенную для моих ушей, потому что говорит она очень тихо, а потом обе хохочут. У меня такое чувство, что они смеются надо мной, а если даже и нет, это свинство и невоспитанно так себя вести.

Тут Дороти повышает голос и говорит:

— Смотри, вот здесь живет Ральф Уилсон.

На вершине холма, по эту сторону парка, стоит несколько роскошных особняков, и она показывает на один из них — очень большой, укрывшийся за деревьями. На подъездной аллее у дома стоит автомобиль — кажется, «армстронг сидли».

— Я не знала, что они переехали,— говорит Ингрид.

— Как же! Они здесь уже давно,— говорит Дороти.— Ну и зазнался же он с тех пор, как они перебрались в эту громадину. Еле разговаривает при встрече.

Этот Ральф Уилсон сразу вызывает во мне симпатию, во всяком случае своим отношением к Дороти.

— Не понимаю, почему это он вдруг зазнался,— говорит Ингрид.— Они и раньше жили в довольно большом доме, и родные его были люди богатые. Однако со мной он держится по-дружески, когда я его встречаю.

— С кем, с кем, а уж с тобой он, конечно, будет держаться по-дружески,— говорит Дороти, и тон у нее опять такой, точно она знает куда больше, чем говорит. Но Ингрид ей этого не спускает.

— Это почему?

— Ну, после того случая в теннисном клубе, когда вы оказались запертыми в раздевалке и никто не мог к вам попасть.

— Ты же прекрасно знаешь, что это сделал Гарри Норрис. И ключ все время был у него.

— Это-то я знаю, но я говорю о том, что было в раздевалке. Что-то никто из вас не торопился побыстрее выбраться оттуда.

— А всем именно этого и хотелось, чтоб мы подняли крик и шум, да?

— Всем, кроме Ральфа Уилсона. По-моему, это он и подучил Гарри Норриса.

— Во всяком случае, если и подучил, то ничего этим не добился.

— Ну, он-то говорил нечто другое. Я слышала, что он рассказывал ребятам.

— Не понимаю, почему ты затеяла этот разговор,— говорит Ингрид.— Я уверена, что Вику вовсе не интересны все эти старые сплетни.

— Ну, не знаю,— говорит Дороти.

— Зато вы, видно, знаете толк в настоящей дружбе, верно? — говорю я.

— Что вы хотите этим сказать?— спрашивает Дороти.

— Вы понимаете, что я хочу сказать. Сначала вы пытались состряпать что-то насчет меня, а теперь настала очередь Ингрид.

Сыт я всем этим по горло и, кажется, скажу сейчас такое, что все испорчу, раз и навсегда. Но я уже не владею собой. Если эта Дороти сорвала нам свидание, пусть пеняет на себя.

— Да кто вы, собственно, такой, чтобы так со мной разговаривать? — заявляет она мне.— Я такое о вас знаю, что едва ли вам понравится, если я это всем расскажу.

Мы останавливаемся, и я смотрю прямо в ее мерзкую рожу.

— Меня такими разговорчиками не запугаешь,— говорю я ей.— Ничего вы обо мне не знаете, кроме того, что все знают. А если вы хотите состряпать сплетню, советую вам прежде хорошенько подумать.

— А что вы можете мне сделать?— фыркает она, не сдаваясь.

Тут уж я обозлился как черт. Мне вспомнилось, сколько времени я вздыхал по Ингрид и какие планы строил на сегодняшний вечер. А она взяла и все испортила своими грязными намеками. И я выдаю ей сполна, а там будь что будет.

— Спущу штаны и отлуплю тебя как следует,— говорю я.— Очень жаль, что никто до сих пор этого не сделал.

— Только троньте меня, я позову полицию.

— Не бойся, не трону, но вот эта ухмылочка скоро слетит с твоей рожи.

— Это еще почему?

— А потому, что любому парню, который до тебя дотронется, надо медаль выдать. Ему пришлось бы мешок надеть на голову, прежде чем он согласился бы уединиться с тобой в теннисном клубе.

В первую секунду мне кажется, что она сейчас набросится на меня, искусает всего и исцарапает, и я делаю шаг назад и даже приподнимаю руки в целях самозащиты. Но она вдруг поворачивается ко мне спиной и начинает рыдать, как ребенок.

— Зачем вы ей такое наговорили?— укоряет меня Ингрид.

— А ну ее к черту,— говорю я.— Чего она совалась не в свои дела?

Дороти, продолжая всхлипывать, делает шаг-другой по дороге. Ингрид смотрит ей вслед.

— Видите, она уходит.

— Ну и что же вы теперь будете делать?

— Я не могу ее оставить.

— После всего, что она тут пыталась про вас наговорить?

— Вы ее не знаете. Такая уж у нее манера. Она ничего дурного не думала.

— Все они так говорят, эти старые сплетницы, а сами делают гадости. Они никогда ничего дурного не думают.

— Но вы же ее не знаете.

— И знать не желаю. Достаточно я на нее нагляделся.

Она стоит на краю тротуара, точно не может решить, как ей быть, а я думаю: ну к чему она разводит эту бодягу.

— В общем, не могу я ее оставить.

— А зачем вы ее брали с собой? Ведь у вас же было свидание со мной, не так ли?

— Она зашла к нам в гости. Не могла же я ее выставить. Все-таки она моя лучшая подруга.

— Вот уж никогда бы не подумал.

«Ничего умнее не могла изобрести»,— думаю я. Почему бы ей прямо все не сказать? К чему эти увертки? За это время Дороти успела отойти от нас уже ярдов на двадцать. Голова у нее опущена — похоже, что фонтан еще не иссяк.

— Придется мне пойти с ней,— говорит Ингрид.— Вы же ее обидели. А она такая чувствительная.

— А почему она не думает о том, что другие тоже могут быть чувствительными?

— Такая уж она есть... Ну, я должна идти...

— Хорошо.

— В понедельник увидимся на работе.

— Я там бываю не только по понедельникам.

Она отходит на два-три шага.

— В таком случае, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Она поворачивается и идет следом за Дороти, которая уже исчезла за углом. Я провожаю ее взглядом, пока она в свою очередь не скрывается за углом, затем иду назад, под гору. И чувствую я себя таким несчастным, что хоть караул кричи.

Глава 4

I

Утро понедельника приносит с собой одну приятную неожиданность — Хэссоп не вышел на работу. Я разговаривал с Миллером у него в кабинетике, когда вдруг затрещал зуммер внутреннего телефона и загорелась кнопка — вызывает м-р Олторп. Миллер снимает трубку, нажимает на переключатель и с минуту слушает. Потом говорит:

— Нет, он еще не приходил, мистер Олторп... Да, пожалуй, он неважно выглядел в пятницу... Да, совершенно верно, сейчас иду.

Он опускает трубку на рычаг, сует блокнот в карман халата и делает шаг к двери. Почти все мы в конструкторском бюро носим халаты — просто удивительно, сколько грязи вокруг: и графельная пыль от карандашей, и копоть от заводских труб. Появился у нас как-то парень в белом халате — тотчас посыпались шуточки насчет мороженщиков, потому что все у нас ходят в халатах цвета хаки или грязно-серых. Парень этот долго у нас не задержался — не сработался.

— Я вызову вас позже, Вик,— говорит Миллер, выходя из кабинетика.

— А что там с Хэссопом?

— *Мистером* Хэссопом,— поправляет меня Миллер и уходит, так и не ответив на мой вопрос.

Когда я прохожу на свое место, Джимми, работающий за соседней доской, поднимает голову.

— Куда это сегодня девалось старое Тявкало?

— Мистер Тявкало, к вашему сведению,— говорю я.

— Мистер Гораций Эдвард Хэссоп эсквайр, в просторечии Тявкало,— провозглашает Джимми.— Для некоторых — старина Хэссоп, для других — зануда.

Я, не торопясь, затачиваю новый карандаш.

— Похоже, что плохи его дела. При удаче может оказаться и воспаление легких, тогда мы не увидим его целых полгода.

— С меня хватило бы и недели,— говорит Джим.— Я благодарен судьбе и за маленькие радости.

Мимо проходит Конрой со свертком чертежей под мышкой. Вид у него, как всегда, страшно сосредоточенный, большая голова втянута в плечи.

— Что там с Хэссопом?

— Вроде бы грипп.

Он вздыхает и движется дальше. Конрой — один из тех, без кого, ей-богу, я тоже мог бы обойтись.

Я затачиваю карандаш так, что он становится похожим на острие стилета, затем смахиваю щеточкой пыль с доски. Все вроде бы работают, хотя и нет Хэссопа. А впрочем, Миллер и руководители групп вполне могут и сами поддержать дисциплину, да и вообще, когда сидишь, уткнувшись в чертеж, время летит быстрее. Однако стоит мне приняться за работу, как мыслями моими овладевает Ингрид, и я начинаю думать о вчерашнем вечере. Я пытаюсь сосредоточиться и провести хотя бы несколь-

ко линий, но тщетно: все думаю и думаю о ней. В поле моего зрения попадает Джимми: надо, пожалуй, рассказать ему все и посоветоваться. Да, но ведь из меня сделали посмешище, зачем же мне об этом рассказывать, тут же спохватываюсь я.

Через некоторое время появляется Миллер и вызывает меня к себе.

— Что бы вы сказали, если б вам предложили проехаться в город?

— Я бы не возражал,— говорю я.— Утро сегодня отнюдь не плохое для прогулки.

— Мистер Хэссоп не подходит к телефону, а мистеру Олторпу надо кое-что ему передать и надо привезти от него кое-какие бумаги. Вы знаете, где он живет?

— Где-то на Бредфордском шоссе, да?

— Совершенно верно. Сейчас я напишу вам адрес.

Он дает мне бумажку и конверт, адресованный Хэссопу, который он принес из кабинет Олторпа.

— Ну вот. Только не задерживайтесь. И не заходите по дороге пить кофе.

— Не забывайте, что я пропускаю перерыв на чай,— говорю я.

— Пошел, пошел,— говорит с улыбкой Миллер. И опускает руку в карман.— Вот вам шиллинг на автобус. Сдачу можете оставить себе.

— Боюсь, этой монетой тут не обойдешься: пенсов семь в одну сторону будет,— говорю я, выходя.

Еще не дойдя до своего стола, снимаю халат и бросаю его на табуретку.

— Отпросился до обеда, Браун? — спрашивает Джимми тоном директора-управляющего.

— Еду на свидание с Хэссопом,— говорю я.— Прошвырнуться утром для разнообразия не так уж плохо. Что-нибудь передать ему?

— Передай, что мы купим ему большущий венок,— говорит Джимми.

На улице — хорошая, ясная погода, по небу, совсем как весной, проплывают большие белые облака, только еще не тепло и нельзя стоять на месте, не то замерзнешь. Легкой походкой я дохожу до угла, где останавливается автобус. Ощупываю карман, чтобы убедиться в том, что не забыл конверт для Хэссопа. Надеюсь, м-с Хэссоп, или кто там еще, откроет мне дверь и не станет приглашать меня к нему наверх, а то ведь я не найдусь, что ему сказать. Вынимаю сигареты, заглядываю в коробку и вижу, что за сегодняшнее утро уже выкурил три штуки. Что-то я эти дни дымлю, как заводская труба. Надо будет последить за собой, не то и до двадцати штук в день можно дойти, а это мне не по карману. Иной раз, когда я сижу без денег да еще на глаза мне попадается какая-нибудь заметка о том, что курение вызывает рак легких, я начинаю думать, что надо бы бросить курить, но заставить себя никак не могу. И потом, мне нравится курить. Я сую коробку с сигаретами обратно в карман и решаю подождать — вот зайду на обратном пути выпить чашечку кофе, тогда и покурю.

Сажусь в автобус и тотчас снова принимаюсь думать об Ингрид. Правда, я всегда думаю об Ингрид, но обычно мне приходится думать еще и о других вещах, а вот сейчас я могу всецело посвятить себя ей. Все-таки она девчонка первый сорт! Чем больше я ее вижу и чем больше думаю о ней, тем красивей она мне кажется. И жаловаться мне, право, не на что — надо считать, что мне уже повезло, раз я провел с ней целых три вечера. Вообще-то не три, а два, потому что вчерашний вечер не в счет. Это был настоящий от ворот поворот. Сейчас я даже думаю, что, пожалуй, был слишком жесток по отношению к Дороти. Не скажу, чтобы

она совсем уж этого не заслуживала. Она наверняка и раньше трепала языком направо и налево, и все сходило ей с рук, а вот со мной не вышло, не на того напала. Так я ей и сказал. Только ужасно это было неприятно, когда она вдруг распустила нюни. Видно, больно я ее задел. Бедная уродина. Но, честное слово, из-за нее у нас с Ингрид все поломалось, еще не успев как следует склеиться. Странные существа эти женщины: готовы выцарапать друг другу глаза, но стоит мужчине поднять палец, они мигом сомкнут ряды.

Автобус мчится по торговому центру. Какой-то парень, обмотав тряпками ботинки, оформляет витрину у Грейнджера. Толстуха с могучими бицепсами, стоя на коленях, моет пол в кинотеатре «Плаца». Девчонка с точеными ножками — такие не каждый день встретишь — застыла перед кинорекламой, разглядывая фотографии кадров. Ничего, свет не клином сошелся... Пытаюсь направить свои мысли по этому пути, но не помогает. На станции пересаживаюсь на автобус, идущий в Бредфорд, и остаюсь внизу, у выхода — я ведь не знаю, где вылезать. Заходит кондуктор, он смеется над чем-то, что сказала ему девчонка-кондукторша, и нажимает на звонок. Протягиваю ему деньги и говорю, что мне надо сойти у Провиденс-авеню.

— Остановка называется «Родильный дом»,— говорит он.— Там вам и сходить.

Только после этого я замечаю, что в автобусе едут две женщины на сносях и еще три садятся, пока мы взбираемся на холм. Кондуктор подмигивает мне, получая с них плату.

— Мы тут все время бесплатных пассажиров возим, ни на одной линии такого нет,— говорит он, и я улыбаюсь.

— Что, случалось попадать в сложные ситуации?

Он хохочет.

— Случалось, конечно. Только не в автобусе!

Вот и родильный дом, отделенный от шоссе большой лужайкой. Я выхожу вместе с пятью беременными и смотрю, как они вперевалку, животом вперед, переходят через дорогу. Интересно, думаю я, каково это чувствовать, что внутри у тебя ребенок, а, впрочем, хорошо, что я никогда этого не узнаю. В голову мне приходят и другие мысли: интересно, получают ли женщины такое же удовольствие, как мужчины. Наверно, нет, да и потом, должно быть, не всякий мужчина способен дать счастье женщине. В общем, не знаю. Но эти мысли появляются у меня теперь довольно часто, и сейчас, шагая по шоссе к дому Хэссопа, я думаю о том, что немало может быть сказано в пользу домов свиданий, про которые рассказывают ребята, проходившие военную службу за границей. Понадобилось тебе — заплати и получай, что требуется. Вроде как выпить стакан воды, когда тебя одолевает жажда. Никто ведь никогда не думает о воде, только человек, попавший в пустыню, где нет воды, думает о ней. Правда, иные парни немало думают о вине, но ведь они пьют для удовольствия. Тогда это все равно что переспать с девушкой, которую любишь. А это, наверно, самая чудесная вещь на свете, когда тебя объединяет с подругой не только постель, но и многое другое. Это любовь, и иногда она приходит к человеку. А то, другое — биология, и она всегда при тебе.

Я сверил номер дома с бумажкой, которую дал мне Миллер,— нет, все правильно. Дом стоит чуть в стороне от дороги, его отделяет от нее полоса черной, плотно утрамбованной земли. Должно быть, раньше тут был сад. Дом большой, квадратный и очень похож на заброшенный рабочий клуб. Наверно, он стоит здесь без малого сто лет, потому что камень стал почти черный и плиты, которыми вымощены дорожки, покосились и ушли в землю. Невысокое крыльцо ведет к двери; по обе стороны ее — окна с цветными стеклами, красными, желтыми и зелеными; я прохожу

по дорожке и стучу в дверь, мне все еще кажется, что тут какая-то ошибка и мне дали не тот адрес. В верхней половине двери, забранной матовым стеклом, вставлено нечто вроде восходящего солнца. Поскольку никто не отвечает на мой стук, я нажимаю на это солнце и вхожу. Передо мной — еще одна дверь. На полу циновка, вытертая, можно сказать, до основания. Тут же валяются какие-то мешки, ржавая керосиновая печка и корзина, полная пустых бутылок. Пахнет сыростью, и кажется, что все здесь гниет веками и никому до этого нет дела. Словом, странное какое-то место. Мне здесь совсем не нравится.

Но на двери тот же номер, что и на бумажке, так что, должно быть, это здесь. На стенке, в маленькой нише,— ручка от звонка. Дергаю за нее и прикладываю ухо к двери — ничего. Видно, звонок не работает с незапамятных времен, и я отбиваю легкую барабанную дробь по почтовому ящику.

Мне уже кажется, что я стою тут целое утро,— будь на то моя воля, давно бы уже ушел,— как вдруг слышу: кто-то снимает дверную цепочку. Дверь приоткрывается дюймов на шесть, и в щели появляется женское лицо. При звуке голоса я вздрагиваю — он совсем низкий, как у мужчины.

— Что нужно?

— Я тут принес письмо мистеру Хэссопу,— говорю я, глядя на физиономию в дверной щели. Физиономия длинная, отекшая, землисто-желтая, и глаза на ней торчат как инородное тело, будто кто-то воткнул в тесто коричневые камушки.

— Мистеру Хэссопу? — вопрошает эта личность.

— Я с завода — от Уиттейкера. Мистер Хэссоп ведь здесь живет?

— Что это за письмо?

Когда она открывает рот, видны огромные нижние зубы, я ни у кого еще таких не видел: наверху они совсем квадратные, а к десне сужаются острием.

— Тут все сказано.— Я показываю ей конверт.— Это от мистера Олторпа. Он решил, что у мистера Хэссопа, должно быть, грипп, раз он не пришел на работу. Мы знали, что в пятницу он плохо себя чувствовал. Надеюсь, ничего серьезного, только сейчас такой грипп гуляет, что надо беречься и беречься...

Так я накручиваю одну фразу на другую, сам не зная толком, о чем я говорю. Уж очень мне не по себе оттого, что я стою перед этой рожей с глазами-камушками, которыми она точно просверливает меня насквозь. Наконец, в щель просовывается костлявая рука и выхватывает у меня конверт.

— Подождите.

Рожа исчезает.

Я стою и думаю о том, что такого со мной еще не бывало. Жду минут пять; тут дверь приоткрывается чуть пошире — видно, от сквозняка. Я толкаю ее и переступаю через порог.

Передо мной большой холл с голым, выложенным плитами полом. Вокруг множество очень темных, почти черных неполированных дверей, и все они закрыты. В глубине холла — лестница на фоне высокого окна с закругленным верхом и узором из цветного стекла. Пахнет газом, наверно, где-то есть утечка, и от этого довольно скоро меня начинает подташнивать — словом, нельзя сказать, чтобы я чувствовал себя так уж лихо. Но я держусь и стою так минут десять; кругом ни звука, и я уже начинаю сомневаться, туда ли я попал. А может, эта женщина сумасшедшая? Схватила у меня конверт и удрала? Я уже начинаю соображать, что бы такое придумать в свое оправдание, когда вернусь на работу, как вдруг где-то наверху открывается дверь и до меня доносятся два голоса — оба вопят, стараясь перекричать друг друга. Что они там орут, мне трудно

разобрать, но вот они умолкают, и опять та самая женщина появляется наверху, на площадке лестницы. Сейчас я могу ее как следует рассмотреть, и, признаться, вид ее вызывает у меня желание бежать отсюда без оглядки. Если это супруга Хэссопа, то не мешало бы ему зарыть ее снова туда, откуда он ее выкопал. Она спускается с лестницы, высоко держа голову,— страшная карикатура на знатную даму, являющуюся на бал. Волосы ее, черные и тусклые, закручены на затылке каким-то немыслимым узлом. На ней капот из тонкой серой материи в грязно-желтых разводах, отороченный у ворота перьями. Она в упор смотрит на меня своими глазами-камушками, пока спускается с лестницы и пересекает холл. Теперь, когда она подошла ближе, я ощущаю еще и какой-то странный запах, исходящий от нее,— наверняка она не мылась с первой мировой войны.

Она вручает мне большой конверт и произносит басом:

— Вовсе ни к чему вам было входить сюда.

Я извиняюсь и спрашиваю, как себя чувствует Хэссоп.

— Все тут, в конверте,— говорит она.

— А, очень хорошо. Прямо отсюда я еду в бюро и тотчас вручу его мистеру Олторпу. Надеюсь, мистер Хэссоп скоро станет на ноги и снова будет с нами...

Она молчит, только смотрит на меня своими каменными глазами. Ну, чего мы тут оба стоим и чего я болтаю?! Похоже, что провожать меня до дверей она не намерена, а потому я говорю: «Ну, я пошел» — и направляюсь к выходу. Она стоит, точно изваяние, и только глаза следят за мной.

Но как только я распахиваю дверь и в холл врывается сноп солнечных лучей, она оживает. Воздев к небу руки, она кидается ко мне, точно хочет выцарапать мне глаза.

— Закройте дверь! — кричит она.— Закройте же дверь!

Я и сам рад ее закрыть, поскольку это чучело останется по ту сторону, а потому я говорю: «До свиданья» — и проворно выскакиваю на улицу. Дверь с грохотом захлопывается, точно эта женщина всей тяжестью навалилась на нее, так что даже висящий снаружи молоток подпрыгивает и падает со стуком. Я слышу, как за дверью задвигают засов, спускаюсь с крыльца, быстрым шагом удаляюсь по дорожке и не оглядываюсь, пока не дохожу до тротуара. Да, думаю я, если Хэссопу приходится терпеть такое, неудивительно, что он не самый веселый человек на свете.

II

В городе я забегаю в закусочную «Голубая птица» и закуриваю сигарету, которую хотел раньше выкурить, но отложил до завтрака. Мне не часто случается быть в городе утром, в рабочие часы, и, как всегда, меня удивляет то, что на улицах столько народу. Причем не только женщин, занимающихся покупками, но и парней, которые болтаются без дела, тогда как я и мне подобные вынуждены корпеть целый день и зарабатывать себе на жизнь. Попадаются в толпе и цветные — все больше индийцы и пакистанцы. По мне, так все они одинаковы: худощавые скуластые лица, тонкие запястья, крупные зубы. Волосы у них густые, черные и блестящие, точно они каждый день выливают на них полбутылки лосьона. Пока мне еще ни разу не попадался ни один, который был бы хорошо одет, и, думается, большинству из них нелегко приходится. Но даже тем, кто не работает, наверно, легче жить здесь на пособие по безработице, чем у себя на родине, имея работу. И, должно быть, есть среди них такие, которые и не стараются найти себе место, раз правительство готово их содержать. Вот почему у нас многие настроены

против них. Только я лично думаю, что нельзя всех людей валить в одну кучу. Наверно, среди них, как и среди всех прочих, есть люди хорошие и дурные. Хлопот они особых вроде бы никому не доставляют и занимаются своими делами. И все же не хотел бы я быть на месте девушки, которая поздним вечером возвращается домой одна по Колвиллскому шоссе. Столько там живет цветных, что шоссе это прозвали Дорогой в Мандалей *. О господи, до чего же хорошо, что я англичанин. И я радуюсь этому по десять раз на неделе, когда читаю в газетах о том, что творится в остальном мире.

В закусочной тихо, я с удовольствием пью кофе и раздумываю о том, как было бы славно, если бы вот сейчас вошла сюда Ингрид, и мы бы спокойно с ней поболтали, и, может быть, мне удалось бы выяснить, как она ко мне относится. Правда, я и сам это знаю. По-моему, все кончено. Однако я никак не могу смириться с мыслью, что роман оборвался, не успев начаться: ведь мы и встречались-то всего два раза — вернее, три, если считать вчерашний вечер. И вроде бы все шло хорошо. И не было ни малейшего признака, что дело худо, пока не объявилась эта Дороти. А может, я неправильно истолковал поступок Ингрид? Может, Дороти в самом деле неожиданно явилась к ней, и Ингрид вправду не могла от нее отделаться. Если это так, то я немало наломал дров, набросившись на эту Дороти. А впрочем, не знаю. Сам черт их не разберет, этих девчонок.

Что-то я проголодался; прошу еще чашку кофе и бутерброд с колбасой, чтобы заморить червячка до обеда.

Есть только один способ все выяснить: надо назначить ей свидание. Если она скажет «да», значит, все в порядке. А если «нет», хуже не будет: я хоть перестану ломать себе голову, выдумывать невесть что и в то же время надеяться на лучшее. Итак, решение принято: назначу ей свидание и, если не хватит мужества сделать это лично, напишу ей записку и попрошу одного парня, Лейстердайка, передать ей.

Сижу, попиваю кофе и раздумываю об Ингрид под грохот посуды, доносящийся из комнаты за баром, как вдруг появляется — кто бы вы думали? — сам Лес Джексон. Левая рука у него забинтована, точно на нее надета огромная боксерская перчатка. Повернувшись, он замечает меня, вопросительно поднимает брови, берет свою чашку и, прижимая больную руку к груди, подходит к моему столику. Бинты на руке у него свежие, чистые.

— Привет, Вик.

— Здорово, Лес. Что это ты устроил себе с рукой?

— Все женщины,— говорит Лес.— И бедра же у нее! — И со смехом опускается на стул.— В пятницу произошла у меня стычка со сверлильной машиной.

— И сильно тебя прихватило?

— Содрало всю шкуру с руки и отсекло кончик пальца.

— С ума сойти!

Лес потягивает чай, а я вынимаю коробку сигарет и протягиваю ему.

— Окажи внимание «Королеве Виктории».

Сам я тоже беру сигарету, и мы закуриваем. Лес затягивается так, точно не курил неделю.

— Именно то, что мне нужно,— говорит он.— Я ведь сейчас из поликлиники. Придется ходить туда каждое утро на перевязку.

— Наложили лубок?

— Нет, дела мои не так уж плохи. Но в пятницу, когда это со мной случилось, руку стали класть в гипс. Так я тут же чуть богу душу не отдал. У них там в «Скорой помощи» работают сестрами этакие

---

* Имеется в виду стихотворение Р. Киплинга «На дороге в Мандалей».

здоровенные ирландки. Я сказал сестре, что человеку надо бы чего-нибудь давать, прежде чем его чинить. «Что, такому-то парню? — сказала она.— Ишь какая неженка!»

— Ну, тогда я тоже неженка, если уж на то пошло,— говорю я ему. Смотрю на его забинтованную руку, представляю себе, как она выглядит под бинтами, и невольно покрываюсь холодным потом.

— А ты что тут делаешь в такой ранний час? — спрашивает Лес.— Сачкуешь?

— Нет, просто отвозил письмо своему начальнику. Он заболел.

— А сейчас прохлаждаешься за счет фирмы, а?

— Совершенно верно.

— Недурно вам живется, конторским крысам.

— Не прибедняйся. Сам виноват, что ходишь в спецовке, а не в белой рубашке с галстуком. Кончить среднюю школу, чтобы сверлить дырки в металле?!

— А я люблю что-то делать руками. Мне это всегда нравилось. Я никогда не мог высидеть целый день за столом. Слишком похоже на школу... Послушай, знаешь, кого я сейчас встретил? Старика Держиморду.

— Иди-ка ты!

— Ей-ей!

— Старик Держиморда... Давненько я его не видал. Он с тобой разговаривал?

— Еще бы. Я с ним поздоровался, он остановился и внимательно оглядел меня. Ну знаешь, как он это всегда делал: сначала поверх очков, а потом сквозь них. Поглядел и говорит: «Это кто же — Джексон? Да, конечно, Джексон. О господи, мальчик, что ты сделал со своей рукой?» Мы, наверно, добрых десять минут стояли и болтали о том, о сем. Подумать только, что он вспомнил, как меня зовут.

— Да он ведь совсем не плохой малый, Держиморда. Бывают куда хуже.

— Пожалуй!

— Он не вспоминал про то, как мы тогда зашили рукава у его халата?

Мы смеемся, затем Лес отодвигает чашку, облокачивается на стол и, понизив голос, спрашивает:

— Слыхал анекдот про парня с деревянной ногой, который отправился в свадебное путешествие?

— Нет, не слыхал.

На работу я возвращаюсь в половине двенадцатого и сразу несу конверт Миллеру.

— Видели вы мистера Хэссопа? — спрашивает он меня.

— Нет, только его жену.

— По-видимому, это была его сестра: мистер Хэссоп не женат. Она не сказала, как он себя чувствует?

— Она сказала, что все тут, в конверте.

Миллер недоумевающе смотрит на меня: шучу я, что ли?

— Что значит в конверте?

— Так она сказала. Я спросил, как он себя чувствует, а она сказала, что все тут, в конверте.

Миллер вертит конверт в руках. Он адресован мистеру Олторпу, так что Миллер не может его вскрыть.

— А вы когда-нибудь видели ее, эту его сестрицу? — спрашиваю я; здесь, в бюро, мне начинает казаться, что она мне привиделась.

— Нет. Я не очень-то посвящен в личную жизнь мистера Хэссопа. Он человек скрытный.

— И неудивительно. Ей-богу, Джек, я такой странной особы в жизни не встречал.— Принимаюсь подробно рассказывать ему обо всем, а он стоит, прислонившись спиной к своему столу, и то и дело поправляет указательным пальцем съезжающие на кончик носа очки.

— М-м-м-м,— произносит он, когда я заканчиваю свой рассказ.— Об этом лучше никому не говорить у нас в бюро. Ни к чему тут обсуждать личную жизнь мистера Хэссопа.

Я говорю: «Да, конечно». Миллер берет конверт и направляется с ним к мистеру Олторпу. На пороге он оборачивается.

— Так вы говорите, у нее капот оторочен у ворота перьями? — спрашивает он.

— Мне, во всяком случае, показалось, что это перья.

— М-м-м,— снова произносит он и сменит вон из комнаты. А я возвращаюсь к своей доске.

— Ну, как поживает сегодня великий друг чертежников? — спрашивает Джимми.

— Все в конверте,— говорю я и принимаюсь хохотать. Эту фразу мы с Джимми возьмем на вооружение после того, как я про все ему расскажу.

— Чего ты смеешься? — спрашивает он.

— Потом скажу.— Пожалуй, лучше будет рассказать ему не здесь. Но рассказать придется, потому что я не в состоянии держать это про себя. Я подхожу к его доске и пригибаюсь к самому его уху.— Слышал анекдот про парня с деревянной ногой, который женился и отправился в свадебное путешествие?

Нет, он тоже не слышал.

III

Теперь, когда я принял решение снова пригласить куда-нибудь Ингрид, я уже не могу думать ни о чем другом — все прикидываю, как к этому подойти и что она мне ответит. В обеденный перерыв я вижу ее в столовой, но думать о ней мне мешает Кен Роулинсон своей болтовней о симфоническом концерте, на котором он был в воскресенье вечером в городской ратуше Лидса.

— ...подумать только, какая трагедия: ведь он так никогда и не слышал большую часть своей музыки.

— Что? — отзываюсь я.— Это ты о ком?

— Да о Бетховене.

— То есть как не слышал? Он что, умер молодым?

— Он оглох.

— А как же он мог сочинять музыку, если он был глухой? — Этот зазнайка Роули вечно что-нибудь придумает. Скоро он начнет рассказывать про слепых живописцев.

— Музыка у него была в уме,— говорит Роули.— Он ее нутром слышал. Ему оставалось только ее записать.

— А по-настоящему не слышал?

— Конечно. Эта мура, которую ты видишь в фильмах, когда композитор сидит у рояля и подбирает мелодию,— выдумки Голливуда. Ну, если не выдумки, то во всяком случае это сильно преувеличено. Первоклассному музыканту достаточно увидеть ноты, чтобы мысленно услышать музыку. И композитору вовсе не обязательно слышать музыку, он может просто взять и записать ее на бумаге.

Интересно. Я даже на минуту забываю об Ингрид. Конечно, я не верю всему, что говорит Роули, потому что он великий выдумщик, но я могу все это проверить потом у м-ра ван Гуйтена. Он-то уж знает.

— Первоклассный музыкант,— говорит Роули,— может прочесть

оркестровую партитуру так же легко, как обычный человек читает книгу.

— Тогда, значит, он и виноват, если ему покажется, что кто-то взял не ту ноту?

— Совершенно верно. Есть даже такие музыканты, которые считают, что им никогда не услышать идеального исполнения любимой вещи, поэтому они вообще перестают слушать музыку и только читают партитуры.

— Ну, это все равно, что заниматься онанизмом, потому что нет идеальной женщины,— говорит Конрой, сидящий рядом с Роули. Тот заливается краской и больше за весь обед не произносит ни слова.

А я улыбаюсь: правда, я люблю Конроя не больше, чем Роули, но тут он лихо его поддел и сбил с него спесь. Во всяком случае, заставил замолчать, и теперь я снова могу мечтать об Ингрид. Она мне нравится. Мне нравится в ней все. Нравится ее короткая стрижка и этот завиток над ухом. Нравятся ямочки в уголках ее рта и самый рот, полный, нежный, словно созданный для поцелуя. Я вспоминаю, как целовал этот рот. Интересно, буду ли я еще когда-нибудь целовать ее? Она чувствует, что я наблюдаю за ней, и на секунду ее глаза встречаются с моими. Но она тут же отводит взгляд. Можно подумать, что мы никогда и двух слов не сказали друг другу. И не сидели рядом в теплой, душной темноте кино. Можно подумать, что ничего этого не было.

В половине четвертого я все еще мечтаю о ней, когда она проходит по нашему залу с блокнотом и карандашом в руке — видимо, идет стенографировать к Миллеру. Я поднимаю глаза от чертежа и провожаю ее взглядом. Какая она стройненькая в этой юбке и как хороши ее ноги в темных нейлоновых чулках.

— Аппетитная девчонка, правда, Джеф? — говорит кто-то рядом со мной, и я подскакиваю.

Конрой и его дружок Льюис стоят, привалившись к доске Конроя, и смотрят на меня. Оба иронически ухмыляются — это в манере Конроя, а Льюис подражает ему.

— Ну, не удовольствие смотреть на такую? — говорит Конрой.

— Чего это вас разбирает? — спрашиваю я, будто ни о чем не догадываюсь.

— Не скрытничай, мой юный Браун,— говорит Конрой.— Мы же знаем, что ты увиваешься за мисс Росуэлл, нашей сиреной из машинного бюро.

— А какое ваше собачье дело? — огрызаюсь я и опускаю взгляд на доску, делая вид, будто занят работой.

— В парадные комнаты тебя еще, верно, не впустили, Браун, а? — говорит Конрой.— Все еще маячишь в прихожей и трясешься?

— Какое там: прихожая уже давно пройдена,— давится от смеха Льюис.

Я краснею, мне становится трудно дышать; чувствую, что сейчас взорвусь, но молчу: если им ответить, только хуже будет. Но этого Льюиса я когда-нибудь проучу. Конрой слишком тяжел для меня, а Льюис мне по силам, пусть только откроет не к месту свое хайло, я ему выдам по первое число, если поблизости не будет миротворцев...

А они все не унимаются.

— Я бы на твоем месте утихомирился, Браун,— говорит Конрой.— Эта наша мисс Росуэлл — горячая штучка. Прямо скажем, не тебе чета. Ты уж лучше оставь ее взрослым.

Я стою, не поднимая головы, и делаю вид, будто занят своим чертежом. Но они не отстают. Сердце у меня стучит, как молот, карандаш прыгает — я изо всех сил стискиваю его и упираю острием в ватман.

— Знаешь, как ее у нас зовут? — спрашивает Конрой.— Какое у

нее прозвище? Мисс Богомол. Ну, а что такое богомол, тебе, конечно, известно?

Я молчу, стараясь держать себя в руках, и только жду, чтобы они отстали.

— Так вот: богомол — это насекомое вроде большого кузнечика, и самка, пока трудится с самцом, пожирает его. Заглатывает потихоньку, кусочек за кусочком и — все.

— Ну, а что она оставляет напоследок, об этом ты и сам можешь догадаться,— говорит Льюис, покатываясь со смеху.

— Какие гадости ты говоришь, Конрой,— не выдерживаю я и поднимаю голову.— Занялся бы лучше делом, грязная ты свинья!

— Что такое? — произносит Конрой и выпрямляется.— Ну-ка, повтори еще раз, ты, подонок...

Спасает меня Миллер: в эту минуту дверь его кабинета открывается, и он вызывает к себе Конроя. Тот уходит, а Льюис приближается ко мне и смотрит поверх чертежной доски. Он тщательно выбрит, волосы у него зачесаны назад и разделены прямым, как ниточка, пробором. Говорят, он стрижется каждые десять дней. Он очень заботится о своей внешности, что верно, то верно. Внешне — чище его не найдешь, а внутри — настоящая помойная яма.

— Ты бы поосторожней разевал рот, Брауни,— говорит он,— а то как бы тебе уши не надрали.

Тут я не выдерживаю, хватаю Льюиса за галстук и, чуть не задушив, подтаскиваю к чертежной доске.

— Только скажи еще слово, и я тебя придушу.— Он беспомощно машет руками, физиономия у него наливается кровью.— Без Конроя ты просто сопляк, запомни это.

Я выпускаю из рук галстук Льюиса и отпихиваю его, он подтягивает узел, явно не зная, как вести себя дальше. Тут в зале появляются Миллер с Конроем и направляются к доске Конроя, а Льюис пользуется этим, чтобы смыться без особого позора.

IV

В понедельник по дороге домой мне не удается поговорить с Ингрид, но я не теряю надежды: может быть, на следующее утро мне больше повезет. Однако мы с Джимми застреваем в потоке людей, а Ингрид идет впереди с какими-то женщинами.

На работе я наспех нацарапываю ей записку: спрашиваю, можем ли мы вечером встретиться. Скатываю в трубочку несколько чертежей и отправляюсь в копировальную. Стучит машина, снимающая светокопии, мелькают лампы, отбрасывая блики света на стены и на потолок. Тут всем заправляет Фёбе Джонсон, она танцует вокруг машины, словно перед ней механический биллиард в баре. Она целый день так — напевает мелодии калипсо и приплясывает, подергивая в такт плечами и локтями. Ей всего шестнадцать, но она такая аппетитная, глаз не оторвешь — бедра пышные, и две такие чаши спереди, что любая кинозвезда позавидует. Ребята говорят, что с ней просчета не бывает, но все это трепотня: я случайно знаю двух малых, которые встречались с ней, однако ничего не добились. Фёбе жаждет романтики, а парням, которые проводят с ней время, нужно другое. Правда, она, наверно, понимает, что ей придется смириться с этим, когда она выйдет замуж.

Я облокачиваюсь на стол, где обрезают чертежи, и некоторое время смотрю на нее.

— А где Колин?

Она пожимает плечами, не прекращая своего танца.

— Вот уж не знаю.

По правде говоря, я немножко побаиваюсь Фёбе: она может сказать все, что ей взбредет в голову, если что-нибудь взбредет. Она хорошо справляется с работой, ее терпят, но когда-нибудь она скажет кому не следует пару теплых слов, и ее вышвырнут вон. Правда, этим ее не испугаешь: сразу видно, что ей наплевать, даже если ее завтра уволят. Такая уж она девчонка.

— А был он сегодня утром?

— Не видела.— Она делает несколько шажков, потом круто поворачивается и оказывается лицом к лицу со мной.— Не нравится мне ваш галстук.

— А что в нем плохого?

— Не модерновый, такие теперь не носят,— говорит она.— Это стариковский галстук.— Она протягивает руку и преспокойно вытаскивает его у меня из джемпера, чтобы как следует рассмотреть. Потом покачивает головой и, приплясывая, прищелкивая пальцами, снова начинает кружиться у станка.

Я засовываю галстук обратно.

— Какой же, по-вашему, я должен носить галстук?

— Ну, такой узенький, словом, модерновый. Их полно в магазинах.

— По мне, так пусть бы они все в магазинах и остались. Я даже в гробу такой не надену.

— Ну, если вы хотите походить на своего дедушку...— говорит она.

— На пижона я, во всяком случае, походить не хочу... И что вы все приплясываете, неужели не можете постоять спокойно? Этак у вас скоро будет пляска святого Витта, если ее уже нет.

Фёбе замирает, выпятив свою очаровательную грудь, и тоном герцогини произносит:

— Если вы намерены оскорблять меня, мистер Браун, то лучше покиньте помещение.

Я с улыбкой отхожу от стола и бросаю ей рулон чертежей.

— Снимите-ка мне с каждого копию, ладно?

— К какому сроку?

— Когда вам будет угодно, но только чтобы все было готово через десять минут.

Немного погодя я вижу, как Фёбе выходит из копировальной, и устремляюсь туда, чтобы застать юного Лейстердайка одного.

— Послушай, Колин, ты знаешь эту хорошенькую брюнетку из машинного бюро? Ее зовут Ингрид Росуэлл.— Лейстердайк кивает. Он знает всех. Он из тех молокососов с пухлыми щечками, к которым женщины почему-то питают особое пристрастие — то ли в них просыпается материнский инстинкт, то ли что другое. Я вынимаю из кармана записку.— Можешь передать ей это?

Он ухмыляется.

— Подумаю.— Берет записку и кладет ее в карман.

— Но ты понимаешь, что я имею в виду. Чтоб все было шито-крыто.

— Ясное дело.

На душе у меня неспокойно, когда я расстаюсь с ним. Теперь еще кто-то знает о моей тайне, и, если Ингрид даст мне от ворот поворот, я буду выглядеть весьма глупо.

Ответа можно ждать только после обеденного перерыва. В столовой мне удается поймать взгляд Ингрид, и она как будто даже улыбается, но тотчас отводит глаза. Часов около двух Фёбе проходит мимо, бросает мне на доску письмо и во всеуслышание объявляет: «Тут одна девица из машинного бюро просила вам передать». Я опускаю голову и упираюсь лбом в сцепленные руки. Минуты две я сижу так, не смея выпрямиться,— наверняка все вокруг слышали. Жду, чтобы у меня перестали гореть щеки, потом исподтишка озираюсь по сторонам и вижу,

что все вроде бы заняты — каждый своим делом. Сую письмо в карман и устремляюсь в туалет, чтобы вдали от всех прочесть его. Я так волнуюсь, вскрывая конверт, что у меня трясутся руки.

Письмо совсем коротенькое.

«Дорогой Вик,— гласит оно,— к сожалению, я не могу прийти сегодня вечером, потому что к нам приехала на несколько дней погостить моя двоюродная сестра. Ингрид».

Ну вот. Дошло до тебя, наконец, или все еще нет? Я слышу, как кто-то открыл кран и моет руки, дергаю за цепочку, распахиваю дверь кабины и возвращаюсь к себе в зал. На душе у меня ужасно тяжело. Всю неделю я хожу с этой тяжестью, до чертиков несчастный, автоматически произвожу какие-то движения и даже не вижу, что я делаю, хоть и сознаю, что рано или поздно это доведет меня до беды. Но вырваться из этого состояния не могу. Понимаю, что я болван, но когда наступает пятница, чувствую, что просто не могу не попытаться еще раз назначить ей свидание. На этот раз счастье, как в сказке, улыбается мне. А происходит все вот как: я стою один в копировальной, и вдруг заходит она — справиться о каких-то чертежах, которые надо приложить к письму Миллера.

— Право, не знаю, где они,— говорю я, роясь на столе.— Вам придется спросить у Колина. По-моему, он их еще не размножил.

Она говорит, что, мол, ничего не поделаешь, придется сначала закончить письма, а потом наведаться еще раз насчет чертежей, и направляется к выходу.

— Послушайте!

Она останавливается, поворачивается, но не смотрит на меня. Видно, догадывается, что сейчас будет, думаю я, и ей не очень-то приятно снова говорить мне «нет».

— Вы... вы чем-нибудь заняты завтра вечером? У вас уже есть что-нибудь на примете?

Она говорит, что нет, кажется, ничего нет, но на меня по-прежнему не смотрит.

Я переминаюсь с ноги на ногу возле стола, изо всех сил стараясь принять безразличный вид и то и дело щелкая перочинным ножом. Хоть бы она взглянула на меня, может, я бы догадался, о чем она думает.

— Видите ли, я подумал... А не согласились бы вы пойти куда-нибудь со мной? Мы могли бы сначала сходить в киношку, а потом, если захотите, на танцы.

Мне кажется, что проходит десять лет, прежде чем она отвечает. Наконец она говорит: «Хорошо» — и только. Но мне и этого вполне достаточно. Тут появляется Фёбе, раскачивая бедрами с таким видом, будто все наше бюро гуськом следует за ней, а когда я отвожу от нее взгляд, Ингрид уже нет в комнате. Но она же сказала «да»! Да, да, да! Я словно парю в воздухе, хватаю Фёбе и делаю с нею несколько па.

— Видали!— восклицает она.— Воскрешение из мертвых!

Глава 5

I

Субботний вечер застает меня у витрины Монтегю Бэртона: я стою, глубоко засунув руки в карманы пальто, и рассматриваю костюмы на манекенах. Я думаю о том, как же теперь убить вечер, и тут чья-то рука опускается мне на плечо и голос Уилли произносит:

— Хватит заниматься ерундой!

Я оборачиваюсь.

— Привет, Уилли.

— Что ты тут делаешь? — спрашивает Уилли.

— Да вот раздумывал, куда бы пойти. А ты куда?

— Я собирался пропустить кружечку, а потом посмотреть новый вестерн в «Рице».

— Ты один?

— Да. Устраивает?

— Ну что ж.

Не все ли равно, как провести этот вечер, раз уж он испорчен. Но с Уилли мне, наверно, будет лучше, чем одному, хотя сам-то я едва ли буду приятной компанией при таком настроении.

Мы идем мимо освещенных магазинов по Кооперативной улице. На той стороне ярко горит витрина Грейнджера, и фараон, совершающий обход, на минуту останавливается перед ней, чтобы полюбоваться меховыми манто стоимостью в несколько сот фунтов.

— А кто играет в этой картине? — спрашиваю я Уилли, когда он подталкивает меня, напоминая, что надо перейти через улицу.

— Бэрт Ланкастер и Кёрк Дуглас,— отвечает Уилли.— Цветная, широкоэкранная и все такое прочее. Должно быть, хорошая. А я люблю хорошие вестерны.

Вообще-то Уилли любит всякие картины. Он ходит в кино по три-четыре раза в неделю, и почти нет картины, которой он бы не видел. Пиво и фильмы — это его слабость. Если его нет в кабачке, значит, он в кино. Мы переходим через улицу, держа курс на яркие огни и дребезжащие звуки пианино, вылетающие из «Герба ткачей».

— Пойдем лучше куда-нибудь, где потише,— говорю я, видя, что Уилли заворачивает туда.

— Здесь хороший эль,— говорит Уилли.

— Может, и хороший, но я не люблю кабаков, где играют на пианино.

Уилли передергивает плечами.

— Ладно, я парень сговорчивый. По-моему, тут есть еще один кабак — за углом.

Мы двигаемся дальше.

— Она что же, не пришла? — спрашивает Уилли немного погодя.

— Кто?

— Та девка, которую ты ждал.

— А кто тебе сказал, что я ждал какую-то девку? Я просто разглядывал витрину Бэртона и раздумывал, куда бы пойти.

— Я добрых пять минут болтал с одним парнем на том углу, прежде чем подойти к тебе,— говорит Уилли,— и видел, как ты прогуливался и поглядывал на часы.

— Ну что ж, ты прав: я в самом деле ждал девушку.

— И она не пришла? — говорит Уилли.— Не первый случай в истории.

— Что касается меня, то, честное слово, последний! — говорю я в сердцах, хотя то, что я испытываю, мало похоже на гнев.

— Надо запомнить эти слова,— говорит Уилли и останавливается.— Переехал...

— Кто?

— Да кабачок... Ей-богу, всего две недели назад он тут был... Надо же: потерять кабачок в собственном городе. Что у меня, размягчение мозгов, что ли? — Он стоит, озираясь и соображая, где же мы находимся.— А, знаю.— И двигается дальше.— Пошли.

Я иду за ним.

Почему, почему же она так поступила, думаю я, нагоняя Уилли и шагая с ним в ногу. Почему, почему, почему? Почему она не могла

сказать сразу «нет» и не заставлять меня ждать двадцать пять минут? Весь день я думал об этой встрече. Сознание, что я увижу ее, было словно драгоценный камень, который время от времени вытаскиваешь из кармана, смотришь, смотришь и налюбоваться не можешь. В эти минуты она возникала передо мной такая, какой я увидел ее, когда разговаривал с нею в копировальной. Стоило мне закрыть глаза, и я видел ее волосы, в которых играли блики света, видел ее лицо и то, как она упорно не смотрела на меня. (Теперь-то я знаю почему — потому что она стерва и обманщица... Да нет, я вовсе так не думаю. Я не сержусь, я просто глубоко несчастен. И я хоть завтра побегу к ней, стоит ей поманить меня пальцем.) На ней была розовая блузка с высоким воротом, плотно облегавшим шею — ее нежную шейку, которую мне так хотелось бы погладить. Мне ведь всегда хочется погладить ее — осторожно, бережно, нежно. И вот... ну почему? Почему она поступила так со мной? Чем я провинился? Вот что мне хотелось бы знать.

Мы заходим в кабачок — кажется, он называется «Вишневое дерево»,— берем две кружки пива и отправляемся с ними к столику.

— А ты уже встречался с ней раньше? — спрашивает Уилли.— Или это первый и последний раз?

— Я встречался с ней дважды,— говорю я ему.— Собственно, даже трижды, но последний раз не в счет.

— Как так?

Я сразу вижу, что сказал лишнее, и обтираю пальцем пену с кружки.

— Она пришла не одна, а с подругой.

Уилли широко ухмыляется. Он отхлебывает из кружки и, продолжая ухмыляться, ставит ее на столик.

— Нет, ты представляешь себе? — говорю я, пыжась перед ним.— Привести с собой подругу!

— Надо было меня позвать,— говорит Уилли.— Я бы поухаживал ради тебя за ней.

Я покачиваю головой, вспоминая Дороти.

— Она бы тебе не понравилась, Уилли. Ноги — точно футляры из-под скрипки, а рот — как трещина в пироге. Только человек, которого никогда не тошнит, или уж совсем пьяный может ухаживать за ней... Но ты представляешь себе, что я почувствовал, когда увидел их вдвоем!

— А она не сказала тебе, почему привела эту свою подружку?

— Как же, придумала целую сказку про то, как эта девчонка явилась вдруг к ней чай пить и она не могла от нее избавиться — иначе вышла бы обида. Ну, я, конечно, не поверил ни единому слову.

— Что-то непохоже,— говорит Уилли.

— Это почему же?

— Ты же снова назначил ей свидание, иначе не торчал бы тут.

— Мне хотелось испытать ее. Понимаешь, хотелось выяснить до конца, как она ко мне относится.

— Ну вот ты и выяснил,— говорит Уилли.

— М-да.— Поднимаю кружку и делаю глоток. Эль холодный, освежающий, как раз такой, как я люблю. Давно пиво не доставляло мне такого удовольствия. И все же лучше бы мне, наверно, не встречать Уилли, потому что чувствую я себя сейчас болван болваном.

— Может, ты слишком быстро повел наступление,— говорит Уилли, пристально глядя на меня.— И напугал ее.

— Да я пальцем до нее не дотронулся.

— Тогда, значит, слишком долго тянул.

— Ну вообще-то.. вообще мы целовались. Но ничего другого у меня и в мыслях не было. Во всяком случае по отношению к ней. Она не такая.

— Какая — не такая? — говорит Уилли.

— Ну словом... она не как все.

— Чем же она не как все? — спрашивает Уилли.— Наверняка у нее есть все, что надо — и спереди, и сзади.

Мне неприятно вести об Ингрид такой разговор, и я чувствую, как лицо у меня каменеет.

— Я просто хотел сказать, что она порядочная девушка, Уилли.

— Настолько порядочная, что заставляет тебя выстаивать зря на углу, так, да? — говорит Уилли.

— Может, ее что задержало.

— Может, она выпила чаю, упала и умерла,— говорит Уилли.

— Ах, да заткнись ты, Уилли,— говорю я и снова отхлебываю из кружки.

Кружка Уилли уже пуста.

— Как хочешь,— говорит Уилли.— Не станем же мы ссориться из-за какой-то девчонки. Особенно из-за такой, которая не является на свидания. Давай выпьем еще по одной.

— Нет, хватит.— Я заплатил за то пиво, которое мы выпили, и потому могу спокойно это сказать: у него не может возникнуть мысль, что я отказываюсь, чтобы не платить.— Мы можем опоздать к началу фильма.

Вестерн мне понравился, особенно последняя часть, когда начинается всеобщая драка и они лупят друг друга почем зря. Так дерутся, что кажется, будто это всерьез. Потасовка идет — просто жуть. Словом, это немного отвлекает меня от моих мыслей, и временами я даже забываю, что есть на свете такая девчонка по имени Ингрид Росуэлл. Но как только мы выходим на холодную улицу, все начинается сначала.

— У нас еще есть время опрокинуть по одной до закрытия,— говорит Уилли.

Мы стоим на тротуаре у кино, и зрители, спустившиеся со ступенек, вынуждены обходить нас.

— Нет, Уилли, мне что-то не хочется. Я лучше потопаю домой.

— А я хотел пойти потом на танцы,— говорит Уилли.— Почему бы тебе не разделить со мной компанию? Забудь ты про эту девку, мы там найдем какое-нибудь новое молодое дарование.

Я провожу ботинком по краю ступеньки.

— Нет, я, пожалуй, пойду спать.

Уилли смотрит на меня.

— Обвела тебя вокруг пальца, а? Видно, здорово это тебя зацепило.

— Нет, Уилли, честное слово, не в этом дело. Просто у меня сегодня в магазине был тяжелый день. Я ведь с девяти утра на ногах. Так что мне сейчас не до танцев.— Впрочем, с Ингрид я мог бы танцевать и танцевать, летал бы как на крыльях.

— Ну, как знаешь,— говорит Уилли.— До скорого.

— До скорого, Уилли. Привет!

— Выше нос! — говорит Уилли.

Оказывается, автобус, на который я сел, не идет на вершину холма. Я схожу на углу, в воздухе пахнет жареной рыбой с картошкой; я перехожу через дорогу и покупаю в лавчонке на четыре пенса рыбы с картошкой. Обильно посыпав солью и обрызгав уксусом, съедаю все это по дороге на холм прямо из бумажного пакета. Я очень люблю есть рыбу с картошкой, а особенно на открытом воздухе, прямо со сковородки. Золотистое тесто, в которое запечена рыба, такое горячее, что обжигает мне рот, и я разламываю его, чтобы немного остудить. Я явно злоупотребил уксусом, и он начинает протекать сквозь бумагу мне на пальцы,

так что приходится держать пакет, отставив руку. Мне хватает моего лакомства до самого дома, затем я вытираю пальцы о бумагу, скатываю ее шариком и отбрасываю ярдов на десять.

Половина одиннадцатого; Старик со Старушенцией сидят и при свете настольной лампы смотрят телевизор.

— Хочешь ужинать? — спрашивает Старушенция.

— Я поел рыбы с картошкой.

— Тогда ты, наверно, пить хочешь?

— Ничего, ничего. Я сам приготовлю себе какао.

Иду на кухню, завариваю себе какао, возвращаюсь в гостиную, сажусь на диван у задней стенки и закуриваю. Смотрю картину, которую показывают по телевизору, и думаю об Ингрид. У меня такое впечатление, что я видел эту картину сразу после войны, когда был еще сосунком. Старик сидит, вытянув ноги и попыхивая трубкой, а Старушенция вяжет. Можно сказать, идеальная картина семейного благополучия.

— Ты где же был? — через минуту спрашивает Старушенция, и я уже понимаю, что она сгорает от любопытства.

— В кино.

— Один?

— С Уилли Ломесом.

— Уилли Ломесом? По-моему, я его не знаю, да?

— Это мой товарищ. Мы с ним еще в школе учились.

— В какой, в средней?

— Нет, в начальной.

Она что-то ворчит, а я думаю, что если бы я был где-нибудь с Ингрид, она бы из меня все подробности выудила, или же мне пришлось бы ей соврать. Но даже если бы у нас с Ингрид все было в порядке, я бы еще не стал рассказывать о ней Старушенции. Уж больно скоро ей мерещится свадебный колокольный звон. И она начинает отчаянно ускорять события.

Старик нагибается и выбивает трубку о каменную решетку.

— Не понимаю, зачем надо ходить в кино и платить такие деньги, когда можно смотреть то же самое дома и бесплатно.

— Да ведь это же все старье.

— Ну и что же? Все равно фильмы, верно?

— По телевизору нельзя показывать цветные и широкоэкранные картины.

— Широкоэкранные?

— Ну да, которые больше обычного размера.

Он пссасывает потухшую трубку.

— Не думаю, чтобы от более широкого экрана картина становилась лучше,— говорит он.

Мне неохота с ним препираться. Фильм кончился, пошла реклама зубной пасты. Я встаю и бросаю окурок в огонь.

— Идешь к себе? — спрашивает Старушенция.

— Да, пора и на боковую. У меня сегодня был тяжелый день.

— Ты не забыл, что завтра мы все идем на чай к нашей Кристине?

— Нет, не забыл.

Пожелав им доброй ночи, я поднимаюсь к себе. В комнате Джима горит свет, и дверь приоткрыта. Я прохожу прямо в ванную, похожую на большой холодящий погреб, где кроме голых крашеных стен, труб и резервуаров для воды ничего нет, и как можно быстрее мою лицо и чищу зубы. Когда я выхожу из ванной, Джим окликает меня. Подхожу к его двери и останавливаюсь на пороге.

— В чем дело?

Он вынимает из книжки светло-голубой конверт и швыряет его к изножью кровати.

— Письмо тебе.

Я поднимаю конверт, смотрю на него. Он адресован мне, и меня охватывает волнение.

— Где ты его взял?

— Я увидел его, когда поднимался к себе: он лежал в прихожей, у входной двери. Должно быть, кто-то просунул его в щель, пока мы смотрели телевизор. На нем нет штемпеля.

Да и адреса на нем тоже нет — только мое имя. Я сдерживаю желание тотчас вскрыть его.

— А отец с матерью видели письмо?

— Нет, я сразу поднялся с ним наверх.— Джим искоса хитро поглядывает на меня.— Я бы не сказал, что это мужской почерк, а?

Я улыбаюсь — улыбка расплывается у меня по всему лицу, хоть я еще и не знаю, что в письме.

— Спасибо, дружище. Я тебя за это не забуду в завещании.

— Не стоит благодарности,— говорит Джим.

— Очень даже стоит, только ты об этом ни гу-гу.

— Вот-те крест.

— Значит, железно.

Пересекаю площадку, закрываю за собой дверь и только тогда разрываю конверт и вынимаю один-единственный листочек бумаги, того же цвета, что и конверт. «Дорогой Вик,— написано на листочке.— Моя двоюродная сестра решила ехать более поздним поездом, и я проводила ее до Лидса. Обратный поезд опоздал, и я добралась до Кресли только после половины восьмого. Я приходила на то место, где мы условились встретиться, но, конечно, Вас там уже не было. Я решила, что Вы, наверно, думаете обо мне бог знает что, а потому и написала Вам это письмо, чтобы все объяснить, а то Вы, пожалуй, в понедельник и говорить со мной не станете. Завтра вечером (в воскресенье) я приду туда же, постарайтесь и Вы прийти. Если Вас не будет в 7.15, я буду считать, что Вы заняты. Надеюсь все же, что придете. Целую Вас. Ингрид.»

Последние два слова перед подписью отделяются от всего остального и растут, растут у меня на глазах. «Целую Вас!» *Целую!* Я подбрасываю письмо в воздух, прыгаю на кровать и начинаю скакать на ней, как клоун в цирке на пружинной сетке. Она *не* натянула мне нос. Она не могла так поступить. И она целует меня. *Целует!* Я прыгаю с кровати, сую руку в задний карман и бегу к Джиму в комнату.

— Ты все еще собираешь деньги на спидометр для своего велосипеда? — Я бросаю ему на постель две полкроны.— Добавь к ним эти пять.

Только уже перейдя через площадку, на пороге своей комнаты, я соображаю, что и полкроны было бы достаточно. А потом думаю: «А, не все ли равно! Ну, что такое деньги?» Славный старина Джим. Да и я сам — славный малый. И все такие славные, а Ингрид чудесная, чудесная, чудесная. Ах, до чего же она хороша, эта девчонка, чудесная, нежная!

II

Итак, в воскресенье днем все наше семейство — Старик, Старушенция, Джим и я — отправляемся через весь город к Крис, на ее новую квартиру, недалеко от Дьюсберийского шоссе. Дом их стоит высоко, как и наш, и вид из окон такой же хороший, как у нас, только живут они на самом верхнем этаже и потому могут любоваться этим красивым видом из гостиной, а у нас для этого надо подняться в спальню. Крис с Дэвидом только вчера вернулись из свадебного путешествия, и, когда они открывают нам дверь, начинаются объятия и поцелуи. Потом всем нам предлагают осмотреть мебель — Крис никому ее не показывала до

тех пор, пока они окончательно не устроятся. Ну, надо сказать, живут они здорово, я бы и сам не возражал иметь такую квартирку. Обставлена она в современном стиле, светлой мебелью с раскоряченными ножками, которые то и дело задеваешь при ходьбе; на полу лежит серо-сиреневый ковер, а стены обклеены обоями двух цветов. Они не стали покупать гарнитур вроде того, что стоит у нас дома, а приобрели два кресла и диван, который можно превратить в постель, если кто-нибудь из гостей вздумает заночевать. Наша Старушенция внимательно оглядывает все и говорит: «Да, очень мило, моя радость, очень мило». Но тон, каким это произнесено, яснее ясного говорит: «Конечно, это мило, если вам такое нравится, но мне — никоим образом...»

Дэвид со Стариком остановились у окна и смотрят на улицу.

— Да, вид, типичный для Западного Райдинга,— говорит Старик.— Чего тут только нет.

— А все же лучше, чем тот, что открывался из моей старой берлоги,— говорит Дэвид.— Угольный склад, коттеджи террасами друг над другом и самая большая церковь нонконформистов, какую я когда-либо видел.

— А тебе случалось бывать в Клекхитоне? — спрашивает Старик без тени улыбки.— Попроси как-нибудь Крис, чтобы она тебя туда свозила. Чудесное место! У них там самая большая церковь методистов, какую *я* когда-либо видел. И еще другая — почти такая же большая — через дорогу.

— Мрачные сооружения эти церкви,— говорит Дэвид.

— Потише, мой мальчик,— осаживает его Старик.— Это все-таки дома божьи, и были они построены во славу имени божьего. Только подумай, с каким чувством они строились!

— Ну, тут я согласен,— говорит Дэвид.— Жаль только, что сейчас они превратились в вороньи гнезда. А когда я говорил так, то прежде всего имел в виду архитектуру. Интересно, почему все большие здания в Западном Райдинге построены либо в греческом, либо в итальянском стиле? Каждое второе здание выглядит как закопченный Парфенон.

— Это потому, что мы хотим, чтобы у нас было все самое лучшее,— говорит Старик.

— А неужели у Йоркшира нет своего стиля?

— Как же, есть — завод Коллинсона,— с ухмылкой говорит Старик. И тычет куда-то пальцем.— Вон тот, с самой большой трубой.

Дэвид улыбается.

— Вообще-то говоря, Западный Райдинг — не такой уж плохой район, как его описывают. Меня это приятно удивило, с тех пор как я поселился здесь.

— Не все будут такого мнения,— говорит Старик.— Иным нравится что-то более... ну, скажем, менее угрюмое — ты понимаешь, что я хочу сказать...

Так они беседуют о разных районах нашей страны — Старик ведь считает себя знатоком, потому что он немного поколесил по ней, но то и дело ему приходится признавать, что и в других краях что-то есть. Я встаю и направляюсь к книжным полкам у камина. Из маленькой кухоньки доносится позвякиванье посуды, и время от времени то Крис, то наша Старушенция появляются оттуда и что-нибудь ставят на раздвижной стол в центре комнаты. Основной предмет, который преподает Дэвид,— английская литература, поэтому на полках полно Шекспира и всяких скучных классиков. Я остановился перед ними просто так, чтобы скоротать время до чая, и взгляд мой случайно падает на толстую книгу в зеленом переплете. Вынимаю ее и вижу, что змея на корешке — вовсе не змея, а старинный лук. Смотрю на заглавие — «Улисс», автор — Джеймс Джойс, но мне это ровно ничего не говорит. Поскольку я уже

вынул книгу, раскрываю ее и начинаю листать. Тут на глаза мне попадается абзац неподалеку от конца, при виде которого волосы у меня встают дыбом. Насколько я понимаю, речь идет о девчонке, которая лежит в постели, или где-то там еще, и вспоминает, как она проводила время с парнями. Ну и ну, я чуть не окачурился. Я, конечно, видел всякие такие штуки, напечатанные на машинке, которые ходят по рукам,— все эти истории насчет коммивояжера, торгующего пылесосами, который приходит в дом и обнаруживает женщину, совсем одну,— но еще ни разу не видел, чтобы *такое* было *напечатано*. Быстро листаю страницы, пополняя свое образование. Иначе, как быстро, это и читать нельзя, потому что это ведь ее мысли и изложены они так, как приходят ей в голову, причем, поверьте, ничего не опущено, и нет ни запятых, ни точек,— фразы переходят одна в другую и сливаются в единый поток, как наши мысли. Словом, я стою и вбираю в себя все это, во всяком случае, все смачные места, когда ко мне подходит Дэвид и спрашивает, что я тут нашел интересного.

Я немного смущен, хотя, собственно, что же тут смущаться: ведь книга-то его, а не моя. И говорю с легким смешком:

— Немного смелая вещь, правда? Я и не знал, что такое печатают.

— Книга прошла через несколько судов, прежде чем ее разрешили печатать,— говорит Дэвид.

— Неудивительно...— И тут мне приходит в голову такая мысль: ведь старина Дэвид, прочитав такую книжицу, может бросить ее где-нибудь, и она может попасть в руки Крис.— Эта книга считается хорошей или как?

— Это шедевр,— говорит Дэвид.— Другого слова не подберешь. Это одно из самых значительных произведений, написанных на английском языке.

Я думаю, что с удовольствием почитал бы ее на досуге, и говорю:

— Придется тебе одолжить ее мне как-нибудь.

— Боюсь, она покажется тебе скучной,— говорит Дэвид.— Ее нелегко читать. Тут такой глубокий подтекст, что надо прочесть ее несколько раз, прежде чем начнешь что-то улавливать... Во всяком случае, мне бы не хотелось, чтобы, скажем, твоя мать открыла ее на том месте, где ты открыл. Она может не понять.

— Ручаюсь, что не поймет. А что думает по этому поводу Крис?

— Она ее не читала. Крис знает об этой книге, знает ей цену и говорит, что не считает нужным пускаться в ее изучение.

Он вытаскивает другую книгу.

— А как насчет этой?

Я бросаю взгляд на заглавие.

— А, Реймонд Чандлер. Да, я читал эту книгу. И еще три или четыре его книги — все, что было в библиотеке.

— Ты любишь читать?

— О, да. Я читаю все время. По-моему, читать в тысячу раз интересней, чем смотреть телевизор.

— Какие же книги ты читаешь?

— Ну, детективы, военные истории — словом, всякое такое... А почему бы тебе не написать книгу, Дэвид? Про войну. Ты ведь много всего повидал, правда?

— Даже слишком много...— Он ставит Чандлера на место.— Както раз я решил написать про то, как я был в лагере для военнопленных... Но таких книг оказалось столько, что не было смысла создавать еще одну.— Он вытаскивает какую-то книгу и протягивает ее мне.— Если бы я мог написать о войне вот такой хороший роман, я бы не думал о том, сколько до меня было об этом написано.

Роман называется «По ком звонит колокол».

— Я видел фильм по этому роману,— вдруг вспоминаю я.— Он снят довольно давно, но сейчас его снова выпустили на экран. Там еще играют Гарри Купер и Ингрид Бергман... Хороший фильм.

Ингрид... Ингрид... Словно сквозь сон я слышу, что Дэвид предлагает мне взять книгу и прочесть, может, она мне тоже понравится.

Немного погодя я заглядываю на кухню, чтобы перебросить несколькими словами с Крис, пока наша Старушенция куда-то вышла.

— Послушай, Крис, ты не будешь возражать, если я смоюсь около половины седьмого, а?

Она режет крутые яйца для салата.

— Я буду смертельно оскорблена,— говорит она.— В первый раз пригласила в свой новый дом, и вот, пожалуйста: ему уже не сидится. Что-нибудь важное?

— Чрезвычайно важное. Вообще-то я сегодня не собирался никуда идти, но получилась маленькая неувязка, и теперь я просто не могу не пойти.

— Как же ее зовут? — спрашивает Крис.

— Ну, ты ее не знаешь.

— Так хоть немного узнаю, если ты скажешь, как ее зовут. Надеюсь, тебе-то известно ее имя?

— Конечно. Ее зовут Ингрид Росуэлл. Но ты ничего не говори маме, ладно? Ты ведь знаешь, какая она у нас! Просто я сам со временем все ей расскажу, если... ну, ты понимаешь.

Крис улыбается — улыбка у нее такая чудесная, что на сердце становится сразу легко и кажется: все в порядке в этом мире, да и вообще везде.

— Понимаю,— говорит она.

Тут в кухню врывается наша Старушенция, облизывая масляные пальцы и вытирая их о передник, который дала ей Крис.

— А ну,— командует она, обращаясь ко мне,— пошел вон отсюда. Терпеть не могу, когда мужчины толкутся под ногами и мешают работать... Как тут у тебя дела? — спрашивает она у Крис.— По-моему, почти все готово, да?

— Если только ты заваришь чай.

— Мигом, голубка.

Через несколько минут мы все усаживаемся за стол, и Крис принимается рассказывать о том, что они видели во время свадебного путешествия, а Старик наш тут же заводит разговор о Лондоне. Есть у нашего Старика такая слабинка — считать себя великим специалистом по Лондону на том основании, что он был там несколько дней во время первой мировой войны, а потом ездил раза два или три на соревнования духовых оркестров да на финальные игры в розыгрыше кубка по регби. И нисколько его не смущает то, что он сидит рядом с Дэвидом, который там родился. Вскоре он так запутывается, что уже Крис приходится вытаскивать его за уши.

— Но ведь на Лестер-сквере даже и бара такого нет, папа,— говорит она.

— Сейчас, может, и нет, а когда я туда ездил, был,— говорит Старик.— Ты что, хочешь доказать, что я не знаю Лондона?

— Яйца курицу не учат,— говорю я и тотчас получаю от Старика взбучку.

— А ты не суйся, когда тебя не спрашивают, молодой человек.— И подняв указательный палец, он изрекает: — Так вот, когда мы с Эзрой Дайксом поехали на соревнования духовых оркестров, которые устраивала «Дейли геральд» в сорок девятом... нет, стойте... кажется, это было в пятьдесят первом?..— Он поворачивается к Старушенции: — Ты ведь помнишь, когда это было — в сорок девятом или в пятьдесят первом?

— Ну, откуда же я знаю,— невозмутимо отвечает наша Старушенция.— Ты бы лучше помолчал и попил чаю.

Тут Дэвид, который сидит себе и молчит, не принимая в этом споре никакого участия, поднимает от чашки глаза и украдкой мне подмигивает.

В двадцать пять минут седьмого я отправляюсь в ванную, мою руки и, пока наша Старушенция возится на кухне, помогая Крис мыть посуду, хватаю пальто и выскакиваю на лестницу.

Она ждет меня на углу у банка Берклея. На ней синее пальто с большим меховым воротником, которое очень идет к ее фигурке. Она без шляпы, в туфлях на высоченных каблуках. Я увидел ее раньше, чем она меня, и я еще перехожу через улицу, а у меня такое ощущение, точно я раздвоился и половина меня уже стоит рядом с ней.

— Привет!

— Привет. Так вы получили мое письмо?

— Да. Получил.

Я держу ее руки, затянутые в перчатки, и смотрю на нее, а она все лопочет, лопочет о том, почему опоздала вчера. Сейчас, когда я знаю, что это было не нарочно, меня это уже не интересует, а она все говорит и говорит, рассказывая мельчайшие подробности.

— А как его звали? — спрашиваю я, прерывая ее рассказ.

— Кого?

— Да того носильщика, который помог вам нести чемодан.

— Откуда же я знаю? — говорит она и только тут замечает, что я над ней подшучиваю.— Понимаю, я слишком заболталась, да? И все это не имеет значения, верно?

— Никакого.

— Представляю себе, что вы обо мне подумали.

— Забудем об этом. Теперь ведь все в порядке.

— А что вы делали? — спрашивает она.— Я испортила вам вечер? Вы долго меня ждали?

Я говорю ей, что ходил в кино с приятелем, и спрашиваю, как это она надумала написать мне письмо. Потому что ведь это самое замечательное. Она собиралась прийти, и это уже, конечно, немало, но раз она подумала о том, что надо написать мне, значит, ей наши отношения не безразличны и она не хотела, чтобы все распалось, и вынуждена была что-то предпринять.

— Надумала, и все,— говорит она.— Я решила, что если вы сразу все узнаете, то поймете, что я не могла поступить иначе. А если бы я отложила до понедельника, тут бы накопилась уйма всего — вы понимаете, о чем я говорю? И было бы куда труднее все исправить. Видите ли, я боялась, как бы вы не подумали, что я это нарочно сделала.

— А откуда вы знали, где я живу?

Это ведь тоже кое-что доказывает: значит, она и раньше интересовалась мной.

Она улыбается, не глядя на меня.

— Да вот так, знала,— говорит она.— Может, я знаю о вас куда больше, чем вы думаете.

Мне хочется запеть, закричать прямо здесь, на улице. Какая она прелесть! Настоящая прелесть!

III

— Ну, куда же мы пойдем? В кино?

— Я бы лучше погуляла и поболтала,— говорит она, и меня это вполне устраивает. Ведь как раз об этом я мечтал в прошлое воскресенье, когда явилась эта Дороти и влезла в наши отношения. Бог мой, как

подумаю о ней... Ведь она чуть не поломала нам все... И ничего бы этого не было — я бы не шел сейчас с ней и не знал, что она мной интересуется, как и я ею. А может, это и к лучшему, что у нас не все было гладко, потому что это заставило Ингрид раскрыться и дать мне понять, что она интересуется мной. Словом, мы как бы сделали два шага назад и дюжину вперед. Я даже начинаю думать, что мы должны быть благодарны Дороти.

— А вы сегодня были свободны? Вам нетрудно было встретиться со мной?

— Вообще-то говоря, мне не следовало сегодня приходить,— говорю я, а сам думаю, что даже если б по улицам бегали голодные львы, это не удержало бы меня.— Мы всем семейством приглашены были на чай к моей сестре, на ее новую квартиру. Она вчера вернулась из свадебного путешествия.

— А, понятно, к Кристине. Вы рассказывали мне про ее свадьбу.

Ведь и в самом деле рассказывал, только это было почти две недели назад. А смотрите, сколько с тех пор всего произошло! Я познакомился с Ингрид, потом считал, что потерял ее, а теперь вот снова нашел. И мне все еще не верится, что она тут, со мной рядом, и пришла не по моему приглашению, а сама меня позвала! Я беру ее руку и просовываю себе под локоть, она поворачивает голову, смотрит на меня и улыбается, а меня обдает терпким запахом ее духов.

— Мне нравятся ваши духи. Что это такое?

Она усмехается.

— «Желание».

— Рискованная штука душиться такими духами, а? — Джимми Слейд, наверно, сострил бы иначе: что-нибудь насчет того, что один флакон таких духов может расстегнуть пояс целомудрия, думаю я и улыбаюсь.

— Они довольно дорогие,— говорит она.— Поэтому я душусь ими только по особым случаям. Для каждого дня слишком накладно.

— Что-то не пойму: мне следует радоваться или огорчаться?

— Почему?

— А потому как непонятно: уверены вы, что я ничего себе не позволю, или наоборот.

Она хохочет.

— Нет уж. Давайте не безобразничать.

Разговор заходит о наших семьях, мы ведь совсем ничего не знаем друг о друге, и я выясняю, что отец Ингрид инженер-строитель, работает в крупной строительной фирме близ Манчестера и по делам службы часто разъезжает по стране, а иногда выезжает и за границу.

— Вообще его почти никогда не бывает дома,— говорит Ингрид.— Мама говорит, что это все равно, как быть замужем за моряком.

Я замечаю, что она говорит «мама», а не «мать», что сразу ставит ее семью на ступеньку выше моей.

— Но в такой жизни есть, конечно, и свои преимущества,— продолжает она.— Муж, которого видишь только от случая к случаю, никогда не надоест. Поэтому, когда он приезжает, они воркуют, как влюбленные голубки. Можно подумать, что они женаты какой-нибудь месяц, а не двадцать лет... Конечно, все изменится, когда меня с ней не будет. Ей станет, наверно, одиноко.

— Вы разве собираетесь уехать из дому?

— Когда-нибудь ведь придется. Когда я выйду замуж.

— А сколько вам лет, Ингрид? — Я примерно представляю себе, сколько ей лет, но не уверен.

— Мне исполнилось восемнадцать перед рождеством.— Я бы дал ей на год больше.

— Ну, вы еще совсем ребенок,— говорю я, чтобы поддразнить ее.— Вы не скоро расстанетесь с вашей мамой.

— Так или иначе, надо заглядывать в будущее, правда? Многие девушки выходят замуж и обзаводятся семьей в восемнадцать лет. А сколько же вам лет, старичок, если можно полюбопытствовать?

— Двадцать.

— Очень трудно было угадать ваш возраст. А все из-за вашей седой бороды.

Я смеюсь.

— Ладно, ладно...— И снова мне хочется петь и кричать. Все чудесно, и мы великолепно ладим.— А за какого же парня вы намерены выйти замуж? За такого, который, вроде вашего папаши, будет все время отсутствовать?

— Боюсь, что нет. Я хочу такого мужа, который был бы всегда при мне. Авось не надоест.

Значит, она хочет того же, что и я: жить вместе, смеяться, любить — и так каждый день. Как же это, должно быть, чудесно, если, конечно, вытащишь счастливый номер.

— Ну что ж, подождите, может, такой и подвернется. А может и так случиться, что это будет моряк или еще кто-нибудь в таком роде.

— А откуда вы знаете, что он уже не подвернулся? — говорит она, и я быстро вскидываю на нее глаза, не понимая, как к этому отнестись.

— Что же вы, в таком случае, делаете здесь, со мной?

— Возбуждаю его ревность,— говорит она.

— Понятно. Он большой, высокий?

— Не сказала бы. Но он хорошо сложен.

— И умеет орудовать кулаками?

— Право, не знаю. Думаю, что он способен постоять за себя.

— М-м-м.— Я приподнимаю шляпу и делаю вид, что хочу повернуть обратно.— В таком случае, спокойной ночи.

Она смеется.

— Пошли-пошли, я не дам вас ему в обиду.

Все это время мы шли по проспекту, окаймленному частными особняками,— он ответвляется от главного шоссе, которое ведет к Гринфорду мимо Кресслийской пустоши. И вот перед нами ворота из кованого железа, с гербами и завитушками, а рядом боковая калитка — вход в Рейвенснукский парк. Калитка открыта, и Ингрид предлагает зайти в парк. Мы проходим мимо сторожки, погруженной в темноту, и идем дальше по одной из широких асфальтированных аллей, по обеим сторонам которой тянутся пустые клумбы и стоят высокие деревья.

— А что вы подумали, когда я вчера не появилась? — немного погодя спрашивает она.

— Я просто не знал, что и думать.

— Неужели вам не пришло в голову, что меня могли где-то задержать?

— Такая мысль у меня была.

— Не могли же вы в самом деле решить, что я согласилась прийти на свидание, а потом нарочно не пришла?

— Такие случаи бывали, верно?

— Значит, вы меня совсем не знаете, если думаете, что я могла так поступить,— говорит она, и в голосе ее слышится холодок.

— Но ведь я действительно совсем вас не знаю, правда? Мы же были вместе всего три раза. А вдвоем — так только два. Когда в тот раз вы появились с Дороти, я...

— Но ведь я же говорила вам, что *не приглашала* ее. Просто она иной раз заглядывает к нам по воскресеньям и остается пить чай. Я ее

вовсе не ждала, а когда она пришла, я ничего не могла ей объяснить, пока мы не вышли из дому, а тогда уже невозможно было от нее отделаться — она бы обиделась. Такой уж у нее характер. Вбила себе в голову, что должна непременно посмотреть на вас, и все. Она мне сказала, что побудет с нами всего пять минут и уйдет.

Ну вот, теперь все ясно. И мы как бы начинаем все сначала, забавно только, что благодаря Дороти события развиваются куда стремительнее. Вот бы она взбесилась, если б могла это предвидеть!

— Ну, а что было потом, вы сами знаете,— говорит Ингрид.

Да, знаю. Но куда меньше половины. Не пойму, выговаривает она мне, что ли, за тот вечер или это мне кажется. Очень может быть, что и так, и, наверно, она права; сейчас у меня такое настроение, что я могу думать даже о Дороти без отвращения.

— Понимаете, я вовсе не собирался на нее набрасываться, но вынести эти ее намеки тоже не мог. Особенно после наших двух встреч. Ну, я и вспылил, а когда вчера вы не пришли, я решил, что все кончено. Я подумал, что вы не хотите больше меня видеть, а сказать мне это в лицо стесняетесь.

— Но ведь все же было не так! — воскликнула она.— Теперь вы понимаете, как может возникнуть недоразумение? Хорошо, что я придумала написать письмо, а то трудно даже представить себе, что было бы.

— Я могу сказать вам, что именно,— говорю я.— Я бы вас больше никогда не побеспокоил.

Из темноты возникают очертания раковины для оркестра, похожей на большой причудливый торт. Я говорю: «Давайте посидим» — и веду Ингрид за угол, на боковую дорожку, где ранним летом цветет огромный куст рододендронов — там, я знаю, есть скамейка.

— А вам было бы неприятно, если бы я больше не назначил вам свидания? — спрашиваю я, и она, словно застеснявшись, произносит только:

— А как вы думаете?

Я молчу и обнимаю ее за плечи. Она придвигается ко мне, и я думаю: «Чудно все-таки, какая малость может все изменить — вот ты безразлично трусишь по жизни день за днем, и вдруг она начинает казаться тебе совершенно удивительной...»

— Что это у вас в кармане? — спрашивает она.

Я снимаю с ее плеч руку и выпрямляюсь.

— Книжка.

— Такое впечатление, точно кирпич.

Вынимаю книгу из кармана и верчу ее в руках.

— Это «По ком звонит колокол». Читали?

Господи, конечно нет, говорит она, где там читать книги. Она получает три еженедельных журнала и даже на них из-за телика времени не хватает. Почему-то не люблю я это слово — «телик». В воображении сразу возникают тучные невежды, которые кудахчут, словно куры, слушая остроты вроде тех, что печатают на цветных открытках, насчет толстопузых личностей, ночных горшков и тому подобного. Ну, вы знаете. Вот почему я верчу в руках книгу и молчу. Я всегда испытываю приятное ощущение просто оттого, что держу книгу,— кажется, что это что-то стоящее, непреходящее. Не то, что телевизор, который можно включить и выключить, повернув ручку, совсем как водопроводный кран. Жаль, думаю я, что она не любит читать, ведь это значит, что мы никогда не сможем обсуждать книги, которые мы оба прочли, или советовать друг другу, что прочесть.

— По этой книге был поставлен фильм,— говорю я ей, просто чтобы что-то сказать.— С Гарри Купером и Ингрид Бергман.

— Моей тезкой.

— Что?

— Я имею в виду Ингрид Бергман. Ведь меня назвали в ее честь. Мама одно время была без ума от нее. От нее и от Лесли Ховарда. Если бы я была мальчиком, меня, наверно, назвали бы Лесли.

— А я как раз думал, что у вас странное имя для англичанки,— говорю я.— И собирался спросить, почему вас так зовут.

— По-моему, совсем не странное. Мне оно нравится.

— Странное не в смысле «плохое». Я хотел сказать, что оно необычное.

— А вы бы предпочли, чтобы меня звали Мэри, или Барбара, или еще как-нибудь в этом роде?

— Дороти,— говорю я.— Вот имя, которое мне очень нравится.

Она шутливо подталкивает меня в бок локтем и улыбается:

— Да ну вас!

Я смеюсь и сую книгу в другой карман.

— Все равно вы мне нравитесь — такая, как вы есть,— говорю я ей.

Минута молчания, потом она говорит:

— Правда, Вик? Честное слово?

Мне хотелось бы сказать ей, что я люблю ее, что я от нее без ума, но я не могу бухнуть это так, сразу, и я говорю только:

— Наверно, я не бегал бы за вами, будь это иначе, правда?

— Пожалуй, нет.

Я снова обнимаю ее за плечи; она придвигается ко мне совсем близко, и я чувствую ее волосы на своем лице. Я поворачиваюсь, и губы мои касаются ее щеки, а секундой позже я уже покрываю ее лицо быстрыми короткими поцелуями — все лицо, все: лоб, щеки, глаза, нос и, наконец, рот. Я снова и снова целую ее губы, едва касаясь их губами, словно одного долгого поцелуя мне было бы недостаточно. И между поцелуями снова и снова шепчу ее имя.

Потом мы разжимаем объятия, чтобы передохнуть.

— Уф! — произносит она с легким смешком.— Все-таки плохо быть девчонкой,— говорит она немного погодя.— А вдруг вы бы не заговорили больше со мной после того воскресенья! Сколько времени могло бы пройти, прежде чем мне удалось бы дать вам понять, что я хочу с вами встречаться.

— Ох уж эта Дороти! Она чуть нам все не испортила.

— А знаете, она бы, наверно, не возражала. Хоть она и моя подруга, а все же она стервозная девчонка. И такая завистливая! Понимаете, завидует мне, потому что я встречаюсь с вами. В этом-то и беда ее, что она завистливая.

— А почему бы ей самой не завести себе приятеля? — говорю я с легким сердцем, потому что у меня есть Ингрид, а Дороти я могу великодушно предоставить всякому, кому охота.

— Она утверждает, что не любит мужчин. Во всяком случае, делает вид, будто она выше всего этого.

— Неужели никто никогда не назначал ей свидания?

— По-моему, нет.

— Тяжелый случай.

— Дело в том, что она не очень привлекательна, правда? Ну, если говорить по-честному, вы же тоже не находите ее привлекательной, правда?

— Я нахожу вас привлекательной,— говорю я, а сам думаю, что уже хватит нам сидеть порознь.

И мы снова целуемся — на этот раз долго, неотрывно, и я весь таю, и мне кажется, что я сейчас умру от нежности к ней. Теперь уже мы не разжимаем объятий, а сидим, прижавшись друг к другу, и я осторожно провожу пальцами по ее лбу, по щеке и опять приникаю к ее гу-

бам. Она умеет целоваться, и это так возбуждает меня, что я прижимаю ее к себе все крепче и крепче — уж крепче быть не может. А мысли у меня скачут: ведь если она целует меня так, значит, как бы дает мне зеленый свет и разрешает пойти дальше, но я не уверен, что это так. А вдруг я все испорчу, оскорбив ее. Мы снова целуемся, и снова это восхитительное ощущение от движений ее языка, и я думаю: да нет, вроде все в порядке, ошибки быть не может, она сочтет меня слюнтяем, если я ничего не предприму. Я просовываю руку под борт ее пальто, и она слегка изгибается, чтобы мне удобнее было. Вот я уже нашел пуговицы ее блузки, но тут — стоп: под блузкой настоящая сбруя и где там что, ничего не поймешь. Она что-то бормочет, отодвигается от меня и сама спускает с плеча бретельку. Потом снова придвигается, шепчет: «Ну вот», и моя рука уже на прежнем месте, и я чувствую под пальцами шелковистую кожу и упругий сосок, и все внутри у меня тает от нежности к ней. «Боже мой! — шепчу я.— Я без ума от тебя, Ингрид!» Пальцы ее сплелись у меня на затылке, зарылись в мои волосы, и она все снова и снова повторяет: «Вик, о Вик!» А я думаю о том, что ради *этого* стоило родиться, что этой минуты я ждал всю жизнь — с тех пор как себя помню. И это еще не все, потому что позже, когда рука моя перебирается ниже, я чувствую, что и она испытывает то же, что и она ждала этой минуты; она вздрагивает при моем прикосновении, вздыхает и замирает в моих объятиях, а я люблю ее так, как можно любить только в мечтах.

А потом она, видно, задумывается и, прильнув к моему плечу, шепотом спрашивает:

— Вик, а Вик, скажи, ты не считаешь меня слишком доступной?

— Почему?

— Ну, из-за того... что сейчас произошло?

— Ты не должна никогда так думать,— говорю я ей.— Никогда.— И снова покрываю ее лицо поцелуями — каждый квадратный дюйм ее лица, потому что я хочу, чтобы она почувствовала, как я благодарен ей, как люблю ее, а после сегодняшнего вечера стал любить еще больше.

Домой я возвращаюсь поздно. Старушенция поджидает меня: стоя спиной к камину, она заводит будильник. Старик, видимо, уже лег спать.

— Хорош,— говорит Старушенция, а я останавливаюсь на пороге, зажмурившись от яркого света.

— А что такое?

— Его пригласили на чай, а он взял и удрал. И что только подумал Дэвид.

— Он что-нибудь сказал?

— Это же воспитанный человек. Тебе бы поучиться у него, как себя вести.

— Я ведь сказал Крис. И она не возражала.

— Ну, наша Кристина вечно тебя покрывает. Да и что, собственно, она могла сказать? Не держать же тебя силой, раз ты заявил, что уходишь.

Я сажусь в кресло и расшнуровываю ботинки. Чувствую, что лицо у меня красное, щеки горят, но я крепко сжимаю губы, чтобы не испортить сегодняшний вечер.

— Постыдился бы,— говорит Старушенция.

— Послушай,— говорю я,— ведь я был приглашен на чай к собственной сестре, а не в Букингемский дворец. На чай. Значит, я вовсе не обязан был сидеть там до ужина.

Старушенция берет с камина свою чашку и допивает остатки чая.

— Когда тебя приглашают к чаю,— не отступается она,— это не значит, что ты должен бежать из дома, как только встали из-за стола.

— Опять ты, как всегда, преувеличиваешь. Во всяком случае, я объяснил все Крис, и она не возражала.

— Что же ты объяснил? А я вот даже не знаю, где ты был, по какому такому важному делу.

Я встаю и, повернувшись к ней спиной, выуживаю свои ночные туфли из-под стула.

— У меня было свидание.

— С девицей?

— Да.

— Но ты еще две недели назад знал, что сегодня мы идем к нашей Кристине.

— Мы должны были встретиться вчера, но произошла небольшая путаница, и пришлось отложить встречу на сегодня.

— А мне казалось, ты говорил, что вчера вечером был где-то с приятелем?

— Я и был. Я же сказал тебе, что произошла путаница.

— Что-то это для меня слишком мудрено,— говорит она.— Все какие-то тайны.

Я чувствую, что помимо воли начинаю свирепеть. Ну, зачем она все портит? Знай она, что произошло сегодня в парке, можно себе представить, как бы она все опошлила, загрязнила, а ведь ничего пошлого и грязного не было. Я надеваю домашние туфли, не поднимая головы, но чувствую, что она наблюдает за мной.

— А я знаю эту девицу?

— Нет.

С минуту она молчит, потом произносит каким-то странным, неестественно тоненьким голоском:

— Надеюсь, ты расскажешь то, что мне положено знать, когда придет время.

— Что у нас на ужин?

— В хлебнице лежит батон. Можешь приготовить себе чашку какао. А я иду спать.

— А молока у нас много?

— Достаточно.

— Тогда я выпью стакан молока.

— Оставь только нам с отцом к завтраку.— Она направляется к двери, держа в руке будильник, который тикает в тишине, как метроном.— Пожалуйста, не сиди долго и не забудь выключить свет.

Я иду на кухню, нахожу батон, разрезаю его вдоль и густо намазываю маслом. Интересно, почему Старушенция не стала расспрашивать меня подробнее об Ингрид? Поразмыслив над этим, я прихожу к выводу, что в глубине души она была даже рада, узнав, что я ходил куда-то с девушкой.

Беру батон, молоко, возвращаюсь в гостиную и сажусь у огня. Вся беда в том, что в общем-то мне и самому это начинает казаться пошлым и грязным. Ведь об этом даже говорить не положено, просто так уж повелось испокон веков и надо, чтобы продолжался род человеческий, однако людей, которые занимаются этим ради удовольствия, ставят на одну доску с пьяницами и картежниками. Такие мысли невольно приходят мне в голову, хоть я и знаю, что это неправда,— во всяком случае, у Крис с Дэвидом, да и у меня с Ингрид это не так.

Глава 6

I

На следующее утро Хэссоп уже появился на работе — несколько раньше, чем мы предполагали, и безусловно раньше, чем нам хотелось.

— А я-то думал, что мы еще недельку поживем спокойно,— говорит Джимми, глядя вслед нашему боссу, который только что прошел через зал к себе в кабинет и захлопнул за собой дверь.— Разве по словам его сестры нельзя было этого предположить?

— Наверно, это было в конверте,— говорю я и ухмыляюсь.

Ну, не все ли мне равно, вернулся Хэссоп или нет? Я счастлив, и это главное. А старина Хэссоп — не такой уж он плохой. Он знает свое дело, и если иногда бывает не очень приятным, так на то он и босс. У него свои заботы... Взять хотя бы эту его сестрицу... Если б мне пришлось жить с такой придурковатой теткой, я бы, может, тоже кидался на всякого встречного. А я, как я уже сказал, счастлив. Сегодня утром я не разговаривал с Ингрид, но один вид ее ног, мелькнувших где-то впереди, в тумане, сразу воскресил в моей памяти все, что было вчера, и я подумал о том, какой же я счастливый-рассчастливый пес. И все люди сразу показались мне такими хорошими. Я даже обнаружил какие-то симпатичные черточки в этом грубияне Конрое. Во всяком случае, так было до обеденного перерыва...

А потом, перед самым звонком, мы стояли группой человек в пять возле входной двери, у шкафа, где хранятся чертежи, и чесали языки. Кто-то произносит имя Конроя; в эту минуту дверь распахивается, и входит сам Конрой.

— Кто это болтает обо мне? — спрашивает он.— Кто тут произнес сейчас мое имя?

Это был не я, но меня словно за язык кто дергает: на ум пришел хлесткий ответ и просто обидно промолчать.

— Я,— говорю.— Рассказывал ребятам, что купил свинью и не могу придумать, как бы ее назвать.

Позади меня кто-то крякает от хохота, и на всех лицах появляются улыбки — на всех, кроме лица Конроя. Он секунду смотрит на меня, окаменев от бешенства. «Ах ты... паскуда... щенок...» И раздвигая окружающих, движется прямо на меня. Я стою. Я вовсе не хотел затевать с ним ссору — особенно сегодня, когда у меня на душе так хорошо, но, видно, рано или поздно это должно было случиться. Сердце у меня колотится как сумасшедшее: я чувствую, что драки не миновать, но отступать — да еще при свидетелях — я не намерен.

Я знаю: единственный путь к спасению — ближняя схватка, а потому приседаю, увертываюсь от удара Конроя, метившего мне в голову, и, ринувшись вперед, обхватываю его за пояс. Покрытый линолеумом пол со стремительной быстротой надвигается на меня, и я падаю, увлекая за собой Конроя. Мы катаемся по полу, ударяясь о шкаф с чертежами. Я задеваю ухом за ручку одного из ящиков и чуть не вскрикиваю от боли, да еще Конрой, стараясь вырваться из моих объятий, чтобы как следует отдубасить меня, умудряется то и дело дать мне пинка по голове. Словом, я уже чуть не плачу и страшно боюсь, что вот-вот не выдержу и зареву у всех на глазах. Я извиваюсь и вытягиваю шею, чтобы Конрой не мог дотянуться до моей головы, и тут вижу прямо перед собой жирную ляжку, обтянутую брючиной. Не раздумывая над тем, дозволенный это прием или недозволенный, я впиваюсь в нее зубами и кусаю изо всех сил.

Ну, теперь все в порядке. Конрой издает отчаянный рев, ноги его взвиваются в воздух, и он выпускает меня. Он стоит на коленях, держась

обеими руками за низ живота, и причитает: «Что же теперь будет? Что же теперь со мной будет?»

Все помирают со смеху — кроме меня. А я смотрю на Конроя и пытаюсь сообразить, неужели я ему действительно что-то повредил; я ведь совсем этого не хотел и думал, что укусил его в ляжку, да только он, видно, повернулся.

Дверь распахивается, в зал входит Хэссоп. И замирает при виде Конроя, который все еще стоит на коленях, держась за низ живота, и стонет. Я поднимаюсь на ноги, а все вокруг покатываются со смеху. Но, конечно, смех разом смолкает, как только они видят Хэссопа, а он смотрит на Конроя, который теперь вроде бы стоит перед ним на коленях и молит его о чем-то.

— Что тут происходит? — спрашивает Хэссоп. Конрой поднимает на него глаза и тут же отводит взгляд, не произнеся ни слова.— Вы что, дрались, Браун? — спрашивает Хэссоп уже у меня.

— Просто немного валяли дурака, мистер Хэссоп,— говорю я.

Отряхиваюсь, а сам наблюдаю за ним — он стоит, весь белый: должно быть, подбирает слова, чтобы как следует на нас наорать. Но не орет. Нервный тик пробегает у него по лицу, и он говорит:

— Ну, здесь для этого не место и не время. Займитесь-ка делом, и чтоб больше этого не было.

И он удаляется к себе в кабинетик, а Конрой встает, идет к своей доске, взбирается на табурет и застывает, опустив голову на руки. Я с минуту смотрю на него, потом подхожу.

— Слушай, у тебя все в порядке, Конрой? — спрашиваю я.

— Проваливай,— рычит Конрой, не поднимая головы.

Я возвращаюсь к себе и принимаюсь за работу. Но время от времени все же поглядываю на него: а вдруг я и в самом деле что-нибудь ему повредил. Правое ухо у меня саднит потом весь день.

Если мы думали, что все на этом и кончилось, то глубоко ошибались. На другое утро Хэссоп останавливается у доски Конроя и говорит:

— Мистер Олторп хочет видеть вас, Конрой. И вас, Браун.

Конрой поднимает свою большую голову, долго смотрит в упор на Хэссопа, потом слезает с табурета и шагает к двери. Я — за ним.

— Ты, конечно, понимаешь, что это значит? — спрашивает он, когда мы выходим в коридор.— Наш друг Хэссоп снова занимался доносами. У него не хватает духу самому нас взгреть, так он передает эту грязную работенку Олторпу.

— А что мы ему скажем? — спрашиваю я.— Удастся ли нам наскоро придумать что-либо пристойное?

— Можешь не волноваться,— говорит Конрой.— Поскольку я знаю Олторпа, он нам даже слова вставить не даст.

Останавливаемся перед массивной дверью, на которой золотыми буквами выведено: «Главный инженер».

— За этим порогом,— говорит Конрой,— владычествуют две тысячи в год... Пошли.

Он стучит в дверь и прикладывает к ней ухо. Какая-то машинисточка трусит мимо и оглядывает нас с головы до пят. Я подмигиваю ей, хотя настроение у меня сейчас далеко не такое, чтобы подмигивать. Из кабинета доносится громкой возглас, Конрой поворачивает ручку, и мы входим.

Мистер Олторп — крупный мужчина с гладко зачесанными седыми волосами, они блестят при свете, падающем из большого окна за его письменным столом. Он кончает диктовать, отпускает стенографистку, и она, подхватив свои карандаши и блокнот, проходит по ковру к двери в соседнюю комнату. Мистер Олторп достает сигарету из пачки

«Плейерс», лежащей на столе, и закуривает. Еще только одиннадцать часов, а большая пепельница уже полна окурков и обгоревших спичек. Он жестом велит нам подойти поближе, снимает большие очки, кладет их на стол и смотрит на нас так пристально, что я теряю всякое присутствие духа.

— Послушайте, вы двое,— говорит он наконец.— Я слышал, вы на работе в чехарду играли. А потом катались по полу и тузили друг друга.

Наверно, нам надо что-то сказать, но я предоставляю это Конрою, а он молчит, как немой, и я устремляю взгляд в окно, за спиной мистера Олторпа, и наблюдаю за ярко-желтым грузовиком, который свалил груз и, задрав вверх рогатины разгрузочной лебедки, похожие на огромные ноги циркового клоуна, едет по двору.

— Чтоб этого больше не было, ясно? — заявляет мистер Олторп и изо всей силы ударяет ладонью по столу, так что я подпрыгиваю на целый фут.— Если у вас возникают споры и вы хотите решать их таким путем, будьте любезны делать это за пределами нашего бюро. Здесь я этого терпеть не намерен. Вы приходите сюда работать, так и занимайтесь делом. За это вам платят деньги, а если вас это не устраивает, забирайте свои вещички и мотайте в другое место. Я не желаю, чтобы мое бюро превращалось в обезьяний питомник. Если бы я в молодости вел себя так, меня бы безо всяких предупреждений выставили на улицу. Но в те времена мы ценили свою работу — тогда получить место было не так-то просто.

Теперь я смотрю на галстук мистера Олторпа — аккуратно повязанный, синий, в белый горошек. Интересно, буду ли я когда-нибудь сидеть за большим столом, получать две тысячи в год и отчитывать двух парней за драку на работе. Я вспоминаю потом, что в ту минуту ничуть не дрожал за свое место.

— Вы-то уж достаточно взрослый,— говорит тем временем Олторп, обращаясь уже только к Конрою.— Вам, во всяком случае, можно было бы и не разъяснять всего этого, и вы, старшие, должны были бы подавать пример таким, как Браун. У меня нет жалоб на вашу работу, Конрой. У вас хороший технический ум, и мы всегда возлагали большие надежды на ваши способности. Так что пора бы вам повзрослеть.

Он переводит взгляд на меня, и я чувствую себя как бабочка, которую накололи на булавку и пришпилили к стенке.

— А вот о вас, Браун, я не могу того же сказать,— говорит он.— Последнее время мистер Хэссоп не очень доволен вашей работой. Когда вы поступили к нам, вы казались многообещающим парнем, но сейчас не стараетесь зарекомендовать себя с лучшей стороны. В чем дело? Или, может быть, ваши мысли заняты какой-нибудь девчонкой, а не тем, что лежит у вас на чертежной доске?!

Я краснею и открываю было рот, чтобы ему ответить, но тут же закрываю его, потому что он не дает мне слова вымолвить.

— Наведите-ка порядок в своих мыслях и займитесь делом, если хотите работать у нас.— Тут он берет очки и надевает их.— Я не знаю, из-за чего произошла эта драка, и не желаю знать. Но чтобы больше я об этом не слышал.

Он упирается взглядом в бумаги, и я понимаю, что разговор окончен. Однако едва я успеваю подумать, что все сошло благополучно и надо поскорее убираться отсюда, как старина Конрой, который до сих пор молчал, словно воды в рот набрав, произносит нечто такое, отчего холодок бежит у меня по спине, а мистер Олторп снова снимает очки.

— Что такое?— спрашивает он.

— Я сказал, что не понимаю, почему вокруг этого подняли такой шум,— говорит Конрой.— Подумаешь, люди поспорили у себя в бюро! Разве нельзя было и разобрать это в бюро, а не выносить сюда?

Собственно, это все равно, что назвать Хэссопа наушником... Я вижу, как лицо мистера Олторпа наливается краской и глаза вылезают из орбит; он швыряет на стол очки и встает, опираясь на руки.

— Вы что, решили учить меня, как мне обращаться со своими служащими, Конрой?! — говорит он. И начинает все сначала, и говорит все то, что уже сказал, и даже куда больше, только на этот раз сдабривает это такими словцами, что я то и дело отвожу глаза и жалею, что не могу провалиться сквозь землю, до того мне неловко. Слышать эти слова от него мне так же неприятно, как если бы на его месте был наш Старик. Может, он думает, что другого языка мы не понимаем, но мне кажется, что человек, занимающий такое положение, как мистер Олторп, не должен так выражаться, и я знаю, что никогда больше не смогу относиться к нему с прежним уважением. В какую-то минуту я бросаю украдкой взгляд на Конроя и вижу, что он стоит, поджав губы, и все, что говорит Олторп, для него пустой звук.

— А теперь убирайтесь,— говорит Олторп,— пошли вон оба.

Он опускается в свое кресло и снова протягивает руку к очкам.

Когда мы выходим в коридор, Конрой бранится на чем свет стоит. Он чуть на стену не лезет от ярости. Что же до меня, то я дрожу с головы до пят, и сердце у меня бешено колотится.

— О господи,— говорю я,— мне хотелось провалиться сквозь землю, когда он начал садить непечатными.

— Грамотный малый, ничего не скажешь!— замечает Конрой.— Надо отдать ему справедливость: не боится крепкого словца и не стесняется говорить, что думает.

— Знаешь, я считаю, что это все из-за меня: ведь это я тебя поддел.

— Нет, виной всему Хэссоп. Так бы и вышиб все его желтые зубы! Доносчик, гадина!..

Я смотрю на Конроя, и — вот уж чего бы никогда не подумал — он начинает мне даже нравиться. Я знаю, что никогда не забуду, как он держался перед Олторпом.

— Ты уж извини меня, Конрой, за то, что я тебя укусил,— говорю я ему,— но больно крепко ты меня колошматил.

— Да ладно, забудем об этом,— бурчит он.— Просто мне показалось сначала, что ты меня всерьез изувечил. Ну, теперь, по-моему, мы квиты. Я ведь тогда здорово разозлил тебя тем, что проехался по адресу той девчонки... Но долго видеть здесь мою физиономию тебе не придется, можешь мне поверить. Больше я такой душ принимать не желаю. Да будь я проклят, если я останусь здесь и позволю, чтобы меня распекали, как мальчишку за прогул.

И он распахивает дверь, со всего маху ударив по ней ладонью. Пружина резко возвращает ее обратно, и я едва успеваю подставить руку, чтобы она не ударила меня по лицу. Конрой идет по проходу и останавливается возле Уимпера. Это маленький чертежник средних лет, безответный работяга — из тех, что готовы всю жизнь гнуть спину за гроши.

— Где у тебя «Манчестер гардиан»?— спрашивает Конрой намеренно громко, чтобы все слышали.

— Не беспокойся, я сразу же дам тебе ее в обеденный перерыв,— говорит Уимпер, испуганно взглянув на Конроя.

— На черта мне сдался твой обеденный перерыв,— говорит Конрой.— Я хочу сейчас.

Уимпер пожимает плечами.

— Пожалуйста.

Не глядя, он выдвигает левый ящик и продолжает работу.

Теперь уже добрая половина сотрудников наблюдает за Конроем, а он берет газету, расстилает ее на своей доске и начинает переворачивать страницы, точно он не на работе, а в читальне. Дойдя до полосы, где

печатаются объявления о найме, он принимается их читать, водя пальцем по колонкам.

Не проходит и минуты, как Хэссоп начинает что-то подозревать. Он выходит из своего кабинетика и, как всегда, неслышно ступая, приближается к Конрою, а тот на него никакого внимания.

— Вам непременно нужно читать газету во время работы, Конрой?— спрашивает Хэссоп этаким язвительно-ироническим тоном, но Конрой продолжает читать, будто его тут и нет.— Я к вам обращаюсь, Конрой,— говорит Хэссоп, начиная выходить из себя.

Конрой поворачивает голову и смотрит на Хэссопа.

— Я ищу работу,— говорит он.— И если здесь ничего не найду, то посмотрю в «Йоркшир пост» и во всех других газетах.— Он уже с трудом сдерживается.— Хватит с меня этой чертовой каторги, Хэссоп. Ухожу я. Я не из тех запуганных работяг, которые в три погибели склоняются над доской, как только заслышат голос хозяина. У меня все-таки шарики работают, и я попробую применить свои способности где-нибудь в другом месте. Думаю, долго искать мне не придется: немало есть фирм, которые плачут по парням со смекалкой. Да и платят они куда больше, чем в этом вашем потогонном бюро!

Вот это он высказался, ничего не скажешь, и все вокруг напряженно прислушиваются, стараясь не упустить ни слова и гадая, что же будет дальше. Ну и напорист же этот Конрой — как бык, думаю я. Ни перед чем не остановится, если его разозлить. Лицо у старины Хэссопа становится белым, как кусок сала, а рот начинает дергаться — так всегда с ним бывает, когда он взбешен.

— Вам придется искать себе работу куда быстрее, чем вы думаете, Конрой, если вы будете так себя вести.

— Можете меня уволить хоть сейчас,— говорит Конрой.— Только сделаете мне одолжение.

На лбу у Хэссопа надувается жила, и на секунду всем нам кажется, что он сейчас велит Конрою явиться за расчетом. Но пора бы нам знать, что у него никогда не хватит духу сделать это в присутствии всего бюро. И он продолжает стоять и стоит на целую минуту дольше, чем следует. Потом сдавленным голосом произносит:

— Я предупредил вас, Конрой. Так что смотрите.

И повернувшись, возвращается к себе в кабинет.

Конрой провожает его взглядом, пока за ним не закрывается дверь, после чего снова принимается листать газету, то и дело слюнявя кончик пальца.

II

Однажды вечером, вернувшись домой, я слышу: наш Старик у себя наверху практикуется на тромбоне. Надо сказать, что Старик наш — большой мастак по этой части. В свое время его звали в самые что ни на есть хорошие оркестры, но он не принял ни одного приглашения: в Южный Йоркшир он не поехал, потому что забои там слишком глубоки и душны для него, в других же местах ему пришлось бы совсем уйти из шахты и стать чернорабочим на заводе, а денег это давало мало. И поэтому он всегда играл в кресслийском оркестре, который, конечно, не чудо XX века, а просто неплохой второразрядный коллектив. Сам я ни на чем не играю, но оркестр люблю, особенно на марше, и до чего же приятно бывает видеть, как наш Старик шагает впереди, задрав к небу свой тромбон, слышать его резкий звук на фоне остального оркестра.

Старик спускается вниз, когда я пью чай, и берет с каминной доски открытку.

— Ты не забыл про это, Вик?

Это повестка донорам — надо явиться в школу на Шайргроувроуд. Старик тоже получил такую, а мы обычно ходим туда вместе.

— Забыл,— говорю я,— но это не страшно: никаких особых дел у меня нет.

— И кто это сдает кровь в середине зимы?— говорит наша Старушенция.— Разве не ясно, что это ослабляет сопротивляемость организма простуде и болезням.

— Да перестань ты,— говорю я.

— А по-моему, в некотором роде это даже полезно,— заявляет наш Джим.— Одно время кровопускание рассматривалось как средство излечения почти от всех болезней.

Я строю рожу мистеру Всезнайке, а наша Старушенция говорит:

— Так ведь больше-то этого не делают, верно? С тех пор кое-чему научились.

Старик чистит ботинки у огня.

— Не вижу в этом никакого вреда,— говорит он.— Зато эта капля крови, которую у тебя берут, может принести кому-то большую пользу.

— О господи!— вздыхает Старушенция.— Каждый должен чем-то помочь другому. Без этого весь свет полетит в тартарары. Но все-таки, Виктор, я бы на твоем месте попринимала зимой пивные дрожжи и рыбий жир. Очень полезно.

Я снова строю рожу. Я уже много лет не принимаю ни пивные дрожжи, ни рыбий жир.

— Джим выпил целую бутылку. Надо будет завтра купить в аптеке еще.

— Тогда купи лучше в капсулах: я слишком стар, чтобы пить рыбий жир с ложечки.— Я протягиваю ей чашку.— Есть там еще капелька?

Старушенция снимает с очага чайник и наливает мне чашку.

— Будь ты самый что ни на есть старый, а полезные вещи всегда полезны, в том числе и материнский совет...

— Так, послушаем лекцию.

— Вот сейчас надеру тебе уши, молодой человек, будешь знать, как над матерью смеяться. Добрый совет всегда пригодится.

Я вскакиваю из-за стола, выбрасываю вверх руки и на манер Эла Джолсона принимаюсь плясать.

— Мамочка, я тебя обожаю, мамочка, жить без тебя не могу...

Лицо ее расплывается в улыбке, хоть она изо всех сил хмурит брови.

— Пошел, пошел, этакий ты кривляка.

Вся школа освещена. Мы пересекаем спортивную площадку и направляемся к входной двери, но тут висит табличка: «Сдавать кровь — сюда», и на ней стрелка. Какой-то парень и женщина средних лет, оба с повестками, ждут у двери слева, и двое или трое сидят у двери в помещение, где берут кровь. Мы со Стариком занимаем очередь. Теперь для меня сдавать кровь сущие пустяки, раз плюнуть, но я никак не могу привыкнуть к запаху больницы, который появляется здесь, как только оборудуют донорский пункт. Старик заходит; через минуту захожу и я и сажусь перед тем парнем, который берет у меня повестку. Он дает мне карточку, которую я должен подписать и где сказано, что у меня никогда не было желтухи, малярии, рака, нефрита и множества других малоприятных вещей. У вас не возьмут кровь, если вы болели чем-либо из того, что тут перечислено, и всякий раз приходится подписывать такую карточку— наверно, в подтверждение, что после вашего последнего посещения ничего такого у вас не было. Затем этот парень дает мне почтовую открытку, на которой я должен написать свою фамилию и адрес. Недели

через две мне пришлют ее по почте с сообщением о том, куда пошла моя кровь. Наконец он вручает мне донорский лист и что-то еще, и я прохожу к девчонке в синем халате, которая завладевает моей рукой, всаживает иглу мне в палец, выжимает из него несколько капель крови в стеклянную пробирку и потом добавляет туда какой-то жидкости. Затем она берет стеклянную трубочку, опускает ее в пробирку, дует и следит за тем, как меняется цвет. Так она устанавливает группу моей крови и сверяет ее с той, что указана в донорском листе. Я выхожу из комнаты, прижимая к уколотому пальцу кусочек ваты, вешаю пиджак на крючок и присоединяюсь к тем, кто ждет очереди.

В большом зале расставлены каталки, и сестра подводит меня к одной из них. Я ложусь на спину. Она дает мне в руку подобие ручки от головной щетки — я должен то сжимать ее, то расслаблять пальцы, пока сестра будет накладывать мне выше локтя резиновый жгут и стягивать его, чтобы лучше выступила вена. Все доноры готовы. Тут появляется женщина-врач, подходит ко мне, мило так, как всегда, улыбается и спрашивает, хорошо ли я себя чувствую. Я говорю, что хорошо, и она вводит мне иглу — так осторожно, что я почти ничего не ощущаю, кроме прикосновения ее пальцев. Я смотрю на ее лицо. Она совсем не накрашена, и кожа у нее чистая, молодая. Всякий раз я думаю о том, какая она славная, и удивляюсь, что она не замужем, потому что она наверняка была бы хорошей женой какому-нибудь парню.

— Вам так удобно?

— Отлично, спасибо.

Она снова улыбается и переходит к другому донору. Мне очень хочется закрыть глаза, но я боюсь заснуть, поэтому я таращу глаза и смотрю в потолок, а время от времени бросаю убийственный взгляд на сестру — та сидит подле каталки и вяжет джемпер, в то время как я истекаю кровью, которая скапливается в бутылке на полу. Помещение старое, требует ремонта. С тех пор как я его помню, оно всегда требовало ремонта. Десять лет назад, в этой самой комнате, я сдал экзамены за начальную школу и перешел в среднюю. Десять лет! Говорят, чем старше ты становишься, тем быстрее бежит время, но даже я помню, что было десять лет назад. А что будет еще через десять лет? Что я буду делать, когда мне стукнет тридцать? Наверно, буду женат, и, возможно, у меня уже будут дети. Но на ком я буду женат? Кто будет эта девчонка? Еще две недели назад я, пожалуй, сказал бы, что это будет Ингрид,— да, пожалуй. Но сейчас... Странно, как все получилось с Ингрид. Я теперь встречаюсь с ней два-три раза в неделю и вроде бы добился всего, о чем я мечтал. Вроде бы. Но почему-то — сам не знаю почему — куда-то исчезли все чары, что были вначале, хотя порой ее близость и теперь еще здорово волнует меня. Словом, когда я думаю о женитьбе, я не думаю о ней — вот и все...

Минут через двадцать, полежав и выпив по чашке чаю, мы со Стариком выходим из ворот — все кончено, и порядок.

— Ты идешь прямо домой?— спрашивает Старик, и я говорю:

— Да, пожалуй: у меня на сегодняшний вечер ничего не запланировано.

Мы спускаемся с холма и доходим до «Виноградной лозы» — приятного тихого кабачка, где на стенах — предупреждения о том, что петь не разрешается. Старик вдруг останавливается и говорит:

— Выпить не хочешь?

Я обалдело гляжу на него. Потому обалдело, что, сами понимаете, хоть он, конечно, и знает, что я иной раз выпиваю, как всякий парень, но до сих пор он ни разу не признавал за мной такого права и не приглашал с собой в кабачок.

— Не возражал бы пропустить по кружечке, отец.

— Надо же немного подкрепиться, верно? — говорит он, и я вижу при свете, падающем из окна, что он ухмыляется.

— Точно.

Хозяин знает Старика и приветствует его:

— Добрый вечер, Артур. Как жизнь?

— Добрый вечер, Джек. Помаленьку, серединка на половинку. Но особенно жаловаться не приходится. А сам-то как?

Хозяин говорит, что и ему особенно жаловаться не приходится, и спрашивает, что нам подать. Старик смотрит на меня, и я решаю, что разумнее, пожалуй, не показывать вида, будто я такой уж знаток, а потому говорю: «Я возьму то же, что и ты». Старик заказывает две полпинты черного пива (я лично предпочитаю горькое, светлое), пачку «Плейерс», и мы усаживаемся за столик поближе к огню. Единственные посетители, кроме нас,— два каких-то парня, которые сидят по другую сторону очага и беседуют о футболе.

Старик поднимает кружку.

— Ну, чтоб все было хорошо.

— Поехали.

Он пьет, ставит на стол кружку и, уперев руки в колени, выпрямляется на табурете.

— Ты чего осклабился?— минуту спустя спрашивает он.

— Да так, ничего.

Но я не могу сдержать улыбки — ведь это, что ни говорите, еще одна веха в моей жизни, такая же, как мои первые длинные брюки или первая сигарета, которую я открыто закурил дома. Сегодня Старик как бы окончательно признал, что я уже совсем взрослый.

— Славное, тихое тут местечко,— говорит Старик.— Никогда никаких буянов. Ты здесь уже бывал?

Я говорю, что нет, не бывал.

— Но ведь ты же иногда выпиваешь, верно?

— Да, иной раз пропускаю кружечку.

Он кивает.

— Не вижу особой беды в том, что молодой парень выпьет иной раз кружечку, только перебирать не надо. А то ведь есть такие, которые выхлестывают по восемь-девять кружек подряд, а потом начинают хватать всех за грудки.

— Да, это совсем ни к чему.

— Конечно, ни к чему, но только немало парней именно так себя и ведут.

— Неплохое здесь пиво.

— Да, Джек хорошее пиво держит, что верно, то верно.

Некоторое время мы сидим молча, потом Старик спрашивает:

— Ну, как у тебя на работе дела?

— Все в порядке.

— Тебе по-прежнему там нравится?

— Да, в общем, нравится.— Я знаю, что это не совсем так, но очень трудно объяснить Старику то, в чем я и сам еще не вполне разобрался.

— По-моему, специальность у тебя хорошая. Во всех вечерних газетах полно объявлений о том, что требуются чертежники.

— Да, мест вокруг сколько угодно.

— А что ты скажешь насчет вашей фирмы? Думаешь остаться там, когда они возьмут тебя на полную ставку?

— Ну, пока еще я не думаю никуда переходить. Вот когда мне стукнет двадцать один, там видно будет. Платят они столько, сколько установлено профсоюзом, а работа — как везде в этой области, по-моему, не хуже и не лучше. Конечно, я, наверно, мог бы устроиться на такое место и где-нибудь еще. По-моему, насчет продвижения по службе

у нас в бюро не очень-то. Слишком много пронырливых башковитых ребят.

— Но ведь если ты задумаешь перейти на другое место по той же специальности, тебе придется уехать отсюда. Это ты понимаешь?

— Да, придется. Может быть, в Манчестер или в Бирмингем.

— М-да.— Старик кивает и молчит, как бы взвешивая мои слова. Потом говорит: — Что поделаешь, многим ребятам приходится отрываться от семьи и шагать самостоятельно, если они хотят чего-то добиться в жизни. И делать это надо, пока ты еще один и тебя ничего не связывает.

— Наверно.

Давно мы со Стариком так не беседовали. Если подумать, то мы вообще ни о чем не говорили — скажешь, к примеру, где лежит сапожная мазь, или попросишь передать соль, и все.

— Ты только не пойми, что я тебя выталкиваю из дому и всякое такое прочее,— говорит он.— Просто я хочу, чтобы ты знал, что я все понимаю, и, если ты решишь, что лучше тебе уехать, твое дело. Я не хочу, чтоб ты думал, будто кто-то здесь станет тебе мешать.

— Нет, нет, я понимаю.

— Конечно, матери твоей это не понравится. Ты для нее все еще дитя малое.

— Если бы я был на другой работе, ей уже года два назад пришлось бы от этой мысли отказаться.

— Ты имеешь в виду службу в армии?

— Да.

— А как ты считаешь, тебя еще могут призвать?

— Не думаю. Многие из нас, кто работает у Уиттейкера, получили отсрочку. Так что не думаю, чтоб нас теперь побеспокоили. Похоже, что на нас скоро вообще поставят крест.

— Ну что ж, это неплохо.

— А знаешь, я иной раз жалею, что не был в армии.

— Потерял бы два года, только и всего. Проболтался бы зря и меньше бы знал по своей специальности.

— А я думаю, что, может, по-иному смотрел бы на многое. Понимаешь, шире был бы у меня горизонт. Я разговаривал с парнями, которые служили за границей. Так, по-моему, ничего похожего я здесь у нас не видел.

— Армия, она, конечно, заставляет парня оторваться от маменькиной юбки,— говорит Старик.— Приучает стоять на собственных ногах. А что до расширения горизонта — не знаю. По-моему, это зависит от себя. Я знал ребят в девятьсот шестнадцатом, которые как пришли в армию, ничего не видевши, так из нее и ушли. Ничему она их не научила. Разве только открыла глаза на то, что политики разжигают войны, а мы, простые смертные, воюем.

Он осушает кружку, и я протягиваю за ней руку.

— Хочешь еще?

Он смотрит на электрические часы на стене и говорит:

— Да, пожалуй.

— Я вот подумываю о том, чтобы съездить как-нибудь в субботу в Хаддерсфилд,— говорит он, когда я возвращаюсь с полными кружками.— Хочешь погулять денек?

— Я ведь занят в магазине, отец,— напоминаю ему я.

— Ах да, конечно. Я и забыл. Ну, тут уж ничего не поделаешь. А жаль: давненько мы не проводили день вместе.

И правда, давненько. Я даже не помню, когда это было. Я поднимаю кружку.

— Ну, хоть сегодняшний вечер мы вместе.

Старик подмигивает.

— Правильно, дружок. Только не будем слишком задерживаться, а то мать начнет беспокоиться, куда это мы девались.

Тут я замечаю коренастого человечка, который берет кружку пива у стойки и смотрит на Старика. Потом, держа в руке кружку, приближается к нам и хлопает Старика по плечу.

— Как дела, Артур? Как поживаешь, друг?

Наш Старик поднимает голову.

— Никак это Герберт! Э-э, давненько не видал тебя, друг. Присаживайся, присаживайся.

Человечек придвигает табурет и садится. Одет он очень прилично — серое твидовое пальто, зеленая фетровая шляпа, но даже будь у него лицо не синеватого цвета, я бы сразу угадал его профессию.

— Ты ведь не знаком с моим сыном, Герберт? — спрашивает Старик.— Это мой старший. Другой еще в школу ходит, а этот — Вик — работает чертежником у Уиттейкера.— В голосе Старика звучит нотка гордости, и это удивляет меня, потому что мне никогда и в голову не приходило, что он может гордиться мной. Кристиной и Джимом — другое дело, но мной — никогда.

— Ей-богу? — говорит человечек.— Чертежником? Это получше, чем торчать в забое, а?

— Совершенно верно,— говорю я.

— Я всегда говорил, что моим сыновьям не придется спускаться в шахту, как мне,— заявляет Старик.

— Для молодежи сейчас золотое время, Артур,— говорит человечек.— Не то, что в дни нашей молодости. Тогда и выбора другого не было: либо иди в забой, либо на завод. И отцы наши только рады были послать нас под землю, чтобы мы принесли хоть немного деньжат. А мой парень, знаешь, работает сейчас в Угольном управлении. И всегда ворчит, что меньше меня получает. Я говорю ему, что он сам не знает, под какой счастливой звездой родился. Да, чтоб работать с девяти утра и видеть дневной свет в окошки, за это хватило бы и трех монет в неделю. На моем месте он бы через шесть дней окачурился. А то и меньше.

Он поднимает кружку и осушает ее до половины. Я смотрю, как уменьшается жидкость, и понимаю, что этот дядя выпить любит. И словно прочитав мои мысли, он говорит:

— Прямо не знаю, что бы я делал без пива, Артур. Иной раз так думаю, что только пиво еще и держит меня.— Он достает пачку «Вудбайнз» и протягивает нам.— Им бы следовало выдавать нам пиво бесплатно, как уголь,— говорит он и смеется.

— Где же ты теперь работаешь, Герберт? — спрашивает его Старик, после того как мы все трое закуриваем.

— Да последние три года работаю у Раундвуда, днем, нагружаю вагонетки.

— У Раундвуда — это в Уэйкфилде? — говорит Старик.— Путь-то неблизкий, а?

— Да у меня есть машина,— говорит человечек.— Я уже давно не езжу на автобусах. Весь путь от дома до работы — двадцать минут.

— Барином стал, а, Герберт?

— А почему бы и нет? — говорит Герберт.— Никогда мы столько не заколачивали, как в последние десять лет, Артур, ну я и стараюсь, пока можно.

— Что значит — пока можно? Ты что, думаешь, опять будет кризис?

— Не может же всегда так быть,— говорит человечек.— Слишком много я знавал плохих времен, чтобы думать, будто так может без конца продолжаться.

— Ну, не знаю, Герберт. Я, к примеру, не вижу, почему бы так не могло продолжаться.

— Да ведь странные вещи бывают, Артур. Вроде бы людям всегда нужен уголь. И, наверно, еще долго будет нужен. Но оба мы с тобой знаем: было время, когда у людей в очагах было пусто, а уголь горами лежал на шахтных дворах. Все дело в экономике, Артур, а мы с тобой ничего в этом деле не смыслим. Мы с тобой умеем только вырубать уголь, если нас к нему подпускают...

Я сижу и слушаю их беседу. От добычи угля и экономики они переходят к политике. Оба они, конечно, лейбористы, так что спорить им особенно не о чем. Тогда они переходят к спорту и обсуждению Хаддерсфилдского городка, тут у них по двум или трем вопросам возникают разногласия, но они разрешают их вполне дружелюбно. Тем временем человечек берет себе еще кружку и наполняет наши тоже. Потом Старик угощает его, и мы, конечно, тоже пьем. Хорошо, что мы пьем черное пиво, думаю я: к тому времени, когда стрелки часов показывают без двадцати десять, мы выпили уже по пять кружек, а человечек приканчивает четвертую.

— Ты только посмотри, который час! — восклицает вдруг Старик.— Живо домой!

— Что-то больно долго у вас сегодня кровь брали,— говорит Старушенция при виде нас. В доме приятно, тепло, пахнет свежеглаженым бельем.

— Угу,— говорит Старик, и, услышав это, Старушенция окидывает нас взглядом.

— Понятно,— говорит она.— Вот, значит, где вы торчали.

— Да, нам захотелось выпить по кружечке,— говорит Старик, снимая пиджак. От пива глаза у него поблескивают, а наша Старушенция ни в жизни не допустит, чтобы кто-нибудь над ней смеялся.

— Значит, вот по каким местам ты решил таскать Виктора! — говорит она.— Решил, что пора учить парня дурным привычкам!

— А я считаю, ему уже можно выпить разок-другой, но только в меру, конечно,— говорит Старик. Он садится на стул и кладет ногу на ногу, чтобы снять ботинки.

— Теперь они и сами очень быстро всему научаются. Вспомнил бы лучше, что у тебя есть еще сын. И ты должен подавать ему пример.

Джим читает себе, не обращая внимания на происходящее.

— Я так полагаю, что подаю хороший пример любому из моих сыновей,— говорит Старик и подмигивает мне, воспользовавшись тем, что Старушенция повернулась к нам спиной.

Я подмигиваю ему в ответ. Я чувствую себя навеселе, а потому помалкиваю и двигаюсь очень осторожно, чтобы наша Старушенция ничего не заметила.

На минуту кажется, что этим дело не кончится и она будет говорить и говорить, но она вдруг решает прекратить пререкания и принимается снова гладить и развешивать выглаженное.

Глава 7

I

— Тебе хорошо было? — шепчет она мне на ухо.

— Да,— говорю я,— мне было хорошо.

Я лежу на расстеленном плаще, рядом с ней, на спине и смотрю сквозь ветви деревьев на небо. Оно сегодня высокое, огромное и светлое; темными тенями бегут по нему облака, закрывая луну. Несколько

секунд я лежу совсем опустошенный — без мыслей, без чувств, будто даже и не живу. Потом меня обжигает стыд. Это первое, что всегда приходит потом, только теперь я пообвыкся и легче его переношу. А сейчас меня еще пронзает мысль: ведь я ничего больше не чувствую. Голова у меня работает яснее и четче, чем когда-либо с тех пор, как я впервые увидел ее и подумал, могу ли я ей понравиться. Голова работает четко и ясно, и это очень страшно, потому что я не люблю ее,— вот она, правда. И она даже не очень-то *нравится* мне. И не из-за того, что произошло между нами, хоть я и знаю, что после первых встреч, когда мне хотелось лишь быть рядом с нею и чтобы она любила меня, именно то, что между нами ничего не было, мешало мне понять, что в конце-то концов я вовсе ее не люблю. Решить же, нравится она мне или нет,— ну, как одни люди вам нравятся, а другие нет,— я не мог просто потому, что с первого же взгляда, не обмолвившись с ней ни словом, влюбился в нее. Теперь же я лишь удивляюсь, как я мог столько времени терпеть ее — терпеть ее сплетни, ее глупость и интерес к скандальным происшествиям, ее болтовню про телевизор и программы-викторины и про то, как домашней хозяйке из Вулверхемптона или Тутинга посчастливилось выиграть холодильник или три тысячи пар нейлоновых чулок и поездку в Америку, после того, как она ответила на вопросы, которые знает каждый ученик в четвертом классе начальной школы. Но я знаю также, почему я ее терпел,— только этого больше нет и ничего другого взамен не появилось. Мне даже трудно поверить, что всего каких-нибудь две-три недели назад я мог бы пойти ради нее на край света. Сейчас я этого не понимаю. Не понимаю, и все.

— Что-то ты притих,— говорит она.

— Да?

— Неужели тебе нечего мне сказать? — Она поворачивается ко мне, и я чувствую на щеке ее горячее дыхание.— Вик!

— М-м-м?

— Сначала, понимаешь... ну, сначала я думала, что ты... ну, понимаешь, что ты хочешь, чтоб все было.

Я и хотел — это я твердо помню, но сейчас я меньше всего этого хочу.

— Возможно,— говорю я,— но я еще не настолько ополоумел.

— Тебе кажется, что это было бы совсем по-другому? — минуту спустя спрашивает она, и я думаю: «О боже! Ну, зачем она об этом говорит? То, что было, уже прошло, зачем же снова и снова к этому возвращаться?»

— Вероятно,— говорю я.— Не знаю.

— Вот как, ты не знаешь? — говорит она, и я думаю, что, наверно, она хочет допытаться, было у меня это еще с кем-нибудь или нет.

Внезапно во мне просыпается острое желание причинить ей боль, и я говорю:

— Ты так говоришь, точно я первый парень, с которым ты встречаешься.

— Ты что же, думаешь, что я с кем-нибудь еще так далеко заходила? — говорит она.— Ты считаешь меня такой, да?

— Почем я знаю? — говорю я. В общем-то у меня нет особого желания обидеть ее, скорее я как бы хочу выместить на ней что-то. Она отводит глаза, и мне сразу становится жаль ее, и я говорю:— Я ведь это так, несерьезно. Я знаю, что у тебя никого до меня не было. Я знаю, что ты не такая.

— Иной раз я начинаю жалеть об этом,— говорит она.

— Да перестань ты.

Вот теперь она начнет раздумывать, не слишком ли много она себе со мной позволяет и не потому ли я стал меньше ее любить. Я и в са-

мом деле меньше ее люблю, но не поэтому. И мне не до ее чувств — впору бы разобраться в своих собственных. Мне вдруг показалось, что я постарел лет на пять и стал как бы грязнее. И я подумал: «Вот, значит, как оно бывает, когда без любви. А ведь если говорить о чувствах, было бы это так или совсем по-настоящему, любовь осталась бы прежней».

— В общем,— говорит вдруг она,— я не считаю, что мы поступили плохо или должны чего-то стыдиться. В этом нет ничего плохого, когда человек тебе дорог.

А если не дорог? Что тогда? И ведь часто ты прозреваешь лишь потом, а до тех пор — точно слепой. Я вот сейчас прозрел, вопрос в том, как же мне дальше себя вести? Как мне порвать с ней, когда всего две недели назад я говорил ей, что без ума от нее, и это была правда? Как мне сказать ей, что мечта и влечение смешались, ослепили меня, сыграли со мной злую шутку? Как сказать, что я ошибся и лучше нам покончить с этим? Как сказать все это после сегодняшнего вечера, когда она так ясно дала мне понять, что я ей дорог, что она любит меня, да я и сам чувствую, что любит. Она никогда этого не поймет. Она решит, что я все время только этого и добивался, а добившись, бросаю ее, потому что она мне больше не нужна. Но на самом-то деле все иначе. А может быть, это и не имеет для нее такого значения — как, скажем, могло бы иметь для другой девушки? Да нет, я ведь вовсе не считаю ее девчонкой, которая ходит по рукам. Не думаю, чтоб она вела себя так с первым встречным Томом, Диком или Гарри: она должна быть влюблена в парня, чтоб пойти на такое. Возможно, она легко влюбляется, и это, пожалуй, точно — она пылкая штучка. Ведь она сама дала мне зеленый свет своим поцелуем в тот вечер, вон на той скамейке, иначе я бы никогда не зашел так далеко. А потом — можно посмотреть на всю эту историю и с другой стороны: не такой уж я большой сердцеед. Вокруг сколько угодно куда более интересных парней, и я был бы самонадеянным болваном, если б считал, что только я один могу ее так распалить...

Пошел дождь. Не сильный, и я не сразу заметил, что капает. Ну что ж, достаточно веский предлог, чтобы расстаться.

— Побежали. Надо куда-нибудь спрятаться.

Она начинает возиться с одеждой — оправляет платье, застегивается, потом встает, отряхивается и поднимает с земли сумку. Я встряхиваю плащ, и под его прикрытием мы бежим по траве. Остановившись под деревьями, она начинает в темноте красить губы и пудриться, а я смотрю на нее и думаю: вот сейчас меня это раздражает, а еще совсем недавно я бы с восторгом наблюдал за ней и умилялся. Просто не пойму, что творится со мной. Почему это так: вот думал, что нашел такое сокровище, а потом вдруг очнулся и обнаружил, что ничего не нашел? А если уж я сам не могу в себе разобраться, то как я сумею ей все это объяснить?

Она кончает прихорашиваться, щелкает пудреницей и бросает ее в сумку. Мы сидим на скамейке, не касаясь друг друга, и смотрим на дождь. Через минуту она уже начинает рассказывать мне какую-то скандальную сплетню про одного из наших боссов. Я не очень люблю этого типа, про которого она рассказывает, и поэтому слушаю ее с интересом, хотя вместе с тем это почему-то вызывает у меня раздражение. И мне хочется опровергать то, что она говорит. Скажи она мне сейчас, что черное — это черное, я бы стал уверять: нет, белое. Только для того, чтобы ей насолить.

Я что-то говорю ей наперекор, и она говорит:

— А я думала, что ты его не любишь. Ты даже говорил мне это.

— Не люблю. Но это еще не причина верить всему, что про него наболтают.

Она понимает, что я хочу обрезать ее. Никогда прежде я не говорил с ней таким тоном, и я знаю, что она это чувствует. Но она молчит, лезет в сумочку, выуживает оттуда пачку сигарет и протягивает мне. У нее всегда есть с собой сигареты, и она никогда не курит моих. «Ты и так достаточно на меня тратишься, чтобы я еще курила за твой счет». Я всегда считал, что это очень трогательно с ее стороны, да и до сих пор так считаю. О, она очень славная девчонка, любой парень был бы рад встречаться с такой. И нечего мне выдумывать, будто она очень доступна и вульгарна,— ничего подобного. Если она и ведет себя так, то ведь только со мной. А мне она больше не нужна... Вот она, страшная правда. Я курю сигарету и смотрю на дождь — мне не терпится, чтобы он скорее прошел и мы могли уйти.

— Проклятая погода,— вырывается у меня, и Ингрид внимательно на меня смотрит.

— У тебя сегодня плохое настроение, да?

— Не заметил.

— А я заметила,— говорит она.— Я что-то не то сказала или сделала?

— Нет. Конечно, нет.

Видно, настало время сказать ей все, но я никак не могу решиться. Как могу я это сделать после того, что было всего полчаса назад? Она никогда не поймет. И, конечно, решит, что у меня с самого начала было так задумано.

— Но что-то все-таки с тобой неладно, верно? — говорит она.

— Просто все мне надоело. Не очень доволен я и работой. Я сам не знаю, что со мной. Раньше я всегда был всем доволен.

— Может, тебе стоит поменять работу? — говорит она.

— Возможно. Возможно, мне бы следовало уехать — куда-нибудь в Бирмингем или в Манчестер... переменить обстановку.

— Тебе бы этого хотелось? Уехать из Кресслн?

Я пожимаю плечами.

— Не знаю. Может, мне и там было бы так же плохо. Порой мне кажется, что просто мне осатанело работать. Знаешь, на той неделе нас вызывал к себе Олторп. Меня и Конроя...— И я рассказываю ей про драку, опуская то, что ее вызвало, а также то, что я укусил Конроя.

— Ты что же, не ладишь с Конроем?

— О, парень он башковитый и цену себе знает. А я, как увидел, что есть возможность вставить ему фитиль, не выдержал. Зато теперь он нравится мне куда больше, чем раньше. Нисколько не скукожился, когда Олторп принялся на него тявкать, а как потом он держался с Хэссопом — красота, да и только. Просто удивительно, что Хэссоп тут же его не выгнал. Конрой сам на это напрашивался.

— Мне всегда казалось, что он какой-то ненормальный,— говорит Ингрид.— Вот уж с кем я бы не хотела остаться вдвоем.

— С кем? С Конроем?

— Нет, с мистером Хэссопом.

— Но почему же? Что в нем плохого? — Это какое-то новое мнение о Хэссопе.

— Он как-то так смотрит на тебя. Точно рентгеном просвечивает, как говорят машинистки.

— Кто? Старик Хэссоп? Неужели он к кому-нибудь пристает?

— Да нет, он всегда держится очень корректно и на расстоянии. Никогда слова лишнего не скажет. Но он так на тебя смотрит, что, кажется, пронизывает тебя насквозь, и даже мурашки бегут по телу.

— Вот уж никогда бы не подумал, что у него такие склонности. Я тебе не рассказывал, как я ездил к нему домой с поручением, когда он болел гриппом?

Я знаю: рассказать Ингрид — все равно что рассказать всему нашему женскому коллективу, но как-то мне сейчас безразлично, если даже это и обойдет всех сотрудников и Миллер узнает о моей трепотне. Надо же о чем-то говорить, пока не перестал дождь, раз уж мы не можем отсюда уйти.

— ...и вот спускается она с лестницы в этом своем капоте, с большим конвертом в руке, и я начинаю нести всякую чушь насчет того, что, мол, надеюсь, мистер Хэссоп скоро выздоровеет и так далее, а она мне вместо ответа: «Все тут, в конверте».

— Как, как она сказала?

— Все тут, в конверте. Вот что она сказала в ответ на мой вопрос, как чувствует себя Хэссоп, и сунула мне в руки конверт.

— О господи!

— Но самое чудно́е произошло, когда я выходил из дому... Я открыл дверь, и только она увидела солнечный свет, как бросится ко мне да как закричит: «Закройте дверь! Закройте дверь!» Можно подумать, что она боялась рассыпаться и превратиться в прах, как, говорят, бывает с вампирами.

— Фу!— вздрагивает Ингрид.— У меня даже мурашки пошли по коже. Ну и что же было дальше?

— Я выскочил на улицу. И не успел я поставить ногу за порог, как дверь с грохотом захлопнулась. Задержись я на несколько секунд, и меня бы вышвырнули на улицу через окно.

— Ну, скажу я вам...— говорит Ингрид и хихикает. Она скрещивает руки на груди, словно прижимает к себе рассказанную мной историю, чтобы в целости донести ее до своих подружек. Завтра к обеденному перерыву она облетит уже всех наших сотрудников, но мне все равно. Я смотрю вдаль, в глубину парка.

— Дождь вроде не очень сильный. Так что побежали.

Делать нечего: приходится еще немного пообниматься, прежде чем она решится уйти. И пока она приводит себя в порядок, я шагаю по асфальту аллеи и чувствую, как во мне нарастает раздражение. Мне хочется остаться одному — немедленно, сию же минуту, чтобы подумать обо всем, что произошло, и решить, как вести себя дальше. Но я знаю, что мне надо проводить ее, и рад, что темно: странная вещь, но я не хочу, чтоб меня с ней видели. Очень будет плохо, если кто-нибудь, кто знает нас обоих, повстречает нас и сделает далеко идущие, но совсем не верные выводы.

Наконец она готова, и мы двигаемся к воротам.

— Ты уже отутюжил свой парадный костюм? — спрашивает она.

Раздражение еще не исчезло, а потому я переспрашиваю: «Парадный костюм?» — хотя прекрасно знаю, о чем идет речь.

— Ну да, для бала.

— Для того самого? Я надену фрак, разве я тебе не говорил?

Вот вам еще пример. Я с таким нетерпением дожидался нашего бала, потому что в этом году я мог бы прийти туда со своей девушкой. И я был так счастлив. Эх, почему нельзя полюбить девчонку и оставаться ей верным всю жизнь? Почему все так сложно? Сейчас я думаю о том, что лучше бы я не видел ее никогда. А первое свидание... Я не знал, куда себя девать — так мне не терпелось поскорее увидеть ее. А теперь... Никогда я не сумею объяснить этого ей. Я уж знаю, что никогда.

— Что с тобой? — спрашивает она.

— А что?

— Ты вздыхаешь. И так тяжело, точно у тебя на плечах весь мир.

У меня и в самом деле такое чувство, будто на плечах у меня весь мир — и какой же это прекрасный, тихий мир!

— Ты ничем не расстроен? — спрашивает она.— Сегодняшний вечер тебя не огорчил?

— Конечно, нет.

А почему я, собственно, должен быть огорчен? Если я и противен себе, то не поэтому. А потому, что понял: ничто нас не связывает. Не только девчонкам есть что терять, я тоже потерял кое-что сегодня из-за девушки, которую я вовсе не люблю и которая даже не очень мне нравится. Но кое-что я, пожалуй, и приобрел — известный опыт. Да, наверно, это можно назвать опытом.

Я думаю об этом всю дорогу, пока мы идем через парк и затем по улицам, к ее дому. Пусть потихоньку само отомрет, решаю я, охладеет, остынет. Я считаю, что она имеет право на что-то лучшее, но знаю, что никогда не смогу ей этого объяснить.

— Когда мы теперь увидимся? — спрашивает она у своей калитки.

— Завтра.

— Не на работе же, глупый,— я не то имела в виду.

— Боюсь, что в эту субботу не удастся. Да и в воскресенье тоже. Один старый приятель приезжает ко мне на выходной. Мы не виделись несколько лет. Во всяком случае, мы ведь встретимся на работе. А сейчас очень трудно условиться.

Я понимаю, что она не может не почувствовать охлаждения во мне, даже если и не догадалась, что я все вру насчет приятеля. И все-таки едва ли она может понять, насколько я действительно к ней охладел. Откуда ей догадаться?

— Ладно,— говорит она, и я рад, что она не нудит.

Она ждет. Молчание. Она не подставляет мне лица и даже не смотрит на меня, но я знаю: она ждет, чтобы я ее поцеловал. И почему бы ей не ждать после того, что только что было? Я колеблюсь всего секунду, потом беру ее за подбородок, приподнимаю ее лицо и целую в губы. Но даже все золото Английского банка не заставило бы меня вложить хоть каплю чувства в этот поцелуй. Теперь-то уж она поняла, думаю я по дороге домой, если не понимала раньше.

N

Несколько дней мне удается держаться вдали от Ингрид, а потом я получаю от нее записку через юного Лейстердайка. Я прочел ее в туалете и задумался: что отвечать? Самое простое — забыть о записке, сделать вид, будто я ее и не получал. Но это нечестно, думаю я. Не могу же я просто так взять и оттолкнуть Ингрид... Некоторое время я обмозговываю это, а потом составляю ответ, в котором прямо ничего не говорится, но все сказано между строк. «Дорогая Ингрид, я не могу встретиться сегодня с тобой, потому что должен кое-куда пойти. Я снова начал заниматься в Технологическом и на этот раз собираюсь сдавать экзамены за полный курс, поэтому мне придется не только посещать вечерами лекции, но и свободные от лекций вечера сидеть за книгой. В связи с этим я едва ли смогу много развлекаться, и, наверно, несправедливо будет связывать тебя и заставлять дожидаться, когда я буду свободен. Вик».

Мне стало немного стыдно, когда я перечитал записку, но глуше я об этом сказать не могу. Итак, я вручаю записку юному Колину вместе с шестипенсовиком.

— Вот, передай это и помалкивай.

— С удовольствием,— говорит он, кладя в карман монету.— Только за особые поручения — десять шиллингов.

— Вот дам по уху, тогда будешь знать десять шиллингов.

На следующее утро приходит ответ. «Дорогой Вик, твоя записка

очень удивила меня. Не понимаю, что может изменить в наших отношениях посещение вечерних лекций. Ясно, что у тебя будет мало свободного времени, но всегда можно как-то извернуться, если, конечно, ты захочешь видеть меня. В тот вечер мне показалось, что у нас что-то не так, а теперь я в этом уверена. Если в этом виновата я, пожалуйста, скажи мне, в чем дело. Ингрид».

Мне становится не по себе после этого письма. Она не может понять, в чем дело, и страдает. Очень это неприятно. Все выходит как-то не так. Но ведь с чувством ничего не поделаешь, правда? Словом, это конец. Она девчонка гордая и не станет мне писать снова, если я не отвечу, а я не намерен отвечать.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1

I

На следующей неделе должен был состояться вечер для всех сотрудников завода Уиттейкера.

Из года в год, примерно в одни и те же числа, Уиттейкер снимает зал в ратуше и приглашает всех нас принять участие в этом сборище. Женатые могут привести с собой свою половину, а холостые — приятеля или девчонку. Танцуем, играем в вист, закусываем, выпиваем в баре, и все задарма — кроме выпивки, понятно: выпивка — из собственного кармана.

Мистер Мэтью толкает небольшую речугу: докладывает сотрудникам, как здорово они работали в минувшем году и как будут еще того лучше работать в наступающем, в чем он нисколько не сомневается. Говорит он почти всегда одно и то же. После чего, если каким-нибудь старикашкам пришла пора выкатываться на пенсию, приготовленные для них золотые часы извлекаются на свет, и все хлопают в ладоши и трясут старикашкам руки. И я бы посмотрел, кто бы это не хлопал, когда этакий старикан, который начал вкалывать на заводе еще в 1907 году, ползет через весь зал за своим подарком, а тебя мороз подирает по коже при мысли о том, что ты еще и на свет появиться не успел, а он уже тридцать лет потел тут, и, конечно, хочешь не хочешь, а тебе начинает лезть в голову, что еще лет через тридцать родится какой-нибудь малый, и он тоже будет когда-нибудь стоять так вот, как ты, и думать то же самое, а ты будешь ковылять за своими часами или еще за какой-нибудь штуковиной, которой они станут награждать через пятьдесят лет. Только мне почему-то кажется, что со мной так быть не может. Прежде всего я просто не в состоянии представить себе, что у меня тоже будет за плечами когда-нибудь такая куча лет, и все мои беды останутся позади, и я буду преспокойно ковыряться у себя в саду, пока меня не сволокут на кладбище.

Словом, вот что происходит на этих вечерах, и почти всякий раз кого-нибудь награждают, потому что завод Уиттейкера — это такое предприятие, на которое как кто поступит, так и трудится там чуть не всю жизнь.

Выпито бывает столько, что хватило бы затопить половину линкоров в Портсмутской гавани, и все — и сотрудники, и начальство — становятся прямо-таки закадычными друзьями. Ну, вы представляете, как

это бывает: все отпускают шуточки, хлопают друг друга по спине, знакомят со своими женами, и каждый думает про другого, что эта старая скотина не такой уж плохой малый в конце-то концов. Наутро, понятно, они уже снова будут по разные стороны барьера, но все же, по-моему, это хорошо, когда хоть и ненадолго, но бывает вот так.

Женщины — так те ждут не дождутся этого вечера. С самых святок они ни о чем другом уже не говорят. Они будут демонстрировать там свои новые платья, мужей или любовников, но не упустят из поля зрения и того, что нацепят на себя другие дамы, так как все это пригодится им в будущем. Я даже не знаю, что они любят больше — сами эти вечеринки или возможность посудачить о них потом, в гардеробной. Женщины — странный народ. Если на таком вот сборище встретятся двое парней, которые недолюбливают друг друга, они в два счета начинают вести себя как добрые приятели. А у женщин такая встреча только хуже испортит дело.

Но в общем, так или иначе, эти вечера — неплохая штука, погулять можно здорово.

Если бы обстоятельства сложились по-другому, я бы пошел туда с Ингрид, а теперь, часов около восьми, отправился на вечер один. Выпил для затравки бутылки две пива, потанцевал, потрепался с ребятами. Было уже часов около десяти, я стою в стороне, и мимо меня проталкивается Конрой. Вижу — он уже порядком нагрузился. Подходит к оркестру и в перерыве начинает толковать о чем-то с дирижером. Этот стиляга, Оскар Уинтроп, с лакированными волосами и тоненькими, будто нарисованными карандашом усиками — точь-в-точь как на парикмахерских манекенах,— смотрит на Конроя с сомнением и слащаво улыбается. Вижу, Конрой трясет головой и делает такую рожу, словно хочет сказать: «Ну, брось, чего там, не будь скотиной!» Уинтроп вроде как соглашается, и Конрой лезет на эстраду и начинает пожимать руки всем музыкантам, что сидят в первом ряду. Те скалят зубы и подмигивают друг другу, но наш Конрой ничуть не теряется. Том Ивенс, начальник группы, который у нас бессменный распорядитель на всех таких вечерах, потому что шикарно выглядит во фраке и танцует прямо как профессионал, устремляется к оркестру поглядеть, что там такое. Поговорив о чем-то с Уинтропом и Конроем — а Конрой при этом делает вид, что он его не замечает,— Ивенс отходит и пожимает плечами, он, дескать, умывает руки, будь что будет.

Сзади меня появляется Джимми Слейд.

— Что это Конрой затеял?

— Понятия не имею. Сам удивляюсь.

Дирижер поднимает палочку, и музыканты берут первый аккорд.

— Леди и джентльмены,— говорит этот стиляга Уинтроп,— один из ваших сотрудников изъявил желание спеть с нашим оркестром. Пусть же никто и никогда не посмеет сказать, что Оскар Уинтроп не оказал поощрения молодому таланту. Итак, леди и джентльмены, вашему благосклонному вниманию предлагается вокальная сенсация фирмы «Уиттейкер и сыновья» — Эл Конрой!

В зале смех, два-три жидких хлопка. Конрой подходит к микрофону — лицо у него красное, напряженное — и раскланивается. Дирижер делает ему знак начинать, и Конрой сгибает ноги в коленках, разбрасывает руки в стороны и орет в микрофон во всю мочь:

Бэ-э-э-эби!
С кем была ты в эту ночь?
Кто тебя целовал, кто тебя обнимал
В эту яркую лунную ночь?
Ох-ох!

Нет, не дам, нет, не дам никому мою крошку обнять!
Слышишь, бэби, я не шучу, нет, не шучу!
Если, крошка, тебе не прискучили ласки,
Если хочешь, чтоб покрепче я тебя обнимал,
Берегись, бэби, берегись! Не целуй другого!

Кончив петь и не обращая внимания на оркестр, который играет новое вступление, Конрой пускается вскачь по эстраде, так сотрясая свой торс и вертя им во все стороны, словно под рубашку к нему забрался скорпион. Тут в зале все прямо шалеют, ребята из нашего чертежного вопят от восторга, как оглашенные, и заглушают оркестр.

Я слышу, позади меня кто-то говорит:

— Это, кажется, ваш сотрудник, Хэссоп?

Быстро оглядываюсь — да, это Мэтью Уиттейкер, главный босс, собственной персоной.

Хэссоп даже поперхнулся, и я голову готов дать на отсечение, что ему до смерти хочется отречься от Конроя.

— Э, м... Да, сэр.

— Хороший работник?

— Способный молодой человек,— говорит Хэссоп.— Но боюсь, что некоторая безответственность и упрямство не идут ему на пользу.

Я весь обращаюсь в слух: интересно, что скажет на это мистер Мэтью, но тут миссис Уиттейкер, темноволосая дама (очень, кстати, недурна, хотя и не первой молодости), говорит со смехом:

— Не думаю, чтобы ему грозила голодная смерть, если он потеряет место чертежника.

Все тоже смеются, я слышу звуки, похожие на бульканье воды в засорившемся стоке из раковины, и догадываюсь, что и Хэссоп принимает участие в общем веселье.

Они проходят дальше, а Конрой тем временем заканчивает свое выступление отличным набором такой первосортной вокальной белиберды, что это просто чудо, чего только не вытворяет у него во рту язык. Свои скачки по сцене он обрывает так внезапно, что едва не слетает кувырком с эстрады прямо на горшки с папоротником. Я аплодирую, как бешеный, и все, куда ни погляди, делают то же самое, даже музыканты. А Оскар Уинтроп хлопает Конроя по спине, когда тот спускается с эстрады.

Конрой идет через зал, и все смеются и кричат что-то ему вслед. Он подходит ко мне.

— Не видал Джеффа Льюиса?

— Нет, его что-то не видно.

— Мне с него фунтяга причитается.

— Тут сейчас мистер Мэтью и старик Хэссоп распространялись на твой счет.

— И не слишком лестным образом, надо полагать,— говорит Конрой, приподнимаясь на цыпочки и ища глазами Льюиса.

— Хэссоп сказал, что ты способный молодой человек.

— Ты лживая скотина, мой юный Браун.

— Честное слово! Но он прибавил, что твое упрямство и безответственность тебе вредят.

— Вот это больше похоже на правду,— говорит Конрой.— Этому я еще могу поверить.

Я повторяю ему слова миссис Уиттейкер, но его мысли заняты чем-то другим. Льюисом, по всей видимости.

— Меня больше интересуют мои гроши,— говорит он.— Пойдем, помоги мне разыскать Льюиса, и я поставлю тебе пинту пива.

— Пошли.

Мы устремляемся в разных направлениях, проталкиваемся через толпу и по коридору направляемся в бар. Почти сразу же я вижу Льюиса и подхожу к нему сзади. Вокруг него собралось человек пять. Он стоит, треплется, и вид у него, прямо надо сказать, стиляжный. Он здесь один-единственный — кроме администрации — в смокинге. Все остальные ребята в вечерних костюмах, которые они берегут для торжественных случаев и надевают только на свадьбы, на похороны и званые воскресные обеды.

— Конрой тебя ищет,— говорю я, хлопая его по плечу.

— Да? Зачем я ему?

— Затем, что ты должен мне фунтягу,— говорит Конрой, появляясь с другой стороны.— Ты поспорил на фунт стерлингов, что у меня не хватит духу спеть с оркестром.

Льюис достает бумажник, открывает его.

— Речь как будто шла о десяти шиллингах?

— Нет, фунт стерлингов, красавчик,— говорит Конрой и тянет у Льюиса из бумажника фунт. Хочет уйти, потом оборачивается.— Добавь фунт, и я изображу вам еще что-нибудь,— предлагает он Льюису.

Но Льюис не из тех, кто так легко швыряет деньги на ветер, и Конрой говорит мне:

— Ну, пошли, мой юный Браун, раздобудем эту пинту.

В дверях бара мы сталкиваемся с Кеном Роулинсоном и его девчонкой. Блондинка, очень тоненькая, и все кажется, что она смотрит не на тебя, а сквозь тебя, словно ты пустое пространство.

— Ну, как дела, Роули? — говорит Конрой, и я замечаю, что Роулинсон воспрянул.— Понравилась тебе моя песенка?

Блондинка вперяет свой взгляд в Конроя с таким видом, словно только сейчас его заметила и недоумевает, из какой щели он выполз.

— Понравилась она мне или нет — не имеет значения,— довольно холодно отвечает Роули,— гораздо важнее выяснить, что думает по этому поводу администрация.

— Жаль, я не захватил своей скрипки,— говорит Конрой.— Я бы исполнил для вас скрипичный концерт. Немножко Дюбиси, а?

— Дебюсси не писал скрипичных концертов,— говорит блондинка, берет Роули под руку и увлекает его в зал.

Конроя корчит от смеха, мы входим в бар.

— Займи столик,— говорит он,— а я пойду раздобуду какое-нибудь пойло.

Я нахожу местечко под большим зеркалом, и в ту же минуту появляется Конрой с четырьмя кружками пива — по две в каждой ручище.

— Для кого все это? — спрашиваю я, когда он ставит их на стол.

— Для нас,— говорит он.— По две на брата. Они не продают пинтами. Недостаточно уточненно. Совсем как Роули.— Он снова хохочет.— Бедняга Роули.

— Ну, мне кажется, на этот раз он здорово тебя поддел, а, Конрой? — говорю я.— Насчет этих скрипичных концертов.

Конрой большими глотками пьет пиво, ставит кружку на стол и трясет головой.

— Это не он сказал. Это она сказала. А сам-то Роули небось думал, что Дебюсси — это какой-нибудь дядя из министерства финансов.

Я замечаю, что Конрой на этот раз правильно произносит фамилию композитора — как блондинка. Он, видно, все мотает себе на ус и когда-нибудь не преминет поддеть Роули, и я начинаю думать, что Конрой не так прост, как кажется.

— А впрочем, кто его знает, может, он и понимает,— говорит Конрой и снова глотает пиво.— Он знает кучу разных имен и при каждом удобном и неудобном случае выволакивает их на свет божий. Такие, как он, сбегают раз в год в концерт, а наутро во всеуслышание распинаются об этом в автобусе. Я его терпеть не могу, мой юный Браун. Вместе с его вшивым Бетховеном и вонючим Достоевским. Та-ра-ра-ра, трам-пам-пам — вот и все, что он знает из Бетховена. И прочти ему кусок из Достоевского, он ни в жизнь не угадает. Все это у него сплошная липа, Браунчик, поверь мне, а я этих фальшивок не выношу.

Все эти излияния ничуть не мешают Конрою поглощать пиво, и, прикончив первую кружку, он принимается за вторую.

— Он покупает «Таймс» и «Гардиан» и сопливые воскресные выпуски, читает критические заметки и воображает, что уже все знает. Ему, понимаешь, нравится пускать пыль в глаза, выпаливая разные имена и факты. Он может сообщить тебе, что 13 марта 1888 года Лев Толстой съел на завтрак утиное яйцо с жареным картофелем, но спроси его, как звали возлюбленного Анны Карениной, и он уставится на тебя, как баран на новые ворота.

— А кто она такая, эта Анна Кара... как, ты говоришь, ее зовут?

— Каренина. Молодая женщина, по ее имени названа эта книга.

— А ты откуда все это знаешь?

— Потому что читал эту штуку, вот почему,— отвечает Конрой.— А что, тебя это удивляет? Ты считаешь, что я питаюсь одними дешевыми журнальчиками? Ну, так ты меня недооцениваешь, мой юный друг. Я, может, тоже бываю иной раз хвастливой скотиной, но только другого сорта. Не той марки, что Роули. Его марка не по мне. Если кому-то нравится Достоевский и заплесневелый Бетховен — на здоровье. Я понимаю, что из них тоже можно извлечь кое-что. Это тебе не «Пегс пейпер», не светская хроника за прошлую неделю. Но при этом не обязательно кричать на всех перекрестках, какой ты культурный и утонченный, и считать всех остальных дубинами.

Он приканчивает вторую кружку пива и отодвигает ее в сторону. Я успел высосать только полкружки, и он бросает взгляд на мою вторую, еще не початую.

— Будешь пить?

— Нет. Пей, пожалуйста.— Я пододвигаю кружку к нему.

— Я сейчас раздобуду тебе другую, мне только хочется немного посидеть.— Он делает глоток и облизывает губы.— И еще мне претит этот пижонский подход ко всему. Непременно, видите ли, нужно либо отращивать длинные волосы и делать маникюр, либо, наоборот, щеголять сажей под ногтями в знак полного пренебрежения к таким мелочам, как чистоплотность. Верно, все эти великие мужи ворочаются в могилах, когда такие вот типы начинают к ним примазываться.

Я, признаться, слушаю его, разинув рот. Гляжу на его руку, когда он снова подымает кружку с пивом. Широкую, короткопалую, волосатую. Вид у Конроя не шибко интеллигентный. Это точно. Лицо у него квадратное, с низким лбом и глубоко посаженными глазами. Но я знаю, что по части механики голова у него работает что надо. И чертежи у него — первый сорт, тут его у нас никто не переплюнет. И при этом он шумный, грубый и сквернослов. Но сегодня что-то новое открылось мне в нем. Вот вам, пожалуйста, Конрой, который, оказывается, всерьез, по большому счету разбирается в музыке и в книгах — в хорошей музыке и в хороших книгах,— словом, в таких вещах, которыми, как мне казалось, интересуются только жуткие пижоны вроде Роули да почтенные стариканы вроде мистера ван Гуйтена. Согласитесь сами, что все это как-то не вяжется с пристрастием к пиву и похабным анекдотам. Для меня, по крайней

мере, до настоящей минуты никак это не сочеталось. Короче говоря, Конрой, оказывается, интеллектуал!

— Черт бы тебя подрал, Конрой,— говорю я.— Никогда не слыхал от тебя такого.

— Правильно,— говорит он.— Конечно, ты не слыхал. Потому что ты меня всегда видел трезвым, а сегодня я накачался. Не в дугу еще, но хватает. Одни при этом лезут в драку, другие — на каждую бабу, какая только попадется им на глаза, третьи валяются под забором... а я начинаю трепаться... просто трепаться... и чем дальше, тем хуже...

Он допивает пиво и вроде как с сожалением смотрит на пустую кружку. А затем отливает уже такую пулю, что только держись.

— Я когда-нибудь рассказывал тебе о моей супружнице, Браун?

Я молчу остолбенело, и он не настолько окосел, чтобы этого не заметить.

— Мне бы не следовало выносить сор из избы, болтать об этом,— говорит он.

— Я даже не знал, что ты женат.

— Я уже не женат,— говорит он.— И для всех других никогда и не был женат. А если ты станешь трепать языком, мой юный Браун, я тебе шею сверну.

— Нет, я никому не скажу,— говорю я.— Можешь не беспокоиться.

— Ну, конечно, ты же не плохой малый, мой юный Браун.— Он оборачивается к стойке — хочет, видимо, опять отправиться за пивом. Потом резко отодвигает стул, встает.— Надо пойти потолковать с одним старым дружком,— заявляет он и пропадает в толпе.

II

Остановившись в дверях бального зала, я вижу невдалеке от меня Ингрид — она стоит одна. На ней желтое платье с большими синими цветами по подолу и золотые бальные туфельки. Выглядит она классно, и мне становится жаль, что я больше в нее не влюблен. Наблюдаю за ней минуты две, а затем меня словно что-то толкает подойти к ней и пригласить ее на танец. Она на секунду вскидывает на меня глаза и тотчас опускает их. Мы танцуем минут десять, но она не глядит на меня. И почти ничего не говорит, и я тоже.

Оркестр играет вальс-бостон, огни притушены. Чувствую, что мне приятна ее близость, и ловлю себя на том, что сердце у меня колотится как бешеное и дышу я так, точно бежал в гору. Так же вот бывает, когда в каком-нибудь журнале попадутся на глаза фотографии обнаженных женщин. Моя правая рука лежит у нее на спине, как раз в том месте, где застегнут бюстгальтер, и я продвигаю руку подальше, чтобы покрепче прижать ее к себе. Но она по-прежнему не смотрит на меня и ничего не говорит. Держит себя так, словно я для нее все равно что любой другой парень, с которым она может пойти потанцевать, а я не понимаю, что это со мной такое, просто не знаю, что и думать. Все время твердил себе: не люблю ее больше, не люблю, а теперь опять чувствую, что хочу ее. Но только по-другому, не так, как прежде. Раньше я бы отдал все на свете, чтобы просто быть с ней вот так, как сейчас, а теперь она возбуждает меня, как все эти голые из журналов. Получается, будто я и не ее вовсе хочу... Не знаю, как вам это объяснить.

То ли из-за этого самого, то ли потому, что мне хочется сделать ей приятное, но я начинаю раздумывать, не предложить ли мне ей проводить ее домой. В конце концов мы ведь почти условились пойти на вечер вместе, а получилось так, что она пришла одна. Но когда танец кончается, я все-таки решаю подождать. Если к концу вечера увижу, что она по-прежнему одна, тогда еще не поздно будет предложить ей свои

услуги. В общем, я еще сам не знаю. Не могу разобраться в своих чувствах. Сейчас я гляжу на нее, и уже как будто жалею, что порвал с ней.

Бар закрывается, и вскоре часы на колокольне бьют полночь. Веселье идет на убыль, и как только кое-кто начинает забирать из гардероба свои пальто, торопясь одеться, пока не образовалось толкучки, все как-то сразу сникает. Когда я выхожу из гардеробной, все поют шотландскую песню, а потом оркестр начинает играть гимн.

Ко мне подходит Джимми.

— Как ты будешь добираться домой?

— На своих двоих. У моего шофера сегодня выходной.

— Миллер приехал на машине. Он обещал подвезти меня с Паулиной и велел посмотреть, не надо ли прихватить кого-нибудь еще. Можешь поехать с нами.

Посматриваю по сторонам, ищу глазами Ингрид, но в конце концов не так уж она мне необходима, и я следую за Джимми. Мы направляемся в вестибюль, а там эта самая Паулина Лоуренс, рыжая девчонка из машинописного бюро — Джимми, кажется, немало преуспел у нее за сегодняшний вечер,— стоит рядом с мистером и миссис Миллер.

— А, Вик,— говорит мистер Миллер.— Вы поедете с нами? Отлично... Вы не знакомы с моей женой? Это, дорогая, Вик Браун, один из наших молодых, подающих надежды сотрудников.

Я говорю «здрасьте» миссис Миллер — немного расплывшейся особе довольно простоватого вида,— и мы все направляемся к автомобильной стоянке. Машина Миллера — желтовато-коричневый громоздкий «ланчестер» довоенного образца; должно быть, Миллер подцепил ее где-нибудь по дешевке. Он как раз из тех типов, которые всегда ездят на трофейных колымагах, потому что они, дескать, некапризны и не бросаются в глаза. Я устраиваюсь на заднем сиденье рядом с Джимми и Паулиной. Джимми, по-видимому, чувствует себя как рыба в воде, он сходу обнимает Паулину, а она прижимается к нему так, словно это уже вошло у нее в привычку. Миллер вытирает тряпкой ветровое стекло и усаживается за баранку рядом со своей супругой.

— Как вы там? Удобно устроились? — спрашивает он, включая зажигание.

— Все в порядке,— отвечаю я,— если не считать того, что я тут третий лишний. Надеюсь, вы не заставите меня нести ответственность за этих влюбленных голубков?

— А ты отвернись и немного вздремни,— говорит Джимми.

Паулина хихикает, а миссис Миллер бросает взгляд через плечо и смеется. Мне кажется, она неплохая тетка. Да и сам Миллер тоже не вредный малый. Он оборачивается и смотрит на подъезд ратуши.

— Минутку,— говорит он вдруг, выскакивает из машины, не выключив мотора, исчезает и почти тотчас возвращается в сопровождении кого-то еще. Отворяет заднюю дверцу.— Вот, пожалуйста, это немного исправит положение.

Девушка наклоняет голову, чтобы сесть в машину, я пододвигаюсь, освобождая для нее место, и стараюсь угадать, кто бы это мог быть. И тут сердце у меня делает бешеный скачок, потому что это — Ингрид.

— Ну, теперь не разберешь, кто у кого сидит на коленях,— говорит Джимми. Он садится немного боком, чтобы всем хватило места, и Паулина опять прижимается к нему. Она жуть до чего старается, ей-богу! Интересно, как давно это у них, думаю я и делаю вывод, что Джимми очень скрытный малый — ни разу не проговорился. Но тут мне приходит в голову, что, значит, я тоже скрытный — ведь и я ни словом не обмолвился об Ингрид.

— А какая разница? — говорит мистер Миллер.— Мы все друзья-товарищи.

Мы снимаемся с якоря, сползаем с холма и держим путь к торговой части города. Миллер не больно-то лихо управляется со своей машиной. Он сидит какой-то напряженный и ведет машину рывками, точно никак не может решить, туда ему ехать или сюда. Витрины кое-где еще освещены, но кругом ни души. Поначалу Миллер пытается поддерживать общий разговор, но потом прекращает эти попытки и адресуется только к своей жене. У нас, на заднем сиденье, царит молчание. Джимми и Паулина целуются, как ошалелые. Начали целоваться, как только машина тронулась с места, и я что-то не заметил, чтобы они дали себе передышку хоть на секунду. Немного поерзав на месте, я спрашиваю Ингрид, удобно ли ей.

— Мне вполне хорошо,— говорит она.

Мы сидим очень близко друг к другу, совсем близко, потому что иначе невозможно. И я опять начинаю чувствовать то самое... совсем как было во время танца. Только теперь обстановка более интимная, мистер и миссис Миллер сидят к нам спиной, Джимми и Паулина заняты друг другом, и мы с Ингрид вроде как наедине. Темно, моя нога касается ее ноги, и я вижу совсем близко ее лицо.

— Полюбуйся на эту парочку,— шепчу я ей на ухо.

— Ммм,— произносит она.— Да, они, по-видимому, очень довольны друг другом.

Я немного меняю положение, словно хочу устроиться поудобнее, и закидываю руку на спинку сиденья. Потом касаюсь ее плеча и притягиваю ее к себе. Первую секунду она ведет себя так, как будто не желает, чтобы ее трогали, но потом придвигается ко мне, и ее голова оказывается так близко, что я могу коснуться губами ее шеи возле левого уха. Через несколько минут я свободной рукой оборачиваю к себе ее лицо и целую ее в губы. Она не сопротивляется, но я не чувствую никакого отклика с ее стороны. Я сижу так, что загораживаю ее от Джимми и Паулины и они ничего не могут видеть, даже если бы стали смотреть, а они не смотрят, и я засовываю руку ей под пальто и легонько тискаю ее сквозь платье. Через две-три минуты она оживает и начинает проявлять интерес к моей особе. А я уже вспоминаю наше последнее свидание в парке и думаю лишь об одном — скоро ли мы сможем все это повторить.

— Когда мы увидимся? — спрашиваю я ее на ухо.

— Мне казалось, что ты не хочешь.

— Хочу... Когда? Завтра?

— Завтра нельзя.

— Когда же? Послезавтра?

Она отвечает не сразу.

— Хорошо.

— Кто-нибудь из вас знает, где мы сейчас находимся? — спрашивает Миллер.— Советую вам там, на заднем сиденье, поглядывать в окно. Мое дело ехать вперед. Если я все проскочу и доставлю вас к себе домой, вам придется либо возвращаться пешком, либо удовольствоваться сараем у меня в саду.

Джимми на мгновение отрывается от Паулины, чтобы бросить взгляд в окно.

— Поверните налево на следующем перекрестке,— говорит он.— А там еще ярдов двести и остановите, не доезжая до церкви на левой стороне.

— Кто из вас там живет?

— Высадите нас обоих. Я провожу Паулину домой.

— Вы можете положиться на него, Паулина? — спрашивает Миллер.

— В каком это смысле положиться? — спрашивает Джимми с циничным смешком.

— Не вмешивайте нас в ваши пошлые интрижки,— говорит Миллер.— Как только вы, моя дорогая, покинете мой автомобиль под ручку с этим морским волком по фамилии Слейд, вам уже придется самой отвечать за себя.

— Я все-таки рискну,— говорит Паулина.

— Ну, будь по-вашему,— говорит Миллер и сворачивает направо в проезд.

Он ставит машину к обочине, там, где ему указал Джимми, и, подавляя зевок, откидывается на спинку сиденья.

— Когда ведешь машину ночью, в то время, как все уже лежат в постелях, это заставляет задумываться.

— Над чем задумываться? — спрашиваю я.

— Заставляет задумываться над тем, что и тебе самому следовало бы давным-давно находиться в таком же состоянии.

— Ну, будет тебе, Джек,— говорит миссис Миллер.— Ты же сам получал удовольствие, не притворяйся. По-моему, мы все неплохо повеселились, верно? — спрашивает она, оборачиваясь к нам.

Мы хором соглашаемся, и Паулина говорит:

— Я считаю, что нужно устраивать такие вечеринки каждый месяц.

— Упаси господи!— говорит Миллер.— Завтра и так все придут с тяжелой головой.

— А как вам понравился номер, который отмочил старик Конрой? — спрашиваю я их.

— Что ж, это внесло оживление,— говорит Миллер.— Признаться, я никак от него этого не ожидал.

— Он хватил лишнего,— говорит Ингрид.— Это сразу было заметно.

— Конрой спел это на пари,— сообщаю я им.— Льюис проиграл ему фунт стерлингов.

Миллер оборачивается ко мне.

— Это правда, Вик?

— Я сам видел, как он получал свой выигрыш. Льюис хотел отвертеться, отделаться десятью шиллингами, но Конрой забрал у него фунтягу. И угостил меня.— После этой выходки Конроя мне почему-то приятно похвалиться тем, что я пил с ним.

— Ты пил с Конроем? — говорит Джимми.— Кто бы мог подумать!

— А он неплохой малый, надо только узнать его получше. У нас с ним в баре был длинный разговор по душам. Вы, конечно, и понятия не имеете о том, что он...— тут я умолкаю, едва не проболтавшись им, что Конрой женат. А ведь я обещал держать язык за зубами,—...что он так начитан и так здорово разбирается в музыке,— спешу я загладить свою оплошность.— Куда лучше, чем Роули. Только не кричит об этом на всех перекрестках.

— Терпеть не могу ни того, ни другого,— говорит Ингрид.— Кен Роулинсон — страшный сноб, а Конрой — просто какое-то двуногое животное.

Теперь уже получается, что мы вроде как сидим и судачим, перемываем косточки, и Миллер кладет этому конец.

— Ну, ребята, отправляйтесь по домам. Дайте старому человеку насладиться желанным ночным покоем.

— Ах что вы, мистер Миллер,— говорит Паулина,— какой же вы старый!

— Подлиза! — говорит Миллер и, перегнувшись через сиденье, отворяет заднюю дверцу. Джимми и Паулина выходят из автомобиля и кричат нам всем «спокойной ночи».

— Ну что ж, эта парочка, во всяком случае, даром времени не теряла,— говорит Миллер, а миссис Миллер справляется, давно ли они вместе.

— Я даже не замечал, чтобы они особенно интересовались друг другом,— говорит Миллер.

— По-моему, до сегодняшнего вечера они и двух слов друг другу не сказали,— замечает Ингрид.

— Вот как, неужели? — говорит Миллер.— В таком случае не приходится отрицать, что эти вечера содействуют сближению персонала.

Мы проезжаем еще немного, и он спрашивает:

— Ну, а вас, молодежь, куда?

— Если вы свернете у следующего светофора, я сойду прямо у своего подъезда.

— А вы, Ингрид?

— Я покажу вам свой дом после того, как мы высадим Вика.

— Я никак не хотел, чтобы вы делали такой крюк, Джек,— говорю я Миллеру.

— Пустяки,— говорит он.— В пятницу произведем у вас небольшое удержание из жалованья.

Когда машина сворачивает на нашу улицу, я снова притягиваю к себе Ингрид и целую ее.

— Значит, в пятницу?

— Хорошо.

Машина останавливается, я выхожу. Наклоняюсь к ним и говорю всем «доброй ночи».

— Спасибо, что подвезли, Джек. Очень мило с вашей стороны. Спокойной ночи, Ингрид. Спокойной ночи, миссис Миллер.

Я смотрю им вслед — дым из выхлопной трубы кажется розовым в свете задних фар,— затем, пошарив в кармане, нахожу ключ и направляюсь по дорожке к дому. При мысли, что в пятницу я снова увижу Ингрид, внутри у меня все дрожит, и я уже сам не свой от волнения. Я вспоминаю, что я чувствовал после нашего последнего свидания, но теперь все представляется мне почему-то иным, и совсем не хочется об этом думать. Единственное, о чем я могу сейчас думать — это о том, что я снова ее увижу, а что будет потом — наплевать.

III

Недели через две после вечеринки Конрой однажды утром не вышел на работу, а почему — никто не знал. На следующий день он появился, как всегда, примерно в половине одиннадцатого направился в кабинет к Хэссопу и торчал там добрых полчаса — толковал с ним о чем-то. Колин Лейстердайк, мальчишка-курьер, понес Хэссопу его утреннюю чашку кофе, возвратился и сообщил, что он слышал, как Хэссоп сказал Конрою: «Видно, вас не переубедишь, раз вы так решили». Тут уж не требовалось особого ума, чтобы сообразить: Конрой подал заявление об уходе.

С виду все остается по-старому. Конрой помалкивает. Однако в пятницу на следующей неделе Джефф Льюис обходит всех с коробкой и листом бумаги — собирает деньги для прощального подарка Конрою. Набирается довольно порядочная сумма, особенно если учесть, что у нас многие недолюбливают Конроя. Даже старик Хэссоп раскошеливается на полфунта. Мы все понимаем, что он не выложил бы, конечно, больше двух шиллингов, как каждый из нас, если бы хитрец Льюис не спрятал вовремя бумажку, на которой мы расписывались и ставили сумму — кто сколько дал.

А через неделю Конрой покидает нас. Почти все утро он разгуливает по бюро, прощается со всеми, а часов около пяти происходит маленькая церемония около кабинета Хэссопа, и Конрою вручается подарок: автоматическая ручка с шариковым карандашом. Хэссоп произносит небольшую речь о том, как нам будет не хватать Конроя, и всем становится неловко и хочется, чтобы уж он поскорее заткнулся, так как каждый понимает, что сам Хэссоп не верит ни единому своему слову. На ручке и карандашике золотыми буквами выгравирована фамилия Конроя, и, когда он принимает этот подарок, лицо у него делается растроганное. Глотнув раза два, он наконец выдавливает из себя:

— Спасибо вам большое, ребята. Здорово вы это, черт побери!

И на этом все кончается. Минут через пять он собирает свои книги и чертежные принадлежности и складывает их в небольшой портфель.

Он подходит ко мне, протягивает руку.

— Ну, до свидания, мой юный Браун.

— До свидания, Конрой. Желаю тебе удачи.

— Поосторожней с женщинами, друг. И не налегай на пиво.

— Постараюсь.

— Вот это правильно. И nil illegitimum.

— Что это такое?

— Nil illegitimum carborundum,— говорит Конрой.— Не позволяй никаким мерзавцам помыкать собой.

Я смеюсь.

— Ни в коем случае.

И он уходит, и что самое удивительное — в горле у меня комок величиной с куриное яйцо, когда я вижу, как за ним захлопывается дверь. Я ведь только теперь начал понимать Конроя, и это совсем другой Конрой, без обычного шутовства и бахвальства, и мне кажется, мы могли бы стать хорошими товарищами. Я сижу на своем табурете и гляжу на пустую чертежную доску. Потом на Льюиса, и Роули, и Уимпера, и всех прочих. Нет, без старика Конроя уже будет не то. Да и вообще последнее время все уже стало не то. Я верчу в руках масштабную линейку. Работа не ладится у меня сегодня. Как-то все порядком приелось, и я думаю о том, что, быть может, и мне было бы невредно переменить работу.

IV

А тут еще эта волынка с Ингрид. После вечеринки я встречался с нею раза три-четыре и всякий раз, прощаясь, думал про себя, что это уже все и я нисколько не буду огорчен, если никогда ее больше не увижу. А потом в один какой-нибудь прекрасный день она появлялась, и все прежнее поднималось во мне, и мы опять оказывались вместе. Это не любовь. Во всяком случае, я не чувствую к ней любви, и мне кажется, что я даже не особенно увлечен ею — не увлечен даже в те минуты, когда я сам не свой, так шалею я от желания остаться с ней наедине. И от этого у меня гнусно на душе. Особенно погано я чувствую себя тотчас после свиданий. Я все чаще думаю о том, что мне следует сказать ей все начистоту и что не годится встречаться с ней подобным образом. И все же я никогда ничего ей не говорю, потому что как раз в такие минуты мне не хочется копаться во всем этом и выяснять отношения. А когда меня начинает тянуть к ней, все кажется проще, и я говорю себе, что ей самой это нравится, и она, конечно, предпочтет встречаться со мной хоть так, чем не встречаться вовсе. В общем, неразбериха.

Глава 2

I

В субботу утром я прихожу к магазину и вижу, что Генри стоит на тротуаре перед запертой дверью, а мистера ван Гуйтена нигде не видно.

— Мне, кажется, он неважно чувствовал себя вчера,— говорит Генри, когда я спрашиваю его, что произошло.— Попал под дождь и, как видно, простудился.

— А есть кому за ним поухаживать?

— Нет, придется ему позаботиться о себе самому,— говорит Генри.— Он ведь бобылем живет. А прислуга приходит два-три раза в неделю.

Бедный старикан! Я знаю, как это бывает, когда у тебя простуда: так хочется, чтобы кто-то с тобой понянчился!

— Послушай, он же может окачуриться,— говорю я,— и никто даже знать не будет.

Генри чиркает спичкой, закуривает.

— Да, так вот оно и бывает, когда ты стар и один на всем белом свете.

Я не знаю, что на это сказать. Я не помню, чтобы мистеру ван Гуйтену случалось когда-нибудь заболеть. Он хоть и стар, но как-то трудно представить его себе больным или умирающим.

— Ну, так что нам теперь делать? Не можем же мы стоять здесь все утро. Скоро начнут появляться покупатели.

Генри кивает.

— Да, а я должен доставить покупателям на дом радиоприемники.— С минуту Генри молчит, задумавшись, потом говорит:— Я, пожалуй, поеду проведаю его, погляжу, что и как.

— Поехать мне с тобой?

— А зачем? Я скоро вернусь. Нужно хотя бы доставить эти приемники, если ничего больше нельзя сделать.— Он направляется к пикапу, который поставил накануне у себя дома в гараж.

— Что же, значит, магазин так и будет закрыт весь день?

— Прошлый раз, когда старику нездоровилось, был закрыт,— говорит Генри.— Некому было заниматься с покупателями.

— А теперь есть кому,— говорю я.— Послушай, Генри, скажи ему, что я управлюсь сам. Нельзя закрываться в субботу — это же самый хороший день. Подумай, сколько он на этом потеряет. Тридцать — сорок фунтов на одних только пластинках, пожалуй.—Генри лезет в пикап, я хватаю его за руку.— Скажи ему, что мы управимся, Генри. Ты будешь показывать приемники, а я стану за прилавок и за кассу. А проверку приемников и починку отложишь на денек.

Генри выплевывает окурок и усаживается за баранку.

— Посмотрим, что он скажет.

Проходит полчаса, а Генри нет, и я все время как на иголках. Хожу взад-вперед перед магазином и думаю о том, что, верно, Генри не сумеет растолковать все как надо мистеру ван Гуйтену и мне бы следовало поехать самому. У меня просто сердце разрывается при мысли о том, что магазин останется закрытым и столько покупателей уйдет не солоно хлебавши.

Какой-то мужчина средних лет подходит к магазину и пробует отворить дверь.

— Разве магазин еще закрыт?

— Через полчаса откроется,— говорю я ему.— Мистер ван Гуйтен нездоров, но через полчаса мы откроем. Может быть, вы наведаетесь снова?

Он стоит, размышляет.

— У меня, понимаете ли, дочка,— говорит он.— На будущей неделе день ее рождения, а она совсем помешалась на этих автоматических радиолах. Вот решил сделать ей подарок... Уж не знаю, наведаться к вам еще разок или пойти к Нортону. У них там в витрине полно этих радиол... И телевизоров, и всякой всячины.

— Мы можем предложить то, что вам требуется,— говорю я ему.— У нас очень большой выбор радиол: и ХМВ, и КБ, и Буш...— Мне хочется схватить его за руку и пригвоздить к месту, пока не вернется Генри.

Он кивает.

— Да, да, хорошо... Я, пожалуй, немножко прогуляюсь и вернусь попозже.

Я вижу, как он торопливо сворачивает к магазину Нортона и как этот жуткий пижон, который у них там работает, старается заманить его к ним. И в эту минуту подкатывает Генри на своем пикапе. Я кричу этому дяде:

— Стойте, обождите секунду!..— И бросаюсь к пикапу. Генри отворяет дверцу и спрыгивает на землю.— Ну, что он сказал?

— Он сказал: ладно; мы можем открыть магазин и попробовать, что получится. Он сначала не слишком обрадовался нашему предложению.

Я ухмыляюсь во весь рот.

— У нас уже есть покупатель, давай сюда ключ.

Я отпираю дверь и затаскиваю в магазин этого дядю, пока он не переметнулся к кому-нибудь еще. Мы с Генри показываем ему уйму радиол — все, что есть на полках и в задней комнате. Я пихаю Генри локтем в бок, и он начинает сыпать ему свою тарабарщину насчет потребления энергии, чувствительности, избирательности, динамиков и чего-то там еще, в чем я ровным счетом ничего не смыслю, так же как и этот тип, кстати сказать, но трескотня Генри явно производит на него впечатление — он видит, что попал к людям, которые знают свое дело.

Минут через двадцать он останавливает свой выбор на здоровенной консольной штуковине, и я привычной скороговоркой отбарабаниваю ему условия рассрочки и все прочее и едва не попадаю впросак. Оказывается, я опростоволосился — недооценил этого пижона. Он минуты две стоит молча и слушает, что я бормочу, а затем извлекает из кармана пачку грязных бумажек и говорит:

— Я заплачу наличными.

Вот как. У меня так дрожат руки, что я едва могу сосчитать его бумажки.

— Когда вы доставите мне покупку? — спрашивает он, получая от меня расписку.

— В любое время,— говорю.

— Отлично.— Он царапает что-то на листке бумаги и протягивает его мне.— Доставите по этому адресу в среду утром. Только не раньше среды, имейте в виду. Мне нужно, чтобы именно в этот день.

Я быстро заглядываю в бумажку.

— Все будет выполнено точно, мистер Уэйнрайт, не беспокойтесь.— Я выхожу из-за прилавка и провожаю его до двери.— Большое спасибо, сэр. До свидания.

Как только дверь за ним захлопывается, я бегу в заднюю комнату к Генри. Он уже облачился в свой комбинезон и ковыряется в телевизоре.

— Семьдесят четыре гинеи, Генри. Семьдесят четыре хорошеньких

кругленьких гиней, черт побери! Приятно будет сообщить об этом мистеру ван Гуйтену. Даже если теперь мы за весь день продадим только пачку иголок, все равно уже открываться стоило.

Генри сует отвертку в телевизор, в самые что ни на есть кишки, и кивает головой.

— Да, неплохо,— говорит он.— Жаль, конечно, что это случайная удача.

Махнув на него рукой, я возвращаюсь за прилавок.

И, конечно, наши покупатели не ограничиваются одними иголками. Очень скоро в магазине у нас уже толкучка, и все эти психи готовы влезть ко мне на прилавок, и я едва успеваю хватать с полок коробки с пластинками, и кассовый аппарат звонит у меня, не умолкая. Когда приходит время закрывать, я с ключом в кармане отбываю к мистеру ван Гуйтену, усталый, как собака. Но я счастлив.

II

Мистер ван Гуйтен, когда я появляюсь у него, слушает Брамса. Встретив меня, он шикает, чтобы я сидел тихо и ждал, пока кончится музыка. Мне кажется, что Брамс любимый композитор мистера ван Гуйтена. По его словам, Брамс хотя и не самый великий композитор на свете, однако никто не писал музыки, которая звучала бы так похоже на то, как должна звучать великая музыка. Ну, для меня это как-то чересчур замысловато. Ни ритма, ни мелодии, и все что-то наворачивается и наворачивается, и кажется, что это не кончится до второго пришествия.

Часа так через три эта волынка все же приходит к концу, и мистер ван Гуйтен снимает пластинку. Я все это время сидел молча, и теперь он хочет услышать мое сообщение. Сначала я спрашиваю его, как он себя чувствует, и он говорит, что в общем ничего, так себе, просто небольшая простуда, но тем не менее он почел за лучшее посидеть дома. После этого я рассказываю ему о продаже радиолы и показываю бумажку, на которой записал все, что мы продали за день.

— Очень хорошо, очень хорошо,— повторяет он несколько раз, покачивая головой, и я понимаю, что он доволен.

— Вот видите, мистер ван Гуйтен,— говорю я,— открывать стоило. Я чуть не лопнул от нетерпения, дожидаясь Генри: боялся, вы скажете ему, что не надо.

Он сидит в своем большом старом кресле возле камина и внимательно смотрит на меня.

— Так вы, значит, придавали этому значение, Виктор? Вам было небезразлично, откроемся мы сегодня или нет?

— Ну как же, посмотрите, какую выручку мы могли потерять! И неизвестно еще, сколько новых покупателей никогда не обратились бы к нам больше, попади они сегодня к Нортону.

— Совершенно справедливо,— говорит мистер ван Гуйтен.— Вы хорошо поработали. А ведь это первый раз вам пришлось управляться в магазине одному целый день. Но я, конечно, не сомневался, что вы справитесь, иначе я не дал бы Генри разрешения открыть...

Я приваливаюсь к спинке кресла. Правду сказать, я смертельно устал, и мистер ван Гуйтен замечает это.

— Вы не особенно огорчились, когда пришло время закрывать, не правда ли? — говорит он, и я ухмыляюсь.

— Нет, признаться, не огорчился. Я ведь не присел ни на минутку за целый день.

Он ничего больше не говорит и как будто думает о чем-то другом, глядя в огонь. Так мы сидим и молчим в этой большой комнате с высоким потолком, старинной мебелью и допотопным граммофоном с огром-

ной трубой, торчащей прямо посреди комнаты. Все здесь какое-то обветшалое, и мне было бы жутко жить среди этих вещей. Странно как-то, почему мистер ван Гуйтен держится хотя бы за этот старый доисторический граммофон, в то время как у него в магазине стоят самые новомодные механические электрорадиолы. Какая-то все же есть на то причина. Он сидит в кресле, положив локти на ручки кресла и соединив кончики пальцев. На нем просторный шерстяной халат, шея обмотана шарфом. У него больной вид. Кожа кажется прозрачной, лицо осунулось.

— Вы любите свою работу, Виктор? — внезапно спрашивает он, и я пожимаю плечами. Говорить правду мне неприятно, но я не могу врать мистеру ван Гуйтену.

— Так себе, не особенно.

Он смотрит на меня поверх очков.

— Так себе?

— Мне она очень нравилась первые два-три года,— говорю я,— но теперь, последнее время... мне вроде как чего-то не хватает.

— А может быть, вам просто захотелось переменить обстановку? В жизни каждого почти неизбежно наступает такой момент, когда ему хочется переменить обстановку.

— Нет, мне кажется, дело не в этом, мистер ван Гуйтен. Мне просто надоела эта работа. Хочется заняться чем-то совсем другим. И поработать с другими людьми...

— А здесь, по субботам, вам нравится работать?

— Очень. Тут мне интересно.

— А вы никогда не думали о том, чтобы перейти на такую работу на полный день?

Меня этот вопрос несколько ошарашивает.

— Видите ли, сказать по правде, мистер ван Гуйтен, тут ведь много не заработаешь. В моей специальности тысяча фунтов в год — это еще очень скромный заработок. А если тебя назначат старшим чертежником, так и того больше. Ну а продавцы, как мы на каждом шагу слышим, то и дело переходят на фабрику, чтобы побольше заработать.

Он кивает.

— Да, это верно. Обыкновенный продавец зарабатывает немного. Для материальной заинтересованности в этой работе нужно... нужно, так сказать, иметь еще известный процент в деле.

Он откидывается в кресле, за спиной у него высокий торшер, и лицо его уходит в тень от абажура. В пятнах света и тени углубляются морщины на его лице, они особенно резко бросаются мне сейчас в глаза.

— Я старый человек, Виктор,— говорит он.— Старше, чем вы, быть может, думаете. Мое дело приносит неплохой доход и, по-видимому, будет приносить его и впредь, вопреки...— Легкая улыбка трогает его губы...— Вопреки мрачным пророчествам Генри... Дело можно было бы даже расширить, но мой возраст не позволяет мне этим заняться... Я старый человек,— повторяет он снова,— и совершенно одинок. Судьба не одарила меня счастьем иметь детей. Есть у меня какие-то двоюродные и троюродные братья в Голландии, но я их совсем не знаю, и они не знают меня.— Он делает неопределенный жест рукой и некоторое время молчит.— Мне не хотелось бы говорить лишнего, Виктор, потому что вы еще слишком молоды, совсем мальчик еще... Но, правду сказать, я очень привязался к вам, и мне кажется, что вы человек способный, с характером и сумеете кое-чего добиться.

Его слова здорово меня проняли. Я растроган, и мне вдруг становится неловко, когда я вспоминаю о моих встречах с Ингрид...

— Вы очень быстро освоились с работой, хотя бываете здесь всего один раз в неделю...

Куда это он клонит? — думаю. Может, он вроде как намекает, что хочет оставить мне магазин? Эта мысль волнует и немного пугает. Он выпрямляется в кресле и оглушительно сморкается. Как всегда, от его носового платка на меня веет запахом эвкалиптового одеколона.

— Сейчас пока речь идет, Виктор, о том, что я вынужден взять в магазин постоянного помощника. Мне нужен человек, который был бы мне приятен и которому я мог бы доверять так, чтобы впоследствии, быть может, через несколько лет, когда я решу совсем отойти от дел и отдохнуть, я мог бы полностью передать дело в его руки.

Теперь я понимаю, что он думает сейчас о тех днях, когда его уже не будет с нами, и не знаю, что мне ему сказать. Вот это оно самое и есть — вот к чему приводит в конце концов одиночество: оно хватает человека за горло. Сначала кажется, что стоит вам только осуществить свою мечту, найти того человека, которого вы повсюду ищете, и вы никогда уже не будете одиноки. А потом наступает такой день, когда одиночество вцепляется в вас снова, и вот вы сидите в старом истертом кресле, в старом унылом доме и никого с вами нет, вы сидите один как перст, и все, что вам остается делать,— это ждать конца. И, быть может, ничего нет страшнее такого одиночества, потому что впереди уже одна пустота.

Мистер ван Гуйтен кашляет и старается спросить как можно деликатнее:

— Скажите, Виктор, если это не секрет, сколько вы сейчас получаете?

Я говорю ему, что пока мне платят семь фунтов десять шиллингов в неделю.

— А если к тому времени, когда мне исполнится двадцать один год, пройдут предложенные профсоюзом ставки, я буду получать около десяти фунтов.

— А вы считаете, что они могут установить такие ставки?

— Я почти уверен в этом. У нас на заводе довольно крепкая профсоюзная организация, и все старые служащие получают профсоюзные ставки.

— Ну, а в дальнейшем? Будет еще прибавка?

— Пока не стукнет двадцать пять лет — нет. А тогда я буду получать четырнадцать фунтов десять шиллингов.

Мистер ван Гуйтен поднимает брови.

— Четырнадцать фунтов десять шиллингов. А дальше?

— Видите ли, по линии профсоюза на этом все кончается. Фирма может накинуть вам еще немного, если найдет, что вы этого заслуживаете. Как я уже говорил, кое-кто получает у нас до тысячи фунтов в год.

— Хм,— произносит мистер ван Гуйтен и кивает головой.— Я как-то не имел представления о том, насколько хорошо или плохо оплачивается чертежная работа. Я всегда полагал, что оплата должна соответствовать способностям и квалификации.

Он снова откашливается, лезет за носовым платком, и до меня снова доносится запах эвкалипта.

— Так вот,— говорит он,— вы несомненно следили за ходом моей мысли. Повторяю, сейчас еще преждевременно давать какие-либо обещания и пробуждать надежды. Пока что мне требуется, или во всяком случае может потребоваться очень скоро, помощник. Я хочу взять человека, который был бы мне симпатичен и которому я мог бы доверять.

— Вы хотите сказать, мистер ван Гуйтен, что вы были бы не против, если бы я мог перейти работать к вам на полную неделю?

Он снова кивает.

— Правильно,— говорит он и поднимает руку, прежде чем я успеваю что-нибудь добавить.— Вы, по-видимому, никогда еще всерьез над

такой возможностью не задумывались, а я меньше всего хотел бы заставлять вас сойти с избранной вами стези. Вот почему я спросил, довольны ли вы вашей работой. Теперь предположим, что заработок у вас будет примерно такой же и кое-какие перспективы в дальнейшем. Это когда вы — не в будущем году, учтите, а лишь со временем — станете уже не просто продавцом в нашем предприятии. Если, конечно, оно не захиреет. Что бы вы мне ответили в таком случае?

— Не знаю, мистер ван Гуйтен.— Я молчу, размышляю.— Предложение ваше мне кажется заманчивым. Вы знаете, что мне всегда нравилось работать у вас...— Так как он, по-видимому, не ждет ответа тут же, на месте, я говорю: — Большое вам спасибо за ваше предложение, мистер ван Гуйтен, и, если позволите, мне бы хотелось еще хорошенько его обдумать.

— Прекрасно,— говорит он.— Вполне разумно. Ни в коем случае я бы не хотел, чтобы вы принимали решение очертя голову.

— И притом мне нужно обсудить все это дома, вы понимаете.

— Разумеется, разумеется, я только что хотел спросить, не поговорить ли мне с вашим отцом.

— Я скажу ему, и он, вероятно, заглянет к вам как-нибудь после работы.

Вскоре после этого я ухожу. Мистер ван Гуйтен снова благодарит меня за сегодняшний день и, давая мне деньги, добавляет еще десять шиллингов — вроде как бы премиальные. Я отказываюсь, но он не хочет отпустить меня, пока я не возьму.

В этот же вечер за ужином сообщаю эту новость матери и отцу.

— Мистер ван Гуйтен предложил мне перейти к нему на работу на полную неделю,— говорю я и наблюдаю за выражением лица нашей Старушенции.

— Что же ты ему ответил? — спрашивает она.

— Я сказал, что подумаю и погляжу, как вы с отцом к этому отнесетесь.

— По-моему, от добра добра не ищут,— говорит Старушенция.— До чего ты там можешь дослужиться в этом магазине?

— Обожди минутку,— говорит Старик.— Придержи язык. Это ведь не то, что работа в любом магазине. Мистер ван Гуйтен очень высокого мнения о нашем Викторе. Он смотрит на него почти как на родного сына... Что именно он тебе сказал, Виктор? Он ведь не просто так взял и предложил ни с того ни с сего.

— Ну нет. Он очень долго ходил вокруг да около, говорил о том, что он стар и у него нет родственников и что он не хочет, чтобы я необдуманно сошел с избранной мною стези. Ну, ты знаешь, как мистер ван Гуйтен изъясняется.

Старик кивает. Он вообще-то здорово проницательный, наш Старик, сразу понимает, что к чему, и на этот раз ему тоже быстрее, чем нашей Старушенции, удается ухватить суть дела.

— А как же! — говорит он.— Мистер ван Гуйтен по-настоящему образованный господин, без дураков.

— Но сколько там можно заработать, в этом магазине, Артур? — говорит наша Старушенция.— Виктору скоро исполнится двадцать один год, и он получит хорошую прибавку.

— Ну, насчет этого мы тоже говорили. Он сказал, что с заработком все будет в порядке.

— Ты, я вижу, как будто не прочь перейти к нему, а, Виктор? — говорит Старик.— А ведь тебе всегда хотелось стать чертежником. Помнишь, как ты плясал от радости, когда пришло извещение, что тебя принимают на работу к Уиттейкеру?

— Мне тогда было всего шестнадцать лет. А сейчас эта работа стала мне что-то не по нутру. И не потому, что мистер ван Гуйтен сделал мне это предложение... Это еще раньше началось...— Я чувствую, что начинаю ухмыляться во весь рот.— Да, по правде говоря, я бы не против перейти к нему. Мне нравится это место.

— Раз уж оно так получается, надо, мне думается, пойти перемолвиться с ним словечком,— говорит Старик.

— Ну да, он тоже сказал, что хотел бы потолковать с тобой. А я сказал, что ты заглянешь к нему как-нибудь по дороге с работы.

— Еще чего! — говорит Старик.— Так я и потащился к мистеру ван Гуйтену в тех же штанах, в которых лажу в шахту. Как-нибудь вечерком вымоюсь, переоденусь и схожу к нему, и мы с ним потолкуем.

III

Через неделю все уже решено. Я перехожу на работу к мистеру ван Гуйтену, получать буду восемь фунтов в неделю, а когда мне исполнится двадцать один год — девять фунтов, и мистер ван Гуйтен говорит, что я могу положиться на него в том, что касается дальнейшего.

Джимми Слейд — первый, кому я рассказываю об этом у нас в чертежном. Сразу же после пасхальных каникул.

— Как это делается, когда хочешь заявить об уходе?

— Мне кажется, надо подать заявление заведующему отделом. Что-нибудь в таком духе: «Разрешите поставить вас в известность, что с такого-то числа я прошу освободить меня от занимаемой мною должности».

— А за какой срок нужно уведомить?

— По-моему, ты обязан уведомить минимум за неделю, но приличнее будет, если уведомишь за две. И я бы на твоем месте заранее переговорил со стариком Хэссопом и предупредил его о своем намерении, чтобы он не оказался в дураках.

— Не больно-то мне охота с ним объясняться.

— Говорят, он даже Конроя пытался отговорить,— замечает Джимми.— А мне всегда казалось, что он его терпеть не может.

— Старина Конрой был чертежник, каких мало. Хэссоп знал, что он теряет хорошего работника. Я буду классом пониже.

Пока мы болтаем, раздается звонок на обед, и мы вместе со всеми выходим из конторы.

— Глупо как-то получилось у меня с Конроем,— говорю.— Только-только мы с ним сошлись немного, а он тут как раз и уволился.

— Альберт был неплохой малый,— говорит Джимми.— С ним вполне можно было ладить, если не обращать внимания на его манеру разговаривать. Мне он всегда был куда симпатичнее, чем Льюис.

— Да и мне тоже, во всех отношениях.

— Ну что же,— говорит Джимми,— раз уж ты решил, так решил. А мне будет не хватать тебя, собака ты.

— А, брось,— говорю.— Я же не собираюсь эмигрировать в Тимбукту. Мы еще не один вечерок проведем вместе после работы.

— Да, конечно.

Мы проходим по коридору, отворяем дверь и слышим пронзительный женский крик, а затем какой-то шум и суматоху внизу на лестнице. Когда мы сбегаем вниз, там уже целая куча девчонок и несколько парней, и все они толпятся вокруг чего-то, что лежит на полу.

Кто-то кричит:

— Нет, не трогайте ее! Бегите за медсестрой! — И один из ребят бросается к выходу.

Нам с Джимми ничего не видно, и протолкаться к выходу мы тоже не можем. Когда одна из девушек оборачивается, я спрашиваю ее:

— Что там случилось? Кто это?

— Это Ингрид Россуэл,— говорит она, и я вижу, что ее прямо-таки трясет от волнения.— Она упала с лестницы. Пересчитала все ступеньки. Не могла ни за что ухватиться. Только вскрикнула и покатилась вниз.

— Не можем ли мы чем-нибудь помочь?

— Да нет, едва ли. Побежали за медсестрой. Она потеряла сознание, и мы боимся ее трогать.

Сердце у меня стучит как барабан, и все мутится перед глазами. Джимми хватает меня за руку и тащит к двери.

— Пошли, мы только путаемся под ногами. Идем в столовую.

Мы возвращаемся с другого хода и понемногу узнаем обо всем, что произошло. Когда прибежала дежурная медсестра, Ингрид уже пришла в себя, медсестра велела двум парням отнести ее в приемную, а сама вызвала скорую помощь. На другой день становится известно, что в лечебнице Ингрид сделали рентген и оказалось, что у нее сломана левая рука. Я узнаю все это от Джимми, который узнал это от Паулины Лоуренс, которая узнала это от медсестры. Я рад, что с Ингрид не случилось ничего серьезного, но теперь, после того как первый испуг прошел, мало думаю о ней. Однако понимаю, что должен все же что-то сделать, выкладываю восемь фунтов и шесть пенсов за коробку шоколадных конфет и передаю ее вместе с небольшой записочкой Паулине, которая собирается навестить Ингрид. В записке я выражаю сожаление по поводу случившегося и надежду, что она скоро поправится. О своем решении переменить работу я не сообщаю. Ингрид не может ничего написать мне, так как у нее сломана левая рука, а она левша, и просит Паулину поблагодарить меня за конфеты, что та и делает.

Когда я обо всем этом думаю, меня даже радует, что она не может мне писать, потому что это лишает ее возможности вынудить у меня какие-либо обещания. Теперь она прикована к постели, а я ухожу от Уиттейкера, и нужно этим воспользоваться, чтобы покончить со всем раз и навсегда. Тогда, вероятно, мне сразу станет легче, и я не буду чувствовать себя так погано. Все будет в порядке, если я не буду видеть ее. Тогда я и думать о ней перестану.

Сегодня после обеда я сообщил мистеру Хэссопу, что собираюсь в конце недели подать заявление об уходе. Особых возражений это не вызывает. По-видимому, ему решительно все равно, останусь я или уйду. Тем не менее мы довольно долго переливаем из пустого в порожнее, и он расписывает мне, какие блестящие перспективы открываются перед чертежником, и разъясняет все отрицательные стороны работы продавца в магазине. Я говорю ему, что уже обдумал все это, но предполагаю стать со временем не просто продавцом, и на этом наша беседа заканчивается.

В пятницу утром приношу мое заявление мисс Паджет, секретарше мистера Мэтью, и через две недели после этого покидаю бюро, совсем как Конрой, уложив свои чертежные принадлежности в портфель и засунув в карман красивый бумажник из свиной кожи с моими инициалами и вложенным в него фунтом стерлингов — прощальный презент от сослуживцев.

В последнюю минуту, когда они вручают мне этот бумажник и Хэссоп несет всякую чепуху, как в тот раз, когда провожали Конроя, чувствую, что к горлу опять вдруг подкатывает комок, бросаю взгляд на лица сослуживцев, и меня охватывает паника: а что, если я делаю неверный шаг? Потому что в эту минуту мне припоминается все только самое хорошее — те дни, когда все здесь так радостно волновало меня и я еще

не испытывал ни скуки, ни томления. И я думаю о том, какие они все славные ребята, и где-то еще я встречу таких славных ребят, и о том, что мне будет здорово их не хватать.

Но с этим покончено. В следующий понедельник с утра я начинаю работать на полной ставке в магазине мистера ван Гуйтена.

Глава 3

I

С работой в магазине я осваиваюсь довольно быстро, так как она продолжает мне нравиться ничуть не меньше, чем раньше. Мистер ван Гуйтен объясняет мне, как выписываются накладные и ведутся книги, и вскоре в те дни, когда нет наплыва покупателей, он уже предоставляет мне самому справляться с этим делом. Я стараюсь вызубрить каталоги пластинок от корки до корки — даже всю эту самую «классику»,— и, когда слушаю такие пластинки, кое-что начинает мне даже нравиться не меньше, чем джаз и популярные эстрадные песенки, хотя любимчика мистера ван Гуйтена — Брамса я все еще никак не могу переварить, так же как и последних квартетов Бетховена, которые, по словам Роули, он написал, когда оглох. Камерная музыка не в моем духе: я люблю, чтобы в оркестре звучала четкая мелодия и было много ударных и побольше звона, и вскоре делаю открытие, что старина Чайковский вполне меня устраивает. Я начинаю лучше разбираться во всем этом, потому что мистер ван Гуйтен частенько берет меня с собой в Лидс или в Бредфорд, куда он отправляется на своем автомобиле всякий раз, когда там выступает какой-нибудь знаменитый оркестр. Вообще-то эта музыка способна только нагнать сон, но иной раз что-то вдруг крепко задевает тебя за живое, а другой раз чувствуешь, что такие-то вещи, которые не нравятся тебе сейчас, может, и понравились бы, если бы послушать их еще разочка два-три. По дороге на концерт и на обратном пути мистер ван Гуйтен все время говорит о музыке, и мне интересно слушать все эти истории о великих композиторах — о том, как трудно им доставалось на первых порах, когда никто их знать не хотел и не любил их музыку. Он здорово начитан, этот мистер ван Гуйтен, и умеет интересно рассказывать о том, как Мусоргский слетел с катушек и свихнулся, или о том, как Чайковский всю жизнь писал этой пожилой мадаме письма, но никогда с ней не встречался и как он пытался покончить с собой, выпив отравленной воды. Некоторые из этих композиторов были в самом деле занятными людьми. Мистер ван Гуйтен постоянно говорит мне, что музыка, если я буду терпелив, когда-нибудь раскроется мне, как огромный прекрасный цветок.

— А зачем им нужно было писать ее так, чтобы было трудно слушать? — спрашиваю я его как-то вечером, когда мы возвращаемся из Бредфорда с большого симфонического концерта.

— Но они не намеренно это делали, Виктор,— говорит он.— В том-то вся и штука. Все эти популярные мелодии, вся эта... как вы ее называете... модерновая музыка настолько примитивна, что в одно ухо входит, в другое выходит. Долго ли они живут — все эти модные песенки? Две-три недели, от силы два-три месяца. А классическая музыка не умирает столетиями. Ее не устанут слушать до тех пор, пока жив на земле род людской. Как же вы хотите, чтобы музыка такого масштаба воспринималась столь же мгновенно и легко, как популярная мелодия? Не помню, кто это сказал, что великое искусство не раскрывает всех своих тайн при первом брошенном на него взгляде. Будьте терпеливы,

дайте этому искусству воздействовать на вас, дайте ему захватить вас. И в один прекрасный день вы услышите восхитительную музыку там, где сейчас слышите лишь какой-то шум и звон. Вы услышите ее, Виктор, я уверен. Громокипящую силу и величие Бетховена, трагическую красоту и грацию Моцарта, волшебную напевность Брамса и благородную скорбь Элгара. Это будет чудесное путешествие по сказочной стране, Виктор, где перед вами будут открываться все новые и новые горизонты. Весь необъятный мир музыки ждет, чтобы вы обрели его для себя. Как бы я желал вернуться на пятьдесят лет назад и заново открыть все это!

Проходит еще немного времени, и мистер ван Гуйтен дает мне возможность приобрести у него по дешевке двухскоростной проигрыватель и несколько пластинок. Вижу, он решил во что бы то ни стало сделать из меня любителя серьезной музыки. Что ж, я не против. Это и в самом деле похоже на то, как он говорит: «Идешь-идешь, а на горизонте появляется все что-то новое». Каждую неделю я нахожу для себя что-то такое, что мне начинает нравиться.

Иногда я помогаю Генри — главным образом по части доставки покупок, но когда нет покупателей, забираюсь к нему в мастерскую, наблюдаю, как он занимается починкой, и, надо сказать, тут есть, чему поучиться, и просто удивительно, как много можно узнать таким путем. Вечерами и по воскресеньям, когда мы не ездим на концерты и не слушаем пластинок, я хожу в кино с Уилли или Джимми, и мы иной раз пропускаем по кружке пива. А иногда хожу на танцы. Я все еще мечтаю об этой девушке, которую, быть может, встречу когда-нибудь, но сейчас я счастлив и так, нетерпение меня не гложет.

Об Ингрид почти не вспоминаю. С глаз долой, из сердца вон — вот уж, что касается ее, то это железно. Однажды я получил от нее красивую открытку с видом Скегнесса, где она поправляет свое здоровье у тетушки. На открытке был обратный адрес, но сначала я решил, что отвечать не стоит, потому что с этим покончено. А потом подумал, что небольшая вежливость повредить не может, купил открытку с изображением кресслийской ратуши и послал ей. На открытке написал: «Едва ли я когда-нибудь снова приеду сюда отдыхать — это грязная дыра, и дождь льет, не переставая. Надеюсь, что ты скоро поправишься». Опуская письмо в почтовый ящик, вдруг подумал, не зря ли я это делаю, не лучше ли разорвать открытку — и дело с концом. Но все же отправил эту открытку.

II

Дни бегут, на дворе теплеет, начинается то, что мы, саркастически улыбаясь при этом, обычно называем летом.

Однажды в конце июня я стою в магазине, привалясь к прилавку, и настроение у меня довольно фиговое. Мистер ван Гуйтен просматривает счета в своем маленьком стеклянном закоулке, а Генри возится с приемниками в задней комнате. Все утро в магазине было довольно пусто: в десять часов заглянула какая-то дамочка и спросила каталог пластинок, затем еще некая особа принесла в починку электрический утюг, и, наконец, явился какой-то тип и слонялся по магазину, разглядывая телевизоры и радиолы и не желая слушать моих объяснений.

— Я просто хочу посмотреть,— заявил он.

Знаю я этих молодчиков! Пойдет домой и будет говорить всем, что продавцы у ван Гуйтена слишком навязываются со своим товаром. А вот оставьте такого покупателя в покое, он уйдет и скажет, что к нему были невнимательны и не желали его обслужить.

В общем, я предоставляю его самому себе. А через несколько минут в магазин влетает бойкая девчонка с высоченной копной взбитых волос и спрашивает пластинку с песенкой Томми Стила «Я единственный мужчина на острове». Отпускаю ей пластинку, получаю деньги и гляжу ей вслед, когда она направляется к выходу. У нее туфли на тонюсеньких гвоздиках, и мне кажется, что она стоит на них довольно нетвердо, а в такой узкой юбке, как у нее, больше чем на шесть вершков не шагнешь. Интересно бы поглядеть, думаю, что будет, если она бросится за автобусом и позабудет про юбку. Юбки теперь становятся все короче, и я, собственно, никак против этого не возражаю. Гляжу на ноги этой девчонки, когда она семенит к двери, и, само собой, начинаю думать о том, о чем в таких случаях думается, и в это время отворяется дверь и появляется еще одна пара ног — пара стройных ног в нейлоновых чулках цвета загара, та самая пара ног, которую я мгновенно отличу от всех других, когда бы и где бы ее ни увидел. И в ту же секунду у меня перехватывает дыхание, словно кто-то со всей силы саданул меня кулаком под сердце.

Она подходит к прилавку и говорит:

— Привет, Вик!

— Привет, Ингрид. Ты поправилась?

— Да, спасибо. В понедельник возвращаюсь на работу.

— Здорово тебе досталось?

— Были небольшие осложнения. Кость сначала неправильно срослась, и ее пришлось снова ломать.

— Ты теперь полегче — не очень-то налегай на свою старую машинку.

— Да, конечно. Я совсем, верно, потеряла скорость и вообще отвыкла от работы.

— Как это у тебя получилось? Я ведь ничего толком не знаю.

— О, просто у меня были новые туфли на очень высоких каблуках.— Она смеется.— Вот к чему приводит погоня за модой.

— Хорошо еще, что все кончилось благополучно.

Выглядит она классно, так, словно ничего и не произошло. Немножко загорела и чуточку похудела, пожалуй. Но не слишком. Во всяком случае все то, что имеет значение, нисколько не стало хуже. Я уже убедился в этом, потому что не могу заставить себя не смотреть. На ней светло-коричневый вязаный джемпер с короткими рукавами, и бюстгальтер белеет между редких петель, там, где в них упираются тугие соски маленьких грудей.

— Спасибо за конфеты. Это очень мило, что ты мне их прислал.

— Ну, какие пустяки.

— Прости, что я не могла написать тебе записочку и поблагодарить тебя, но ведь у меня была сломана левая рука, ты знаешь.

— Да ерунда. Паулина передала мне от тебя «спасибо».

Она бросает взгляд на мистера ван Гуйтена, который занят своими счетами и не обращает на нас внимания. Потом открывает сумочку и вынимает листок бумаги.

— Есть у вас что-нибудь из этих пластинок?

Я беру у нее бумажку. Рука моя дрожит — эта встреча произошла так неожиданно. На бумажке написаны названия трех популярных пластинок, а внизу приписано: «Когда мы можем увидеться?» Я даже не сразу соображаю, в чем дело,— думаю сначала, что это название еще одной пластинки, но тут же все понимаю и — только этого еще не хватало — начинаю краснеть.

Поворачиваюсь к полкам, чтобы достать коробки с пластинками, а сам чувствую, как знакомое волнение уже снова шевелится во мне.

— Первые две пластинки у нас есть,— говорю и достаю пластинки из коробки,— а третью мы можем получить дня через два.

— Я подожду,— говорит она, и я замечаю, что у нее тоже розовеют щеки и она отводит глаза в сторону.— Можно послушать эти пластинки?

Вероятно, она слышала каждую из них по меньшей мере миллион раз, но я говорю:

— Конечно,— выхожу из-за прилавка и отворяю дверь одной из кабинок для проигрывания.

— Как тебе нравится твоя новая работа? — спрашивает она, когда мы заходим в кабинку.

— Ну, работа первый сорт.

— Я была очень удивлена, когда узнала, что ты ушел от Уиттейкера. Как-то неожиданно это получилось, верно?

— Да сам не знаю. Последнее время мне там что-то поднадоело. Подвернулась эта работа, я и смылся.

Ставлю одну из пластинок на проигрыватель и чувствую, что больше всего на свете сейчас хочу встретиться с ней снова. Встретиться с ней, а потом будь что будет. И говорю:

— Сегодня в половине восьмого у ворот парка — у тех, что ближе к твоему дому.

Она кивает, и я опускаю адаптер на пластинку. Сначала нас оглушает металлический звон и треск, а затем этот тип начинает рычать: «Не могу тебя забыть, куда деваться мне, о бэби, всюду, всюду ты со мной...» Мура страшная, но если ей это нравится — пожалуйста.

Когда она уходит, я поспешно забираюсь обратно в кабину, потому что у меня дрожат колени и весь я точно расплавленный. Но и музыка не помогает, от нее тоже только шалеешь, а в мыслях лишь одно: я снова встречусь с Ингрид и...

III

— Ты любишь меня, Вик? — спрашивает она, и я прячу от нее лицо, зарываясь куда-то между ее плечом и шеей. Потому что мне сейчас хочется только одного — убежать от нее. Ведь я снова чувствую себя так же погано, как было всегда и раньше после каждой встречи. И подумать только, что всего час назад я был от нее без ума, просто не знал, куда себя девать, так очумел. А теперь я думаю: и зачем только она пришла в магазин! Как мне хорошо жилось без нее! Я почти не вспоминал о ней. Так нет, ей непременно надо было появиться, показаться мне и разворошить все эти воспоминания о том, как мы целовались, заставить меня вспоминать, что я чувствовал, когда ласкал ее и держал в объятиях, вспоминать, какое у нее крепкое, упругое тело и какая нежная кожа, особенно в тех местечках, которые нельзя видеть. В секретных местечках. Именно в этом, кажется, ее сила, именно это так и волнует — то, что они секретны для всех, кроме меня. Ведь, что ни говори, этот дар она приносит только мне одному, только мне она позволяет все это, и тот же Уилли, к примеру, наверняка сказал бы, что я кретин, если бы я упустил такую возможность...

А теперь вот она снова говорит о любви, а мне казалось, что в этом смысле мы с ней уже давно поставили все точки над и.

Я знаю — она ждет, чтобы я ей ответил, но я не в состоянии бесстыдно лгать ей в глаза. А как я могу сейчас, после того, что только что было, сказать, что не люблю ее? Разве она поймет, разве я сумею объяснить ей все, что я чувствую? Да я сам был бы рад, если бы кто-нибудь помог мне разобраться в себе! К тому же женщина едва ли может чувствовать то, что чувствую я, по-видимому, женщины устроены в этом отношении иначе, им непременно нужно, чтобы была любовь.

Но она задала этот вопрос и ждет ответа.

— Не знаю,— говорю я.

Она молчит. Потом спрашивает:

— Ты любишь другую девушку?

— Нет.— И это тоже отчасти ложь, хотя, с ее точки зрения, я сказал истинную правду — ведь, задавая свой вопрос, она, конечно, не имела в виду женщины, которой я даже никогда не видал, которая не существует в действительности, а только в моих мечтах.

Мы лежим на моем плаще под деревьями в самом глухом углу парка, куда не заглядывает никто, кроме влюбленных парочек. Вечер на редкость хорош. Теплое солнышко пробивается сквозь листву, и на траве вокруг нас шевелятся узорные тени. С вершины холма я гляжу вдаль, а Ингрид, словно прочтя мои мысли, неожиданно говорит:

— Ты помнишь тот вечер, когда мы сидели там внизу на скамейке, помнишь, что ты тогда сказал?

— Да... помню.

— Ты тогда правду говорил, Вик?

— Вероятно, правду, иначе зачем бы я стал это говорить. Я был очень взволнован тогда.

— Тогда ты говорил правду,— говорит она.— Я знаю, что это действительно было так. Тогда ты хотел видеть меня не просто ради того, чтобы чего-то добиться, верно ведь?

Она говорит это слишком напрямик, и я чувствую, что краснею. Одно дело думать про себя, что ты скотина, а другое дело, когда тебе об этом говорят в лицо. А главное — ведь на самом-то деле я вовсе не такой. Нет, я не скотина. Я не хочу поступать подло ни с ней, ни с кем бы то ни было. Я не хочу ее обижать. Но ведь она сама хочет встречаться со мной. Разве не так? И ведь это она сама все затеяла. Разве не она?

— Я бы никогда не зашел так далеко в тот вечер, если бы ты не дала мне понять, что ты этого хочешь.

— Дала тебе понять? — говорит она.— Как же это я дала тебе понять?

— Ты целовала меня так... Ну, ты знаешь... Я даже твой язык чувствовал. И я считал, что ты даешь мне понять...

— Я не знала, что это имеет такое значение. Я просто хотела поцеловать тебя как следует... Ты, значит, все это время думал, что я слишком доступна?

— Нет, я этого не думал. И тогда я этого не думал и теперь не думаю. Я... Ах, не могу я тебе этого объяснить. Просто не могу — и все.

Знаю, что она любит меня, и мне хочется сказать ей, что именно в этом-то и вся разница. Но как можно сказать такую вещь? Ведь это значит, что я черт знает что о себе воображаю. А тогда и подавно получится, что я просто хотел воспользоваться.

— Ты ведь не веришь тому, что наболтала в тот раз про меня Дороти, правда, Вик? Ты ведь не думаешь, что я встречалась так с кем-нибудь еще?

— Нет, конечно нет.

Меня это не слишком волнует, по правде говоря. Ни секунды не сомневаюсь, что я не единственный парень, который лазил к ней под юбку, но, быть может, дальше у нее с ними дело не заходило. И притом, она должна была бы вообразить себе, что влюблена в этого парня по уши, чтобы ему это позволить. Такого уж она сорта девчонка.

Она обхватывает меня за шею и притягивает к себе.

— Ты ведь знаешь, что я люблю тебя, Вик? Ты мне нравился еще до того, как мы начали встречаться с тобой.

Просто удивительно, как все в этой истории выглядит теперь совсем по-другому с самого начала. Конечно, я сейчас должен поцеловать ее,

раз она говорит мне такое, но только для меня это ничего не меняет, весь ее заряд пропал даром.

Мимо холма неподалеку от нас проходит какая-то парочка, и я говорю:

— Пошли, пока сторож нас не прогнал.

— А чем мы ему помешали?

— Да все равно уже поздно.

Она садится, достает из сумочки пудреницу, губную помаду и расческу и начинает прихорашиваться. Я лежу, наблюдаю за ней, и мне хочется, чтобы она побыстрее кончала эту волынку и мы могли уйти. Я все-таки не в состоянии этого понять. Ну просто никак не могу я понять, что такое происходит с человеком, отчего все вдруг так меняется! Она застегивает все эти свои молнии и крючки, и я привожу себя в порядок тоже, и мне до смерти не терпится, чтобы она наконец встала и мы могли смотаться отсюда.

— Как идут дела у вас на заводе? — спрашиваю я, чтобы что-нибудь сказать, когда мы направляемся наконец к воротам парка.

— Да все по-старому.

Мы подходим к воротам, отсюда ей идти домой по шоссе, а мне — обратно, вдоль ограды парка. Она смотрит на меня и ждет, что я ей скажу, и я это понимаю.

— Можно звонить тебе на работу?

Она кивает.

— Лучше всего в обеденный перерыв. Минут двадцать второго, когда мы уже возвращаемся из столовой.

— Эти дни у меня будет довольно много дел. А на следующей неделе я тебе позвоню, не знаю только когда. Идет?

— Если захочешь.

Она думает, что я говорю это просто, чтобы отвязаться,— я понимаю это по выражению ее лица. Ну что ж, быть может, так даже лучше. Быть может, если она сейчас разозлится на меня и скажет, чтобы я катился ко всем чертям, это будет самое правильное.

Но она этого не говорит. Она говорит: «Ладно»,— и мы прощаемся, и она уходит по шоссе, а я смотрю ей вслед. Знаю, что у нее сейчас очень скверно на душе, да и сам я отнюдь не чувствую себя на вершине блаженства.

IV

И так вот оно и тянется у нас все лето и всю осень, и снова подходит зима. Иной раз мы встречаемся с ней два раза на неделе, а иной раз не видимся дней по двадцать, а то и больше. А потом либо она звонит мне, либо я звоню ей, и нас снова бросает друг к другу. Она больше никогда не говорит о любви, и в общем кажется, мы оба решили принимать вещи такими, как они есть. Я нужен ей хотя бы так, потому что она знает: требовать большего — значит потерять меня совсем. Мне же временами кажется, что я никогда в жизни не захочу больше ее видеть, а временами у меня нет других желаний, кроме одного: раздеть ее и положить в постель. Только мы никогда не заходим так далеко. Не знаю, что бы она сказала, если бы я ей это предложил, но я еще не настолько рехнулся, чтобы пойти на такой риск, даже если она захочет. Но не думать об этом я не могу.

В октябре мне исполнился двадцать один год, и я начал приносить домой деньги за мой стол. Наша Старушенция как будто всегда мечтала закатить по этому поводу пир, но я сказал, что мне этого совсем не хочется, и они с отцом подарили мне шикарные золотые часы с браслетом.

Дня два спустя я встретился с Ингрид. Она прислала мне поздравительную открытку, и я поблагодарил ее, хотя считал, что зря она это сделала, потому что наша Старушенция, ясное дело, так и впилась в открытку глазами.

Вечер был прохладный, сеял обложной дождь, в кино смотреть было нечего, и я повел Ингрид в «Голубую птицу» выпить кофе. Обычно я не вожу ее в такие места. Легко можно нарваться на кого-нибудь из знакомых, и уж конечно они вообразят себе невесть что.

— Я думала, ты не придешь,— говорит Ингрид, когда мы усаживаемся за столик в углу. На ней зеленый плащ, он совсем промок на плечах. Она стаскивает с головы платок, волосы у нее тоже намокли и слиплись.

— Я был на донорском пункте. Совсем забыл, что мне назначено на сегодня, а то бы сговорился с тобой на полчаса позже.

— Я не знала, что ты сдаешь кровь.

— Да, время от времени.

— А как это получилось?

— Им потребовались новые доноры, и один из вербовщиков зашел к нам как-то вечером. Я решил, что раз им это так нужно, почему бы не сдать пинту-другую.

— А это больно, когда берут кровь?

— Нет, совсем не больно. Мой отец тоже сдает, да и многие еще. Когда к нам приходили, в нашем доме записалось еще двое.

Она ужасно фасонит, когда пьет кофе — отставляет мизинец, как светская дама. У нее масса разных этих ужимок, от которых меня корежит.

— Я бы, мне кажется, не вынесла вида всей этой крови,— говорит она,— особенно своей собственной.

— Да ты там не видишь никакой крови. Банка все время стоит на полу. Можешь, конечно, увидеть, если поглядишь вниз, но тебя же никто не заставляет.

— А я думала... Я видела в кино...

— Это ты видела, как переливают кровь. Тогда банку подымают кверху.

— Ах, вот как.

— А потом они посылают тебе открытку — сообщают, как твоя кровь была использована.

— А твоя кровь была использована хоть раз при каких-нибудь необычайных обстоятельствах?

— Ну, видишь ли, у меня первая — очень распространенная группа крови, да и сдавал-то я всего четыре раза.— Достаю из кармана небольшую синюю карточку и показываю сделанные на ней наклейки — по одной за каждую сдачу.— Чаще всего она идет на обычное переливание крови после операции. Но ведь это всегда приносит пользу. Невольно думаешь обо всех этих беднягах, которые в твоей крови нуждаются, и о том, что, как знать, может, и ты когда-нибудь окажешься в таком же положении. Представляешь, как было бы паршиво, если бы им не смогли вовремя перелить кровь.

Она поеживается.

— Надеюсь, что мне никогда этого не понадобится. Думать не могу обо всех этих операциях. Хватит с меня моей сломанной руки.

— Никогда не знаешь, что тебя ждет,— говорю я.

Она пьет кофе, а я поглядываю по сторонам. Вечер дождливый, и в кафе народу много, самого разнокалиберного, но больше молодежь — пришли убить вечер и пофлиртовать. За одним из столиков в центре зала большая компания — девчонки в джинсах со взбитыми прическами и парни — тоже в джинсах и в полосатых свитерах под пиджаками.

А один — стриженный чуть не наголо и в кожаной куртке. Работает под голливудского ковбоя. У нас все сейчас помешались на этих янки. Как только что-нибудь заведется в Америке, так уж и у нас перенимают. Взять хотя бы этот рок-н-ролл. Ну, а я хочу походить только на англичанина, так как считаю, что Англия самая прекрасная страна на свете, лучше всех. Хотя, конечно, не для всех у нас такое уж райское житье. Вон у стены один-одинешенек сидит какой-то старикан, и хотелось бы мне знать, что он обо всем этом думает. Даже со спины видно, что он не бреется уже вторую неделю и не помнит, когда в последний раз был в парикмахерской. На нем старая фетровая шляпа с дырой на макушке и грязный морской бушлат без пуговиц, подпоясанный веревкой. Когда в наши дни встречаешь такого типа, становится как-то не по себе и, конечно, начинаешь думать, что никто кроме него самого в этом не виноват. Верно, допился до такого состояния — и все. Небось лень было работать, вот и бил баклуши всю жизнь. Может, и так, почем я знаю.

И все же, как бы там ни было, а вон он сидит, старый, и одинокий, и небось без гроша в кармане, и, когда я на него гляжу, у меня внутри все ноет от жалости, и никуда от этого не денешься.

— На кого это ты все время смотришь? — спрашивает Ингрид, которая следит за мной.

— Ни на кого. Просто гляжу, и все. Просто моя голова повернута в ту сторону.

— Ты что, боишься встретить кого-нибудь из знакомых?

— Почему я должен бояться?

— Мне иногда кажется, что ты стыдишься появляться вместе со мной,— говорит она, опуская глаза в чашку.

— Почему я должен стыдиться? — говорю и чувствую, как пылает у меня лицо.

Она пожимает плечами.

— Не знаю. Просто мне так кажется порой.

Я концом спички развожу из пролитого кофе на столе узоры, а она отворачивается и смотрит по сторонам.

— Ну вот,— говорит она, помолчав,— ты теперь стал совершеннолетним. Как ты себя при этом ощущаешь?

Я смеюсь.

— Спроси меня что-нибудь полегче.

— Ты получил хорошие подарки?

Протягиваю руку над столом, показываю ей мои часы.

— Отец и мать подарили. Сила, верно?

Она берет мою руку, поворачивает так, чтобы получше рассмотреть часы.

— Прелесть, какие часики... А что еще тебе подарили?

— Ну, Джим купил мне галстук, Крис и Дэвид — сборник детективных рассказов и долгоиграющую пластинку — Шестую, патетическую симфонию Чайковского.

— Ишь ты! — говорит она и подымает брови.— Вот мы какие стали высококультурные!

Меня это злит неимоверно. Она ведь совершенно уверена, что всякие модные тявканья и завывания — высшее достижение музыкальной культуры.

— А что в этом плохого? — спрашиваю.— Эта симфония была написана, чтобы доставить людям удовольствие, не так ли? Так что плохого, если она мне нравится?

— О, ровным счетом ничего. Просто очень многие делают вид, что любят всякие такие вещи, потому что воображают, будто они от этого становятся личностью.

— Ты же знаешь, что на меня это непохоже.

Она пожимает плечами.

— Ну, если тебе это нравится — на здоровье. А я этих симфоний терпеть не могу. Я люблю, чтобы была мелодия.

— Но там же полно мелодий,— говорю я.— У Чайковского столько мелодии, что...— Я умолкаю. Какого черта, буду я оправдываться, если мне нравится что-то действительно стоящее, а не последний предмет всеобщего помешательства из ансамбля Свистозвоногромопляски — какой-нибудь чудо-мальчик, который пробрался на экраны телевизоров, потому что ему посчастливилось обзавестись клетчатой рубахой, гитарой и изрядной долей нахальства!

И мы сидим за столиком, подперев руками подбородки, и молчим.

— Может, выпьешь еще кофе? — спрашиваю я наконец.

— Пожалуй,— говорит она.— В такой дождь все равно никуда не пойдешь.

— Дождь, вероятно, уже прекратился.

— Трава будет мокрая.

Я смотрю на нее.

— Ты какая-то странная сегодня. Зачем тебе понадобилось все портить?

— Сегодня вообще неудачный для меня день,— говорит она.

— Ах, так вот в чем дело!

— Отчасти в этом и еще кое в чем.

Отвожу глаза в сторону и жалею, что пришел. Я совсем не этого ждал. Мне еще никогда не приходилось видеть ее в таком настроении. Она бывала задумчива порой, даже, пожалуй, замкнута, но такой насмешливо-язвительной я ее еще никогда не видел. А впрочем... Едва ли я имею право ее осуждать.

— Я принесу еще кофе.

Иду к стойке, которая занимает все пространство вдоль одной из стен кафе. Здесь под высоким стеклянным колпаком лежат горы бутербродов, пирожных, сдобных булочек с кремом и еще всякой всячины, а посредине возвышается сверкающая никелем электрическая кофеварка, над которой поднимается пар. При виде такой кучи съестного меня, как всегда, когда я не голоден, начинает немного подташнивать.

Возвращаюсь к нашему столику и вижу, что рядом с моей тарелкой лежит какой-то плоский предмет в оберточной бумаге.

— Что это такое?

— Открой и посмотри.

Разворачиваю бумагу и вижу портсигар.

— Поздравляю с днем рождения и желаю счастья,— говорит она.

Верчу портсигар в руках, разглядываю его. На маленькой квадратной пластинке выгравированы мои инициалы: В. А. Б. Она не забыла даже моего второго имени. Внезапно я чувствую, что это трогает меня, трогает до глубины души. Мне хочется взять ее за руку и сказать: «Я люблю тебя, Ингрид. С этой минуты все будет по-другому». Но я не могу этого сделать, так как знаю, что это неправда.

— Нравится тебе?

— Очень... Честное слово... Спасибо тебе большое, Ингрид. И ведь это именно то, чего мне так хотелось... У меня никогда не было портсигара.

Я все смотрю на портсигар — на нее я не гляжу — и говорю:

— Мне... мне бы хотелось, чтобы у нас все было по-другому, Ингрид... Мне, правда, хотелось бы.

— Но это невозможно? Да?

— Я не хочу поступать подло по отношению к тебе, ты это знаешь.

— Я этого и не считаю.

Я открываю портсигар.

— Сколько сюда помещается, пятнадцать сигарет?

— Да, пятнадцать.

— И тут еще эта металлическая пластинка, чтобы их придерживать. Мне это нравится больше, чем пружинки,— те мнут сигареты.

— Я хотела наполнить его,— говорит она,— да не успела зайти в табачный магазин.

— Ты купила его сегодня?

— Он был у гравировальщика. А сегодня после работы я его взяла.

— Это классный портсигар, Ингрид, честное слово.

Щелкаю портсигаром и смотрю на мои новые часы.

— А что, если нам все-таки пойти в кино? В «Рице» идет новая картина — что-то про войну. Рискнем — может, неплохая?

Она кивает.

— Давай попробуем.

Мы допиваем кофе и направляемся к выходу. Когда мы проходим мимо старика, я замечаю, что он все еще старается растянуть свою чашку чая подольше, и невольно сую руку в карман, и достаю полкроны.

— Вот, выпейте еще чаю за мое здоровье.— Кладу монету возле его чашки, а он молча и вроде как испуганно глядит на меня, и я догоняю Ингрид.

— Что он тебе сказал? — спрашивает она, когда мы спускаемся по лестнице.

— Так, ничего особенного.

— Просил у тебя денег?

— Да нет, он вообще не промолвил ни слова.

— Но ты все-таки ему дал? Дал ведь?

— Ну, предположим, так что из этого?

— И сколько же ты ему дал?

— Полкроны.

— Полкроны! Чего это ради!

— Просто мне стало его жалко, вот и все. Кажется, это не запрещено законом? Ты так говоришь, словно я швырнул полкроны в канаву.

— А ты и швырнул. Можно не сомневаться, что он прямой наводкой мчится сейчас в ближайшую пивную.

— Ну, это уж его вина, а не моя. Если он такой кретин, что пропьет деньги, это уж не моя забота.

Мы идем рядом, и она берет мою руку и стискивает ее.

— Чудной ты,— говорит она.

— А то я сам не знаю,— говорю я.

Через несколько минут мы сидим в темном кинозале в одном из последних рядов, и я прижимаю ее к себе и целую, и опять мне начинает казаться, что все почти совсем так, как было когда-то, когда я целовал ее в первый раз... Почти как было тогда... Но не совсем.

(Окончание следует)

Рассказы вьетнамских писателей

НГУЕН ДИНЬ ТХИ

ПЛЕННЫЙ НЕГР

Среди десятков тысяч пленных солдат французского экспедиционного корпуса, шагавших по дорогам вокруг Дьен-бьен-фу, двигалась в то утро одна колонна. В ней было, пожалуй, больше трехсот человек. Они шли, опустив головы; мертвая выгоревшая трава хрустела под подошвами их башмаков, подбитых гвоздями. Это были французские офицеры: от капитанов и майоров до «блестящего» генерала Де Кастри *. Прежде высокомерные и грозные, они опускали глаза при виде вьетнамских солдат и народных носильщиков **, которые, улыбаясь, болтали между собой и перебрасывались шутками.

Французские офицеры, не поднимая головы, шли мимо обуглившихся развалин деревень, сожженных напалмовыми бомбами, мимо посадок апельсинов и бананов, растерзанных артиллерийскими снарядами. Когда они проходили через лесные заросли, где стояли другие пленные, по обе стороны от дороги поднималась суматоха. Солдаты — белые и негры — подбегали к обочинам, подталкивая друг друга, они показывали на офицеров пальцами и выкрикивали им в лицо ругательства и оскорбления, наверно, более чем на двух десятках наречий ***. Но когда колонна двигалась мимо подразделений вьетнамских войск, пленных офицеров встречали молчание и презрительные, горящие ненавистью взгляды.

Солдаты, конвоировавшие колонну, также шли спокойно и молча. Никто из них ни разу не ударил пленного и не пытался применить силу. Если другие пленные подступали к офицерам с угрозами, конвоиры

---

* Командующий французскими войсками в Дьен-бьен-фу. Генеральский чин ему был присвоен незадолго до взятия крепости вьетнамской Народной армией и капитуляции остатков гарнизона во главе с Де Кастри и его штабом.

** Во время войны 1946—1954 гг. каждая деревня выделяла отряды носильщиков, которые, часто за десятки и сотни километров, подносили солдатам продовольствие и боеприпасы, а иногда участвовали в саперных работах.

*** Автор имеет в виду многоязычный состав французского иностранного легиона и мобилизованных колонизаторами африканских солдат.

оттесняли их и заставляли проходить дальше. Никто из них не обмолвился с офицерами ни словом. Когда француз подполковник, медленно выйдя из колонны, достал пачку американских сигарет и предложил командиру конвоя закурить, тот жестом велел ему вернуться в строй. Француз пожал плечами, сделав вид, что ему непонятна такая «бестактность».

В колонне офицеров было двое солдат-негров, они шли рядом с генералом Де Кастри, справа и слева. Один из них — высокий и еще молодой — тащил рюкзак генерала, огромный и туго набитый, пригибавший его к земле. Другой — уже поседевший, с печальными и испуганными глазами — нес свернутое в скатку большое и толстое шерстяное одеяло Де Кастри. Генерал шагал между денщиками, следовавшими за ним неотступно, как тени; он держал в руке короткий офицерский стек и, опустив свой длинный и острый нос, время от времени закуривал сигарету.

Уже несколько раз другие пленные негры забрасывали денщиков камнями и комьями грязи. Поэтому, завидя очередную группу африканских солдат, старик и молодой парень переглядывались с тревогой и страхом. Парень совсем изнемог под тяжестью ноши, по лицу его ручьями струился пот. Вид у него был голодный и изможденный, он все время спотыкался, еле держась на ногах.

Когда начался подъем на крутой холм, парень вдруг покачнулся и опустился на землю. Он тяжело и прерывисто дышал. Один из конвоиров протянул ему флягу с водой, он взял ее дрожащими руками, отпил немного, опустил и снова поднес к губам.

Оба денщика громко заговорили о чем-то. Старик бубнил свое монотонно и глухо, в голосе у парня слышалась не то обида, не то просьба. Де Кастри стоял рядом, покуривая сигарету, и, криво улыбаясь, смотрел на вьетнамских солдат, словно призывая их в свидетели: «Ничего не попишешь, таковы уж эти дурни!»

Конвоир показал пальцем сначала на рюкзак, затем на плечи генерала. Де Кастри развел руками, как бы не понимая его. Солдат снова указал на рюкзак. Оба негра подняли головы, потом старик молча нагнулся, взял рюкзак и закинул его себе на спину.

Колонна медленно шла дальше. Неожиданно молодой негр выскочил из строя и перебежал в группу пленных африканских солдат, стоявших у дороги.

■

Вытянув шею и шатаясь под тяжестью рюкзака и скатки, старик следом за генералом Де Кастри доплелся до стоянки военнопленных, которая находилась в укромном уголке поднимавшегося по горным отрогам леса рядом с прозрачным ручьем. Он опустился на землю прямо около воды; тяжело дыша, точь-в-точь как перед тем его молодой земляк, зачерпнул воды из ручья и стал пить медленно, с перерывами.

Де Кастри один сидел в шалаше, опершись на грубый бамбуковый стол. Он снял с головы пилотку и нервно мял ее в руках, уставясь глазами на генеральскую звездочку, недавно прикрепленную к его головному убору. На побелевших губах его застыла усмешка, словно и сам он иронизировал над судьбой, внезапно лишившей его своих милостей. Старик негр принес рюкзак вместе со скаткой. Положив их в углу шалаша, он молча вышел и уселся на землю тут же рядом. Де Кастри еле приметно кивнул; он развязал рюкзак, достал пачку «Кармен»,

вытащил сигарету и, закурив, снова застыл все с той же бледной улыбкой на губах.

Начали раздавать еду. Другие офицеры, менее подавленные обстоятельствами, толпились вокруг коромысел с корзинами и котлами, в которых им принесли рис и мясную похлебку. У них не было ни мисок, ни кружек, и они, беря руками катышки из рисовых зерен, надкусывали их, пререкаясь из-за плававших в котлах кусков мяса. Более находчивые, подобрав с земли пустые жестянки из-под консервов, спускались к ручью и, прополоскав их, бежали к котлам. Зачерпнув похлебки, они разбредались по лесу и — каждый в одиночку — выпивали ее, усевшись под деревьями.

Один из поваров подошел к шалашу Де Кастри. Старик негр поднял голову, наблюдая за тем, как солдат положил на бамбуковый стол пригоршню риса и поставил чашку с супом. Потом солдат протянул и ему горсть риса и чашку супа. Перейдя к соседнему шалашу, он дал такую же порцию риса командиру конвойного отделения и налил ему супу в котелок. Покончив со своим делом, солдат вернулся к шалашу Де Кастри и с нескрываемым любопытством стал разглядывать французского генерала. Улыбаясь и что-то бормоча, он вынул из кармана небольшую пачку табаку, свернул цигарку и протянул ее негру, затем свернул еще одну, прикурил и с удовольствием затянулся табачным дымом.

Когда повар ушел, негр погасил цигарку, сунул окурок в карман и принялся за еду, время от времени искоса поглядывая на Де Кастри. Генерал ел устало, казалось, каждый глоток давался ему с трудом, и он вообще не замечал, что́ кладет в рот. Тем не менее и рису, и супу заметно поубавилось. Денщик с сочувственным и озабоченным лицом вытащил из кармана пачку бисквитов, обернутых в серебристую фольгу, и осторожно положил ее на стол. Де Кастри поднял глаза, медленно кивнул и, разорвав обертку, начал жевать бисквиты.

Покончив с едой, генерал принял прежнюю позу и снова закурил. А старик негр, все так же сидя у шалаша, порылся в кармане и извлек свой окурок. Он положил его на ладонь и долго разглядывал печальными добрыми глазами, словно озадаченный чем-то. Потом снова спрятал в карман.

■

Колонна строилась. Когда вьетнамский солдат пришел за генералом Де Кастри, старик стянул ремнем скатку, надел ее себе на спину и поднял рюкзак. Вьетнамец покачал головой и жестом показал, что генерал должен сам нести свои вещи. Де Кастри отрицательно замахал рукой. Тогда солдат с автоматом на груди сердито выкатил глаза и что-то крикнул. Де Кастри, побледнев, торопливо надел рюкзак.

Поднявшись на холм, колонна подошла к контрольно-пропускному пункту лагеря военнопленных. Два вьетнамских офицера за столом, сколоченным из досок, допрашивали французского лейтенанта. В нескольких шагах на длинной бревенчатой скамье сидело еще десятка полтора пленных офицеров.

Де Кастри, спотыкаясь, добрел до места. Оттопырив губы, он рывком сбросил рюкзак на землю. Офицер-вьетнамец посмотрел на него и, четко выговаривая слова, сказал:

— Потрудитесь приветствовать как положено!

Де Кастри поднес руку к пилотке.

— Я требую,— сказал он,— чтобы мне предоставили возможность встретиться с высшими вьетнамскими офицерами.

— Присядьте пока вон там и обождите досмотра.

Пожав плечами, Де Кастри отошел и уселся рядом с другими пленными. Старик негр стоял в замешательстве около дерева, не зная, следует ли ему тоже подойти к столу или он должен уйти в другое место. Офицер-вьетнамец окликнул его:

— Подойдите и сядьте на скамью!

— Это мой денщик! — резко подняв голову, сказал Де Кастри.

— Здесь вообще у вас больше нет подчиненных,— ответил вьетнамец.— Потесните и освободите еще одно место.

Старик нерешительно опустился на скамью рядом с французскими офицерами.

Закончив опрос и досмотр лейтенанта, вьетнамцы, сидевшие за столом, вызвали Де Кастри. Генерал, не дожидаясь вопросов, сказал:

— Я возражаю против подобного обращения со мной. Даже «наци», когда я был у них в плену, не заставляли меня таскать рюкзак.

— Это потому, что у «наци» с вами очень много общего,— медленно ответил вьетнамец.— А если бы мы обращались с вами, как вы с нашими пленными, вряд ли бы вы так спокойно стояли здесь. Принесите рюкзак, раскройте его и покажите нам содержимое. Кроме того, предъявите все, что у вас есть при себе,— мы должны составить опись.

Де Кастри стал выкладывать на стол — одну за другой — вещи из рюкзака. Денщик молча следил за тем, как появились несколько блоков сигарет «Кармен», две бутылки виски, три золотые паркеровские авторучки, четыре или пять новых мундиров из габардина, большой и тяжелый охотничий нож, фото маршала Де Тассиньи *, большая связка серебряных монет Индокитайского банка **, золотые монеты и кольца, золотые часы — одни, потом еще одни... Де Кастри продолжал раскладывать на столе свое добро.

■

Опустилась ночь. Из леса доносились неясные шумы и шорохи. Под высокими деревьями треща заплясали костры. Вокруг них с громкими шутками и смехом разместились вьетнамские солдаты. Старик негр, сидевший на камне, настороженно озирался. Вдруг кто-то из вьетнамцев помахал ему рукой, подзывая к костру. Он нерешительно подошел и среди сидевших у костра узнал офицера, допрашивавшего сегодня генерала Де Кастри.

Молоденький солдат с ярким, как у девушки, румянцем засмеялся и громко спросил:

— Фини бало, фини бало? ***

— Фини, фини! — несмело улыбнувшись, закивал старик.

Все дружно расхохотались. Другой солдат, человек уже в летах, спросил о чем-то. Офицер перевел:

— Ну как, вы очень расстраивались, когда попали в плен? Наверно, боязно было?

Старик негр по-прежнему улыбался, не зная, что ответить.

— А дети у вас есть? — снова полюбопытствовал солдат.

— Есть, две девочки.

---

* Делаттр Де Тассиньи — маршал, французский военачальник. Около года командовал экспедиционным корпусом в Индокитае.

** Индокитайский банк, созданный во второй половине XIX в., осуществлял финансовые операции в колониях Индокитая (Вьетнаме, Лаосе, Камбодже), где, кроме того, владел значительной собственностью. Банк обладал правом выпуска денежных знаков и монет.

*** Рюкзаку конец? *(Искаж. франц.)*

— Большие? Такие, как моя? — Солдат вытащил из кармана записную книжку, в которую вложена была фотография дочери.

Старик, не решаясь прикоснуться к записной книжке, заглянул в нее и закивал головой.

— Одна такая, а другая — поменьше.

— Как их зовут?

Взгляд негра, казалось, перенесся куда-то далеко отсюда.

— Почему же вы в ваши годы тянете еще лямку, служите французам? — опять спросил пожилой солдат.

Старик присел рядом, и вдруг по щекам его потекли слезы. Прерывающимся голосом, сопровождая свои слова жестами, он начал рассказывать.

Был он родом из Марокко, плотничал в маленькой горной деревушке. Вся семья была — мать-старуха да двое сыновей. Пришли французы, стали хватать рекрутов. Младший брат убежал и скрылся в лесу...

Образы далекой родины обступили его, словно призывая вернуться назад, к очагам предков. Ведь сколько лет уже прожил он, будто начисто позабыв ту, другую, настоящую свою жизнь...

МИНЬ ТХЮИ

ВЫСТРЕЛЫ В ДЕНЬ ПЕРЕМИРИЯ

Утро это и вправду было, как принято говорить, прекрасное. Мягкий и прохладный ветер, налетавший с востока, освежал шею и лицо Тхатя и, казалось, развеял тяжесть, лежавшую на сердце. Ярко-синий небосвод переливался в лучах раннего солнца. Купы огромных белых туч с розовеющими от солнечного света краями величественно и неторопливо плыли на запад. Пробудившиеся с зарей быстрокрылые ласточки громким криком своим как будто торопили весну. По обе стороны от дороги простирались золотистые полотнища созревающего риса и желтовато-серые прямоугольники сжатых полей.

Да, редко когда выдается такое утро в жизни рядового пехотных войск «республики» Вьетнам *... Тхать шел медленно, ему не хотелось прибавлять шагу: идти было недалеко, и в душе он сокрушался, что эта приятная прогулка скоро кончится. Время от времени он останавливался, повернувшись лицом к солнцу, выпячивал грудь, распрямлял плечи и делал глубокий вдох, словно вбирая в себя вольный воздух, которого так долго был лишен.

Образок с ликом сына господня Иисуса Христа, висевший у него на груди, тихонько раскачивался из стороны в сторону. Тхать то и дело поднимал глаза к небу, разглядывая причудливые облака, или останавливал взор на темневших вдали деревьях. Белый аист пересекал небосвод, неторопливо взмахивая широкими крыльями. Тхать проводил его взглядом, беззвучно шевеля губами...

Настроение у него улучшалось с каждой минутой, он даже принялся насвистывать какую-то веселенькую мелодию.

* Речь идет о войсках марионеточного правительства Южного Вьетнама.

Тхать чувствовал себя отрешенным от всех житейских дел и забот. Густые заросли около дороги, которые всегда представлялись ему обителью бога смерти, неуловимого и бесплотного, подстерегающего мгновение, чтобы обрушиться на очередную жертву, сегодня не внушали ни малейшего опасения. При каждом порыве ветра одетые листвой ветви приплясывали и кланялись, приветствуя путника.

Сердцем его овладели доверие и покой. Да, Тхать был совершенно спокоен, хотя руки и не оттягивала привычная тяжесть металла. Автомат он оставил у себя в форте, и это вызывало приятное ощущение легкости и свободы.

Теперь Тхать был уверен, что не ошибся. Освободительный фронт * заявил: огонь будет прекращен на двое суток для того, чтобы католики могли свободно пройти в свои деревни и отпраздновать рождество — великий день, когда младенец, сын божий, появился на свет. Каждую ночь рупоры отрядов Освободительного фронта оповещали о рождественском перемирии. А позавчера один из друзей Тхатя подобрал где-то и незаметно подсунул ему листовку, в которой тоже говорилось о прекращении огня. На этот раз Тхать поверил. Собственно, верил он и раньше. Как ни старались армейские офицеры, контрразведчики и управление психологической войны распространить слухи и «документы» о коварстве и кровожадности Вьет-конга **, то, что происходило на самом деле, доказывало обратное. Фронт твердо соблюдал обещание о прекращении огня и в дни лунного Нового года, и во время камбоджийских праздников ***. А кроме того, знакомые солдаты, которые были взяты в плен войсками Фронта и месяц назад отпущены на свободу, рассказали немало такого, что, по мнению Тхатя, заслуживало доверия.

Поэтому сегодня, 24 декабря, на рассвете, сразу после подъема, Тхать с несколькими друзьями отправился в комендатуру форта с просьбой отпустить их домой на рождество. Сначала офицеры не соглашались, но в конце концов настойчивость солдат взяла верх. Только Тхатю, чья семья жила очень далеко, отказали. Тогда он потребовал разрешения уйти на рождество в ближайшую деревушку, где у него была родня,— там он собирался сходить в церковь на праздничное богослужение.

«Человек иногда похож на птицу в клетке только потому, что сам не пытается оттуда вырваться... Каждый по мере сил должен исподволь добиваться своего...» — так рассуждал он про себя, выходя из дверей ротной канцелярии. По дороге, встречая знакомых, он с удовольствием растолковывал каждому:

— Фронт дал нам разрешение свободно уйти на праздники. Здорово, правда? Можно не бояться, что кто-нибудь тебя подстрелит...

В душе Тхать твердо решил, что, как только закончится церковная служба, он отправится к родичам жены, погуляет на славу и обязательно напьется в стельку. Далее он намеревался заночевать там и наконец-то отоспаться, а потом, на другой день, написать жене, чтобы она как-нибудь выбралась сюда повидаться и рассказать, что слышно дома. Вот, пожалуй, и все...

Погруженный в свои мысли, Тхать и не заметил, как подошел к соседнему форту Ча-эть. На перекрестке около форта виднелась не-

---

* Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама.

** Так сайгонские марионетки и американские империалисты называют коммунистов (вьет-конг — сокращение от слов вьетнамский коммунист) и вообще всех патриотов Вьетнама.

*** В Южном Вьетнаме есть районы, где проживает много камбоджийцев (кхмеров).

стройная группа солдат. Ему бросился в глаза комендант форта, который стоял, расставив ноги и глубоко засунув руки в карманы форменных брюк, прямо посреди перекрестка. На груди у него тоже болтался образок.

— Эй! Куда это ты собрался?

Зная, что комендант Ча-эть — человек неуравновешенный и злой, Тхать, не желая с ним связываться, сразу подошел, приветствовал его, как положено по уставу, и сказал:

— Разрешите доложить, я иду на празднование рождества.

— А кто тебе позволил уйти?

— С вашего разрешения... Меня отпустил мой командир. Кроме меня, еще многие...

— Шляешься один и не боишься, что Вьет-конг снимет тебе башку?

— Но ведь...— Тхать на мгновение замялся.— Ведь люди из Фронта объявили, что они прекращают огонь и...

— Заткнись, болван!

Офицер, тряся головой, достал жевательную резинку, сунул ее в рот, и губы его задвигались, то складываясь маленьким колечком, то растягиваясь в кривую черту.

— Ты что, мерзавец, поверил этой шайке?! А ну-ка, убирайся обратно в свой форт!

— Но...

— Никаких «но»! Проваливай! Обойдешься без всяких праздников! Убирайся обратно, тебе говорят!

Тхать почувствовал, как у него запылали щеки.

— Ведь сегодня рождество, святой день. И Фронт разрешил... Будет очень обидно не повидаться с семьей. Я — католик, почему же мне нельзя сходить в церковь?

— Ты что, вздумал пререкаться со мною, скотина? А ну, проваливай! Вообразил, что Фронт главнее меня, да?

Не в силах больше сдерживаться, Тхать громко сказал:

— Конечно, вы главнее Фронта. Непонятно только, как это вы до сих пор не приказали их войскам сложить оружие и собственноручно не забрали всех до единого в плен?

Многие из солдат отвернулись, пряча улыбки. Бледное лицо коменданта побагровело, и он заорал, надсаживая глотку:

— Смирно! Я приказываю тебе стать «смирно»!

— Я не буду стоять «смирно». Мой командир дал мне увольнительную, вы не имеете права меня задерживать.

Тхать повернулся было, чтобы идти дальше. Но комендант, словно обезумев, выхватил пистолет и прицелился в Тхатя.

— Мать твою... Пристрелю, как собаку!

— Можете стрелять. Можете убить меня, я все равно...

— Стой!

Трижды сухо щелкнули выстрелы. Тхать упал на дорогу. Кровь, хлынувшая из ран на груди и спине его, обагрила траву. Собрав последние силы, он крикнул:

— Сволочь! Убийца! Бог тебя покарает! — Голос его ослабел.— Ребята, вы видите, что с нами де...

Он умолк. Пальцы его судорожно сжались, тело выгнулось, содрогаясь в конвульсиях. Он попытался что-то еще сказать и повернул голову, но лишь вздохнул в последний раз, и из горла его, затихая, вырвались какие-то жалкие подобия слов.

Подбежали двое солдат. Они наклонились над ним и медленно поднялись. Один из них до крови закусил дрожащую нижнюю губу.

Несколько солдат — из тех, что стояли на перекрестке,— обернулись, ища налившимися кровью глазами фигуру коменданта. Руки их сжимали приклады винтовок...

■

Издалека донесся волнами плывший в пространстве звон церковных колоколов...

ВАН АН

РАССКАЗ О ЕДИНСТВЕННОМ СЫНЕ

Ночь. На краю деревни темнеет прислонившийся к стволу большого хлебного дерева дощатый домик, крытый старой черепицей. Хозяева — мужчина и женщина, уже пожилые, невзирая на поздний час, бодрствуют при тусклом свете стоящей на табуретке керосиновой лампы. Мужчина лежит на кровати, по грудь укрытый одеялом. Жена его сидит в углу у очага, на котором греется глиняный чайник. Пламя бросает красноватые отблески на седые волосы женщины.

Муж лежит молча. Плавные и осторожные движения женщины делают еще ощутимей безмолвие, и кажется, что оно длится бесконечно долго...

— Боюсь, он не придет,— подняв голову, говорит женщина. Голос ее звучит так, словно она продолжает давно уже начатый разговор.

Мужчина поворачивается на бок и медленно произносит:

— Да-а...

— За это время,— снова заговорила женщина,— он обошел чуть ли не всю округу, только в свою деревню так и не удосужился заглянуть.

Муж опять пробормотал свое «да-а» и перевел взгляд на жену.

— Он побывал за это время в соседних деревнях, потому что у него там были дела. Ведь он не разгуливает для собственного удовольствия. Ему нельзя даже рассказать тебе, какие это опасные дела. Потому он и не заходит домой. Я так сам ему наказал...

— Да и я это ему наказывала,— перебила жена.— Но он, наверно, тоже не станет зря рисковать.

Мужчина, как будто не расслышав ее слов, продолжал прерванную фразу:

— А теперь, когда сообщили, что есть к нему дело, он придет непременно.

Женщина сняла чайник, в котором варился целебный настой, отлила немного в чашку, но, видя, что настой еще жидковат, вылила его обратно в чайник и снова поставила на огонь.

— Боюсь, он не решится прийти. Дело-то ведь и вправду опасное. Слишком близко наш дом от форта. А кроме того, полицейские и деревенские охранники * все время следят за нами...

---

* Речь идет о созданных марионеточными властями отрядах для борьбы с партизанами.

— А почему это он, по-твоему, не решится? — прервал ее муж.— Родила сына на свет, а сама не знаешь, какой у него нрав. Стоит ему услыхать, что отец тяжело заболел,— он придет домой в любом случае.

Больше они не проронили ни слова. Слышно было только потрескивание углей в очаге. Потом мужчина, опершись на руки, присел на постели. Жена молча подошла и подложила ему за спину подушки. Теперь стало заметно, что в волосах у него меньше седины, чем у женщины. А лицо, хоть и изможденное болезнью, говорило о том, что вообще-то он человек здоровый и крепкий.

— Может, и не стоило звать его домой...— сказал он, покосившись на жену.

Она пробормотала что-то невнятное, а когда заговорила, в голосе ее слышалось раздражение:

— Это же твоя затея. Ты сам захотел позвать его!

— Да, я велел его позвать. Но ведь... Дело, как я теперь вижу, очень уж рискованное. Слишком близко живем мы от форта. Полицейские и охранники так и шныряют вокруг... А с кем ты договорилась? Человек-то хоть надежный? Хорошо, если ему еще не успели сообщить. Завтра надо будет передать, чтобы он не приходил...

Женщина подоткнула одеяло под ноги мужа и снова уселась у очага:

— Ну что ты, вообще-то бояться нечего. Сам знаешь, что он по работе часто заходит в окрестные деревни, и всегда благополучно. Люди, если что, придут ему на помощь, спрячут. А ты ведь давно уже хвораешь. Придет он, глядишь, тебе и полегчает. Утром, когда я ходила на базар купить тебе молока, я поговорила с верными людьми...

— Дом наш на самом краю деревни...— Глядя в потолок, он словно прислушивался к чему-то.— А люди у нас не организовали еще никаких постов и караулов. Ты-то хоть сама проверила, нет ли чего подозрительного?

— Будет тебе, лежи спокойно. Лучше поспи немножко, сразу сил прибавится. Я только недавно выходила, кругом ни души. А он если и придет, то, конечно, попозже. Давай, открою банку сгущенного молока. Раз уж тебе захотелось молока, значит, дело пошло на поправку.

— Ладно, попозже молоко откроешь. Погляди-ка лучше, если готово лекарство, дай мне немного и ложись отдохни.

— Да нет, теперь мне не уснуть. А ты поспи. Я уж погляжу, как и что, подожду его.

Вновь воцарилось молчание. Женщина выглянула за дверь.

— Нет,— задумчиво произнес муж,— и я не могу заснуть. А знаешь, будь у нас еще один сын — этот ушел, другой...

Она резко оборвала его:

— И это тоже твоя затея! Кто, как не ты, сказал, чтоб он ушел к партизанам?

Муж не сразу ответил на эти упреки.

— Да он все равно бы ушел.— возразил он.— Не сегодня-завтра дьемовские молодчики забрали бы его в солдаты. А мой сын никогда не стал бы служить этому выродку.

— Разве ж я говорила, чтобы он не уходил? Я только хотела сначала женить его пусть бы осталась с нами невестка. Парень в его годы — все равно, что конь без узды. Он иногда ведь и дома не ночевал...

— Эх, ты,— прервал ее муж,— родила его на свет, а сама... Услышь он тебя сейчас, было б ему обидно. Я тоже когда-то уходил на задание — и на день, и на два. Да и ты, бывало, во время войны * работала сутки и

* Имеется в виду война Сопротивления против французских колонизаторов.

двое подряд... У мальчика тоже были свои дела. С чего ты взяла, будто он шляется по ночам? Конечно, он не открыл тебе правды. Ты от волнения места бы себе не находила.

Помолчав, она сказала с обидой в голосе:

— Из-за своей болезни, наверно, ты так на меня взъелся. Уж будто я совсем безголовая — не вижу, что вокруг творится! Но ведь он один у нас, наш сыночек... Да у кого бы язык повернулся сказать, чтобы он шел под ружье к кровопийце Дьему! Как раз в этот лунный Новый год ему исполнится двадцать лет... И хорошо, что он ушел в партизаны. Разве ж я возражала тогда! А все-таки, что ни говори, если бы он согласился жениться, был бы у нас уже внучек...

— Э-э... есть у нас и внук, и внучка...

— Да, у дочки нашей хорошие мальчик и девочка, но все-таки это не то, что внучата от сына.

— Ну, ничего, подожди. Скоро окончится война, страна объединится. Женится он, и столько родится внуков, что еще нянчить их устанешь. Молодцы будут — один к одному, лучше...

Он остановился на полуслове и приподнял голову. Глаза его сверкнули, словно пытаясь увидеть сквозь деревянную стену, что происходит там, снаружи, в ночной темноте. Мать повернулась в ту же сторону.

За дверью послышался тихий голос:

— Мама!

— Ах! — вскрикнула она негромко.

— Ну, вот он и пришел,— с облегчением вздохнул отец.

Женщина, вскочив с места, открыла дверь. Сын проскользнул в дом и задвинул засов. Подняв руку, мать ласково поправила конец головной повязки, свисавший ему на плечо:

— Отец совсем тебя заждался. Проходи, я постою у двери.

Сын подошел к кровати.

— Почему вы раньше не передали мне, что лежите больной?

Отец промолчал. Может, он был слишком взволнован, а может, устал или просто привык не торопиться с ответом за время долгих и медлительных разговоров с женой.

Но он так и не успел ответить. Снаружи раздался тяжелый топот. Множество людей вбежало во двор.

Сын обернулся и привычным движением вытащил пистолет. Отец сел на кровати. Мать, дрожа, прислонилась спиной к двери, створки которой, подобно двум ладоням, заслоняли еще дом от нежданной беды. Упершись в них своей узкой худой спиной, женщина, казалось, хотела сделать несокрушимой эту дверь, сколоченную из железного дерева.

— Сыночек, они!

— Золотые слова. Это мы! — расхохотавшись, произнес снаружи чей-то грубый голос.— А ну-ка, откройте!

Дверь затряслась от ударов.

Больной, опираясь на руки, встал. Рот его искривила гримаса, он крикнул:

— Чтоб отцам вашим снова сдохнуть в своих гробах! Не дали даже сыну выпить со мной молока!..

— Сынок, держи его! — испуганно закричала мать.— Уложи отца, а то ему станет плохо...

Сын правой рукой, сжимавшей пистолет, обхватил отца, а левой достал гранату, поднес ее ко рту и зубами вырвал кольцо.

Отец, выпрямившись, отвел его руку. Медленно выговаривая слова, он сказал:

— Нет-нет, мне уже лучше. Ты пришел, и я сразу выздоровел. Беги, сынок! Главное — чтобы с тобой ничего не случилось...

— Вот именно! — раздался хохот за дверью.— Придется только вашему вьет-конгскому ублюдку вознестись прямо на небо или провалиться сквозь землю!... А то с ним случится беда!

Сын огляделся, и из глаз его вдруг полились слезы. Уложив отца на кровать, он сунул пистолет за пояс и сказал:

— Ладно, мама, открой дверь. Пусть заходят...

— Ты что, решил сдаться?! — закричал отец.

— Но они убьют маму!

Отец встал — сын едва успел подхватить его,— подошел к табуретке и перевернул ее вместе с лампой. Потом, видя, что в доме все еще светло от горящего очага, он пнул ногой чайник с лекарством. Чайник опрокинулся, огонь залило водой.

— Ага, он погасил свет! — заорал кто-то снаружи.— Думает, удастся смыться!.. Оцепить дом и стрелять в каждого, кто покажется оттуда!

Шаги загремели вокруг дома.

— Не для того я позвал тебя, сынок, чтобы они тебя убили,— сказал отец на ухо сыну, и голос его звучал необычайно спокойно.— Дай-ка мне гранату. Ты должен жить, чтобы похоронить эту нечисть, пожирающую людей. Давай гранату!

— Нет.

— Сынок!

— Что?

— Ты ведь сейчас создаешь партизанский отряд в нашей общине, верно? И если вдруг сдашься им, выйдет, что я не только убил своего сына, но и погубил общее дело. Отдай мне гранату! Иначе я не смогу умереть спокойно...

Ни слова не отвечая, сын старался вырвать гранату, которой отцу уже почти удалось завладеть. В темноте к ним ощупью подобралась мать. Трясущимися пальцами она ухватили сына за руку. У нее заплетался язык:

— Сыночек... о, небо!.. Постой... как же быть?.. Что это отец... задумал?..

Отец негромко, но внятно распоряжался:

— Мать, держи его и не отпускай. Подожди, пока я выбегу из дома, и они начнут стрелять. Как только услышишь взрыв гранаты, пусть он побыстрее уходит...

■

Прошло три дня. Сын пожилых крестьян, живших в крытом старой черепицей дощатом домике, во время налета американских и дьемовских самолетов взобрался на вершину большого хлебного дерева и огнем из ручного пулемета сбил две черные машины.

Перевод с вьетнамского М. ТКАЧЕВА

ФАН ТЫ

БРАТЬЯ

Четыре часа утра. Дот противника продолжает обстреливать наше отделение, приготовившееся к атаке. Треск вражеских пулеметов заглушает призывы, обращенные к солдатам марионеточной армии: «Солдаты... Сдавайтесь!.. вам... снисхождение Фронта... упрямство командира... будут приняты крутые меры...»

Откуда-то сбоку слышится торопливое:

— Приготовить гранаты!

— Товарищ командир, пулемет заело!

— Где товарищ Кам?

Кам поднимается и с длинным «лебелем» * в руках вытягивается перед Люком, командиром отделения. Как раз в этот момент воздух прорезает пулеметная очередь. К счастью, Люк успевает быстрым движением толкнуть Кама на землю.

— Когда взорвется мина, помни — это сигнал к атаке,— говорит Люк.

— Слушаюсь,— отвечает Кам.

Прильнув к земле, он заряжает ружье. Он готов к бою.

Вот уже два месяца Кам в Освободительной армии, но он не ожидал, что боевое крещение будет принимать в таком суровом сражении. Сейчас ему велено держаться поближе к заграждениям из колючей проволоки, и он так взволнован, что Люк шепчет: «Держись, малыш!»

Кам не боится смерти. И все же мало приятного лежать здесь, где все вокруг пропахло порохом. После первого взрыва мины самообладание возвращается к нему. Люк стреляет — и Кам тоже, Люк поднимается — за ним поднимается Кам.

Сейчас ему виден только черный шлем Люка. Точно так же, всегда следом за своим командиром, он прошел уже немало вражеских постов и проволочных заграждений.

Бой становился все ожесточеннее. Внезапно мощная вспышка ослепила Кама, земля дрогнула. Раздался сильный взрыв, и на него посыпались осколки, комья земли. Он еле расслышал приказ к атаке и рванулся вперед через плотную завесу дыма...

И вот — фигуры людей с поднятыми кверху руками и крик Люка из дота:

— Убитый янки! Он запер здесь офицеров-наемников, теперь понятно, почему они не сдались раньше.

Четверо бойцов Освободительной армии унесли на брезенте труп американца. И Каму показалось, что этот лежащий на брезенте мертвый янки гораздо меньше тех высокомерных парней, которые разгуливали по его деревне в оккупированной зоне.

Он бродил по посту. Мимоходом ткнул прикладом в изображение Нго Динь Дьема на стене, поддел брошенные кем-то ботинки, отошел, потом вернулся и отшвырнул их подальше.

Видя, что Кам понапрасну теряет время, Люк нахмурился:

— Вспомни распоряжение о захвате оружия. Возьми этот «гарант» с портупеей и патронами и оставь свой «лебель». Ты доволен?

Кам поспешно схватил американский автомат, словно испугался, как бы его не опередили. Но надевая портупею, вдруг услышал тихий оклик:

— Ти, брат...

Он оглянулся, удивленный, что прозвучало имя, которым его называли в детстве, да и голос показался очень знакомым. Но, кроме снующих взад и вперед бойцов своего отделения, никого не увидел... Однако едва наклонив голову, чтобы поправить портупею, он снова услышал:

— Кам, брат...

Из-за американского командирского джипа показалась голова, потом зеленая рубашка, выпачканная кровью. Кам вскинул автомат:

— Выходи, живо!

— Сдаюсь. Я выхожу, брат.

— Нет тут у тебя братьев, собака!

---

* Винтовка устаревшей системы.

— Умоляю тебя, не стреляй. Это я, Шыу.

— Шыу, ты?!

Солдат стоял теперь прямо перед Камом, подняв руки. Все лицо его было окровавлено, кровь стекала на грудь. Это действительно был Шыу, родной брат Кама. Они были похожи как две капли воды.

Но Кам не опустил оружия.

— Ты ранен...

— Нет, только от взрыва больно в груди.

— Сядь там. Хотя подожди, я свяжу тебе руки.

Сидя на корточках в углу, Шыу заплакал.

— Самое время теперь плакать,— пробормотал Кам.— Почему ты не сдался раньше?

— Мне было очень страшно.

— Ладно, перестань реветь, тебя отпустят. Только старайся делать все так, как тебе скажут. Что дома?

— Через два дня после твоего ухода наших заставили перебраться в стратегическое поселение.

В полном замешательстве Кам решил, что лучше ему сейчас уйти. Разговаривать с братом он считал преждевременным, ведь Шыу — военнопленный. Но и связывать его было бы уж слишком. Лучше всего передать его товарищам, они знают, как поступить. По отношению к простым солдатам, завербованным врагом, Фронт придерживается политики снисхождения.

Кам помогал выносить ящики с боеприпасами. Но думал он совсем о другом и не знал, радоваться ему или печалиться.

Он не забыл, как оба они, Шыу и он, должны были «нести службу» у американцев и дьемовцев. Долго продолжались их хлопоты об отсрочке, и местные власти наконец дали ее одному из братьев при условии, что другой немедленно будет отправлен в армию. Тогда-то Шыу и предложил, что служить марионеточному правительству пойдет он, дав этим старшему брату время установить связь с Сопротивлением, чтобы потом оба они смогли присоединиться к Освободительным силам. Спустя некоторое время Каму действительно удалось связаться с Фронтом. Он посылал брату в армию письмо за письмом, писал, что дом якобы сгорел, что отец при смерти и Шыу должен добиваться отпуска. Но ожидания были напрасны. Ответом ему было полное молчание. Опасаясь всяких неожиданностей, Кам ушел один. Кто бы мог поверить, что наступит день, когда младший брат станет стрелять в старшего, а старший должен будет связать младшего... Если бы во время атаки Шыу повернул оружие против наемников и американцев! Эта мысль неотступно преследовала Кама.

Машинально он вынул из-за пояса свой паек вареного риса и стал есть, но вдруг даже вздрогнул от поразившей его мысли: «А что, если Шыу стрелял в наших!» Во время атаки двое бойцов были убиты, четверо или пятеро ранены. Ведь что-то же делал здесь Шыу? Это необходимо было выяснить. «Если он стрелял,— пробормотал Кам,— тогда...»

Гнев, горе, жалость душили его. Он зашел на склад оружия и буквально затрясся от рыданий, пытаясь скрыть свою боль от товарищей.

Немного успокоившись, Кам вернулся назад. Он застал брата наблюдающим, как бойцы Освободительной армии чинят шины джипа. Вне себя от гнева, Кам закричал:

— Отправляйся к пленным, да поживее!

Шыу поднял голову. На лбу его темнели большие пятна запекшейся крови.

— Брат, позволь мне пойти с тобой, командир разрешил,— испуганно прошептал он. А потом одним духом выпалил:— Я готов разорвать себя на части! Ты мне не веришь! Какой позор, какое несчастье! Лучше

убей меня! Ты не знаешь, сколько раз я пытался установить связь с Фронтом! И все неудачно. А вообще я ведь из-за тебя остался в марионеточной армии. Если бы ты меня подождал.. Но ты ушел один.

— Ты сам виноват,— ответил Кам.— Я посылал тебе письма, какие только предлоги ни изобретал... А все-таки почему ты не вернулся? Сектор 4352, матрикул 297 508, правильно?

Это окончательно вывело Шыу из себя:

— Неужели ты думаешь, что мне передавали твои письма? Они их все сжигали Я ничего не получил. Если бы ты сам добрался...

Кам не нашелся, что ответить... Как раз в этот момент подошел Люк, командир отделения.

— Этот паренек просит разрешения примкнуть к Освободительным силам. Ты его знаешь, Кам?

— Это мой брат,— ответил Кам.— Я вам рассказывал о нем.

— Да, вы похожи как две капли воды. Ну что ж, проверим твоего брата в деле. А сейчас отведи его, пусть умоется.

Кам достал из своего вещмешка рубашку, которую они когда-то дома носили с братом по очереди. Теперь они могли поговорить наедине.

— Ты стрелял во время атаки?— глухо спросил Кам.

— Да.

— Почему стрелял? В кого?

— В шины джипа. Боялся, что американец удерет. Я рассказал об этом вашему командиру.

— Ну что ж, это неплохо.

Кам был доволен, словно сам приказал брату стрелять по шинам.

— Люк очень любит молодежь. И все же я должен дать тебе совет. Не вздумай называть бойцов Освобождения «пиратами», а дьемовцев «националистами», иначе все станут смеяться над тобой. И когда тебе будут отдавать приказ, отвечай не «да, господин», а «слушаю, товарищ». Ну вот, это тебе для начала.

Повеселевший, Кам вывел Шыу во внутренний двор поста. Там их ждал Люк с мешочком риса и карабином. Карабин для Шыу! Кам об этом и не мечтал. Товарищи подумали даже о том, что его брату, который невелик ростом, больше подойдет такое легкое оружие, как карабин.

— Послушай, парень,— обратился Люк к Шыу.— Так или иначе, ты будешь среди наших. Но сначала тебе нужно пройти курс... Нет, это не в духе курса «разоблачение коммунизма». Ты лучше будешь разбираться в том, что такое враг и что — Революция. Это необходимо, это поможет тебе служить Национальному фронту освобождения. Вас, новичков, будет четверо или пятеро. После учебы вы сможете поступить по своему усмотрению — остаться с нами или вернуться домой. О тех, кто предпочтет остаться, будет пущен слух, что их задержали «для дополнительного расследования». Тогда у ваших родных, в оккупированной зоне, не будет «неприятностей». А сейчас — догоняй остальных.

Ни слова не сказав, Шыу присоединился к другим пленным. Кам посмотрел вслед брату. Он казался таким тщедушным! Ему едва минуло восемнадцать.

Показалась низко летящая «демуазель» * в сопровождении истребителей, готовых открыть огонь... Ночь разорвали залпы 150-миллиметровых орудий. Джип и три бронетранспортера, нагруженные боеприпасами и документами, направлялись к выходу из поста, давя колесами все, что было разбросано по дороге. Кам пропустил машины и, проверив маскировку, догнал Люка, который дал команду идти навстречу подхо-

* Барышня *(франц.)*, здесь — самолет-разведчик.

дившему подкреплению противника — трем батальонам, десяткам американских офицеров.

Наступит день, когда Шыу сможет сражаться рядом с Камом. А сейчас он еще пленный, захваченный Освободительными силами во время яростной атаки на пост...

Кам уже не плакал, только что-то сжимало ему сердце.

Кто одел его брата в эту форму? Кто вложил ему в руки это оружие, дал приказ охранять джип янки? Стрелять в своих, стрелять в Кама!

Американцы!

Это они принесли сюда войну, руины, горе. Этот пост и то, что от него осталось,— тоже дело их рук. Долгие годы громадная сеть, расставленная американцами вокруг Кама и его брата, не давала им дышать, грозила им гибелью. Кам выбрался из нее. Теперь очередь брата. Но сколько других юношей, их ровесников, еще бьется изо всех сил в этой сети? И сколько людей на свете, которым угрожают те же самые агрессоры, следят издалека за нашей борьбой в ожидании новых побед Сопротивления Южного Вьетнама...

В свете занимающегося дня шагает Кам, шагает уверенно, с высоко поднятой головой, серьезный и задумчивый. Враг, вдесятеро более многочисленный, приближается...

Стихи румынских поэтов

ТУДОР АРГЕЗИ

Возвращение к борозде

Земля страны моей, земля моя,
ты помнишь ли меня? Шаг слышишь? Это — я.
Потомок пахарей, бродил я меж людьми.
Благая, недостойного прими!

Я странствовал, настранствовался вволю,
через границы шел к большому морю.
Со мной свирель и пес, мой страж надежный,
и острый нож, товарищ мой дорожный.
Ведь я отцом был издавна научен
нож без ножен носить на всякий случай.

И я не зря в тебе остался бороздою.
Поспешностью тесним, прижат нуждою,
я черенки привил колючкам и репью.
Земля, прими меня на грудь свою!

Блуждал я в мире деревом бездомным.
Но вдруг рождал я плод румяный и огромный,
и я бывал счастлив, когда он созревал,
от счастья молодел и тут же горевал.

И дерево мое, когда плоды вздымало,
терпело боль в корнях, корнями изнывало.
Свет звезд чужих ловил ветвями я,
но корни проросли в тебя, земля моя!

На грани дня и ночи

День голубой всплывает в окне из синей ночи.
И холодно, и тихо трепещет занавеска.
В грудь ночи свет вступает так хрупко, так нерезко.
Вместилось небо в стекла, как бы в горшок
цветочный.

Не сплю в гнезде вселенной, на страже досветла
со звездами стоял, вдыхая ночи холод.
И молод я опять и отрешен от зла,
ведь время все звончей течет в свой длинный желоб.

Когда ушла надежда, когда она пришла?

Ушла

Ушла. Я сам просил, чтоб ты ушла скорей.
Глядел вослед тебе, как шла среди полей
по тропке, что вдоль клевера тянулась.
А ты ни разу и не обернулась.

Я мог позвать, рукою шевельнуть.
Но тень моя могла ль тебя вернуть?
Хотел, чтоб ты ушла, чтоб не ушла.
Но мысль дойти до слуха не могла.
Я сделал знак — вернуть тебя с пути.
Ушла? А почему бы не уйти?

Грядущим поколениям

А дружба остается, когда ты сам уже исчез,
и нет тебя, но, исчезая, ты начал вдруг расти,
как лес.
Не упусти же часа,
чтобы от праха твоего земля не отреклася.
Пусть из того, чем ты владел — будь это речь иль
камень,—
останется хоть уголек, когда погаснет пламень.
Искусство! Я, дружа с тобой, испытывал мученья.
Ну что же, не щадить певца — твое предназначенье.
И потому, искусство, в любом хорошем деле
твоя душа и имя себя запечатлели.
И в память дел подобных
пусть люди помянут тебя в своих молитвах добрых.
Ведь без святого рвенья, и жалости, и пыла
ты б доброй памяти людской себе не заслужило.
Но если твой огонь обманно был зажжен,
то все равно погаснуть должен он.

Перевод Д. САМОЙЛОВА

МИХАЙ БЕНЮК

Сорок ступеней

Из бездны ввысь, из темноты на свет
взметнулись сорок каменных ступеней.
То сорок лет твоих, великих лет.
Ты — сердце класса, ты — его биенье.

В гранит врубило время столько мет:
имен и дат, не знающих забвенья,—
мятежной Гривицы пурпурный след
и Августа сверкающие звенья.

А на ступени каждой, как в сердцах,
прямым и крупным шрифтом на торцах
одно и то же высечено: Ленин.

На струнах времени

Мечты, в колонны стройтесь! И — туда,
где будущего мирные кануны
оружие сжигают навсегда,
где времени звенят счастливо струны.

Одни отстанут и падут на марше,
и поредеет ваш отряд в походе,
но ни одной мечты, деяньем ставшей,
след не сотрется на пути к свободе.

А встретится вам пропасть роковая,
не возвращайтесь, выходя из боя,—
бросайтесь в бездну, окаменевая,
чтоб до краев забить ее собою.

Пускай не скажут: и мечты, мол, смертны.
Гордитесь тем, что вы не зря страдали,
что стали вы, погибнув неприметно,
мостом дороги, устремленной в дали.

Эй, время, отбивай свой ритм на струнах!
Румянится окружность небосклона,
вдали зажегся луч рассветов юных.
Так стройтесь же, мечты-бойцы, в колонны!

Цветы и шипы

Те человеческие руки,
что написали «Одиссею»,
явили миру Монну Лизу,
Девятую симфонию сложили,
укладывали спать детей,
пахали, сеяли и жали,—
должны цветами после смерти стать.
Те человеческие руки,
что грабили и убивали,
сжигали города и села,
в детей стреляли, как в мишени,
чужой присваивали труд,
предателям по-братски руки жали,—
должны шипами после смерти стать.

Пробуждение Дон-Кихота

Ты в готтентотском крае,
что в недрах клады скрыл,
на мельницу взирая,
как Дон-Кихот застыл.

Зарыты клады в землю,
все выжжено на склонах,
лишь ящерицы дремлют
на скалах раскаленных.

Где Санчо? Плут великий,
видать, ворует что-то,
тебе ж за ежевикой
отправиться охота.

Ты фею Дульсинею,
быть может, встретишь там,
затмившую своею
красой всех прочих дам.

Но ты не тот, и облик
не тот у этих мест,
а мельница-надгробье
на прошлом ставит крест,

когда алеет пылко
полоска заревая
и свищет молотилка,
к работе призывая.

Не девы водяные,
предвестницы измены,
а милые, земные
заводят хор сирены.

С цветком в руке, ты вскоре
очнулся на раздолье,
и ты поешь, и вторит
девичий голос в поле.

Перевод Р. МОРАНА

ДЕМОСТЕНЕ БОТЕЗ

Партии

Подобно человеку — из любви
ты родилась, из боли, крика, стона.
И корни разветвленные твои —
в родной земле, и к солнцу рвется крона.

Ты родилась из крови тех, кто пал
в борьбе с врагом и в битве не был слабым,
из крови тех, кого колесовал
палач, рты затыкая кляпом.

Ты родилась из тяжкого труда,
из жажды справедливости грядущей,
из пламенной надежды, сквозь года
неудержимо нас вперед ведущей.

Ты родилась, когда настал твой срок,
в неизбрежных толпах, в грохоте машинном,
ты вырастала, как в горах цветок,
дыша суровым воздухом вершинным

того незабываемого дня,
когда грозна, как нашей правды сила,
«Аврора» всплеском солнца и огня
матросов у орудий озарила.

Словам

Не лгите мне. Мир ждет правдивых слов.
Рисуйте правду смело, без опаски,
без пышных нимбов вкруг пустых голов
и без подтеков слишком черной краски.

Естественней! — прошу смиренно вас,
ведь в эти дни невиданных свершений
наш новый мир прекрасен без прикрас,
величествен без лишних украшений.

Тяните жадно терпкий сок земной
и обновляйтесь, как листва в апреле,
чтобы слога, устав, не онемели,—
и поняты вы будете страной.

Вы, как глаза цветов среди травы,
чей взгляд остер и беспощадно меток,
вбирайте цвет зари и синевы,
вникайте в мир вечнозеленых веток...

Кизил

Травинка, отряхнув обрывки зимних снов,
сквозь мертвую листву пробилась на поляне.
Затих вдали глухой олений зов,
хрустит валежник под копытцем лани.

Стоят леса прозрачны и легки...
А на ветвях заждавшиеся почки
как будто краснокрылые жучки
томятся, спрятав крылышки-листочки.

Один кизил свой распустил цветок,
набрался сил — и раньше всех успел он.
Его цветок — как желтый мотылек,
как будто кем-то из айвы он сделан.

Мир ждет весны... Готов к нежданной встрече,
один кизил расцвел средь тишины.
В густом лесу он всех деревьев крепче —
он первым расцветает в день весны.

В Мадриде

Чуть лиловеют ирисы во мгле,
спит полночь, разметавшись по земле,
лишь в тишине, насупившись, не спит
Мадрид застенков, каменный Мадрид.
Но эта ночь и шорох тишины
лишь до рассвета узникам даны.
Читает смертник сердцем, как слепец,
конец поэмы, книги всей конец...

Встает над морем, плавясь и горя,
начало дня — багровая заря.
Но длится ночь в тюрьме твоей, Мадрид,—
у смертной стенки человек стоит.
Ему глаза убийца завязал,
чтоб перед тем, как грянет черный залп,
случайно не увидел человек
сиянье света, яркое, как снег...

Обрызган кровью пыльный камень плит —
чтоб стал другим, чтоб светлым стал Мадрид!

Перевод ЯКОВА БЕЛИНСКОГО

МИРОН РАДУ ПАРАСКИВЕСКУ

Камни

Камни, вы спите, все спите и спите?
Камни в Париже, камни в Мадриде,
гранит Севастополя и Сталинграда,
пропитанный кровью военного ада,
вы, что умели слагать баррикады,
когда это было надо,
теперь вы молчите, не говорите,
но все вы помните, хоть и спите!

А если вдруг такое случится:
протянет грязные руки убийца
и в кровь окунуть он захочет вас,
о, камни, где б ни дремали вы скрыто,
все вместе восстанете вы тотчас,
взорвавшись, как горы от динамита.

Антиколониализм

Раз не для всех свобода, то я не верю ей!
Разъятое на части пребудет тело трупом,
и раны искупленья терзают все сильней,
улыбка — тень решетки — скользит по лицам скупо.
Хлеб застревает в глотке, обугленный кусок,
и фениксу не взвиться стрелой в простор открытый,
алмаз любимых глаз вдруг помутнел — зрачок
таит караты слез, застывших сталактитом.
Цветок, рожденный югом, не радует и он,
в ночи не слышно мягких шагов от лап кошачьих,
пока свободы вздохом не огласится сон
и спящих не разбудит зеленых почек звон,
весною мира в Май со всех ветвей стучащих.
Не нужно светлых далей, ни терпкого вина,
ни взора, что приемлет все сущее влюбленно
(иная зоркость мне страданием дана!),
пока для всех на свете свобода не одна,
и память сгорблена, как грузчика спина,
под тяжестью мечты, еще не воплощенной.
Мне ничего не надо, раз это не для всех!
Меня не радуют ни пламя поцелуя,
ни горы, что вздымают над тучей белый снег,
ни праздник, что не будит средь гулких улиц смех,
а спит в календаре, между листков тоскуя.
Пускай померкнут краски и радости, чтоб каждый
босым, в сандальях рваных изгнанником шагал,
чтоб ненавистью взоры томились, словно жаждой,
чтоб ненавистью этой был закален кинжал,
чтоб лезвие скрывалось в подавленном хрипенье
на горьких, как омела, пергаментных губах,
чтоб ненависть рвала бы все путы угнетенья.
Сияние слепое звезды Уединенья
пускай затмит всесильный, ввергающий все в страх
рев связанного тигра, чья кровь полна кипенья,
зловещих шумов джунглей и шорохов в кустах.

Плоды света

Когда в словах запечатлеть хочу я
весь смысл земли, всю красоту земную,
как обойти веселый, как костер,
пылающий и нежный помидор?

Никто так гордо в мире не сиял,
ни гребень петушиный, ни коралл,
одни лишь только вишня с виноградом
отважатся быть с помидором рядом.

Прекрасный плод, для тружеников плод,
он по подпоркам кверху не ползет,
все благородство он внутри скрывает:
в нем соль земли, в нем крови свет играет.

Томит июль жарою безотрадной —
он рот наполнит мякотью прохладной,
а вечером в прозрачной полумгле
горит живою лампой на столе.

Он хлеб и воду заменяет людям;
его ни жарить, ни варить не будем,
ведь силою Антеевой своей
он наделяет, как земля людей,
такой, каким был с ветки сорван он:
округлый, свежий, солнцем напоен.

Когда же жадный рот к нему прильнет,
то будто бы вино причастья пьет
и через плоть его впивает суть секрета:
ведь сила — это плоть живого света.

Хаос и точность

Памяти ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

Мир, встань из хаоса! Все древние планеты,
все звезды, метеоры и кометы
пусть согласуют кривизну орбит
с своим собратом новым, что летит
посланцем в вечность нашей эстафеты.

Из хаоса текущих слов поэт
рождает солнца яркие. Недаром,
ломая ритм, размер, одним ударом
он темноту преобразует в свет
новейших солнц на небосводе старом.

Перевод Ю. КОЖЕВНИКОВА

ХУАН БОШ

Две новеллы

ПОВСТАНЕЦ

I

Перед глазами возникают темные лужи, будто огромные чернильные пятна. Сон, конечно, еще одолевает, как бы ты ни боролся с ним. Но надо вглядываться в темноту, надо прислушиваться ко всему — от этого зависит жизнь. Когда меньше всего ждешь, на этой дороге могут перехватить солдаты — и тогда все кончено. Хорошенькое дельце: ни за что, ни про что дать себя кокнуть, так и не повидавшись со стариком — после всего-то пережитого!

Хуану Антонио приходит в голову мысль: не махнуть ли лучше в чащобу?

Ночь черным-черна. А земля, отсыревшая после недавнего дождя, приглушает стук копыт — нелегко узнать, где преследователи. Так темно, что своих же собственных рук не видно. И никак не припомнишь, есть ли вон там, справа, проволочное заграждение. Проклятая память!

Воздух холодный, сырой. Видно, опять скоро польет дождь. Только бы не захватил у реки. Впрочем, как бы то ни было, нужно добраться. Очень хочется повидать отца, успокоить его, а потом и поесть пора, передохнуть.

— Сюда, Вороной, сюда.

Повстанец разговаривает с лощадью, как с человеком. Голос у него хриплый, глухо отдающийся в ночи. А лошадь понимает: сворачивает направо, поднимается по откосу, продирается сквозь кусты в лес, похлестывая по бокам грязным хвостом.

II

Ранчо старика уже видно. Отсюда оно похоже на вершину рухнувшего дерева.

Животное остановилось, словно сознавая, что шуметь здесь нельзя. Хуан Антонио чувствует, как что-то подступает к горлу, даже приходится вздохнуть поглубже. Ему так хочется спешиться, позвать отца. Но он сдерживается, лишь треплет гриву Вороного. Вдруг ему показалось, что почва под ногами лошади оседает, расползается, рассыпается, как сухой песок. Однако он сразу же берет себя в руки. В ответ на его свист замерцало квадратиком света окошко. Он позвал — голосом глухим, тоскливым·

— Отец! Отец!

Обнимая старика, он остро ощущает, насколько тот худ — кожа да кости остались. А сам он, напротив, мускулистый, рослый.

Ни словом они не обменялись. Под руку вошли в ранчо. Вороной продолжал жевать траву, лишь время от времени по его коже пробегала легкая дрожь.

Сын опустился в гамак, отбросил в угол фетровую шляпу, снял кобуру с пистолетом. Весь пояс его, собственно, представлял собой патронташ. Привстав, положил оружие на стул.

Старик всматривается, всматривается в парня: смоляные волосы падают на лоб, глаза впали, на смуглой коже лица выделяются очень белые, очень ровные зубы.

— Ты голоден, верно ведь, Хуан? Что тебе приготовить?

— Ничего, отец, право, ничего. Уж завтра...

От пламени светильника на стене танцуют тени.

Хуан Антонио начинает раздеваться и, стягивая рубашку, старается встать так, чтобы отец не заметил шрама, перехлестнувшего грудь.

— Ну, что ж, ладно...— соглашается старик.— Беспорядок вот у меня...

И помолчав, добавляет:

— Не важно, впрочем. Дай срок, теперь все станет на свое место...

На лице старика скользнула улыбка. Словно приятный, освежающий бриз овеял его.

— А как же иначе, сынок, конечно... А сейчас ложись, тебе надо выспаться.

— Я тоже так думаю... Чертовски клонит ко сну...

Глаза смыкаются сами по себе. Ноги и руки будто свинцом налиты.

— Отец,— напоминает он.— Привяжи Вороного там, где трава получше. С голодухи бедняга еле жив.

Старик встает. Открывая дверь лачуги, он услышал откуда-то издалека донесшееся, едва различимое жалобное мычание. Прикинул, куда это могло занести быка, и подумал: «Несчастный, каюк, видать, ему».

Небо затянуло тучами. Черное-пречерное.

III

Хуан Антонио пробудился от собачьего лая. Сердце сразу же подсказало, что произошло. Одним прыжком он очутился у стула. С пистолетом в руке быстро, на носках, прошел в соседнюю комнатенку. Отец спал. Хуан Антонио попытался осмотреть улицу сквозь щели в двери и в предрассветных сумерках разглядел фигуры солдат, которые кому другому могли бы почудиться не то тенями, не то кустарниками.

Он обернулся — старик уже был на ногах.

— Меня настигли,— сухо проронил Хуан Антонио. У него мелькнула тревожная мысль об отце.

Спустя мгновение он чуть слышно сказал:

— Выйди и скажи, что я сдаюсь.

Старик побледнел. Зрачки его сократились, будто булавочные острия стали. Он бросил на сына испепеляющий взгляд и, подойдя к нему, прерывающимся голосом выдавил:

— Вот этого я не ожидал от тебя.

Хуан Антонио никак не мог осознать значение сказанного. Неужто отец счел его трусом?

Он так сжал пистолет, словно хотел раздавить его меж пальцев.

Не спеша, как будто ничего не случилось, старик — кожа да кости — начал одеваться. Затем уверенным шагом подошел к двери. Без

колебаний распахнул ее. И прежде чем сержант отдал приказ открыть огонь, старик встал перед пораженными солдатами и произнес:

— Мой сын тут. Он сдастся, если вы обещаете расстрелять нас вместе.

Сказав это, он скрестил на груди узловатые руки и посмотрел, как восходящее солнце золотит верхушки сосен.

Перевод с испанского ГАЛИНЫ ЖУЧКОВОЙ

ПРАЗДНИК ЭНКАРНАСЬОНА МЕНДОСЫ

Острым глазом беглеца Энкарнасьон Мендоса различил в двадцати шагах от себя силуэт дерева. Именно поэтому он решил, что близится рассвет. В этом он был прав. Он ошибся в другом. Наступал день, и надо было искать убежище. Некоторое время он раздумывал: стоит ли ему уйти в горы, которые возвышались справа от него, или лучше спрятаться в зарослях сахарного тростника, что простирались влево. На свое несчастье, он выбрал тростник. Через полтора часа солнце уже освещало плантации и пригревало Энкарнасьона Мендосу, который лежал навзничь на листьях тростника.

Был канун рождества. В семь утра все обстояло так, как предполагал беглец: никто не проходил по пролегавшим через тростник тропинкам. Ветер нес прохладу — видимо, собирался дождь. И даже если обойдется без дождя, люди все равно будут сидеть в лавчонке, где собираются с самого раннего утра. Здесь пьют ром, спорят, стараясь перекричать друг друга, пытаются веселиться, как велит обычай. Если бы Энкарнасьон Мендоса направился к горам, он бы не чувствовал себя так уверенно. Он хорошо знал эти места. В расселинах между горами жили дровосеки, которые сажали юкку и маис, понемногу. Если бы кто из них надумал в этот день спуститься в поселок, чтобы продать свой нехитрый товар, и наткнулся на Мендосу — беглец пропал. На много миль вокруг не нашлось бы человека, который решился бы умолчать об этой встрече. Нет прощения тому, кто укроет Энкарнасьона Мендосу. И хотя об этом не говорилось вслух, все жители этих мест знали, что тот, кто увидит Мендосу, должен немедленно сообщить о нем на ближайший полицейский пост.

Но судьба отвернулась от него. Мать маленького Мундо рассуждала так же, как беглец: в этот ранний час никто не бродит по тропинкам, и если мальчик поспешит, то он успеет прибежать в лавку еще до того, как туда потянутся обычные завсегдатаи — пьянчужки.

Мать Мундито зарабатывала деньги стиркой. И еще она прирабатывала, перепродавая соседских кур на перекрестке дорог, что лежал чуть ли не в половине дня пути, если идти все время на запад. От этого ничтожного заработка ей удалось сберечь для рождества несколько сентаво. На эти деньги Мундито мог бы купить немного муки, постного масла, рыбы. Женщине во что бы то ни стало хотелось, чтобы и у ее шести малышей был пусть убогий, но праздник. Даже если на столе не появится ничего, кроме жареной трески.

Их хижина — бохио — стояла у подножия горы, за дорогой, которая отделяла тростниковые плантации от невспаханной земли. Вокруг сбились еще десятка полтора таких же хижин, крытых сухой пальмой. Выйдя на дорогу, обозначенную колеей, прорезавшей засохшую грязь — в дни рубки тростника здесь одна за другой тянулись телеги,— Мундито на минуту остановился.

Путь до поселка был долгий. Над головой мальчика раскинулось чистое небо, освещенное лучами, которые отражались в молодых побе-

гах тростника, что тянулся до самого горизонта. Дул приятный ветерок, и царила тишина, в которой было что-то грустное. Зачем идти одному? Ведь со скуки умрешь, шагая по этим одинаковым тропинкам! Мальчик решил забежать в соседнюю хижину. Несколько недель назад здесь ощенилась собака. Хозяева уже раздарили всех щенков, в доме оставался лишь один — черненький, чтобы «оттянуть молоко у матери». Мальчик обожал собачонку. Ей он отдавал всю ласку, скопившуюся в его маленькой душе, которая сама так тянулась к ласке. А ее-то и не хватало малышу в последнее время.

Девятилетний мальчик отлично понимал, что если он возьмет собачку, то ему придется тащить ее на руках почти всю дорогу. Мундито считал, что это дает ему полное право распоряжаться щенком как своим. Не раздумывая, он вбежал в хижину с криком:

— Донья Офелия! Можно я возьму с собой Уголька?

Его не интересовало — услышали его или нет. Важно то, что он попросил разрешения. Мальчик схватил на руки щенка и выбежал на улицу. Так он и бежал, пока не скрылся из виду. Вот как судьба смешала все планы Энкарнасьона Мендосы.

Около девяти утра Мундито проходил мимо участка, где в зарослях лежал беглец. В этот момент щенок, устав от неудобного положения, а может быть, просто из-за неуемного любопытства, столь свойственного всем малышам, вырвался и скрылся в тростнике. Энкарнасьон Мендоса слышал, как звонкий мальчишеский голос звал щенка. Вначале он испугался, решив, что мальчик был не один. Утро было чистым и ясным, и сквозь спутанные стебли и листья тростника беглец пытался рассмотреть, где же ребенок. Но мальчика нигде не было видно. Энкарнасьон Мендоса быстро смекнул, как действовать. Если увидят, что он высматривает кого-то, то он погиб. Лучше всего притвориться спящим, лечь, повернувшись спиной туда, откуда доносился шум. Для большей безопасности, он прикрыл лицо сомбреро. Черный щенок все бегал между высоких стеблей, тянул за листья, неуклюже подпрыгивал. Увидев лежащего человека, он разразился звонким лаем. Ползком пробираясь к щенку сквозь тростник, громко подзывая его, Мундито вдруг увидел прямо перед собой лежащего человека. Он замер. Перед ним лежал не просто человек, а нечто страшное, потрясающее: труп. Иначе мальчик не мог объяснить тот факт, что человек лежал здесь, в этот час, да еще в такой позе. Он похолодел от ужаса. В первый момент Мундито решил удрать, и притом без всякого шума, чтобы мертвец его не заметил. Но потом мальчику показалось преступлением бросить щенка одного: ведь Уголек мог побеспокоить своим лаем мертвеца, и тот, разозлившись, задушит собачку. Мундито был не в силах уйти без щенка и не в силах более оставаться в зарослях. Мальчик чуть не лишился сознания. Собака скакала и лаяла, а он все стоял, вглядываясь в покойника, дрожа и вытянув вперед руку. Мундито был уверен, что мертвец вот-вот поднимется. Наконец, он прыгнул к щенку, схватил его за шиворот и тут же бросился прочь. Он бежал, ничего не соображая от ужаса, задевая за стебли тростника, разрезая себе лицо и руки об острые, тонкие листья. Добежав до лавки, чуть не падая от страха и усталости, мальчик закричал, указывая в сторону зарослей:

— Там, на плантации Адела лежит мертвец!

Резкий голос ответил вопросом:

— Что кричит этот мальчишка?

И так как этот голос принадлежал сержанту Рею, начальнику полицейского поста на сахарном заводе, то все с интересом повернулись. К тому же мальчик рассказывал действительно нечто необычное.

В канун рождества нечего было и думать, чтобы заполучить из городка Романы судью для составления акта о найденном трупе. А мест-

ный судья находился в столице, где и наслаждался положенным ему предпраздничным отпуском. Но сержант был оперативен: через пятнадцать минут после сообщения Мундито он уже направлялся к месту, где, как предполагалось, лежал труп. Сержанта сопровождали два солдата и десяток любопытных.

Это не входило в планы Энкарнасьона Мендосы. Он рассчитывал провести рождественскую ночь со своей женой и детьми. Прячась днем и пробираясь ночью, он шел милю за милей от самых отрогов гор в провинции Сейбо, избегая встреч, уходя в сторону при виде хижин, скотных загонов, вырубок леса и выжигаемых под поля клочков земли. Во всей округе знали, что он убил капрала Помареса. И все знали, что, где бы его ни нашли, жизнь его кончена. Поэтому никто не должен был его видеть. Никто, кроме Нины и детей. И они могли его видеть лишь час или два в эту рождественскую ночь. Он скрывался уже более шести месяцев: события, которые стоили жизни капралу Помаресу, произошли в июне, как раз в день святого Хуана.

Ему во что бы то ни стало надо было увидеть жену и детей. Его толкало вперед какое-то неодолимое чувство, слепая сила, которой он не мог противиться. Простой и искренний, Энкарнасьон Мендоса все же где-то в глубине души понимал, что к желанию обнять жену и рассказать детям сказку примешивалось нечто похожее на ревность. И еще ему нестерпимо хотелось увидеть свою хижину, ощутить тепло лампы, освещающей комнатку, где все они собирались, когда он возвращался с работы, где дети окружали его, а он рассказывал им всякие смешные истории. Все существо беглеца стремилось к бою за дорогой, в сезон дождей превращавшейся в сплошной поток грязи. Он должен побывать дома, иначе умрет от тоски.

Энкарнасьон Мендоса всегда добивался того, чего хотел. Но никогда в жизни он не хотел ничего плохого и за это себя уважал. Как же мог он стерпеть, когда в день святого Хуана капрал Помарес ударил его по лицу, заявив, что Энкарнасьон Мендоса оскорбил капрала, отказавшись с ним выпить, и что вообще Мендоса—тряпка и сидит под юбкой у жены?

...Будь что будет! Пусть против него ополчится сам сатана, но рождественскую ночь Энкарнасьон Мендоса проведет в своем бою. Мысль о том, что Нина и детишки будут в этот праздник совсем одни, а может быть, и без гроша, что они будут оплакивать его, разрывала ему сердце и заставляла проклинать все на свете.

Но дело осложнялось все больше. Он не знал, будет ли мальчишка болтать или промолчит. Судя по шуму, мальчик бросился бежать — вероятно, подумал, что здесь спит батрак. А может быть, для предосторожности лучше перебраться на другой участок? И это тоже следовало обдумать: ведь если проходящие увидят, как он пересекает дорогу, ему крышка. Нет, не следует торопиться. Здесь он, по крайней мере, пока в безопасности. В девять часов вечера он сможет выйти из своего убежища, осторожно пройти к подножию гор и будет дома часов в одиннадцать, одиннадцать с четвертью.

Он знал, что произойдет дальше: он постучит в окно и тихо скажет Нине, чтобы она открыла ему. Что это он, ее муж. Он даже видел свою Нину, ее черные, падавшие на щеки волосы, темные блестящие глаза, пухлые губы, чуть выдающийся подбородок. Именно этот миг возвращения и был для него сейчас смыслом всей его жизни. Он просто не мог рисковать собой прежде, чем все это произойдет. Перебегать с участка на участок при свете дня было рискованно. Лучше всего пока отдохнуть, поспать...

Его разбудил топот ног и детский голос, который говорил:

— Он был здесь, сержант.

— Где здесь? На каком участке? На этом? На том? Или во-о-он на том?

— На этом,— твердил мальчик.

«На этом» — говоря так, ребенок мог указывать куда угодно: туда, где лежал Энкарнасьон Мендоса, на соседний участок либо на лежащий впереди. Судя по голосам, сержант и мальчик стояли, видимо, на перекрестке тропинок, разделявших плантацию на участки — квадраты. Все зависело от того, где стоял ребенок, когда произносил свое «на этом, на этом»... Дело складывалось плохо. Теперь уже не приходилось сомневаться, что его ищут. Настал момент не раздумывать, а действовать. Не поднимаясь во весь рост, Мендоса стал пробираться сквозь стебли, стараясь, чтобы шум от его движений сливался с шорохом тростника, раскачиваемого ветром. Надо было как можно скорее уходить, уходить, не теряя ни минуты. Он вновь услышал резкий голос сержанта:

— Эй, Немесио, ты заходи оттуда, а я пойду отсюда! А ты, Солито, пока оставайся здесь!

Слышался неясный говор. Энкарнасьон Мендоса, согнувшись чуть не вдвое, удалялся кошачьим шагом. Он чувствовал, что преследователей немало. Плохо, совсем плохо.

Плохо для него. Но и не очень хорошо для мальчишки, потому что когда сержант Рей и солдат Немесио Арройо, обломав побеги и изрезав руки, осмотрели участок и ничего не нашли, они обрушились на мальчишку. Оба решили, что он просто подшутил над ними, наболтав о мертвеце на плантации Адела.

— Ты уверен, парень, что он лежал здесь? — снова спросил сержант.

— Да, да! Он был здесь,— подтвердил вновь Мундито совсем испуганным голосом.

— Это все выдумка мальчишки, сержант,— вступил в разговор второй солдат — Арройо. Сержант вперил в Мундито проницательный взгляд, который окончательно привел мальчика в ужас.

— Я шел вот здесь и нес Уголька,— начал снова объяснять Мундито.— А потом я его отпустил,— с этими словами он спустил щенка на землю,— а он взял и побежал туда, в тростник.

Солдат Солито Руис перебил рассказ мальчика:

— А какой он был из себя, этот мертвец?

— Да я лица не видел,— дрожа от страха, отвечал Мундито.— Только одежду видел. А на лице шляпа была... Вот так набок надвинута...

— А какого цвета на нем были штаны? — спросил сержант.

— Голубые, а рубашка вроде желтая, а на лице шляпа была, такая черная шляпа...

Бедный парнишка с трудом выговаривал слова. Ему было так страшно, что он едва не расплакался. Он решил, что мертвец, должно быть, убежал и теперь будет мстить ему за то, что он всем рассказал о нем. Сейчас он выставил его вруном, а ночью, может быть, еще и домой притащится. А потом всю жизнь будет преследовать...

Энкарнасьон Мендоса стремительно перебирался с одного участка на другой. Убедит их Мундито или нет в его существовании, но трупа они все-таки не найдут. Он уже собирался перебежать тропу, чтобы углубиться в заросли плантации, как вдруг позади него вынырнул мальчишка с щенком под мышкой. Мундито обмер, увидев, как среди стеблей исчезло туловище и нога мертвеца. Да, это был именно он: та же одежда, что он видел утром.

— Он здесь, сержант! Он здесь! — закричал мальчик, размахивая рукой в том направлении, где скрылся беглец.— Вон, в том тростнике!

Ему по-прежнему было очень страшно, и, выкрикнув, он помчался домой, не останавливаясь, захлебываясь плачем и жалея самого себя за то, что попал в такую переделку. Сержант и сопровождавшие его солдаты обернулись на голос.

— Опять врет мальчишка,— спокойно сказал Немесио Арройо.

Но старый сержант был более осмотрителен:

— Нет, здесь что-то есть. Давайте окружим этот участок.

Так началась охота, хотя преследователи и не знали, за какой дичью они гонятся.

Близился полдень. За каждым солдатом шла группа из трех-четырех пеонов. Подвыпившие и очень возбужденные, они прочесывали тростниковые джунгли, пересекая тропинки между участками.

Мало-помалу небольшие темно-синие облака, которые прежде спокойно висели над самым горизонтом, стали затягивать небо. Энкарнасьон Мендоса понимал, что его почти окружили. Только в отличие от преследователей он думал, что плантацию обшаривают именно для того, чтобы схватить его и заставить расплатиться за то, что произошло в день святого Хуана.

Не зная точно, где находятся солдаты, беглец, выбирая дорогу, полагался лишь на свой инстинкт. Он перебегал с одного участка на другой, думая лишь о том, как бы не натолкнуться на преследователей. И если бы он не растерялся, то мог спокойно дождаться темноты, не будучи обнаруженным. Но он не чувствовал уверенности и все продолжал метаться. Он пересекал одну из тропинок между зелеными квадратами, когда его заметили и кто-то крикнул во весь голос:

— Он здесь, сержант! И похож на Энкарнасьона Мендосу!

Энкарнасьон Мендоса! Все замерли. Энкарнасьон Мендоса!

— За мной! — приказал сержант и, держа пистолет в вытянутой руке, бросился в ту сторону, куда указывал батрак.

Был уже полдень. От сгустившихся туч воздух стал душным и жарким, но преследователи не замечали этого. Они все бежали и бежали по зарослям тростника, крича и стреляя. Энкарнасьона Мендосу заметили на дальней тропинке. Но он метнулся, как тень, и солдат Солито Руис даже не успел прицелиться в него.

— А ну бегите в поселок и скажите, чтобы мне прислали еще двух солдат! — распорядился сержант.

Разгоряченные преследователи обшаривали все тростники, хрипло перекликаясь и предупреждая друг друга об опасности, когда кто-либо заходил слишком далеко в заросли.

Подошли еще люди: не два, а три солдата и четыре-пять батраков. При таком скоплении народа трудно было продолжать погоню, да и стрелять тут небезопасно: в сутолоке можно было пристрелить и своего. А народ все подходил из поселка, пришла даже какая-то женщина. В лавке теперь оставался лишь приказчик, который обращался к каждому проходившему с вопросом — беглеца еще не поймали?

Взять Энкарнасьона Мендосу было нелегко. Но в три часа пополудни, когда он уже выбежал к дороге, отделявшей плантации от лесных зарослей у подошвы горы, чей-то выстрел перебил ему позвоночник. Он катался по земле, истекая кровью, когда вновь зазвучали выстрелы. Солдаты приближались, продолжая на ходу стрелять по распростертому телу. Четырнадцать пуль добили раненого. В этот момент упали первые капли дождя.

Энкарнасьон Мендоса был мертв. Смерть почти не изменила его лица, хотя одной из пуль ему выбило все передние зубы.

Наступало рождество, а ведь Энкарнасьон Мендоса спустился с гор именно для того, чтобы провести праздник в собственном доме. Не в поселке, а в собственном доме. Живым или мертвым, но в своем боио.

Дождь пошел сильнее. Сержант раздумывал. Если он вытащит труп на дорогу, которая ведет на запад, то к ночи он сможет доставить его в городок Макорис и вручить этот рождественский подарочек капитану полиции. Если же он перетащит труп в поселок, то придется везти его по узкоколейке до Романы. Но поезда здесь ходили с опозданием, и если он и в Роману прибудет поздно, то уж в Макорис ему никак не успеть. На дороге дело другое: здесь часто ходят машины и телеги. Можно было бы задержать автомобиль и высадить людей. Или в крайнем случае погрузить труп на грузовик.

— Найдите лошадь, и побыстрее. Этого бродягу вытащить на дорогу! — приказал сержант окружавшим его людям.

Лошади не было, привели осла, да и то спустя четыре часа. Тяжелый дождь без устали хлестал по листьям тростника. Сержант не намерен был терять время даром. Несколько пеонов, мешая друг другу, перебросили труп через спину осла и кое-как привязали его. Сержант в сопровождении двух солдат и трех любопытных — им было поручено погонять животное — двинулся вперед.

Дорога оказалась нелегкой. Трижды тело соскальзывало и оказывалось под животом осла. Животное тяжело дышало, с трудом тащилось по дороге, которая уже покрылась густой грязью. Солдаты сначала укрывались от дождя под своими сомбреро, но дождь шел все сильнее, и они защищались от него то пальмовой ветвью, то сорванными с деревьев огромными листьями. Когда дождь лил сплошным потоком, они прятались в тростник. Мрачная процессия двигалась в молчании. Разве что время от времени кто-либо из солдат произносил:

— Нет, вы посмотрите-ка на этого злодея.

Или просто поминал капрала Помареса, чья кровь теперь была отомщена.

Совсем стемнело — из-за дождя намного раньше, чем обычно. В темноте идти стало еще труднее. После семи вечера дождь почти перестал. Внезапно один из пеонов сказал:

— Смотрите, огонек.

— Да, там стоят несколько домишек,— ответил сержант.

И тут в голове его вдруг возник план, от которого он прямо-таки расцвел. Сержанту все еще было мало того, что Энкарнасьон Мендоса мертв. Когда — четверть часа спустя — они подошли к первой хижине, он проговорил резким голосом:

— А ну-ка отвяжите мертвеца и бросьте его в это боио. Не можем же мы больше мокнуть из-за него.

Дождь еле капал, а он стоял и смотрел, как пеоны отвязывают труп. Наконец тело освободили от веревок, сержант постучал. Вышла женщина, и в этот миг к ее ногам что-то бросили. Бросили, как собаку. Это было тело Энкарнасьона Мендосы. Измазанное кровью и грязью. Из-за выбитых зубов выражение прежде доброго и спокойного лица изменилось: мертвец, казалось, делал страшную гримасу.

Женщина смотрела на эту безжизненную массу. В глазах ее появилось выражение ужаса, и, зажав рот рукой, она начала медленно отступать в комнату. Но вдруг она остановилась и с безутешным криком упала на тело:

— А-а! Дети мои! Сироты вы мои! Убили Энкарнасьона Мендосу!

Испуганные дети, сбившись в кучу, выползли из комнатки, прижались к материнской юбке. И в этот момент раздался детский голос:

— Мама, мамочка! Это как раз тот мертвец, которого я видел утром в тростнике'

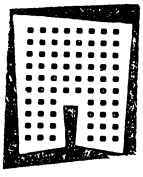
Перевод с испанского ЛЮДМИЛЫ НОВИКОВОЙ.

ЛУИС БЕРЛАНГА,
РАФАЭЛЬ АСКОНА,
ЭННИО ФЛАЙАНО

ПЛАЦ

КИНОСЦЕНАРИЙ

Перевод с итальянского
Л. ЗАВЬЯЛОВОЙ и А. ПОПОВОЙ
под редакцией
Е. СОЛОНОВИЧА



1. ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА. ТЮРЬМА. РАССВЕТ

Проходная одной из мадридских тюрем. За столом сидит Первый стражник и с отменным аппетитом завтракает: перед ним — большая алюминиевая миска, полная кофе с молоком, куда он то и дело макает кусок булки.

Звонок. Тюремщик вынужден прервать завтрак, с набитым ртом идет открывать наружную дверь. В комнате появляются два человека в длинных темно-синих халатах. Они несут ящик из неоструганных досок. Если бы не форма ящика и не жестяной крест, прибитый к крышке, никто бы не подумал, что это гроб. Того, что помоложе, зовут Хосе Луис, ему лет тридцать пять. Длинный халат и манеры делают его похожим на церковного сторожа. Он здоровается очень вежливо:

— Добрый день.

Его симпатичному товарищу, которого зовут Альварес, лет пятьдесят; он смешно прихрамывает: видно, что у него болят ноги. Его приветствие звучит гораздо непосредственнее.

Альварес. Вот и мы..

Первый стражник вскакивает с места — из помещения тюрьмы выходит группа хорошо одетых, даже элегантных, непринужденно держащихся людей: шесть мужчин, четыре дамы и два священника. Их провожает сам Директор. Они направляются к наружной двери, которую поспешил открыть Первый стражник.

Вся группа молча проходит мимо Альвареса и Хосе Луиса, как бы находясь под впечатлением зрелища, свидетелями которого они только что были.

Альварес шепчет на ухо Хосе Луису:

— Они присутствовали при...

Говоря это, он замечает еще одного человека, вышедшего вслед за группой из двери, ведущей в здание тюрьмы; человек этот неподвижно стоит около стола, на который он опустил небольшой черный саквояж из

тех, какими в былые времена пользовались врачи. Это скромный с виду старичок в заурядном костюме, на шее у него шарф, в руках берет. Альварес в сильном возбуждении толкает локтем Хосе Луиса, стараясь обратить его внимание на старика:

— Смотри, палач!

Хосе Луис смотрит на старика, но не успевает ничего сказать. В дверях, соединяющих проходную с тюрьмой, показался Второй стражник и подал им знак.

Альварес и Хосе Луис бросают окурки, поднимают гроб и несут его на плечах через открытую дверь, которую придерживает Второй стражник. Проходят мимо старика, Хосе Луис инстинктивно старается не задеть его. Второй стражник закрывает за ними дверь и кладет на стол какие-то бумаги. Затем протягивает старику ручку. Последний, очевидно, и есть исполнитель приговора.

Второй стражник. Распишитесь.

Амадео — так зовут палача — берет ручку с безмятежным видом чиновника, довольного, что рабочий день позади, вынимает из футляра очки, тщательно протирает их, надевает и наклоняется, чтобы поставить подпись. Говорит почтительно, скромно, у него приятный голос.

Амадео. Слушаюсь... Очки... Сию секунду... Здесь, не правда ли?

Пока Амадео старательно выводит свое имя, возвращается Директор. Он успел попрощаться с вышедшей из тюрьмы группой и теперь скрывается за дверью, ведущей в помещение тюрьмы. Одновременно к столу подходит Первый стражник, недовольный тем, что саквояж палача оказался рядом с его кофе и хлебом. Ворча, ставит саквояж на пол, затем брезгливо вытирает руки о мундир.

Первый стражник. Не нашел другого места.

Амадео продолжает трудиться: он вывел свое имя и теперь мучается над замысловатой закорючкой. Затем возвращает ручку Второму стражнику и с удовлетворением произносит:

— Все в порядке...

Второй стражник вручает ему конверт и собирает со стола бумаги.

Амадео педантично, медленно отстегивает внутренний карман, засовывает в него конверт и снова застегивает пиджак. Первый стражник, повернувшийся было к нему спиной и вновь занявшийся своим кофе, не в силах удержаться от искушения, время от времени оглядывается на него.

Амадео. Ох уж этот конверт... Лучше всего спрятать его сюда, не то в трамвае...

Амадео заметил взгляд Первого стражника и, желая произвести на него приятное впечатление, улыбнулся ему.

Амадео. Самое главное, чтобы аппетит был... А?

Затем, достав из кармана портсигар, протягивает его Второму стражнику:

— Вы курите?

После недолгого раздумья Второй стражник берет сигарету и дает прикурить Амадео, который, словно не замечая холодности обоих стражников, продолжает:

— Мне бы надо бросить. Из-за легких. Да вот не получается...

Он делает первую затяжку и закашливается, в то время как Хосе, Луис и Альварес направляются через проходную к выходу. На плечах у них гроб — на этот раз уже с покойником.

Амадео *(кашляя)*. Видите? Да, никак не могу бросить...

Еще одна затяжка — и снова Амадео закашлялся.

— Ну, что я говорил!

Амадео надевает берет, поправляет шарф и, не найдя саквояжа на столе, поднимает его с пола. Медленно говорит:

— Осталось самое неприятное... возвращение. Почему вы не заставите провести сюда метро? Вы люди влиятельные... Где же инструменты... А вот они...

2. УЛИЦА. СТАНЦИЯ МЕТРО. ДЕНЬ.

В похоронном фургоне на крышке гроба, в котором лежит казненный, стоит знакомый саквояж палача. В кабине сидят Хосе Луис, Альварес и Амадео, оживленно что-то рассказывающий.

А м а д е о. Да, времена, конечно, меняются... Прежде я имел дело с настоящими людьми... Тот, о ком я говорю, в последний момент вот что сделал...

Хосе Луис и Альварес внимательно слушают. Амадео театральным жестом снимает с руки старинные часы.

А м а д е о. Он спокойно снял часы и, протянув их мне...

Протягивает часы Хосе Луису, который берет их несколько нерешительно.

А м а д е о. Он сказал: «Маэстро»...

А л ь в а р е с *(Хосе Луису)*. Представляешь?

Затем, обращаясь к Амадео, как бы прося прощения за то, что прервал его:

— Видите ли, мой коллега не хотел, чтобы вы ехали с нами...

Хосе Луис с часами в руках оправдывается:

— Нет... Но, понимаете... дело в том, что, не зная вас...

Амадео кивком головы показывает, что все понял и готов простить.

А м а д е о. Вечная история... Нас никогда не поймут.

И продолжает свой рассказ:

— Значит, этот тип протянул мне часы и сказал: «Маэстро»...

Альварес снова прерывает его:

— Вы хотите сказать, что он уже сидел на стуле и ему уже надели обруч на?..

Касается рукой шеи.

Амадео утвердительно кивает и смотрит в окно. Машина движется по одной из улиц Мадрида в потоке транспорта, обычного для первых утренних часов,— фургонов с мороженым, мясом, зеленью и т. д. Он видит, что они проезжают мимо станции метро, и просит Альвареса:

— Здесь... Остановите здесь... У метро...

Альварес тормозит и останавливает фургон у тротуара.

А л ь в а р е с. Право же, если крюк небольшой, мы могли бы завезти вас домой.

А м а д е о *(берясь за ручку дверцы)*. Боже упаси! Вы и без того были так любезны! И потом на метро...

Фургон остановился, и Амадео собирается выйти, продолжая рассыпаться в благодарностях:

— Спасибо, большое спасибо за все...

Альварес взял у Хосе Луиса часы.

А л ь в а р е с. Отличные часы. И он подарил их вам за минуту до...

Амадео, уже поставив ногу на подножку, заканчивает рассказ:

— Да... Он попросил: «Маэстро, возьмите на память и простите, что вас побеспокоили из-за меня в такую рань...»

Восхищенный Альварес возвращает ему часы. Амадео берет их и продолжает:

— Сейчас другое дело... Совсем не те люди пошли. Ну да ладно. Благодарю вас за... Не знаю, вы, наверно, спешите, но если не откажетесь от чашки кофе...

Манеры палача все больше и больше очаровывают Альвареса.

Альварес. Какое там спешим! Можно и по стаканчику вина, а?

Альварес собирается выйти из машины, но Хосе Луис возражает:

— Альварес, не забывай о том, что за нами едут его родные...

Альварес оборачивается. Он видит такси, где сидят бедно одетые люди, родственники казненного. У них скорбные, залитые слезами лица. Альварес отрицательно качает головой и протягивает руку Амадео.

Альварес. Жаль... Но что поделаешь, приятель... Всегда к вашим услугам...

Амадео протягивает руку Хосе Луису, который пожимает ее без особого энтузиазма.

Хосе Луис. Очень приятно было познакомиться... До свидания...

Амадео направляется к метро, а фургон отъезжает от тротуара.

Амадео. Еще раз... спасибо. Огромное спасибо за все...

Альварес приветливо машет рукой палачу. Хосе Луис сердито закрывает окно. Альварес не понимает поведения Хосе Луиса.

Альварес. Мальчишка, ничего ты в жизни не смыслишь. Как тебе может не нравиться такой человек?

Хосе Луис хочет занять место Амадео.

Хосе Луис. Я не говорю, что он плохой человек, но... подумай как следует. В конце концов он убивает того, кто не сделал ему ничего плохого.

Пересаживаясь, Хосе Луис замечает саквояж палача.

Хосе Луис. Саквояж!

Альварес резко тормозит. Оборачивается и тоже видит саквояж. Спокойно приказывает Хосе Луису:

— Беги и постарайся его догнать...

Хосе Луис с возмущением смотрит на него.

Хосе Луис. Я? Сам неси... Ты же от него без ума.

Альварес (*удивленный реакцией Хосе Луиса*). Мать честная, ну и зануда же ты! А машину кто поведет? Живей... бери...

Альварес достает саквояж и протягивает Хосе Луису, который и не думает его брать — он брезгает.

Альварес. Быстрее, а то не догонишь...

Альварес открывает дверцу и выталкивает Хосе Луиса. Хосе Луис вынимает из кармана платок, обматывает им ручку саквояжа и лишь тогда берется за нее, не переставая протестовать:

— Всегда я! Да еще сейчас, при таком сумасшедшем движении. К тому же на глазах у родственников, которые сидят в такси!

Хосе Луис стыдливо смотрит на такси, вновь остановившееся позади фургона. Альварес торопит его:

— Беги, олух, я же не могу здесь стоять!

Хосе Луис направляется ко входу в метро, держа саквояж как можно дальше от себя.

Из окна такси высовывается один из родственников казненного и спрашивает у Альвареса:

— Что случилось?

Альварес. Минуточку... Потерпите...

3. ПОДЪЕЗД. ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА. КВАРТИРА АМАДЕО. ДЕНЬ

Хосе Луис с саквояжем в руке входит в подъезд невзрачного дома в одном из бедных кварталов. Направляется к каморке, где сидит старуха привратница.

Хосе Луис. Здравствуйте...

Старуха на него не смотрит: она уставилась на саквояж. Затем окидывает презрительным взглядом Хосе Луиса и говорит:

— Мезонин, квартира «С»...

Хосе Луису все ясно, однако он протягивает саквояж привратнице.

Хосе Луис. Собственно говоря, мне только оставить... Это для господина... *(Рассматривает наклейку на саквояже.)* Амадео... Амадео...

Привратница злобно прерывает его:

— Э нет, у меня вы ничего не оставите. Здесь живут порядочные люди! Сами идите, сами!

Обескураженный Хосе Луис пожимает плечами и направляется в глубь подъезда. Старуха сплевывает на пол. Хосе Луис видит это и в сердцах швыряет саквояж о стену. Бросает старухе:

— Потише, вы! Я не имею никакого отношения...

Старуха исчезла в своей каморке, а Хосе Луис, не переставая злиться, ищет в коридоре дверь с буквой «С», приговаривая:

— В другой раз пусть несет сам! Я-то здесь при чем!

Наконец, перед Хосе Луисом квартира «С». Он ищет звонок и не находит. Стучит в дверь. Никто не отвечает. Хосе Луис стоит в нерешительности, затем пожимает плечами и решает оставить саквояж на полу рядом с дверью. Но в это время открывается дверь, и женский голос спрашивает:

— Вам кого?

Хосе Луис поднимает удивленные глаза. По-видимому, он не ждал, что дверь откроет женщина, тем более такая женщина, как Кармен. Ее не назовешь красавицей, но она хорошо сложена и несмотря на то, что ей уже двадцать семь — двадцать восемь лет, выглядит юной и очень привлекательной.

Хосе Луис считает, что ошибся дверью, хотя перед ним табличка с четким «С».

Он приветливо улыбается и поднимает саквояж.

Хосе Луис. Прошу прощения, я ошибся... Привратница... *(Старается спрятать саквояж за спину.)* Привратница сказала, что это в квартире «С», но...

На Кармен очень узкое, подчеркивающее все ее прелести платье с большим, откровенным вырезом на груди.

Хосе Луис, не в силах оторвать глаз от декольте и продолжая улыбаться, повторяет:

— Прошу прощения...

Кармен увидела саквояж и кричит кому-то, находящемуся в квартире:

— Смотри, вот он!

Девушка не без грусти улыбается Хосе Луису, который ничего не может понять.

Кармен. Заходите, заходите...

Наконец Хосе Луис понимает, что не ошибся квартирой, и торопливо протягивает саквояж Кармен.

Хосе Луис. В таком случае... возьмите, мне только оставить его!

Но в это время в дверях появляется Амадео, догадавшийся, кто пришел. В руках у него чашка кофе.

Амадео. Слава богу, слава богу... Ну и голова же у меня! Вы, как всегда, любезны!.. Заходите, не стесняйтесь!

Хосе Луис робко сопротивляется.

— Нет, что вы... Я ехал на метро... и так как это недалеко...

Говоря, он скорее обращается к Кармен, чем к Амадео, который в конце концов вежливо и в то же время решительно берет его за руку и заставляет войти.

Амадео. Спасибо, большое вам спасибо... Я уже собирался звонить в ваше бюро. Проходите, не стесняйтесь...

4. КВАРТИРА АМАДЕО. ДЕНЬ

Хосе Луис робко переступает порог. Амадео передает чашку Кармен.

Амадео. Возьми... Простите, чем вас угостить? Извините, как ваше имя?.. С моей памятью...

Хосе Луис. Хосе Луис... Я... Меня ждет Альварес...

Амадео *(радушно)*. Только одну минуту. Пошевеливайся, Кармен, дай ему чего-нибудь. Кофе? Или стаканчик вина?..

Кармен *(Хосе Луису)*. Если хотите кофе...

Амадео вталкивает Хосе Луиса в комнату, которая является одновременно столовой и гостиной.

Хосе Луис. Не беспокойтесь. Мне все равно...

Амадео *(пододвигая ему стул)*. Присаживайтесь...

Кармен направляется в кухню, отделенную занавеской от столовой-гостиной. Амадео усаживает Хосе Луиса, при этом в движениях хозяина дома как бы сказывается его профессия. Хосе Луис испуганно вздрагивает, но тут же улыбается в ответ на слова гостеприимного Амадео:

— Вино... У нас есть неплохое красное... Крепкое, увидите... Кармен, принеси же вина...

Хосе Луис смотрит в сторону Кармен, которая за занавеской наливает вино. Он лишний раз убеждается в том, что девушка превосходно сложена.

Амадео. Это тот самый господин, который подвез меня на машине. Его зовут Хосе Луис... Так... А это Кармен...

Хосе Луис встает и галантно пожимает руку Кармен.

Хосе Луис. Очень приятно...

Кармен *(крепко пожимает ему руку)*. Очень рада... садитесь... Не стесняйтесь...

Амадео *(снова усаживая Хосе Луиса)*. Вот так, чувствуйте себя свободно... А где же ваш друг? Почему он не пришел?

Хосе Луис объясняет, то и дело поглядывая на Кармен:

— Видите ли, фургон... Но мне действительно пора... Выпью вина и...

Амадео удерживает Хосе Луиса, желая во что бы то ни стало отблагодарить его за любезность.

Амадео. Кармен, неси же наконец вина... И вы, и ваш друг — необыкновенные люди... Да... да...

Амадео поглаживает саквояж, который он поставил на стол.

Кармен, расставляя на подносе бутылку вина и стаканы, время от времени поглядывает на Хосе Луиса с нескрываемым интересом.

Амадео. Вы меня понимаете. Люди вбили себе в голову, будто наша работа... Но я спрашиваю себя и отвечаю... Раз существует казнь, то должен же кто-то...

Хосе Луис слушает рассеянно. Для него самое главное — не терять из вида Кармен, и, для того чтобы лучше наблюдать за ней, он слегка передвигает стул.

Хосе Луис. Да, разумеется...

Амадео. А ведь, если разобраться, работа наша... чистая...

С этими словами он открывает саквояж, вытаскивает оттуда металлические дуги и протирает суконкой.

Амадео. Мне смешно, когда люди болтают, будто гаррота* — варварский метод... Можно подумать, что они испытали его на себе! *(Показывает.)* Вот так, на расстоянии двух пальцев от шеи... Очень гуманно... завинчивается руками... Разве я не прав?

---

* Применяемое в Испании орудие казни через удушение; представляет собой разборный металлический обруч, который надевается на шею приговоренного к смерти.

Хосе Луис не слушает его, не сводя глаз с Кармен, машинально отвечает.

— Да, разумеется...

Амадео *(не в силах остановиться)*. Гаррота — варварство? В таком случае, что вы скажете об электрическом стуле?

На сей раз вопрос задан прямо, и Хосе Луис, застигнутый врасплох, бессвязно отвечает:

— Я-то? Да? Нет... Ясно...

Амадео. Я почти уверен, что вас тоже убедили... Сейчас посмотрим... Где же контакт?.. Где бы найти контакт?

Вывинчивает висящую над столом лампочку.

— Вот... Дайте руку...

Хосе Луис, который следит, ничего не понимая, за движениями Амадео, испуганно отшатывается. Амадео хватает его за руку и старается засунуть пальцы в патрон.

Амадео. Не бойтесь! Суньте пальцы... Только два пальца!

Хосе Луис не дается. Кричит:

— Нет, только не я!

Амадео *(тщетно пытаясь пересилить Хосе Луиса)*. Дотроньтесь... Здесь всего сто двадцать вольт...

Кармен подходит к столу с подносом и раздраженно обращается к Амадео:

— Не приставай, отвяжись...

Хосе Луис смотрит на нее с благодарностью; переводит взгляд на поднос. Кармен принесла кофе, вино и сыр. Она разливает кофе и улыбается ему. Амадео тем временем продолжает рассуждать:

— Возьмите хотя бы электрический стул. Это вам не сто двадцать вольт, а тысячи вольт! После него человек уже не человек. Он превращается в уголь. Где же хваленая гуманность электрического стула?

Запах кофе заставляет его переменить тему:

— Выпью, пожалуй, еще чашечку...

Кармен переставляет все с подноса на стол. Она касается бедром Хосе Луиса, тот глотает слюну, возбужденный прикосновением девушки. Амадео продолжает:

— Вы должны отведать этого сыру! Превосходный сыр... А англичане? Англичане с их милой веревкой. Приятно, очень приятно смотреть, как они болтаются... Нет уж! А французская система...

Собирается положить сахар Хосе Луису.

— Сколько ложечек?

Хосе Луис. Одну, одну...

Амадео *(кладя сахар)*. Французская система... Как вы думаете, можно хоронить человека, разделанного на куски?

Хосе Луис. Я ведь в этих делах...

Амадео с серьезнейшим видом заключает:

— Вы человек порядочный... Нужно уважать казненного, вот что я вам скажу. Ему и без того не повезло. Разве не так?

Хосе Луис пробует кофе. Кармен смотрит на него. На этот раз Хосе Луису, чтобы быть любезным, не нужно делать над собой усилий.

Хосе Луис. Великолепный... Правда, если добавить немного сахару...

Амадео. Пожалуйста, пожалуйста. Сахар тюремный.

Хосе Луис берет сахар. Тронутый вниманием Кармен и Амадео, он не знает, что сказать. Смотрит на стену напротив, на которой висит фотография. Это усатый мужчина с тупыми выпученными глазами. Фотография не интересует Хосе Луиса, но, чтобы заговорить с Кармен, он спрашивает:

— Это ваш дедушка?

Амадео смотрит на фотографию и улыбается.

Амадео. Нет, нет... Это бывший владелец часов... Помните?..

Показывает свои часы. Ошеломленный Хосе Луис разглядывает другие фотографии, висящие рядом.

Амадео, догадавшись, о чем подумал Хосе Луис, весело хохочет.

Амадео. Нет, остальные — родственники...

Кармен угощает Хосе Луиса сыром. Он берет кусочек.

Хосе Луис *(галантно)*. Я всегда ем в определенное время... но чтобы не обидеть вас...

Амадео смотрит на стену и задумчиво говорит Кармен:

— У Хосе Луиса хорошая работа, надежная, и фирма по-настоящему солидная...

Хосе Луис отрицательно качает головой. Ему вовсе не хочется, чтобы Кармен узнала, что он могильщик.

Хосе Луис. Неправда... Я согласился на ту работу за неимением лучшей. Мне бы хотелось уехать в Германию...

Амадео *(вставая со стула)*. В молодости все непоседы. Подождите, я хочу вам кое-что показать.

Старик выходит из комнаты, Хосе Луис и Кармен остаются одни. Хосе Луис быстро ест сыр, Кармен наливает ему вина. Хосе Луису хочется что-нибудь сказать, нарушить неловкое молчание. Покончив с сыром, он говорит:

— Не правда ли, отличный денек сегодня?

Кармен *(смущенно)*. Да... Спасибо.

Хосе Луис. Это вам спасибо...

Снова молчание.

Хосе Луис не решается смотреть на Кармен, как он это делал раньше. Он безуспешно пытается найти тему для разговора. К счастью, в комнату возвращается Амадео. В руках у Амадео книга.

Амадео. Посмотрите... мне было бы приятно, если бы все могли увидеть...

Хосе Луис берет книгу и читает вслух название:

— «Палач».

Довольный Амадео утвердительно кивает головой.

Амадео. Нет, раскройте книгу... Читайте здесь... Здесь.

Хосе Луис не без труда читает:

— «Маэстро Амадео в знак признательности... за его цен... ценную по... помощь... при создании этого произведения... С бла... благодарностью от его друга...»

Хосе Луис вопросительно смотрит на Амадео.

Тот объясняет:

— Великий писатель... Академик... Господин Ривера... Он задал мне кучу вопросов... Хотел знать все... И ему пришлось обратиться ко мне... Понимаете, дорогой Хосе Луис?

Хосе Луис пытается выказать восхищение.

Хосе Луис. А теперь он ваш друг?..

Амадео. Разве вы не прочитали? Написано им собственноручно...

Хосе Луис забывает о книге: он снова любуется Кармен, которая встала и собирает чашки. Амадео продолжает:

— Да, я весьма горжусь... Время от времени и нам воздают по заслугам...

Берет книгу и перелистывает страницы.

Кармен идет на кухню.

Хосе Луис взглянул на фотографии, висящие на стене, и теперь снова смотрит на Кармен, любуется ее стройными ногами. Возвращаясь из кухни, Кармен улыбается Хосе Луису. Его ответная улыбка, вначале довольно робкая, постепенно становится все смелее и смелее.

5. ПОЛУПОДВАЛ. СТОЛОВАЯ. КУХНЯ. ДЕНЬ

Скромная, но чистенькая кухня примыкает к столовой. Квартира расположена в полуподвале, и свет проникает через окно, находящееся на уровне тротуара. Хосе Луис кончает одеваться, сидя на раскладушке, на которой лежит трехлетний ребенок. Эстефания, невестка Хосе Луиса, возится на кухне. Антонио, брат Хосе Луиса, портной, шьет в углу столовой поповскую сутану. Хосе Луис вне себя. Он смотрит на брата, но его слова обращены к Эстефании.

Хосе Луис. Я даю вам деньги на расходы и имею право на отдельную кровать!

Показывает мокрую простыню.

— Я не желаю каждую ночь просыпаться от этого!

Антонио продолжает работать, будто ничего не слышит. Его молчание подливает масла в огонь.

Хосе Луис. Мне это надоело! Надоело! Предупреждаю тебя, Антонио... В один прекрасный день я заберу свою половину мебели и уйду!

Эстефания выходит из кухни и, подойдя к раскладушке, берет на руки ребенка. Обращается к Антонио, как будто Хосе Луис для нее не существует:

— Малютке три годика. Ангел, а не ребенок! И ведь попросилито его всего одну ночь поспать с малышом! Подумаешь, беда... А ты, Антонио, не давай ему воли! Пусть не орет и оставит свои угрозы при себе! Напомни ему, что старший брат ты...

Хосе Луис прислушивается к шипению на кухне, вскакивает с раскладушки и бежит к плите, бросая на ходу:

— Тоже мне брат!

На плите стоит сковорода с яичницей. Рядом на столе — бутылка вина, сумка с фруктами, хлебом и т. д. Хосе Луис неумело переворачивает яичницу и, обращаясь к Эстефании, кричит:

— Брат! Зато когда речь идет о деньгах, вы об этом забываете.

Хосе Луис стоит у окна. По улице проезжает поливальная машина. Струя воды попадает в комнату. Мокрый Хосе Луис быстро, машинальным движением закрывает окно (видимо, такое случается часто).

Хосе Луис разрезает большую круглую булку, делает бутерброд с яичницей. Продолжает сердито кричать:

— Как будто я прислуга. Хочешь яичницу? Жарь ее сам!

Хосе Луис укладывает бутерброд в сумку. В одном ботинке возвращается в столовую, где шьет Антонио. Хочет войти в уборную, но дверь заперта. С той же яростью продолжает:

— Тебе понадобилось в одно место? Так оно вечно занято!

Из уборной слышен голос Эстефании:

— Антонио, пусть он заткнется! Если ему не нравится, может убираться на все четыре стороны!

Хосе Луис бессильно роняет второй ботинок, который он надевал. Смотрит на запертую дверь, потом на брата.

Хосе Луис *(укоризненно, но уже спокойнее)*. А ты все молчишь! Разве не видишь, что она совсем меня не уважает?

Переодевает мокрую рубашку и продолжает — теперь уже голосом жертвы:

— Пуговицы... и те никто не пришьет!

Показывает рубашку, на которой недостает одной пуговицы.

Хосе Луис. Если бы мать увидела, до чего я докатился...

Эстефания с дочкой выходит из уборной, застегивая ей штанишки.

Эстефания *(мужу, с иронией)*. Бедная мамочка! Она бы умерла второй раз — теперь уже от стыда.

Хосе Луису хотелось бы ответить ей, но он спешит в уборную. Входит туда, крича:

— Завтра все будет кончено. Завтра я что-нибудь придумаю. Вот увидите!

Перед тем как запереть дверь, крестится и целует пальцы.

Продолжает из уборной:

— И не надо мне никаких благодетелей. В один прекрасный день я вам это докажу!

Эстефания *(по дороге на кухню, устало)*. Скажи ему, пусть наконец замолчит!

На улице кто-то остановился перед окном. Это Амадео, он спрашивает у кого-то, сюда ли ему следует постучать. Затем, пробравшись между придвинутыми к стене столиками кафе и присев на корточки, стучит в окно.

Эстефания поднимает голову и открывает окно.

Амадео *(приветливо улыбаясь)*. Здравствуйте... Я... Хосе Луис здесь живет?

Эстефания удивлена. Ясно, что она видит Амадео впервые.

На Амадео спортивный костюм. Он снимает кепку и очень вежливо объясняет:

— Я Амадео... Он, наверно, рассказывал вам обо мне...

Эстефания молчит.

Амадео *(протягивая ей руку через окно)*. А вы, должно быть, его невестка?.. Как поживаете?

Эстефания пожимает ему руку и грубо кричит:

— Антонио, здесь спрашивают твоего брата!

Амадео считает своим долгом поговорить о ребенке, который сосет грудь.

Амадео. Какой хорошенький, просто прелесть... Кушай, крошка, кушай... Как его зовут, как зовут вашего бутуза?

Эстефания, укладывая ребенка в люльку, по-прежнему неприветливо отвечает:

— Мари Пили...

К окну подходит Антонио. Амадео продолжает:

— А, так это девочка... Какая миленькая...

Антонио стоит у окна. Амадео вновь представляется:

— Вы, наверно, брат... Амадео... весьма польщен.

Снова протягивает руку через окно и пожимает руку Антонио. Тем временем Эстефания взяла из колыбели и начала кормить грудью другого ребенка — близнеца.

Антонио. Очень приятно... Вы работаете в... работаете вместе с Хосе Луисом?

Амадео. Нет, нет... Я его приятель...

В комнату быстро входит Хосе Луис и, направляясь к окну, спрашивает:

— А где Альварес?

Амадео *(показывая в сторону улицы)*. В машине...

Антонио шепотом спрашивает Хосе Луиса:

— Кто это?

Хосе Луис не отвечает, влезает на стул, чтобы выглянуть на улицу.

Эстефания ворчит:

— Антонио, он спятил, совсем спятил... Водится со стариками...

Хосе Луис выглядывает на улицу. Там стоит фургон похоронного бюро. Спрашивает у Амадео:

— А... она?

Амадео дружелюбно грозит ему пальцем. Кричит в сторону фургона:

— Кармен! Кармен!

Из окошка высовывается Кармен. Хосе Луис суетится, спрыгивает со стула и бежит на кухню.

Хосе Луис. Я готов... Пусть заводит...

Амадео прощается с заинтригованными супругами:

— Сеньора, я вас приветствую.. Очень рад знакомству... Всегда к вашим услугам...

Как только он отходит от окна, Эстефания кладет ребенка в колыбель и, следуя примеру мужа, взбирается на стул и смотрит на улицу.

Эстефания. Кто они такие?

Амадео садится в машину.

Эстефания. Твой братец совсем обнаглел... Ты должен ему сказать, чтобы этот фургон больше здесь не появлялся... Соседи...

Когда дверца фургона открылась, Антонио заметил Кармен и теперь говорит:

— Однако у моего занудливого брата есть невеста...

Оба слезают со стула.

Эстефания *(подходя к колыбели)*. Воображаю, что она собой представляет! Небось потаскуха какая-нибудь!

Антонио *(пожимая плечами)*. Будем надеяться, что в один прекрасный день он женится и уйдет отсюда...

Склонившись над колыбелью, Эстефания берет на руки третьего ребенка, и теперь впервые видно, что близнецов трое. Антонио продолжает:

— ...Ведь когда они вырастут, негде будет повернуться.

И, как любящий отец, теребит малыша, сосущего грудь.

— Гули-гули-гули-гули...

6. ПЛОТИНА. ДЕНЬ

Прекрасный солнечный день. В горах среди сосен стоит фургон похоронного бюро. Неподалеку на сплошь заштопанном одеяле расположились Амадео, Альварес, его жена Игнасия, Хосе Луис и Кармен. Ниже, на дне долины,— искусственное озеро, которое бороздят моторные лодки, буксирующие спортсменов на водных лыжах. Поблизости играют трое ребят — дети Альвареса и Игнасии.

Вся группа пьет кофе, который Кармен разливает из термоса. Все веселы или по крайней мере довольны компанией и тем, что выбрались сюда.

Невероятно толстая Игнасия попробовала кофе и рассыпается в комплиментах:

— Ай да Кармен, замечательный кофе!

Альварес протягивает Кармен свой пластмассовый стаканчик.

Альварес *(блаженно)*. Попробуем, попробуем...

Обернувшись к Хосе Луису, который помогает Кармен, продолжает:

— Эта девушка просто клад, да-да...

Амадео с довольным видом кивает и продолжает игру.

Амадео. Посмотрим, угадаете ли вы, почему я живу у нее на всем готовом...

Игнасия заснула, сжимая в руке пустой стакан.

Плачут дети. Она приоткрывает глаза и вяло грозит:

— Вот встану и...

Хосе Луис с видом услужливого рыцаря продолжает помогать Кармен.

Альварес *(потягивая кофе)*. Оставь их в покое... Не понимаю, почему бы нам не приезжать сюда каждое воскресенье. Фургон у нас есть. Чудесное место

Хосе Луис нашептывает что-то на ухо Кармен, она смеется.

Хосе Луис *(с горечью)*. Чего захотел!.. А дежурства? Следовало бы сажать в тюрьму всех, кто умирает в воскресенье...

Кармен протягивает стакан Хосе Луису и заботливо, обращаясь к нему на «ты», спрашивает:

— Хочешь еще сахару?

Хосе Луис смотрит ей в глаза и отпивает кофе. Говорит машинально:

— Прекрасный кофе... Если бы меня таким поили дома... Но моя чертова невестка... Послушай, Кармен, а ты не взяла бы и меня на пансион?

Альварес делает отрицательный жест, Кармен смеется.

Альварес. Тебе надо жениться, вот что.

Кармен опускает глаза, а Хосе Луис осуждающе смотрит на Альвареса: ему не нравится намек.

Альварес, показывая на спящую жену, продолжает:

— Я говорил ей как раз позавчера...

Альварес толкает ногой жену, пытаясь разбудить ее.

Альварес. Эй, Игнасия, я говорю, что Хосе Луису надо бы жениться...

Амадео *(качая головой)*. Молодежь...

Игнасия, ничего не понимая, утвердительно кивает.

Игнасия. Я совсем сплю... Стоит мне поесть...

Хосе Луис протягивает Кармен стакан.

Амадео. А вы вздремните... Это всегда полезно...

Игнасии никак не удается найти удобное положение для своей стокилограммовой туши. Альварес настаивает:

— Женись, Хосе Луис, тем более что момент подходящий...

Альварес своей бесцеремонностью смущает Хосе Луиса, который чувствует себя посмешищем в глазах Кармен. Девушка нравится ему, и он жаждет близости с ней, но о женитьбе он и не помышлял.

Хосе Луис *(защищаясь)*. Если я... Но потом надо думать о заработке, о квартире, о...

Он начал фразу, глядя на Альвареса, а заканчивает ее, глядя на Кармен, которая разливает коньяк в стаканы из-под кофе. Ей немного не по себе.

Альварес. Главное — захотеть...

Амадео *(кивает головой)*. Вот именно, верно. Но молодежь, дорогой мой Альварес, предпочитает свободу...

Хосе Луис продолжает оправдываться:

— Да, свободу... свободу жениться на такой ведьме, как моя невестка, которая...

Амадео хихикает.

Амадео. Поосторожней с невестками... Три года назад один человек отравил свою невестку и...

Довольный Альварес договаривает за него:

— И вы его... раз!

Делает вид, будто закручивает винт. Амадео утвердительно кивает головой и весело смеется.

Кармен пристально смотрит на старика. Альварес подбадривает его:

— Расскажите, расскажите...

Взгляд дочери подействовал на Амадео, он переводит разговор на другую тему. Указывает на Игнасию, которая храпит, растянувшись на земле.

А м а д е о. Может быть, ваша жена...

Альварес делает безразличный жест.

А л ь в а р е с. Она у меня как камень... Итак, он отравил невестку...

Амадео утвердительно кивает и старается не смотреть на Кармен.

А м а д е о. ...Дело в том, что у меня никак не клеилось... Из-за дуг... У бедняги была вот такая шея... как у быка...

Показывает руками.

Кармен сердится. Не слушая Хосе Луиса, который что-то ей говорит, прерывает отца:

— Послушайте... господин Амадео... Может, вы угостите нас ликерчиком?

А л ь в а р е с *(обрадованно)*. Тем более, если он хорош! Значит, обручи были ему малы...

Амадео пожимает плечами, давая понять Кармен, что ничего не может поделать.

А м а д е о. Вот именно...

Хосе Луис берет Кармен за руку и нежно говорит ей:

— Оставь их в покое, не обращай внимания...

Решив, что одних слов не достаточно, Амадео решает объяснить наглядно. Он находит на одеяле газету и складывает ее в узкую полосу.

А м а д е о. Видите... Минутку...

Кармен не выдерживает и встает, Хосе Луис следует ее примеру.

А м а д е о. Вот так... Дуга, ясно?

Альварес с интересом наблюдает. Ни он, ни Амадео не обращают внимания на то, что происходит вокруг. В то время как Кармен и Хосе Луис делают несколько шагов вниз по склону, Амадео надевает бумажную полосу на шею Альваресу, поясняя:

— Эта половина идет сюда... Держите... Сейчас соорудим вторую...

Кармен остановилась. Смотрит на озеро. На берегу две пары влюбленных танцуют под транзистор. Чтобы не молчать, Хосе Луис предлагает, показывая на танцующих:

— Потанцуем?

Кармен грустна, она поднимает руки и дает Хосе Луису обнять себя. Они танцуют на склоне холма. Грусть Кармен не проходит.

Играет радио.

К а р м е н. Мне надо бы уехать во Францию...

Хосе Луис удивлен.

Х о с е Л у и с *(танцуя)*. Во Францию?

К а р м е н *(печально)*. Во Францию или... Не знаю куда... Я несчастна...

Хосе Луису трудно понять, как может быть несчастна девушка с таким бюстом и такими бедрами.

Х о с е Л у и с. Что ты, Кармен... Ты такая девушка... что я... если я могу что-нибудь сделать...

Кармен отрицательно качает головой. Она не сопротивляется, и Хосе Луис продолжает следовать избранной тактике: свободной рукой он гладит ее лицо, шею, плечо и задерживает руку на груди. Она не отталкивает его, а, напротив, кладет ладонь на руку Хосе Луиса.

К а р м е н *(грустнее прежнего)*. Нет, ты ничего не сможешь сделать...

Пассивность и безутешность девушки придают Хосе Луису смелости. Он приступает к решительной атаке.

Х о с е Л у и с. Кармен, ведь я мужчина...

Кармен снимает руку Хосе Луиса со своей груди.

Кармен *(с болью глядя в глаза Хосе Луиса и все не выпуская его руку)*. Неужели ты не понял, что Амадео — мой отец?

Едва окончив фразу, снова кладет себе на грудь руку Хосе Луиса. Он смотрит на Кармен так, будто видит ее впервые. Она умолкла, и в ее глазах появились слезы. Пораженный Хосе Луис быстро соображает и восстанавливает в памяти историю своего знакомства с Кармен.

Хосе Луис *(задумчиво)*. Ну и что из этого?.. В конце концов, твой отец...

Хосе Луис смотрит через ее плечо. Кармен тоже оборачивается. Они смотрят, как Амадео перехватил шею Альвареса двумя полосками бумаги и делает вид, будто закручивает винт. Довольный Альварес высовывает язык. Оба хохочут. Кармен и Хосе Луис, остановившиеся было, чтобы посмотреть на них, снова начинают танцевать. Хосе Луис шепчет на ухо Кармен:

— Не беспокойся... слышишь.

Владельцам радиоприемника не нравится, что посторонние пользуются их музыкой, и они выключают его. Постояв в нерешительности, Хосе Луис продолжает танцевать, насвистывая мелодию.

Кармен. Беда в том, что ты добрый и не догадываешься...

Хосе Луис продолжает насвистывать, затем прижимает ее к себе и шепчет на ухо:

— Ты-то здесь причем? Дети за родителей не отвечают.

Они продолжают медленно танцевать. Хосе Луис снова насвистывает мелодию.

Кармен. За мной ухаживало несколько парней... Но я их бросила... лучше остаться старой девой, чем дожить до позора... Если бы они узнали, они бы сами меня бросили... Точно так же, как ты теперь, когда знаешь...

Хосе Луис *(с неподдельной грустью)*. Я? Да меня самого бросают все девушки, как только узнают, что я могильщик...

Их взгляды встречаются. Оба убеждены, что они глубоко несчастны. Хосе Луис шепчет:

— Кармен...

Глаза девушки полны слез. Она утвердительно кивает.

Кармен *(тоже шепотом)*. Да, Хосе Луис...

Они больше не танцуют. Хосе Луис крепко обнимает Кармен и касается губами ее губ.

7. ЛЕТНОЕ ПОЛЕ АЭРОПОРТА БАРАХАС. ДЕНЬ

На летном поле недалеко от здания аэровокзала стоит реактивный самолет ДС-8. Механики проверяют двигатели, автоцистерна подает горючее в баки. На ступеньках трапа, обнявшись, улыбающиеся Хосе Луис и Альварес позируют фотографу. Щелкнул затвор, и они спускаются вниз.

Хосе Луис *(фотографу)*. Мы будем в таможне.

Хосе Луис и Альварес направляются к автокару, который стоит под самолетом. Рядом мы видим шесть-семь человек, подавленных горем и одетых в траур. Хосе Луис и Альварес взбираются на платформу автокара и привычно руководят разгрузкой. Из багажника самолета появляется гроб.

Альварес. Опускай...

Хосе Луис. Еще немного... Так...

Устанавливают гроб на платформе.

Хосе Луис тихо говорит Альваресу:

— Значит, я ей звоню, и, если она скажет, чтобы я пришел, действуй сам...

Альварес *(возмущенно)*. Послушай, приятель, ты что, шофером меня нанял?..

Автокар трогается с места. Хосе Луис и Альварес стоят на платформе по обе стороны гроба, а сзади трусцой бегут люди в трауре, стараясь сохранить скорбный вид.

Хосе Луис. Я не могу не пойти... Если она одна... Понимаешь!

В этот момент начинают работать двигатели реактивного самолета, который направляется на взлетную полосу. Невыносимый шум. Все, за исключением водителя автокара, на котором защитный шлем, затыкают уши пальцами.

Хосе Луис и Альварес продолжают спорить, причем не слышно ни одного их слова.

Шум моторов и нечленораздельные крики Хосе Луиса и Альвареса.

Люди в трауре по-прежнему затыкают уши, стараясь сохранить скорбный вид.

8. ТАМОЖНЯ АЭРОПОРТА. ДЕНЬ

Странная похоронная процессия прибывает в товарную таможню. В зале много ящиков с иностранными товарами: продовольствием, духами, телевизорами, лыжами. Хосе Луис и Альварес спрыгивают с автокара, а люди в трауре, тяжело дыша, выстраиваются рядом с гробом.

Хосе Луис шепчет Альваресу:

— Значит, договорились, да?

Альварес сдается и утвердительно кивает.

Хосе Луис подходит к ближайшему телефону и набирает номер, в то время как Альварес вынимает из портфеля кипу бумаг, спеша поскорее пройти таможенный досмотр.

Хосе Луис *(в телефонную трубку)*. Продовольственный магазин? Пожалуйста... Вы не попросите Кармен? Кармен, девушку из мезонина... Очень срочное дело... Благодарю вас... Двоюродный брат... Ее двоюродный брат Хосе Луис... Большое спасибо.

К гробу подходит таможенный инспектор. Альварес протягивает ему бумаги. Тот бегло читает, затем жестом показывает, чтобы открыли гроб. Все это делается с таким видом, будто речь идет о чемодане с контрабандой.

Альварес направляется к группе людей в трауре и что-то шепчет на ухо весьма элегантному господину. Элегантный господин, болезненно поморщившись, приближается к гробу и открывает кошелек. Остальные более или менее искренне плачут. Подойдя к Хосе Луису, Альварес спрашивает:

— Ну что, она одна?

Хосе Луис жестом предлагает ему помолчать. Элегантный господин вытащил связку ключей, но никак не может найти ключ от гроба. Пробует два или три ключа; бессердечный таможенник с недоверием за ним наблюдает.

Хосе Луис *(по телефону)*. Да, да, я жду... Спасибо.

Элегантный господин находит наконец нужный ключ и отпирает гроб. Таможенник открывает крышку, убеждается, что в гробу кроме покойника ничего нет, и просит у Альвареса документы.

Элегантный господин и остальные члены траурной группы, заглянув в гроб, начинают рыдать.

Хосе Луис и Альварес поднимают гроб.

Хосе Луис. Она ждет. Высадишь меня при въезде в город, на перекрестке. Оттуда идет трамвай...

Альварес. Имей в виду, если в один прекрасный день мне это надоест, я...

Они подошли к двери. Другой таможенник хочет проверить пометку мелом, сделанную на гробе его товарищем. Чтобы показать ему ее, Альваресу приходится разворачиваться, отчего нарушается стройность траурной процессии.

А л ь в а р е с. Здесь, на этом боку... Да держи же ты, счастливчик чертов...

Появляется фотограф с двумя готовыми фотографиями, на которых Хосе Луис и Альварес стоят на трапе самолета. Хосе Луис делает фотографу знак подождать. Они устанавливают гроб в фургон. Альварес занимается с фотографом, а Хосе Луис поправляет гроб.

Х о с е Л у и с. Хорошо получились?

Альварес расплатился за фотографии.

А л ь в а р е с. Блеск! Смотри!

Хосе Луис закрывает дверцу фургона. Люди в трауре садятся в ожидающую их машину.

9. КВАРТИРА АМАДЕО. СПАЛЬНЯ. КОРИДОР. КУХНЯ. ДЕНЬ

Скромная спальня с пятнами сырости на стенах. В углу умывальник с овальным зеркалом, кувшином и эмалированным ведром. На столике немногочисленные предметы косметики и несколько дешевых безделушек: куколки, зверюшки. Над столиком фотографии молодых людей — очевидно, бывших поклонников Кармен. Над спинкой небольшой деревянной кровати, выкрашенной под орех,— изображение святой Кармине и сосуд для святой воды. На кровати лежат Хосе Луис и Кармен, ее голова покоится на плече Хосе Луиса. Кармен гладит его волосы, вернее, почесывает ему голову. Хосе Луис развалился, как паша, и, закрыв глаза от удовольствия, довольный жизнью, снисходительно принимает ласки Кармен.

Х о с е Л у и с *(воркующим голосом)*. А теперь кофейку, да?

Кармен целует его в плечо и, вставая, покорно соглашается:

— Да...

Кармен в комбинации, босиком направляется к двери. Хосе Луис провожает ее влюбленным взглядом.

Когда она выходит в коридор, Хосе Луис достает из кармана пиджака, который висит над кроватью, фотографию, сделанную в аэропорту. Громко зовет:

— Кармен.

К а р м е н *(из коридора)*. Что?

Хосе Луис встает. Он в одних трусах. Ищет и находит ножницы. Весело говорит:

— Фото...

Поглядывая на фотографии бывших поклонников Кармен, висящие на стене, разрезает свою фотографию так, что от Альвареса на ней остается только рука.

К а р м е н *(из коридора, смеясь)*. Не валяй дурака! Можешь разорвать их, если хочешь. Я ж тебе сказала, что они меня больше не интересуют...

Хосе Луис снимает со стены фотографии и прикрепляет свою. Довольный, любуется ею. В это время открывается входная дверь и раздается возбужденный голос Амадео:

— Кармен! Кармен! Квартира! Нам дают квартиру!

Хосе Луис, все еще держа в руках часть фотографии с Альваресом, ищет укрытие. Пытается спрятаться за выступом в стене, но половина туловища и головы все равно видны. Амадео идет по коридору к кухне,

откуда выходит Кармен. Она по-прежнему в одной комбинации и, вопреки ожиданиям старика, никак не реагирует на его сообщение.

Амадео. Дочка, квартира! Наконец-то! Нам дали квартиру!

Обнимает и целует Кармен, затем показывает ей лист бумаги — официальное извещение. Кармен нервничает, смотрит на дверь своей комнаты.

Амадео. Не будем откладывать! Нужно поехать посмотреть квартиру... Прекрасное место... Что с тобой? Ты не довольна?

Старик инстинктивно поворачивает голову. Видит половину испуганного лица и голую ногу Хосе Луиса. Амадео все ясно. Он лепечет:

— Значит...

Вне себя направляется к Хосе Луису.

Амадео. Мерзавец! Наглец! В моем доме!..

Хосе Луис с вытянутыми вперед руками выходит из своего ненадежного укрытия. В одной руке у него фотография Альвареса.

Хосе Луис *(заикаясь)*. Постойте!.. Вот ведь, увидят кого-нибудь... *(Разводит руками, показывая, что имеет в виду себя.)* ...в таком виде... и вообразят что-нибудь плохое не... мы ничего дурного не делали... я...

Обнаруживает у себя в руке фотографию Альвареса. Делает отчаянную попытку оправдаться:

— Я принес фотографию Альвареса... Я плохо себя почувствовал... Я... разделся...

Амадео оборачивается и видит в коридоре Кармен, которая в комбинации, босиком, натягивает на себя халат.

Амадео *(все еще взбешенный, но уже склонный принять на себя роль жертвы)* Горе мне... горе...

Снова поворачивается в сторону спальни.

Амадео *(спокойнее)*. А ты, бесстыдник, воспользовался доверием...

Хосе Луис натягивает брюки. Кармен, которая держится невозмутимее всех, подходит к отцу, берет его за руку и тащит в кухню.

Кармен. Пойдем, папа... пойдем... Хосе Луис прав, мы ничего не сделали... Клянусь тебе...

Уже перед самой кухней Амадео резким движением высвобождает руку из руки Кармен.

Амадео. Не клянись! В моем доме! Голая!

Кармен заставляет его войти в кухню.

Плита для топки древесным углем, на ней баллон с жидким газом. На маленькой газовой плитке кипит вода для кофе.

Кармен. Пожалуйста, не преувеличивай, я была не голая...

Амадео плюхается на соломенный стул и разыгрывает небольшую комедию — обхватив голову руками, причитает:

— Соседи... Что скажут соседи?..

Кармен решительно переходит в наступление.

Кармен *(язвительно)*. Соседи... Ты имеешь в виду, что бы они сказали, если бы знали?...

Другим тоном, рассудительно и грустно:

— Папа, если я не буду расторопнее, мне стукнет тридцать и...

Снимает с плитки кастрюльку с кипящей водой. Заваривая кофе, продолжает:

— Папа, Хосе Луис подходящий парень...

Хосе Луис робко заглядывает в дверь.

Амадео *(по-прежнему склонный считать себя оскорбленным)*. А я шел к тебе с таким известием... Прямо из патронага, смотри...

Протягивает ей бумажку, которую все время держал в руке и которую Кармен, занятая приготовлением кофе, не берет.

Амадео. Четырехкомнатная квартира, центральное отопление, шестьсот песет в месяц... В прекрасном районе.

Кармен подбадривает жестом Хосе Луиса, приглашая его войти в кухню. Спрашивает отца:

— Это правда?

Радостно, но не так, как можно было бы ожидать, продолжает, обращаясь к Хосе Луису:

— Ему дали квартиру...

Амадео поднимает мрачный, обиженный взгляд на вошедшего Хосе Луиса, который чувствует себя не совсем уверенно в не заправленной в брюки рубашке.

Амадео. Это самый счастливый день в моей жизни, и вы его испортили. Особенно ты... Это пахнет предательством...

Хосе Луис *(теряясь)*. Лично я... поверьте, я всегда уважал вас...

Кармен разливает кофе и, протягивая чашку отцу, спрашивает:

— А из окон красивый вид? Сколько комнат? Четыре?

Амадео отказывается от кофе:

— Не хочу, оставь меня в покое... Пока дом не достроен, трудно сказать...

Кармен заставляет его взять чашку.

Кармен *(нежно)*. Ладно, не будь глупеньким... А когда мы сможем переехать?

Амадео берет кофе, а другой рукой комкает извещение о квартире и швыряет его на пол.

Амадео. Теперь мне это уже все равно... Пусть оставляют мою квартиру себе и делают с ней, что хотят... *(Продолжает совершенно другим тоном, словно, бросив на пол извещение, он утратил право на получение квартиры.)*. В каком районе! Виден весь Мадрид... и горы...

Хосе Луис ставит свою чашку на плитку и поднимает с пола скомканное извещение.

Хосе Луис *(обращаясь к Кармен, озабоченно)*. Но если это по официальной линии, выходит, жильцы нового дома... Я хочу сказать... Они будут знать, что он палач...

Показывает на Амадео.

Оскорбленный Амадео взрывается:

— Никто ничего не узнает. Ох, если бы и ты этого не знал!

Кармен снова подает Хосе Луису кофе, успокаивает его:

— В чем, в чем, а в этом отец прав... Это первое, что я сказала ему, когда мы подали заявление. Пей кофе... Ему предоставляют квартиру по другой линии.

Амадео продолжает хныкать, как будто ему и впрямь отравили существование:

— И ты еще с ним разговариваешь... В моем присутствии... Ведь знаешь же, как долго я ждал эту квартиру... и сейчас... сейчас, когда она уже была у меня в руках...

Неожиданно хозяином положения становится Хосе Луис. В не заправленной в брюки рубашке он с торжественным видом провозглашает:

— Амадео, я настоящий мужчина и готов доставить вам большую радость, чем новая квартира.

Победоносно подносит к губам чашку с кофе, в то время как Кармен и Амадео, застыв с чашками в руках, смотрят на него.

10. ГАРАЖ ПОХОРОННОГО БЮРО. ДЕНЬ

Три оркестранта, одетые в форму, играют в углу гаража на своих инструментах; несколько секунд — джазовая музыка. В гараже и другие оркестранты. Все, очевидно, ждут сигнала, чтобы занять места в автобусе и отправиться за город на чьи-то пышные похороны. Среди многочисленных катафалков мы видим очень богатый катафалк, который моют и готовят рабочие похоронного бюро. Взад-вперед снуют люди со свечами, канделябрами, цветами — все это работники похоронного бюро.

Хосе Луис и Альварес заняты огромным венком. Хосе Луис расправляет ленту с надписью золотыми буквами. Работает насвистывая, но ему невесело. Сосредоточенно думает о чем-то. К одному из венков прикрепляет ленту с надписью: «От твоих безутешных детей», которую Альварес, качая головой, снимает.

Альварес. Что ты делаешь? Сколько раз тебе говорить, что она была старой девой?

Хосе Луис не отвечает. Пожав плечами, продолжает работу. Другие служащие поднимают огромный венок и присоединяют его к остальным атрибутам пышных похорон.

Хосе Луис. Значит, мы не едем?

Альварес. Нет.

Хосе Луис *(с досадой)*. Вот невезение! Как раз когда платят суточные...

Альварес взял венок и направляется с ним к богатому катафалку; тут он замечает растерявшуюся в этой суете Кармен. Возвращается и толкает локтем Хосе Луиса, который смотрит в направлении его взгляда и тоже видит Кармен.

Хосе Луис *(недовольно)*. Что она здесь забыла?

Альварес подходит к Кармен и показывает, где Хосе Луис.

Кармен останавливается рядом с Хосе Луисом, который, продолжая заниматься лентами, спрашивает, не глядя на нее:

— Ты не могла подождать там, на улице? Я на работе... *(Показывает на ленты и на катафалк.)* Скоро им ехать...

Кармен *(протягивая ему бумажку)*. На...

Хосе Луис берет бумажку и, не читая ее, спрашивает:

— Да или нет?

Кармен. Да.

Хосе Луис озабочен. Читает:

— «Положительная реакция»... Значит ты действительно не ошиблась...

Кармен кивает, подтверждая, что она не ошиблась.

Хосе Луис *(продолжая работать)*. Я мог бы уехать один... и потом вызвать тебя... И потом пожениться... Но теперь, после того, как...

Кармен. Если ты считаешь, что виновата я...

Хосе Луис мгновение смотрит на Кармен; ее вид обезоруживает его.

Хосе Луис *(лишь бы что-нибудь сказать)*. Считаешь, считаешь...

Засовывает руку в карман, берет сигарету и закуривает. Делает несколько шагов, затем возвращается, задумывается. Нежно гладит Кармен.

Хосе Луис. А я-то хотел бросить эту вонючую работу... В Германии за один год можно стать механиком... И подкопить...

Альварес подходит за новой порцией венков, останавливается, удивленный.

Альварес. Ты что, объявил забастовку?

Хосе Луис не отвечает. Он обнимает Кармен за плечи и идет с ней в глубь гаража. Удивленный Альварес догадывается, что случилось что-то серьезное, и без особого энтузиазма продолжает работу Хосе Луиса.

Кармен *(Хосе Луису)*. Ну? Что же ты решил?

Хосе Луис смотрит ей в глаза, опускает руки и беспомощно отвечает:

— Что я могу решить?

Отрывает от старого засохшего венка несколько цветков...

11. ЦЕРКОВЬ. ДЕНЬ

Поражающая праздничным убранством церковь: море света, повсюду цветы, сверкает большой алтарь, торжественно звучит орган в честь молодоженов, которых объектив провожает от алтаря, где их только что обвенчали, к выходу. Новоиспеченный супруг — во фраке; его недавняя невеста — в белом платье с длинным-предлинным шлейфом, который несут за ней два соответственно одетых пажа. Нарядные свидетели и приглашенные (на дамах — драгоценности, военные — в мундирах, увешанных орденами) поздравляют и целуют молодоженов.

Недалеко от двери, в углу стоит небольшая группа людей, не имеющих никакого отношения к этой торжественной церемонии. Хосе Луис в синем, цвета морской волны, костюме, явно нервничает; Кармен в белом платье, но без шлейфа, с цветами померанца в руке, окруженная тремя подругами по работе. Амадео — в черном костюме — беседует с Альваресом, тоже необычно нарядным. Жена Альвареса время от времени отпускает подзатыльники младшим членам семейства. Хотя совершенно очевидно, что Антонио, брат Хосе Луиса, и Эстефания, жена Антонио, имеют прямое отношение к стоящей в углу группе, они держатся от нее в некотором отдалении, решительно чем-то недовольные. Это становится очевиднее, когда священник знаком приглашает всю группу к алтарю, путь к которому только что освободился: Эстефания на мгновение задерживает мужа, взяв его под руку, так что и к алтарю они направляются как бы сами по себе.

В течение нескольких секунд их сопровождает органная музыка, окружают цветы и озаряет праздничная иллюминация по случаю только что состоявшегося венчания, затем постепенно гаснут люстры, огни большого алтаря и т. д.; два служки убирают цветы, украшающие врата, и наконец торжественная мелодия органа умолкает на жалобной ноте, как будто органист сообразил вдруг, что играет впустую.

Хосе Луис и Кармен подходят к большому алтарю пустой и темной церкви.

Альварес — единственный, кто, судя по всему, не заметил, как мрачно и неуютно стало в церкви: когда служка снимает гирлянду цветов, которыми были украшены перила алтаря, Альварес, не растерявшись, хватает пучок красных гвоздик. Довольный собой, он продевает один цветок в петлицу Хосе Луису, другой — себе, третий — Амадео и пытается проделать то же самое с Антонио, но ему это не удается: Эстефания бьет его по руке, и цветок падает на пол в тот самый момент, когда Хосе Луис и Кармен опускаются на колени.

Хосе Луис чем-то встревожен и не спускает глаз с брата и с невестки. Недовольный выходкой Эстефании, он срывает свой гнев на Альваресе.

Хосе Луис *(шепотом)*. Не паясничай...

Бедный Альварес, руководствовавшийся самыми лучшими побуждениями, чувствует себя обиженным и отдает оставшиеся гвоздики своим детям.

Церемония венчания. Антонио и Эстефания, усевшись поодаль, по-прежнему не скрывают своего отрицательного отношения к этому браку.

12. РИЗНИЦА. ДЕНЬ

Огромная ризница, заставленная комодами с множеством выдвижных ящиков, на стенах — гигантские картины религиозного содержания.

Тишина. Источником света служит витраж. Находящиеся в ризнице занимаются усердно каждый своим делом.

Один служка аккуратно складывает и прячет в ящики сутану и прочие предметы парадного облачения, другой служка со специальным судком проходит перед объективом и до конца действия наполняет сосуды водой и вином; третий служка при помощи весьма нехитрого приспособления вырезает облатки из тонко раскатанного прямоугольника теста; еще один служка тащит требник и массивный пюпитр. Два священника, сидя за столом, раскладывают деньги по пачкам.

В ризницу быстрым шагом входит органист. У него тоже вид занятого важным делом человека, понимающего, где он находится. Остановившись у стола, он обращается к одному из священников:

— Я дважды говорил о том, что орган нуждается в настройке. Клавиши западают вот уже в трех регистрах...

Один из священников утвердительно кивает головой.

Священник *(сладким голосом)*. Все в порядке, мы уже вызвали.

Органист продолжает что-то объяснять священнику. Слов не слышно, но речь, очевидно, по-прежнему идет о настройке органа. Затем органист отправляет в рот несколько кусочков теста, забракованных служкой, который делает облатки.

Органист. Мои... Я опаздываю в консерваторию.

Священник спокойно протягивает ему одну из лежащих на столе пачек.

Священник *(с чувством)*. Ваша доля... Столько шума, а в результате...

В это время в ризницу входят Кармен и Альварес, который целует ее в щеку и говорит:

— Нет, я не смогу прийти к вам обедать... Сегодня до обеда у нас семь ездок и...

Вслед за ними входят три девушки, подруги Кармен по работе.

Кармен. Но мы рассчитывали на вас...

Альварес. Ничего не поделаешь, будет моя жена с детьми... Послушай, ты сама вернешь платье?

Входят Хосе Луис и Амадео в сопровождении священника. Органист уходит.

Альварес. Найди там Хименеса и попроси его сделать скидку, он мне обещал.

Священник *(раскрыв книгу)*. Попрошу свидетелей и молодых...

Хосе Луис отрывает Кармен от друзей и зовет:

— Свидетели... Альварес... Антонио...

Ищет взглядом брата и не находит его в ризнице. Кармен и Хосе Луис обмениваются понимающим взглядом: оба подозревают, что Антонио и его жена улизнули.

Амадео. Он шел сзади...

Альварес готовится расписаться в книге, а Хосе Луис выбегает из ризницы.

13. УЛИЦА ПЕРЕД ЦЕРКОВЬЮ. ДЕНЬ

К краю тротуара, где стоит мотороллер с коляской, подходят Антонио и Эстефания. Эстефания садится в коляску и достает два шлема. Протягивает один шлем мужу.

Эстефания. Скорее. Мне плохо... Не нужно было приезжать...

Антонио заводит мотороллер и надевает шлем. В это время на улице появляется Хосе Луис, который бежит к ним, как настоящий спринтер.

Хосе Луис. Подожди! Антонио! Ты должен...

Эстефания. ...Поехали, да поехали же!

Поборов нерешительность, Антонио включает скорость, но подбежавший Хосе Луис хватается за руль.

Хосе Луис *(тяжело дыша)*. Антонио... ты не можешь... так поступить... так некрасиво...

Антонио останавливает мотороллер.

Эстефания. Антонио! Поехали!

Хосе Луис. Они хотят... пригласить вас... к обеду...

Антонио помрачнел, насупился. Молчит.

Эстефания. Ишь чего захотели! Чтобы я села за один стол с этим чудовищем! Поехали, Антонио!

Хосе Луис смотрит с ненавистью на невестку, но ничего ей не говорит.

Антонио *(с раздражением)*. Послушай, Хосе Луис... мы ведь пришли в церковь... постарайся же понять, что нам этот тип...

Эстефания. Мы порядочные люди... Поехали! Не слушай его.

Хосе Луис *(продолжая держаться за руль)*. Ну пожалуйста, прошу тебя... и потом, нужна твоя подпись, ты ведь свидетель...

Эстефания *(в ярости)*. Ты ничего не должен подписывать. Что написано пером...

Хосе Луис *(по-прежнему обращаясь только к брату)*. У меня нет другого свидетеля. Не ставь меня в дурацкое...

Антонио нехотя слезает с мотороллера.

Антонио. Ладно, я распишусь, но это все... Я говорил тебе. Ты не послушался. С сегодняшнего дня у тебя — своя дорога, у нас — своя...

Эстефания пытается удержать мужа, но Хосе Луис взял его под руку и тащит к церкви.

Эстефания. Антонио, ты не должен подписывать! Придет время, и твоим детям будет стыдно за тебя!

Братья удаляются. Хосе Луис снимает шлем с головы Антонио.

Эстефания. Верь мне, Антонио! Этот мерзавец решил погубить тебя!

14. СТРОЯЩИЙСЯ ДОМ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. КВАРТИРА

Лестничная клетка строящегося дома. Стена еще не оштукатурена, пол не зацементирован, нет перил. От площадки к площадке проложены деревянные мостки, по которым можно подняться наверх. На заваленной кучами песка и мешками цемента площадке появляется сторож с огромной собакой.

Сторож *(обернувшись и глядя вниз)*. Терпение, дедушка, еще немного — и мы на месте.

Старый Амадео с трудом карабкается по мосткам; ему помогают Кармен и Хосе Луис. Амадео задыхается и с трудом выдавливает из себя слова:

— Пятый... а... на самом деле... шестой...* Почему же... мне... не дали на первом?

Кармен *(спокойно)*. Дом с лифтом...

Хосе Луис *(сухо)*. Вам бы остаться внизу...

Амадео *(по-прежнему тяжело дыша)*. Лифт... А... когда... ваш лифт... испортится...

Сторож направляется к проему в стене, в котором нетрудно угадать будущий вход в одну из расположенных на этаже квартир. Дверных рам еще нет.

Сторож. Пятый этаж, направо...

Амадео *(упрямо)*. А на самом деле... шестой...

Будущая квартира. Кирпичи на цементном полу дают представление о ее планировке. В одном углу видны новые унитаз и душевая установка; рядом — картон и солома, в которые все это было упаковано. В другом углу — ведра с цементом, песок и т. д. Солнечный свет проникает сюда сквозь проем в стене — будущую дверь балкона,— откуда открывается великолепный вид, очень характерный для Мадрида.

Сторож, указывая на выложенные кирпичами линии, которые превратятся со временем в стены, начинает объяснять:

— Комната... Другая... Кухня... Ванная... Спальня... Еще одна спальня... Комната... Еще одна... И самая большая с балконом...

Хосе Луис и Кармен следят за рукой сторожа, стараясь представить себе, как будет выглядеть готовая квартира.

Амадео смертельно устал, и его ничто не интересует.

Амадео. Там можно присесть...

Показывает на ящики с кирпичами рядом с будущей дверью на балкон. Хосе Луис ведет его к ящикам. Кармен, которой не терпится представить себе свою «квартирку», ходит по ней, глядя по сторонам.

Сторож в ожидании чаевых переминается с ноги на ногу.

Сторож. Так... Если вы хотите побыть здесь немножко... мне полагалось бы остаться с вами, но...

Хосе Луис понимает, в чем дело, и сует ему в руку несколько монет.

Хосе Луис. Возьмите... и не беспокойтесь... Вот только тесть отдышится, и...

Кармен уже успела «побывать» в будущих комнатах. Спрашивает Хосе Луиса:

— Ну как?

Сторож *(уходя с собакой)*. Нам пора. Пошли, Австрияк...

Хосе Луис подходит к жене.

Кармен По крайней мере окна не выходят во двор. Я боялась...

Хосе Луис обводит взглядом клетку, в которой они находятся. У бедняги плохо работает фантазия, и ему трудно представить себе, как будет выглядеть квартира в окончательном виде и с полной обстановкой. Он как бы уговаривает себя:

— Нет, хорошо, все хорошо... Конечно, до конца еще далеко... Где, он сказал, кухня?

Кармен *(показывает)*. Там.

Хосе Луис направляется в «кухню», шагая через кирпичи, обозначающие будущие стены.

Кармен хватает его за руку и заставляет пройти по будущему коридору.

Хосе Луис. Но ведь...

Не договорив, покорно идет за Кармен. Кармен возбуждена. Она уже почувствовала себя обладательницей великолепной квартиры.

---

* Во многих странах счет этажам начинается от второго, который соответственно называется первым.

Кармен. Посмотри... совсем в стороне. Именно то, что надо... и в то же время в двух шагах от столовой...

Кармен тащит мужа в «коридор» и, указывая на будущие двери, рассуждает:

— Я думаю, что себе мы возьмем вот эту комнатку, а эту отдадим папе... Мне нравится... Так много света...

Показывает на ведущий на балкон проем, перед которым, дыша свежим воздухом, продолжает сидеть Амадео.

Кармен. Не вздумай говорить, что тебе не нравится гостиная... Солнце... Воздух... И этот вид...

Хосе Луис и Кармен подходят к «балкону».

Хосе Луис. Что верно, то верно. Отсюда видно пол-Испании...

Кармен *(указывая вниз на пустырь перед домом)*. А место-то какое... Детям будет где играть: ни машин, ни полицейских...

Амадео успел отдохнуть. Начиная с этого момента и почти во всех последующих сценах — это уже не тот старичок, который всех старается разжалобить.

Амадео *(как бы раскаиваясь в своем эгоизме)*. Ладно, о верхотуре я сказал просто так... Лишь бы что-то сказать... Будет лифт... В самом деле, чудная квартира...

Кармен целует его.

Кармен. Правильно. Зачем ворчать...

Хосе Луис выглянул на балкон и теперь зовет Амадео и Кармен.

Хосе Луис. Летом можно будет ужинать на балконе. Свежий салат, холодное пивко... Музыка...

Растроганный Амадео кивает головой и обнимает дочь и Хосе Луиса. В этот момент в квартиру входит молодой семинарист в облачении священника и, заглянув в бумажку, которую держит в руке, кричит в сторону лестницы:

— Точно, это здесь!..

Хосе Луис, Кармен и Амадео в недоумении оборачиваются и видят, как в квартиру входят три женщины лет сорока. Семинарист пропускает их вперед, и женщины обводят взглядом стены строящейся квартиры.

Первая женщина. Видите, на какую сторону?..

Вторая женщина. А я-то думала, что дом почти готов...

Третья женщина. Ну, что вы скажете?

Хосе Луис обменивается взглядом с Кармен. Затем, любезно улыбаясь, идет навстречу женщинам, приступившим к изучению планировки.

Третья женщина. Смотри, здесь, наверно, кухня...

Вторая женщина. Маловата...

Первая женщина. Не скажи... Тебе это кажется... А в ванной будет душ или...

Вторая женщина. Ванна, ванна... *(Исключительно вежливо здоровается с Хосе Луисом.)* Добрый день. Не правда ли, вы сторож? Нам сказали, что вы должны быть...

Хосе Луис. Нет, наоборот.

Третья женщина. В таком случае, что же вы делаете в нашей квартире?

Хосе Луис *(чувствуя себя хозяином положения)*. Здесь какое-то недоразумение. Эта квартира наша...

Улыбнувшись Кармен и Амадео, продолжает:

— Пятый этаж направо...

Амадео проверяет по бумажке.

Амадео. Пятый, направо...

Семинарист под пристальными взглядами трех женщин заглядывает в свою бумагу.

Семинарист. Пятый этаж направо, никаких сомнений.

Женщины наступают на Хосе Луиса, тараторя:

— Квартира наша...

— Покажите, покажите документ...

— Нет, эти люди хотят воспользоваться...

Кармен. Сеньора, квартира наша и больше ничья, ведь это же ясно...

Амадео. Пожалуйста, повежливей...

Хосе Луис. Минуту, одну минуту...

Семинарист. Да они решили разыграть нас...

Женщины оглушительно кудахчут:

— Где господин Хименес? Пусть придет господин Хименес...

— Этого еще не хватало...

— Два года ждали и вот...

— Уходите, убирайтесь отсюда...

Амадео, Кармен и Хосе Луис не сдаются.

Кармен. Папа, позвони в контору. Хосе Луис, позови сторожа.

Амадео. Я проработал сорок семь лет...

Хосе Луис. Спокойно, спокойно... Здесь какое-то недоразумение. Поищем сторожа.

Все эти фразы они произносят, направляясь к выходу.

15. СТРОЯЩИЙСЯ КВАРТАЛ. БАРАК. ДЕНЬ

Барак из тех, что служат конторами и складами на крупных стройках. На улице, опершись локтями о подоконник, стоит представитель строительной фирмы и говорит по телефону, вернее, слушает, что ему говорят, и время от времени кивает головой.

Шум работающих подъемных кранов, бетономешалок и т. п.

С одной стороны к представителю фирмы подступили Амадео, Кармен и Хосе Луис, с другой — три женщины и семинарист.

Амадео *(успокаивая Кармен)*. Не беспокойся, вот увидишь, сейчас все выяснится...

Хосе Луис обнимает Кармен за плечи.

Первая женщина *(семинаристу)*. Молись, сынок, молись...

В руке у представителя фирмы обе бумажки. Когда он начинает говорить, он прижимает телефонную трубку плечом к уху, потому что в каждой руке у него по бумажке.

Представитель фирмы. Так, так... Разница в датах составляет три месяца. Да... Минутку...

Оборачивается к Амадео и спрашивает:

— Говорят, через шесть-семь месяцев вы выходите на пенсию, не так ли?

Амадео. По возрасту, только по возрасту. Я чувствую себя очень хорошо и мог бы продолжать...

Представитель фирмы прерывает его:

— Значит, квартиру получат эти дамы. К тому времени, как дом будет готов, вы уже уйдете на пенсию...

Амадео расстроен, растерян, не знает, что ответить.

Амадео. А как же... как же... моя дочь? Будет жить на улице?

Три женщины, начавшие было поздравлять друг друга и целовать семинариста, останавливаются. Представитель фирмы, считавший, что вопрос решен, смотрит на Кармен, затем говорит в трубку:

— Минуточку... У этого господина есть дочь...

Амадео *(театрально)*. Поглядим, что они скажут теперь... Что с ней будет, когда она останется сиротой, на улице?..

Представитель фирмы смотрит на огромный живот Кармен. Не слушая больше, что ему говорят по телефону, спрашивает тоном человека, нашедшего ключ к решению вопроса:

— А она замужем?

Амадео *(немного помедлив)*. А что?

Представитель фирмы *(терпеливо, словно имеет дело с ребенком)*. Если замужем, она не имеет права оставаться в квартире после того, как вы уйдете на пенсию...

Представитель фирмы снова собирается говорить по телефону. Три женщины одобрительно кивают.

Амадео *(решительно)*. А если она незамужняя?

Представитель фирмы еще раз смотрит на живот Кармен, в то время как Хосе Луис, подыгрывая Амадео, снимает руку с плеча жены и делает вид, будто оказался здесь случайно.

Представитель фирмы. Незамужняя?

Амадео *(еще более театрально)*. Конечно незамужняя! Мне очень неприятно говорить об этом... о моей трагедии... потому что... потому что... бедняжка никогда не сможет выйти замуж...

Представитель фирмы пожимает плечами. Три женщины начинают волноваться.

Амадео разошелся. Продолжает:

— Спросите, спросите, какую я занимаю должность... И прикиньте, найдется ли хоть один дурак, который захочет жениться на моей дочери...

Пораженный Хосе Луис смотрит на тестя. Три женщины возмущаются:

— Какой позор...

— Не обвенчавшись...

— Не смотри на нее, не смотри на нее...

Одна из них закрывает ладонью глаза семинаристу.

Представитель фирмы. В таком случае квартира остается за этим господином...

Продолжает говорить по телефону. Чтобы голоса трех женщин не мешали ему, поворачивается к ним спиной.

Три женщины:

— Ну и пусть! Иметь таких соседей...

— Нет, слава богу, мы люди порядочные...

— Скорее отсюда... Скорее... Какой ужас!

Удаляются. Довольный Амадео незаметно пожимает Хосе Луису руку. Зять не отвечает на рукопожатие. Бормочет:

— Выходит, я же и дурак... Хм...

Кармен украдкой целует его и шепчет:

— Молчи, глупенький. Главное — получить квартиру...

Они умолкают, видя, что Представитель фирмы положил трубку.

Представитель фирмы. Все в порядке. Вам остается только удостоверить, что у вас есть дочь и что она незамужем... Поскольку без этого...

Амадео подталкивает Кармен к Представителю фирмы.

Амадео *(простодушно)*. Лучшего доказательства, чем это... Разве не видно...

Простодушие Амадео недостаточно действует на Представителя фирмы. Он улыбается и тоном адвоката перечисляет:

— Соответствующие документы... Свидетельство о рождении, справка о том, что она не состоит в браке... Понимаете, документы?

Представитель фирмы уходит. Амадео растерянно смотрит на Кармен и Хосе Луиса.

16. ЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. ДЕНЬ

На скамейке напротив здания государственного учреждения сидят Амадео, Хосе Луис и Кармен. Амадео выглядит спокойным, уверенным. Хосе Луис, уперев локти в колени, сжимает руками голову. Его фигура выражает полное отчаяние. Кармен смотрит на него молча, но с явным осуждением.

Амадео. В таком случае я одного не могу понять: зачем мы сюда пришли... Ты сказал, что согласен...

Хосе Луис *(мрачно, как в мелодраме)*. Сам не знаю...

Амадео *(подбадривая его)*. Смелее, пошли. Оттого, что ты войдешь в это здание, ничего с тобой не случится...

Хосе Луис упрямо, как ребенок, мотает головой.

Амадео *(обращаясь к Кармен, тоном человека, говорящего с душевнобольным)*. Этот тупица ни черта не понял... В конце концов хотим мы получить квартиру или не хотим? Хотим. На этот счет разногласий нет... Можем мы доказать, что она незамужем? Не можем, нет документов. А развестись в Испании нельзя... Что же нам остается? Войти... Так что пошли.

Показывает на здание.

Хосе Луис взбешен.

Хосе Луис *(Кармен)*. И ты молчишь? По-твоему... Ты считаешь, что я должен...

Кармен *(с видом жертвы)*. Ничего я не считаю, но ведь нужно что-то предпринять... Как мы будем жить, когда у нас родится... *(Касается рукой живота.)* К тому же я бросила работу, и без папиной зарплаты...

Хосе Луис, стараясь отказаться от компромисса, на который его толкают, продолжает молоть глупости.

Хосе Луис *(Амадео)*. А вы не можете сказать, что не собираетесь на пенсию?

Амадео *(простирая руки к небу)*. Нет, вы только послушайте! А что я буду делать, когда у меня не хватит сил?.. Это невозможно, Хосе Луис. Я тысячу раз объяснял тебе. Нам важно получить квартиру, а если в один прекрасный день придется оставить ее, оставим. Но к тому времени что-нибудь придумаем...

Хосе Луис неохотно поднимается и полными мольбы глазами смотрит на жену. Она же, вместо того чтобы постараться понять его и простить, с железной логикой робота заявляет:

— Это единственный выход, дорогой... Если бы мы не были женаты — другое дело. А теперь...

Хосе Луис качает головой и плетется вслед за тестем к подъезду.

17. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. ДЕНЬ

Кабинет в государственном учреждении. Несмотря на всю его солидность, непохоже, чтобы в нем занимались какой-либо деятельностью, даже чисто бюрократической.

Чиновник, восседающий за письменным столом, с усталым видом слушает Амадео и смотрит на Хосе Луиса, который не знает, куда девать руки.

Амадео. ...раз невозможно получить квартиру без документа о том, что она незамужем, тем более что моя дочь — его жена. Мы решили с ним, что после того, как я уйду на пенсию, единственный способ...

Чиновник *(Хосе Луису)*. Короче говоря, вы желаете стать палачом...

Амадео. Совершенно верно.

Хосе Луис. Нет, я не хочу, это он... Я сказал ему, что...

Чиновник *(жестом прерывая его)*. Очень хорошо... Вы подаете заявление и...

На этот раз Амадео прерывает чиновника, протягивая ему готовое заявление, которое он достает из кармана.

Амадео. Вот оно, пожалуйста...

Оправившись от изумления, чиновник изучает переданное ему заявление.

Чиновник. Нужно оформить его по всем правилам... Гербовые марки...

Амадео так же проворно вынимает из кармана бумажник.

Амадео. Верно, верно. Мы просто не знали, какие марки. Полторы или три песеты?

Чиновник берет одну из марок, протянутых ему Амадео, и приклеивает к заявлению. Обескураженный Хосе Луис качает головой. Чиновник перечитывает заявление и, к своему удовольствию, обнаруживает в нем новый дефект.

Чиновник. А подпись?

Амадео хватает со стола ручку.

Амадео. Главное — знать, что все правильно... С вашего позволения... Подпиши, Хосе Луис, подпиши, сынок...

Заставляет Хосе Луиса взять ручку. У того самый несчастный вид. Рука Хосе Луиса, сжимающая ручку, повисает в воздухе. Чиновник смотрит на него холодно и враждебно.

Амадео *(пытаясь пригнуть Хосе Луиса к столу)*. Здесь, не так ли?

Чиновник. Быстрее, быстрее. Не будем попусту терять время. Вы писать умеете?

Амадео. Да, да... Он очень образованный. Расписывайся, сынок, расписывайся...

Хосе Луис делает последний жест отчаяния и расписывается. Чиновник с пресс-папье в руке нетерпеливо ждет, затем обрушивает пресс-папье на свежую подпись Хосе Луиса.

Чиновник. Очень хорошо. Теперь необходима справка об отсутствии судимости...

Амадео *(протягивая справку)*. Пожалуйста...

Чиновник берет справку. Продолжает уже автоматически, поняв, что Амадео захватил с собой все нужные бумаги.

Чиновник. Согласия родителей не требуется, так как он совершеннолетний, ясно... А вот справка о благонадежном поведении...

Не глядя на Амадео, протягивает руку, уверенный, что и эта справка у него при себе. Амадео протягивает ему две бумажки.

Амадео. Одна от священника, другая из полиции...

Чиновник *(по-прежнему автоматически)*. Военный билет с ежегодными отметками...

Амадео протягивает военный билет. Чиновник пожимает плечами, встает и направляется к шкафу, на ходу скалывая документы Хосе Луиса скрепкой. Кладет их на пачку таких же документов, объясняя:

— Так, ваш номер тридцать шестой...

Амадео думает, что ослышался.

Амадео. Как так тридцать?... Желающих больше, чем?..

Чиновник кладет руку на пачку документов.

Чиновник. Я же сказал... Тридцать пять заявлений до заявления господина...

Показывает на Хосе Луиса. Затем, посмотрев вокруг, словно желая убедиться, что его никто не может услышать, шепчет на ухо Хосе Луису, который в ответ на его слова улыбается так, будто его только что вырвали из ада:

— Поверьте мне, без солидной рекомендации... ничего у вас не выйдет.

Хосе Луис сияет. Амадео хмурит брови.

18. АКАДЕМИЯ. ДЕНЬ

Несколько академиков выходят после заседания из зала. Среди них писатель Ривера.

Один академик, успевший выйти раньше, подходит к Ривере и в шутку говорит ему:

— Дорогой друг и коллега, приготовьтесь мужественно встретить смерть...

Ривера не понимает.

Первый академик *(показывая на робко стоящих в вестибюле у лестницы Амадео и Хосе Луиса)*. Вас ждет палач...

Амадео отвешивает низкий поклон. Сконфуженный Хосе Луис смотрит в сторону. Видно, что он готов провалиться сквозь землю от стыда.

Ривера *(заикаясь от удивления)*. Как... это ничтожество... посмело показаться здесь! Это начинает напоминать настоящее преследование! Каждый день он является ко мне домой во время обеда... Но что ему нужно?

Направляется к лестнице, беседуя со Вторым академиком.

Ривера. Так вот, относительно этого англицизма...

Второй академик. Play boy. Я настаиваю на том, что в нашем языке нет слова, способного его заменить...

Академики следуют за Риверой: кто-то из них успел сообщить остальным о приходе палача. Все сгорают от любопытства.

Ривера. Нет такого слова? Извольте, вот первые попавшиеся: волокита, франт, щеголь, красавчик, модник, чистоплюй, белоручка, донжуан, сердцеед, безнравственный обожатель, кокет...

Пока Ривера спускается по лестнице, истощая запас синонимов, академики, которые следуют за ним, переговариваются:

Третий академик. Где же он?

Первый академик. Вон там, старик...

Пятый академик. Настоящий палач?

Первый академик. Обаятельнейшая личность. Он консультировал Риверу, когда в одном из романов...

Ривера спустился вниз и беседует с Амадео и Хосе Луисом.

Ривера. Следовательно, вам угодно стать палачом? Неужели?

Хосе Луис. Это все он!.. Мне ничего не угодно... Он помешался на этом...

Амадео. Господин Ривера, походатайствуйте за него... Я незнаком ни с кем, кто был бы влиятельнее вас... Помните? Вы оказали мне честь— подарили вот эту книгу... с надписью...

Ривера берет книгу и спрашивает Хосе Луиса:

— Вы ее читали?

Хосе Луис. Да... то есть... нет!

Амадео. Он уже начал! Ему так нравится! Необыкновенная книга! Такие описания!

Ривера *(польщенный)*. Да, неплохая книга...

Амадео. Достойная вашего гения, господин Ривера! Это говорит вам человек, который знает свое дело. И потом... вы сказали, что если мне когда-нибудь нужна будет ваша помощь... в чем бы то ни было...

Ривера видит улыбающихся коллег и, приосанившись, произносит:

— Конечно, и я готов сдержать слово. Но ради чего-то достойного... Я согласен порекомендовать на любое место, но не...

А м а д е о. Но ведь это достойно, очень достойно! Иначе у него отнимут квартиру и он... останется на мостовой... с женой и с ребенком, который вот-вот родится. Господин Ривера! Вас просит отец. Вы так много пишете! Достаточно вам написать одно лишнее слово...

19. КАЗНАЧЕЙСТВО. ДЕНЬ

Государственное учреждение. Касса. Комната разделена пополам деревянным барьером, поверх которого идет матовое стекло. В нем окошечко. Оно закрыто. Кассир сидит за столом и подсчитывает длинную колонку цифр. Кто-то робко стучит в окошко. Кассиру это явно мешает. Он качает головой и продолжает свою работу. Стук повторяется, и кассир, швырнув на стол карандаш, открывает окошко.

К а с с и р *(кричит)*. Вы что, читать не умеете? За-кры-то!

Он начал фразу, показывая на табличку, прикрепленную с наружной стороны к окошку, и едва не получил по носу палкой — той самой, которой стучали по стеклу. Кассир смотрит в окошко и видит смущенное лицо — лицо Хосе Луиса. Он в седом парике и треуголке. В руках держит жезл, являющийся неотъемлемой частью формы.

К а с с и р *(удивленно)*. Что вам угодно?

Хосе Луис заискивающе улыбается.

Х о с е Л у и с *(вежливо)*. Простите... Это я.

Хосе Луис улыбается, как клоун, и театральным жестом снимает парик и треуголку. Кассир наконец узнает его.

К а с с и р. Вы не можете без фокусов! *(И сухо продолжает.)* Однако... уже закрыто!

Он хочет захлопнуть окошко, но Хосе Луис мешает ему, просунув туда жезл, и скороговоркой объясняет:

— Я знаю, что уже поздно. Поэтому мы и пришли в таком виде... прямо с...

Поворачивает голову направо и, обращаясь к кому-то невидимому, заканчивает фразу:

— ...кладбища. Верно?

В квадрате окошка появляется лицо Альвареса. Он тоже в парике и в треуголке.

А л ь в а р е с *(почтительно)*. Здравствуйте. Так оно и есть... Из-за этих бесконечных речей мы потеряли кучу времени...

Х о с е Л у и с *(умоляюще)*. Не заставляйте меня приходить еще раз, господин Коркера. Вы ведь знаете, что я всегда стараюсь быть точным... Это были грандиозные похороны... Общество писателей...

Кассиру хотелось бы рассердиться, но его одолевает любопытство.

К а с с и р. Ах, вот оно что? Кто же умер?

Х о с е Л у и с. Гм...

Смотрит на Альвареса, не зная, что ответить.

А л ь в а р е с. Понятия не имею...

Кассир качает головой. Ищет конверт с жалованьем Хосе Луиса.

К а с с и р. Вы отправляетесь на похороны, даже не потрудившись узнать, на чьи...

Х о с е Л у и с *(беспомощно разводя руками)*. И это при нашей-то нагрузке, да?

Это «да» адресовано Альваресу, который с серьезным видом соглашается:

— Ясное дело, в такую погоду мрут главным образом старики...

Кассир нашел конверт Хосе Луиса. Кладет его на прилавок перед окошком и протягивает Хосе Луису ордер на оплату, чтобы тот расписался.

Кассир. На этот раз я вам выдам деньги... Но в следующий — не опаздывать!

Хосе Луис *(расписываясь и возвращая ручку)*. Конечно, господин Коркера... Но столько речей! То один... то другой... То третий... Ужас! Большое спасибо, господин Коркера, большое спасибо...

Кассир закрывает окошко и продолжает покачивать головой. Хосе Луис и Альварес отходят от кассы. Теперь уже мы видим их во весь рост. На них короткие, доходящие до икр брюки, и у каждого в руке длинный жезл. Они идут по бесконечному коридору, с интересом изучая конверт с жалованьем Хосе Луиса.

Хосе Луис *(тоном триумфатора)*. Вот, смотри! «Сверхурочные 18 июля»...

Альварес читает надпись, на которую указывает пальцем Хосе Луис.

Альварес *(с завистью)*. Ты нашел клад... А еще не хотел подавать заявление...

Дело в том, что в конверте — зарплата палача, которую Хосе Луис получает вот уже несколько месяцев, не приступив еще к исполнению своих служебных обязанностей.

Хосе Луис. Ты проспорил пиво: мне все-таки выдали сверхурочные...

Альварес *(завидуя счастью, которое выпало на долю Хосе Луиса)*. Чистая работа... *(Берет в руки конверт и убеждается, что он не ошибся.)*... Здесь не сказано, что ты палач...

Хосе Луис забирает у него конверт и изучает его.

Хосе Луис *(самодовольно)*. Еще бы! Кассир, например, не знает, за что он мне платит... Тесть хотел представить меня ему, но я не согласился...

Недалеко от выхода из учреждения они встречают двух монахинь, которые смотрят на них с удивлением.

Альварес. Они, видите ли, удивлены!

Хосе Луис не обращает внимания на монахинь. Весьма довольный, продолжает:

— Я думаю, что мне должны повысить зарплату... Да, мне и впрямь повезло...

И самоуверенно заключает:

— Подумать только! А я еще собирался уехать в Германию!

Оба идут к выходу.

20. УЛИЦА ПЕРЕД ЗДАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. ДЕНЬ

Хосе Луис и Альварес выходят из здания. Пока они спускаются по лестнице, Альварес продолжает диалог, начала которого мы не слышали:

— В этом во всем моя заслуга... В конце концов, благодаря мне ты познакомился с Кармен...

Хосе Луис смеется. Он перескакивает через ступеньку, будто мальчишка, который вышел из школы.

Хосе Луис. Учись жить, несчастный!

Направляется к мотоциклу.

Альварес. Ведь это я... как говорится... представил ее тебе. А теперь у тебя жена, квартира, зарплата в двух местах, мотоцикл.

Хосе Луис поглаживает седло мотоцикла.

Альварес. Причем сам ты палец о палец не ударил...

Хосе Луис садится на мотоцикл. Альварес устраивается сзади и берет оба жезла. Продолжает все с большей завистью:

— Каждый месяц: тук-тук-тук... *(Протягивает руку, как бы за деньгами).* И дураки платят!

Хосе Луис резким движением ноги заводит мотор. Оборачивается к Альваресу:

— Где находится магазин?

Альварес. Какой?

Хосе Луис. В котором продаются матрасы... Ты же говорил, что тебе там делают скидку!

Альварес. Как? В таком виде?!

Хосе Луис выпрямляется, поворачивает треуголку мысом вперед. Альварес делает то же самое.

Хосе Луис *(голосом беззаботного счастливчика).* А разве сюда мы приехали в другом виде?

Мотоцикл отъезжает, быстро набирая скорость.

21. НОВЫЙ ДОМ. ПЛОЩАДКА ЛЕСТНИЦЫ. СПАЛЬНЯ. КОМНАТА АМАДЕО. ДЕНЬ

Кармен с сыном на руках открывает дверь квартиры. На площадке стоит довольный Хосе Луис, перед ним — грузчик с новым матрасом. Хосе Луис целует сына.

Хосе Луис. Вот мы и пришли... Поцелуй папу.. Тебе нравится? *(Грузчику).* Заходите, заходите... *(Ведет грузчика по длинному коридору к спальне.)* Сюда... Мне продали со скидкой... Сорок дуро...

Кармен из-за спины грузчика с большим интересом ощупывает матрас.

Кармен. Ты купил нейлоновый?

С трудом протискиваются в узкую дверь спальни.

Хосе Луис. Нейлоновый. Пенопластовые впитывают пыль... Да и летом на них жарко...

Грузчик кладет матрас на пол. Хосе Луис предлагает жене:

— Пощупай, пощупай... Он не потеряет формы, даже если на него уляжется слон... *(Грузчику.)* Правда ведь?

Грузчик. Это лучшее из того, что у нас есть.

Кармен снова ощупывает матрас. Хосе Луис решительно убирает постель, обнажая старый матрас.

Хосе Луис *(Кармен).* Дай, дай что-нибудь молодому человеку... У меня нет мелочи...

Кармен выходит в сопровождении грузчика. Хосе Луис укладывает новый матрас и ложится на него. Потом встает и тащит на себе старый матрас.

Амадео лежит в постели и читает журнал «Эль Касо». На обложке фотография молодчика с лицом прирожденного преступника и несколько крупных заголовков, в том числе: «Отцеубийца из Алькоя признается». На тумбочке несколько пузырьков с лекарствами.

Дверь открывается, и Хосе Луис, которого не видно за большим старым матрасом, старается втащить в комнату свою ношу.

Хосе Луис *(тоном любящего сына).* На нем вы себя почувствуете патриархом, вот увидите.

Амадео *(поднимая глаза от журнала).* Но, сынок, мне и так хорошо...

Хосе Луис бросает матрас на пол и кричит в коридор:

— Кармен, подсоби мне!

Подходит к кровати, откидывает простыню и собирается взять Амадео на руки. Старик последнее время не встает.

Хосе Луис. Скорее, иди сюда...

Прежде чем поднять старика, Хосе Луис бросает взгляд на журнал:

— Что-нибудь важное?

Амадео *(показывая ему обложку)*. Этот тип... зарубил топором отца и невестку...

Хосе Луис оставляет старика в постели.

Хосе Луис *(насторожившись)*. В таком случае...

Амадео продолжает говорить так, словно речь идет о первом причастии:

— ...И смертельно ранил соседа, который не имел никакого отношения...

Хосе Луис *(вырывая у него из рук журнал)*. Но... Его приговорят к смерти...

Входит Кармен с ребенком на руках.

Амадео *(тоном адвоката)*. Э, нет, мой дорогой... Никаких отягчающих обстоятельств... И потом, если даже его приговорят, ты тут ни при чем...

Кармен. Что случилось?

Хосе Луис *(все более озабоченный)*. Там один совершил убийство... Его приговорят, и мне придется... Так оно и будет, Кармен... *(Обращаясь к Амадео)*. Я подам в отставку...

Целует скрещенные пальцы.

Амадео. Ох-ох-ох... Если верить этим журналам, такое происходит каждую неделю. *(Бросает журнал на пол.)* Не беспокойся, ничего не случится, я тебе говорю... Да меняйте же наконец матрас, мне холодно...

Кармен *(Хосе Луису, который поднял «Эль Касо»)*. Слушай его Он в этих вещах разбирается... Кроме того, пока не состоится суд и...

Амадео. Правильно... Я простужусь...

Хосе Луис. Так-то оно так... Но ведь в любом случае, рано или поздно...

Подходит ближе к постели и берет старика на руки. Продолжает:

— Я от этих ужасов поседею. А ну-ка...

Водружает Амадео на стул, за который старик хватается, чтобы не упасть. Кармен снимает нижнюю простыню, и Хосе Луис кладет новый матрас поверх старого.

Амадео. С другой стороны, если я поправлюсь, я поеду с тобой, и все будет в порядке... *(Дотрагивается до своих ног.)* Но, насколько мне известно... этой беде уже не поможешь... Да и врач говорит... Когда у человека отнимаются ноги...

Кармен и Хосе Луис застилают постель Амадео.

Хосе Луис. Так или иначе, вы должны лечиться и не падать духом...

Берет тестя на руки и снова кладет на кровать. Амадео по-отечески похлопывает его по щеке.

Амадео. Я тебе все время повторяю: плохо, что ты не был на войне...

Хосе Луис укрывает Амадео, который чувствует себя очень удобно на двух матрасах.

Амадео. Знаешь, а ведь ты был прав. Красота, совсем другое дело, сынок... Дай, дай мне...

Хосе Луис протягивает ему журнал, но сначала как бы дает отцеубийце по физиономии.

Хосе Луис. Скотина... Зачем ему было убивать...

Идет к двери, Кармен с ребенком на руках — за ним.

Амадео *(устраиваясь поудобнее на своем мягком ложе)*. Хосе Луис...

Хосе Луис оборачивается.

Амадео. Спасибо, сынок... ты у меня самый добрый...

Хосе Луис пожимает плечами, смущенный похвалой старика, и окликает жену, которая идет на кухню:

— Пойдем...

Кармен останавливается и спрашивает:

— Постой... ты что?..

Хосе Луису кажется естественным его желание. Он открывает дверь в спальню.

Хосе Луис *(ласково)*. А почему бы и нет?.. Отнеси ему малыша...

Кармен все еще в нерешительности. Хосе Луис обнимает ее и целует в шею.

Хосе Луис *(шепотом)*. После такой нервотрепки... и на новом матрасе...

Кармен идет в комнату отца, а Хосе Луис входит в спальню, где на двуспальной кровати искушающе сверкает новенький матрас. Постельное белье навалом громоздится на стуле. Хосе Луис садится на матрас и заставляет его пружинить, довольный результатом. Его рука натыкается на ярлык, который он отрывает. Затем он разваливается на матрасе животом кверху. Входит Кармен.

Хосе Луис. Подушку...

Кармен *(озадаченно)*. Но, может быть, я постелю?

Хосе Луис протягивает руки к жене. Бормочет:

— Да что там стелить... Иди ко мне...

Кармен опускает жалюзи и идет к кровати, расстегивая на ходу халат.

Кармен *(польщенная, радостная)*. У тебя появляются причуды... В такое время...

Хосе Луис берет ее за руки, притягивает к себе и целует.

Хосе Луис. Смотри, какая прелесть... Ни вмятин, ни... Царица... иди ко мне...

Кармен часто дышит, обнимая мужа.

Кармен. Тише, а то услышат...

В этот момент раздается звонок в дверь. Кармен поднимает голову, но Хосе Луис прижимает ее к груди.

Хосе Луис. Не обращай внимания, это, наверно, газовщик...

Начинает снимать с Кармен халат. В это время издали слышится голос Амадео:

— Звонят!

Снова звонок в дверь, на который Хосе Луис по-прежнему не реагирует.

Кармен *(умоляюще)*. Нет, нет, звонок действует мне на нервы.

Хосе Луис, раздосадованный, кричит:

— Кто там?

Голос *(за кадром)*. Письмо!

Хосе Луис *(громко)*. Подсуньте под дверь!

Снова обнимает Кармен.

Голос *(за кадром)*. Нужно расписаться!

Амадео *(голос за кадром)*. Надо расписаться!

Хосе Луис, отчаявшись, встает с кровати и направляется в коридор.

Хосе Луис *(ворчливо)*. Иду, иду...

Открывает дверь и видит на площадке почтальона.

Почтальон. Родригесу, Хосе Луису... Заказное.

Протягивает ему карандаш, и Хосе Луис расписывается в книге. Не глядя, берет письмо и ищет в кармане чаевые для почтальона. Не находит.

Хосе Луис. Я без пиджака... В другой раз...

И закрывает дверь. Вернувшись в спальню, оставляет письмо на тумбочке, так и не взглянув на него, и укладывается рядом с женой.

Хосе Луис *(мурлыча)*. Кому нужны эти расписки... Иди ко мне... Больше я не открою, даже если...

Кармен прижимается к мужу и спрашивает:

— А что это за письмо?

Хосе Луис. Не все ли равно... Милая... Халат...

Неожиданно вскакивает, как заводная кукла: единственного взгляда, рассеянного и безразличного, который он бросил на конверт, оказалось достаточно, чтобы в его сознании возникло острое и невыносимое чувство опасности. Сидя на кровати, берет письмо и, посмотрев на штамп, вскрывает конверт. Бормочет:

— Министерство...

Читает письмо. Прочтя, застывает и не отрывает от него глаз.

Кармен *(по-прежнему обнимая его. Нежно)*. Прочтешь потом... Иди ко мне...

Но Хосе Луис не шевелится и по-прежнему не отрывает взгляда от письма.

Кармен. Я уже сняла халат...

Наконец Кармен понимает: что-то случилось. Нетерпеливо спрашивает:

— Да что с тобой?

Хосе Луис встает, не отвечая. Выражение его лица изменилось, рука, держащая письмо, дрожит, но он действует с холодной решимостью, почти машинально: идет к столу, роется в куче газет и находит пачку линованной бумаги, вынимает из пиджака авторучку и садится, собираясь что-то писать. Кармен с любопытством поднимает с пола конверт. Едва пробежав его глазами, встает с кровати и, надевая халат, подходит к Хосе Луису. Стоя у него за спиной, читает листок, лежавший в конверте, потом то, что Хосе Луис начал писать. Кладет на плечо мужа руку и с грустью говорит:

— Хосе Луис...

Хосе Луис продолжает писать, словно не слышал ее. Она настойчиво повторяет, уже не с грустью, а с отчаянием:

— Хосе Луис... Хосе Луис...

Хосе Луис продолжает писать, как загипнотизированный. Она его трясет, но, видя, что все бесполезно, выходит из комнаты. Не поднимая головы, Хосе Луис глухим голосом произносит:

— Я этого не сделаю.

Кармен задерживается на пороге, потом идет в комнату отца.

Кармен *(трагический голос за кадром)*. Папа... папа... Он получил извещение...

Оставшись один, Хосе Луис продолжает писать, с трудом подбирая слова.

Кармен *(голос за кадром)*. Он должен казнить, папа...

Слышно, как Кармен, заканчивая фразу, всхлипывает. Хосе Луис смотрит на дверь.

Амадео *(голос за кадром)*. Но... в Мадриде? Когда?

Кармен плачет.

Кармен *(голос за кадром)*. Не знаю... В письме сказано... Ах, какое несчастье...

Хосе Луис как будто хочет встать, но продолжает сидеть — один на один со своими мыслями.

Амадео *(голос за кадром)*. Хорошо, хорошо, спокойней... Посмотрим, принеси письмо... Хосе Луис...

Хосе Луис решительно пишет...

Амадео *(голос за кадром)*. Хосе Луис...

Входит Кармен с мокрым от слез лицом.

Хосе Луис *(обнимая ее)*. Не беспокойся... Не плачь... Я немедленно подаю в отставку... *(Кричит в сторону коридора.)* Я этого не сделаю!

Амадео *(голос за кадром)*. Хосе Луис, дай мне письмо... Иди сюда...

Хосе Луис, продолжая обнимать Кармен, кричит:

— Я подаю в отставку! И если нас отсюда выставят — наплевать!

Амадео *(голос за кадром)*. Да идешь ты, наконец, или нет? Не поступай опрометчиво... А вдруг в последний момент его помилуют?..

По-прежнему слышен голос старика, и создается впечатление, что, обнимая жену, Хосе Луис хочет защитить ее и себя самого от соблазнительных доводов Амадео.

Амадео *(голос за кадром)*. Проклятые ноги... Подать в отставку всегда успеешь... Ты говоришь, что готов потерять квартиру... А куда мы денемся?

Кармен отрывает голову от плеча Хосе Луиса и со страхом смотрит на него, беззащитная перед словами отца. Хосе Луиса тоже поражают слова старика, но в ответ на них он направляется к столу, чтобы дописать заявление об отставке.

Хосе Луис. На улицу!

Амадео *(обеспокоенный голос за кадром)*. Хосе Луис... Кармен, скажи ему сама... Пусть подумает о сыне...

Авторучка Хосе Луиса повисает в воздухе. Кармен подходит к нему, вытирая слезы. На мгновение она задумывается. Затем, видя, что на Хосе Луиса ничто не действует, говорит ему ласково, покорно, рассудительно:

— Может, он прав...

Хосе Луис смотрит на нее и понимает, что она склоняется на сторону отца. Но он не позволяет себе кричать, только бросает ручку.

Хосе Луис *(рыдающим голосом)*. Что мне делать? Что делать?

Амадео *(голос за кадром)*. Учти, тебе придется вернуть все, что ты получил до сих пор...

Хосе Луис *(отчаянно, в бессильной ярости)*. И верну!

Кармен подходит к нему ближе и с горечью спрашивает:

— Вернешь? А из каких денег?

Хосе Луис обрушивает свой гнев на Кармен.

Хосе Луис *(в истерике)*. Чего же ты хочешь? Чтобы я стал убийцей?

Амадео *(голос за кадром, иронически)*. О-о-о! Начинается трагедия... Послушай! Ты явишься и, если не будет помилования, скажешь «до свидания» и уйдешь...

Кармен. Успокойся... Верно, ты должен подать в отставку, выхода нет... Но я считаю, что тебе следует явиться...

Хосе Луис *(бормочет)*. Но... но... как же я пойду по улице с саквояжем?

Амадео не сдается.

Амадео *(голос за кадром)*. Хосе Луис... Принеси письмо... Это будет в Мадриде?

Кармен берет письмо и ищет нужное место.

Кармен. Подожди... Нет... В Пальма-де-Майорка...

Хосе Луис *(вырывая у нее письмо, с ужасом)*. В Пальма-де-Майорка!

Амадео *(обыденнейшим тоном)*. Я никогда не работал в тамошней тюрьме, иначе я дал бы тебе записку...

Кармен *(довольно спокойно)*. Надо приготовить тебе белье...

Хосе Луис *(вырывая у нее письмо, с ужасом)*. В Пальма-де-Майорка... С саквояжем... Всем сразу станет ясно...

Кармен. Какая разница, там или в другом месте... Пусти, пойду стирать тебе белье...

Амадео *(голос за кадром)*. Ты счастливей меня... Я только ездил в Сорию, да еще в несколько подобных мест...

Хосе Луис *(прижимаясь к Кармен, как ребенок)*. Нет, Кармен, я не поеду... Не поеду...

Кармен *(гладя его, как маленького)*. Ты должен поехать... Должен надеяться до последнего момента...

Хосе Луис *(плаксиво)*. Нет, один ни за что... Поедем вместе, Кармен... Тогда никто не догадается...

Хосе Луис сказал это, возможно, не отдавая себе отчета в значении своих слов.

Кармен. Вместе? *(Задумывается.)* Но ведь нужны деньги на дорогу, много денег...

Хосе Луис проглатывает слюну.

Хосе Луис. А малыш?

Кармен. Паки поможет отцу... *(Меняет тон на более решительный.)* Ты прав: если ты поедешь один, то натворишь бог знает чего. С твоими нервами...

Амадео *(голос за кадром)*. Что там еще случилось?

Кармен отстраняется от Хосе Луиса и, направляясь к шкафу, кричит отцу:

— Я еду с ним!

Открывает шкаф с бельем и что-то ищет.

Кармен *(Хосе Луису)*. В конце концов, у нас не было свадебного путешествия, и вообще мы никуда не ездили.

Хосе Луис широко раскрывает глаза, пораженный: Кармен достала из шкафа купальный костюм и прикладывает его к груди, проверяя, можно ли его надеть.

Амадео *(голос за кадром)*. Поедешь с ним? Куда?

Кармен не отвечает. Как ни в чем не бывало спрашивает Хосе Луиса:

— Как ты думаешь? Сойдет или купить новый?

Хосе Луис. Как... Как ты можешь думать про купанье?

Кармен *(самым естественным тоном)*. Раз уж я еду к морю... К тому же, ты не собираешься там работать!..

Амадео вошел в спальню и поднял с пола письмо из министерства.

Амадео *(в отчаянии)*. А как же я?

Хосе Луис смотрит на него с ненавистью.

22. ПАРОХОД И ПОРТ ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКА. ДЕНЬ

Пароход только что прибыл в Пальма-де-Майорка. Спускают сходни, и на молу под огромным щитом с надписью «Пальма приветствует мисс Объединенных Наций» видны несколько легковых машин, фоторепортеры, оркестр, официальные лица и т. д.

Играет оркестр.

Едва спустили сходни, на борт устремляются фоторепортеры: на палубе их ждут два или три десятка юных красавиц. Солнечный летний день создает ощущение праздника. Пока фоторепортеры щелкают затворами, среди множества туристов мы замечаем Амадео, Хосе Луиса и Кармен с сыном. Семейство старается протиснуться к сходням. В то время как Амадео и Кармен любуются островом и рассматривают толпу

«мисс» и т. д., бедняга Хосе Луис стоит с чемоданами в руках, нервничая и обливаясь холодным потом: он не забывает о причине этого путешествия, о которой ему напоминает черный саквояж в руке Амадео. Увидев в числе «мисс» двух или трех африканок, Кармен удивляется:

— Негритянки? Причем они тут?

Амадео *(заметно оживляясь)*. Вон та, в зеленом платье, ничего... Должно быть, мулатка... А, Хосе Луис?

Хосе Луис *(резко)*. А мне-то какое дело до негритянок!..

Амадео *(поравнявшись с ним и кладя руку ему на плечо)*. Напротив, тебя должно это интересовать... Разве ты не понимаешь, что так больше надежды на помилование?

Хосе Луис пристально смотрит на старика, и тот продолжает с полным знанием дела и в то же время как бы обращаясь к ребенку:

— Конкурс красоты, праздник... О какой казни может идти речь?

Хосе Луис *(желая верить словам старика)*. Это верно...

Амадео. Помнится, однажды, в Валенсии, много лет назад... в дни карнавала помиловали одного...

И хлопает Хосе Луиса по спине, чтобы передать ему свою жизнерадостность и веру в будущее. Хосе Луис, у которого немного отлегло от сердца, наконец обращает внимание на девушек.

Хосе Луис *(с видом заговорщика, тестю)*. Вы о какой негритянке?

Но старик уже забыл о красотках и теперь любуется живописной панорамой города.

Амадео. Смотри, смотри, какая прелесть... А ты еще не хотел ехать...

Хосе Луис смотрит на город, и Кармен понимает, что у него изменилось настроение.

Кармен *(ласково)*. Нравится?

Хосе Луис утвердительно кивает головой. Они подошли к сходням, по которым уже спускаются самые проворные из пассажиров. Хосе Луис пропускает вперед Кармен и тестя, а сам, полный любви к жизни, разглядывает группу «мисс».

Хосе Луис *(машинально)*. Проходите, проходите... Осторожнее с малышом...

Спускаясь, старик замечает внизу, у трапа, двух полицейских. Обрадовавшись, поворачивается к Хосе Луису.

Амадео. Смотри, они уже тут...

Хосе Луис, продолжающий любоваться красотками, поворачивает голову и видит двух полицейских.

Хосе Луис *(удивляясь)*. Что?

Амадео объясняет ему как нечто само собой разумеющееся:

— Так принято. Сейчас они доставят тебя в тюрьму...

И, не дожидаясь реакции испуганного Хосе Луиса, остановившегося посреди трапа с чемоданами в руках, Амадео спускается к полицейским и приветливо сообщает им:

— Вот мы и прибыли!

Один из полицейских видит саквояж и протягивает руку за документами. Амадео улыбается и через плечо указывает туда, где, по его мнению, находится Хосе Луис.

Амадео. Нет, он там. Это мой зять...

Поворачивает голову и обнаруживает, что Хосе Луис пытается снова подняться на борт, борясь с потоком спускающихся людей — «мисс», фоторепортеров и организаторов конкурса красоты.

Амадео бросается вверх по трапу. Кармен с ребенком на руках — за ним. Полицейские, ничего не понимая, провожают их изумленными взглядами.

Амадео. Хосе Луис! Хосе Луис!..

Хосе Луису не удается прорваться сквозь толпу, спешащую вниз, и Амадео и Кармен настигают его. Старик хватает его за руку.

Хосе Луис. Нет, я не пойду... Амнистия... Да какая тут амнистия! Они ждут! Я вернусь в Мадрид, ничего не хочу знать...

Толпа прижимает Хосе Луиса к перилам, и, воспользовавшись этим, Амадео изо всех сил старается уговорить его.

Амадео. Да нет же, так принято. Это ничего не значит... Они представят тебя тюремному начальству — и все...

Хосе Луис *(стараясь пробиться сквозь толпу)*. Разрешите пройти. Уедем отсюда, Кармен!.. Дайте пройти... Кармен!

Амадео *(Кармен)*. Скажи ему ты... Не нужно ускорять события... Надо ждать до последнего момента...

Кармен не приходится ничего повторять, потому что Хосе Луис слышал.

Хосе Луис. Отправляйтесь в тюрьму сами! Я умываю руки! Пойдем, Кармен, не слушай его...

Амадео *(увлекая его вниз и качая головой)*. До чего же ты жестокий, сынок... На кого записана квартира? Кто получает жалованье? Кто состоит в должности? Пошли, будет ребячиться... Говорю тебе, это пустая формальность. Поезжай с ними, а мы тебя подождем в пансионате...

Хосе Луис смотрит на полицейских, потом на Кармен.

Кармен. Слушайся его, Хосе Луис, у него есть опыт...

Хосе Луис *(готовый уступить)*. А вы не поедете со мной?

Наконец-то Амадео заставил его спуститься на несколько ступенек.

Амадео. Если они позволят, я готов... Но не думаю... Да успокойся ты, не смеши людей... Я же тебе сказал, что в дни карнавала помиловали одного... Ты не мешай, я с ними сам поговорю...

Они уже на молу.

Амадео *(полицейским, фамильярно)*. Идите сюда... Мой зять думал, что забыл одну вещь...

Первый полицейский. Хосе Луис Родригес... Кто из вас?

Хосе Луис не может удержаться от последней попытки защититься. Указывает на тестя, но Амадео уже говорит:

— Предъяви, предъяви ему документы.

И сам вынимает их у Хосе Луиса из кармана и показывает полицейским. Хосе Луис печально смотрит на Кармен.

Амадео. Вот, пожалуйста....

Хосе Луис *(Кармен, грустно)*. Значит ты поедешь в пансионат?

Кармен утвердительно кивает. Пока полицейские изучают документы Хосе Луиса, Амадео просит их:

— Я знаю, что это не положено, но если бы я мог поехать с ним... Это особый случай, я столько лет был...

Полицейские даже не слушают его.

Первый полицейский *(Хосе Луису)*. Прошу вас...

Хосе Луис смотрит на Амадео, в бессилии разводящего руками.

Амадео *(на ухо Хосе Луису)*. Ступай, ступай...

С саквояжем в руке провожает его несколько шагов, успокаивая:

— Если до ночи ты не вернешься в пансионат, я сам приеду в тюрьму...

Хосе Луис с двумя полицейскими по бокам удаляется, то и дело оглядываясь, но не обращая внимания на саквояж в руке Амадео.

Кармен. Папа, саквояж...

Старик хлопает себя по лбу и бежит за полицейскими.

Амадео. Минуточку! Саквояж!

Сует его Хосе Луису, который безуспешно пытается спрятать руки. Старик вспоминает еще что-то и дает Хосе Луису карточку с адресом пансионата.

Амадео. Себе я уже переписал. Иди, иди... До свиданья, господа...

Кармен подошла к отцу. Полицейские и Хосе Луис направляются к джипу, стоящему в нескольких метрах дальше. Амадео держит в руках листок, куда он переписал адрес пансионата, который ему рекомендовали. Берет за руку Кармен, провожающую взглядом Хосе Луиса.

Амадео *(увлекая ее за собой)*. Ну, поехали в пансионат... Не волнуйся, ничего с ним не случится...

Перед ними запряженная лошадью коляска. Амадео в нерешительности: ехать в коляске или в такси.

Амадео. Возьмем извозчика, по крайней мере увидим что-нибудь.

Кармен пожимает плечами. Старик, у которого освободились руки, поднимает оставленные Хосе Луисом чемоданы и тащит их к коляске.

Амадео *(внуку)*. Лошадка... Смотри, лошадка...

Забираются в коляску, и старик дает кучеру адрес пансионата. Освободившись от чемоданов, берет малыша на колени и качает его. Коляска поехала под веселый звон бубенцов, которыми увешана сбруя лошади.

Кармен *(оглянувшись)*. Вот он...

Амадео смотрит и видит проезжающий мимо полицейский джип. Хосе Луис, сидящий между полицейскими, глядит на своих, пока джип не исчезает из виду.

Амадео *(довольный, ребенку)*. Помаши папе ручкой... Вот так... До свиданья, папочка...

23. ТЕРРАСА ПАНСИОНАТА В ПАЛЬМА. ДЕНЬ

Терраса скромного старого дома, расположенного между двумя огромными отелями перед заливом. На ней — Амадео, который загорает, покрыв голову носовым платком и закатав брюки, Кармен в купальном костюме и ребенок, который спит или играет с дедушкой. Вдалеке слышатся громкие голоса и смех. Находящиеся на террасе чувствуют себя как в земном раю.

Из дверей, ведущих в дом, выходит неряшливо одетая, растрепанная горничная.

Горничная. Хозяйка спрашивает, когда будет обедать господин, который должен приехать,— с вами или потом...

Кармен вопросительно смотрит на Амадео.

Амадео *(разводя руками)*. Думаю, он не появится...

Кармен *(с упреком в голосе)*. Но ты сказал, что...

Амадео снова разводит руками и спрашивает горничную:

— Послушай, а что на обед?

Горничная пожимает плечами, показывая, что не знает, и, перегнувшись через перила террасы, кричит:

— Эладия! Гости из седьмого спрашивают, что на обед!

Снизу что-то отвечают, но нельзя разобрать ни слова.

Горничная переводит:

— Плоды моря, а на третье бананы...

Кармен *(не переставая тревожиться)*. Но, папа, ты же сказал, что он приедет...

Горничная выходит.

Амадео *(не слушая Кармен)*. Слыхала? Плоды моря... Раки, каракатицы, устрицы... Пусть что угодно говорят о северных рыбах, а этих

лакомств пусть не трогают... Ничего нет вкуснее... Правда, не считая сардин...

К а р м е н *(имея в виду ребенка)*. Не напекло бы ему головку...

Амадео снимает с головы носовой платок и заботливо прилаживает его на голову внука.

А м а д е о. Иди сюда... смотри, смотри, как он уже загорел...

Кармен наблюдает за тем, что делает отец, потом смотрит вниз, на море, которое почти рядом. Вдруг ее взгляд задерживается на определенной точке, она поднимает руку и кричит:

— Хосе Луис!

Старик, который уже почти управился с платком, поднимает голову, явно удивленный, и идет к Кармен.

К а р м е н. Хосе Луис! Хосе Луис!

Теперь и мы видим Хосе Луиса: он стоит в растерянности у подножия склона, на котором находится пансионат, с адресом в руке. Он услыхал голос Кармен и вот уже бежит по каменной лестнице к дому.

Х о с е Л у и с. Кармен! Кармен!

Амадео подошел к Кармен, но она спешит открыть дверь, ведущую с улицы прямо на террасу. Надев очки, Амадео обнаруживает, что Хосе Луис без саквояжа.

А м а д е о *(разочарованно)*. Саквояж... Так и есть, этот идиот сбежал...

Хосе Луис приближается к двери и, запыхавшись, продолжает кричать:

— Кармен! Кармен!

Кармен открыла дверь, и Хосе Луис налетает на нее, обнимает, целует, прижимает к себе и задыхающимся голосом, вне себя от радости сообщает:

— Кармен... Нет, нет... Он заболел... Мне ничего не нужно делать... Все обошлось...

Старик, недоумевая, подходит к ним. Хосе Луис, довольный, повторяет ему:

— Все обошлось... Он заболел... Тяжело заболел... *(Подходит к ребенку, который играет на одеяле, расстеленном на полу.)* Сынок... Поцелуй папу...

Чмокает ребенка, дрожа от радости, забыв обо всем на свете.

Кармен смотрит на отца, ничего не понимая. Амадео, пытаясь разобраться в сложившейся ситуации, подходит к Хосе Луису и подробно его допрашивает:

— Значит, ты говоришь, что... он заболел...

Хосе Луис готов кричать о своей радости на весь мир, но Амадео его сдерживает:

— Успокойся, успокойся... Объясни...

Но Хосе Луиса уже не остановить, он хватает тестя за руку и объявляет:

— Да... Я думаю, он умрет... Если бы не так, чего бы они стали ждать?

Кармен меланхолично спрашивает, вернее, делает вывод:

— Выходит, мы возвращаемся в Мадрид?

Хосе Луис забывает о тесте и обращается к жене. Он, как никогда, весел.

Х о с е Л у и с. Какой там Мадрид! Смотри...

Вытаскивает из кармана пачку денег и машет ими перед носом Кармен.

Х о с е Л у и с. Командировочные на неделю вперед! Мне сказали, что я должен ждать, а там видно будет...

Кармен счастлива. Хосе Луис оборачивается к Амадео, который почесывает нос, явно стараясь сосредоточиться.

Хосе Луис. Если все пойдет хорошо, если он подождет умирать, мы останемся здесь на целый месяц, и мне будут идти командировочные... Ведь он должен быть тяжело болен, правда? Из-за какой-нибудь ерундовой болячки...

Амадео не отвечает на вопрос Хосе Луиса. С видом человека, который знает все на свете, он, в свою очередь, ограничивается вопросом:

— Ладно, что же они тебе сказали?

Хосе Луис. «Вот вам командировочные на неделю. Он болен и привести в исполнение...

Оглядывается и тихо добавляет:

...приговор нельзя. Неделю вы пробудете здесь. Оставьте свой адрес. Обо всех перемещениях ставьте нас в известность»... Все ясно, правда?

Амадео в восторге. Он больше не сдерживает себя: все его опасения позади.

Амадео. Ясно, как божий день, сынок! Минутку...

Идет к двери, ведущей в дом, и в то время, как Хосе Луис снова берет на руки ребенка, чтобы его поцеловать, кричит:

— Послушайте! Пусть приготовят еще одну порцию плодов моря... Второй господин прибыл...

Хосе Луис отказывается от роли нежного отца, чтобы спросить у Кармен:

— Ну, как пансионат?

Кармен не успевает ответить: Амадео увлекает Хосе Луиса к перилам.

Амадео. Превосходный! Великолепный... Я знал, что Мунос не станет обманывать... На обед — плоды...

Все стоят у перил. Хосе Луис по-прежнему держит на руках ребенка, Амадео с гордым видом простирает вперед руку, и взгляду Хосе Луиса предстают бассейны роскошных отелей, в которых плавают красивые девушки, пальмы набережной, портовые сооружения — все это под голубым небом, все озареннос ярким солнцем. Передавая ребенка деду, Хосе Луис говорит с искренним волнением в голосе:

— Это... Это просто чудо... А я-то...

Хосе Луис имеет в виду, что он не хотел ехать в Пальму. Продолжает, окончательно растрогавшись:

— Амадео... Нет, папа, потому что вы как отец... Простите меня за то, что...

Обнимает старика, рискуя раздавить ребенка.

24. ВХОД В ГРОТЫ ДРАЧ. ДЕНЬ

Парк, в котором находится вход в гроты Драч. По сосновой аллее движется несколько автобусов с туристами. Подъезжают и останавливаются перед входом в гроты, откуда выходит вереница туристов, которые садятся в другие автобусы, стоящие неподалеку.

Едва автобусы останавливаются, пассажиры торопятся выйти из них. Это несколько десятков иностранцев, все в шляпах — соломенных или из рафии, все довольные, все в предвкушении чего-то необыкновенного. Разумеется, здесь масса красивых девушек, большей частью в шортах или брюках. Гид собирает экскурсантов, как овец. В соответствующий момент обнаруживается, что две шляпы защищают от солнца Балеарских островов Хосе Луиса и Кармен. Они похожи на молодоженов, держатся за руки. Хосе в сандалетах на босу ногу; Кармен — в своем

самом легком платье; на шее у нее бусы из кукурузных зерен или из чего-то еще в этом роде.

Гид *(по-испански).* Не отставайте от группы... Идите за мной гуськом... *(То же самое — по-английски и по-французски.)* Внимание, спуск опасен, соблюдайте осторожность, чтобы не поскользнуться. *(То же самое по-английски и по-французски.)*

Все вновь прибывшие образуют длинную цепочку. Хосе Луис и Кармен оказываются позади красивых девушек-шведок в шортах и медленно идут ко входу в гроты и по лестнице, ведущей под землю.

Знакомые предупреждения гида на разных языках.

Кармен смотрит на ноги девушки в коротеньких шортах, идущей впереди, крепкие и мускулистые, прекрасной формы. Без всякого злого умысла машинально и потому вполне серьезно говорит Хосе Луису:

— Какая гадость! Не вздумай спорить, что это не так... Всякие иностранки...

Хосе Луис кивает головой, хотя он — другого мнения.

Кармен настаивает:

— А какие грязнули! Погляди, погляди на их волосы...

Хосе Луис смотрит на волосы девушки, блестящие, пушистые, свежие, с небрежным изяществом ниспадающие на плечи. И Хосе Луис, который несмотря ни на что влюблен в свою жену, Хосе Луис, держащий за руку Кармен, снова в знак согласия кивает в ответ — лицемерно, но последовательно.

Они вступают в грот, от входа начинается полукилометровая тропинка, проходящая между гигантскими сталактитами и сталагмитами. Хосе Луис, как заправский турист, подносит палец к губам, предлагая жене помолчать: снизу доносится голос гида, пережевывающего свои восторженные объяснения.

25. ГРОТЫ ДРАЧ. НАТУРА

Процессия туристов по извилистым тропинкам каменного леса спускается к озеру. Объектив останавливается на Хосе Луисе и Кармен; эхо усиливает голос гида и звук шагов.

Гид *(стандартные объяснения).*

По лицам Кармен и Хосе Луиса видно, какое впечатление производят на них слова гида, оба счастливы и с трудом верят, что это не сон. Единственное, что отличает их от остальных,— внимание Хосе Луиса к жене: он не выпускает ее руку из своей, поддерживает ее, чтобы она не поскользнулась и т. д.

Гид продолжает объяснения.

Когда экскурсанты минуют точку, где установлена камера, и их видно со спины, в глубине грота открывается озеро — главная цель экскурсии. Туристы, идущие впереди, уже усаживаются в приготовленные для них лодки.

(Вся сцена связана с натурными съемками, поэтому описать ее невозможно. Во всяком случае ясно, что Хосе Луис и Кармен чувствуют себя важными господами и забыли не только о приговоренном к смерти, но и о ребенке, который под присмотром Амадео, должно быть, делает первые шаги по набережной Пальмы.)

Теперь мы находимся по другую сторону озера, на небольшом причале у подножия амфитеатра, откуда открывается вид на все озеро. Туристы выбираются из лодок. В толпе мы различаем Хосе Луиса и Кармен.

Ступив на берег, они ищут скамью и садятся. Снова вокруг звучит разноязыкая речь. Когда последний экскурсант выходит из лодки, вновь воцаряется абсолютная тишина.

Гид объясняет присутствующим, что́ им еще предстоит увидеть.

Сначала тишина, потом объяснения гида, голос которого, усиленный эхо, звучит таинственно, необычно, оказывают на Хосе Луиса и Кармен удивительное действие, и они снова берутся за руки, прижимаются друг к другу, как двое влюбленных в кинотеатре. Хосе Луис полуобнимает Кармен...

Наплыв.

■

В глубине за озером прожектор освещает скалы, и они отражаются в прозрачной воде, одновременно где-то вдали раздается музыка.

Баркарола.

По мере того как музыка приближается и становится громче, берега озера светлеют и над темной водой вспыхивает гирлянда лампочек, украшающая лодку с музыкантами. Хосе Луис и Кармен, которые вырисовываются теперь темными силуэтами на фоне светлой части озера, сидят, тесно прижавшись друг к другу. Неожиданно их уста сливаются в поцелуе. Все удивительно, все прекрасно, все сон, ничто не напоминает о реальной жизни, которая продолжается за пределами грота. Экскурсанты восторженно перешептываются.

В глубине грота, там, откуда туристы переправились на этот берег озера, вдруг появляется лодка с двумя полицейскими на борту. У одного в руках мегафон, второй гребет по направлению к причалу, расположенному у подножия амфитеатра.

Полицейский *(в мегафон)*. Господин Хосе Луис Родригес... Господина Хосе Луиса Родригеса, находящегося среди экскурсантов, просят пройти на причал...

В том месте, где сидят Хосе Луис и Кармен, слышны лишь обрывки слов полицейского:

—...гес... просьба... причал...

Проехав перед амфитеатром, лодка с музыкантами удаляется. Хосе Луис и Кармен провожают ее глазами, влюбленные друг в друга сильнее, чем когда-либо, — о таком счастье они никогда и мечтать не могли.

Лодка с полицейскими неумолимо приближается к берегу. Она уже совсем рядом.

Полицейский с мегафоном. Господина Хосе Луиса Родригеса...

Хосе Луис вскакивает. Испуганно глядит вниз, не видя на темной поверхности озера лодки, из которой звучит усиленный мегафоном голос.

Хосе Луис *(в ужасе)*. Это за мной...

Кармен тоже встает. Лодка причалила к берегу, и полицейские направляют прожектор в сторону амфитеатра. Луч света падает на Хосе Луиса.

Полицейский. Это вы?

Хосе Луис тут же опускается на скамейку и усаживает Кармен, но неумолимый голос не умолкает. Луч прожектора по-прежнему освещает Хосе Луиса с женой.

Полицейский. Прошу... пожалуйте вниз...

Хосе Луис снова поднимается. У него не хватает мужества отрицать, что он — это он: туристы смотрят на него.

Хосе Луис. Но моя... жена...

Кармен *(шепотом)*. Может, он умер...

Хосе Луис в два прыжка спускается к берегу в надежде, что предположение жены подтвердится.

Хосе Луис. Он умер?

Полицейский недоумевающе смотрит на него.

Полицейский. Кто? *(Протягивает ему руку.)* Прошу в лодку...

Как бы не отдавая себе отчета в происходящем, Хосе Луис позволяет полицейскому взять себя за руку. Полицейский тащит его в лодку, а он, едва погас прожектор, показывает в темноту, поглотившую Кармен.

Хосе Луис. Да нет же... Там моя жена... *(Негромко зовет.)* Кармен... Кармен...

Уже в лодке повторяет свой вопрос:

— Он умер, правда?

Полицейский *(указывая ему на скамью в лодке)*. Садитесь. Нам приказано доставить вас в районную тюрьму...

Лодка отчалила от берега, и Хосе Луис, сообразив, в чем дело, нисколько не стесняясь туристов, в панике кричит:

— Кармен! Пришли отца! Пусть он придет!

26. ТЮРЕМНЫЙ ДВОР. РАССВЕТ

Слабый свет раннего утра освещает мрачный тюремный двор. В углу Хосе Луис и тюремщик закапывают в землю столб, к которому будет привязан приговоренный к смерти. Ясно, что без помощи тюремщика у Хосе Луиса ничего бы не получилось, настолько он подавлен и встревожен. Тюремщик забивает несколько клиньев в яму, потом в сомнении раскачивает столб.

Тюремщик. Вы думаете, выдержит?

Хосе Луис, дрожащий, бледный, не в своей тарелке, не знает, что говорит.

Хосе Луис. Какая разница... В которому часу придет помилование?

Тюремщик выпрямляется, смотрит на Хосе Луиса и качает головой.

Тюремщик. Как правило, оно никогда не приходит... Так... А куда девать стул?

Хосе Луис пожимает плечами и берет стул.

Хосе Луис *(как бы про себя)*. Я подожду до последнего... А потом...

Хосе Луис установил стул как нельзя хуже — между столбом и стеной, так что приговоренный к смерти не сможет на него сесть.

Тюремщик. Однако... Как же он сядет?

Хосе Луис пожимает плечами. Ему на все наплевать. Тюремщик вытаскивает стул, чтобы поставить его по другую сторону столба, и в отчаянии закатывает глаза. Бормочет.

Тюремщик. О господи... Чего они тянут!

В этот момент появляется другой Тюремщик.

Второй тюремщик *(Хосе Луису)*. Пожалуйста, пройдите в помещение для свиданий, к вам пришли.

27. ЗДАНИЕ ТЮРЬМЫ. КОРИДОР. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СВИДАНИЙ. КУХНЯ. УТРО

Длинный тюремный коридор, упирающийся в дверь, на которой видно множество запоров. Старший тюремщик сопровождает двух с иголочки одетых мужчин.

Первый господин *(старшему тюремщику)*. Осужденный сказал, что он ни разу в жизни не пробовал шампанского, и я позволил себе...

Старший тюремщик. Не вижу ничего предосудительного... Обычно об этом заботится наш интендант, но если вы лично...

Старший тюремщик открывает запоры двери, ведущей в помещение для свиданий.

Первый господин *(Второму)*. Следует признать, что бедняга вел себя весьма достойно...

Второй господин. Просто удивительно...

Входят в помещение для свиданий; по другую сторону двойной решетки, разделенной узким проходом, стоит Шофер в форме. В руке у него бутылка французского шампанского. Здоровается.

Шофер. Извините, господин маркиз, но я опоздал, потому что ключи от погреба были у госпожи маркизы, и нам пришлось ее разбудить...

Старший тюремщик открывает дверь, ведущую в проход между решетками.

Первый господин. Хорошо, хорошо... Французское?

Шофер. Да, господин маркиз...

Старший тюремщик берет бутылку и протягивает ее Первому господину, который смотрит на этикетку.

Первый господин. Превосходно, превосходно... У вас найдется лед?

Старший тюремщик *(закрывая дверь)*. Думаю, что да...

Второй господин. Идеальным было бы подать его в ведерке... Это выглядело бы более...

Маркиз направляется к выходу.

Шофер. Вам что-нибудь угодно, господин маркиз?

Первый господин. Нет, ничего... Скоро поедем.

В этот момент в помещение для свиданий, с той стороны, где шофер, входит тюремщик, который докладывает Старшему тюремщику:

— Тут пришли к палачу...

Старший тюремщик *(выходя с двумя господами)*. Пусть войдут.

Шофер тоже вышел. В пустое помещение для свиданий входит Амадео.

Амадео *(пропускающему его тюремщику)*. Благодарю, вы очень любезны...

Амадео остается ждать, положив руки на решетку; не зная, чем заняться, что-то напевает сквозь зубы.

Через несколько секунд открывается дверь по эту сторону решетки, и входит Хосе Луис, испуганный, с соломенной шляпой в руке.

Хосе Луис. Амадео, папа!.. Меня заставили все подготовить... Теперь нужно, чтобы они впустили вас...

Амадео старается его успокоить словами и жестами.

С этого момента и на все время, пока он останется в тюрьме, Хосе Луис перестает быть простым смертным: теперь он арестант, осужденный подчиняться любым приказам.

Амадео. Успокойся, Хосе Луис... Успокойся... Послушай, я уже...

Хосе Луис *(прерывая его)*. Позовите тюремщика... Пусть он откроет...

Амадео. Ничего не выйдет... Я уже пытался... Послушай, возьми себя в руки... Я тебе двадцать раз говорил: придет помилование... Ты должен ждать до последнего момента...

У Хосе Луиса лицо жертвы.

Хосе Луис. Но если все уже готово!

Амадео. Это ничего не значит... Так делают всегда... Ты подожди... Потом, если у тебя не хватит духу, скажи, что подаешь в отставку... Но подумай о жене... Подумай о малыше...

Хосе Луис не может больше слушать.

Хосе Луис. Войдите, Амадео, войдите, умоляю вас...

Подходит к двери, в которую он вошел, и барабанит по ней кулаками.

Хосе Луис. Впустите его! Дайте ему войти!

Старик неодобрительно качает головой.

Амадео. Кончай, Хосе Луис, не будь бабой... Я же тебе сказал: до последней минуты...

Открывается дверь, и входит Старший тюремщик. Амадео продолжает:

— Мы тебя ждем на пароходе... Как отделаешься, иди прямо в порт... Ладно?

Хосе Луис *(Старшему тюремщику, умоляюще)*. Впустите его... Он специалист... Сорок с лишним лет...

Старший тюремщик кладет руку на плечо Хосе Луису, приглашая его к выходу.

Старший тюремщик. Это невозможно... Устав... Пошли, выпьете кофе и...

Амадео *(выходя в противоположную дверь, Старшему тюремщику)*. Его нужно понять... Ведь для него это первый раз, и естественно...

Старший тюремщик *(подталкивая Хосе Луиса к выходу)*. Зайдем-ка на кухню... Кофе и глоток коньяку — и вы почувствуете себя другим...

Дружески берет его под руку, и они идут по коридору. Перед дверью, сквозь глазок просачивается свет. Старший тюремщик спрашивает Хосе Луиса:

— Не хотите взглянуть на него?

Хосе Луис. На кого?

Старший тюремщик. На осужденного... Чтобы снять мерку...

Показывает на шею. Узнав, что находится в двух шагах от осужденного, Хосе Луис чуть ли не подскакивает.

Хосе Луис. Нет, нет... Помилование, когда придет помилование?

Старший тюремщик пожимает плечами — ему не кажется, что осужденного помилуют, но Хосе Луис в последнем и решительном усилии сохранить свою надежду истолковывает его жест по-своему.

Хосе Луис. Мой тесть говорит, что даже если все готово...

Старший тюремщик вновь пожимает плечами и вместе с Хосе Луисом входит в тюремную кухню, мрачную, грязную, унылую, отвратительную. У плиты стоят несколько арестантов, исполняющих обязанности поваров.

Старший тюремщик. Дайте ему кофе... И коньяку.

В этот момент в кухню входит тюремщик с бутылкой шампанского в ведерке. Хосе Луис садится и наваливается на стол.

Тюремщик. Сначала морочил голову со своим шампанским чуть ли не всем на свете, а теперь отказывается... Разопьем, а?

Старший тюремщик. Брось, брось, не дай бог, маркиз потребует бутылку назад... *(Хосе Луису)*. Крепись, дружище, сейчас тебе дадут кофе...

Прибегает второй тюремщик и о чем-то докладывает на ухо старшему. Тот берет чашку кофе, налитую поваром, и подает Хосе Луису:

— На, пей... Да пошевеливайся, тебе пора...

Хосе Луис *(роняя чашку)*. А как же... помилование?..

Старший тюремщик *(грубо)*. Какое там к черту помилование... Пошли.

Берет Хосе Луиса за руку. Тот сопротивляется.

Хосе Луис *(с безумным выражением лица)*. Нет... Бумагу... Лист бумаги... Я подаю в отставку... Дайте мне бумагу... В отставку.. А квартиру... пускай себе забирают...

Старший тюремщик делает знак одному из тюремщиков, и тот выбегает.

Старший тюремщик. Спокойней, спокойней... Хотите коньяку? Эй, дай ему коньяку...

Хосе Луис *(надевая шляпу)*. Выход, где выход?.. Я уезжаю в Мадрид... Ничего не хочу знать.. Я ждал, пока мог...

Входят два или три тюремщика, а за ними Директор тюрьмы, Представитель суда, два господина и тюремный Капеллан. В кухне становится тесно. Хосе Луис продолжает бессвязно бормотать:

— ...квартира... моя жена... ребенок... Плевать, все на улицу... Учтите... Я подаю в отставку... И если потребуется вернуть деньги, я готов их вернуть...

Директор, растолкав всех, подходит к Хосе Луису. Это человек с добродушным лицом. Обращается к Хосе Луису, как к другу.

Директор. Дайте-ка на вас посмотреть... Ваше имя...

Хосе Луис. Хосе Луис Родригес... Но это не имеет значения... Я ухожу...

Один из тюремщиков снимает с него шляпу, напоминая, что он разговаривает с Директором.

Директор *(усаживая Хосе Луиса на стул)*. Чтобы понять человека, нужно с ним поговорить... Так-то, Хосе Луис...

Усаживается перед Хосе Луисом и с тем же добродушным видом продолжает:

— Посмотрим... Вы не объясните мне, в чем дело?

Поворачивается к подчиненным и спрашивает:

— Вы угостили его коньяком? Он что-нибудь выпил? Шампанского, дайте ему шампанского...

Кто-то приносит ведерко, и Директор, открывая бутылку, смотрит на Хосе Луиса, как на сына:

— Вы не скажете, что побуждает вас подать в отставку?..

Доверительный тон Директора производит впечатление на Хосе Луиса.

Хосе Луис *(бессвязно, бестолково)*. Все из-за квартиры... В новом квартале... солнечная...

Перед тем как вынуть пробку, Директор понимающе кивает головой, хотя ровным счетом ничего не понимает.

Хосе Луис. Значит, так как мой тесть уходил на пенсию и ему не хотели давать квартиру...

Директор *(непрерывно кивая головой)*. Ваш тесть...

Хосе Луис. Да, именно, он палач, Амадео... Сорок два года стажа... Поэтому я и просил, чтобы его пропустили... Значит, поскольку я женился на Кармен... На дочери Амадео... И поскольку Кармен вышла замуж... Мы бы потеряли квартиру... Квартиру от патроната...

Пробка вылетает из бутылки, Директор наливает Хосе Луису стакан шампанского. Хосе Луис, считая, что он на пороге освобождения, берет стакан и очень вежливо благодарит:

— Большое спасибо... Значит, я женился на Кармен потому, что Амадео, то есть ее отец, застал нас... В общем, бывает...

Хосе Луис колеблется, продолжать ли ему рассказ о том, как Амадео застал его наедине с Кармен. Пьет шампанское.

Директор. Продолжайте, я слушаю...

Сцена выглядит нереальной. В кухне шумно, над котлами поднимаются огромные клубы пара, люди, окружающие Директора и Хосе Луиса, кажутся изваяниями.

Хосе Луис *(криво улыбаясь)*. Дело в том, что я был могильщиком, и, понятно, девушки не хотели со мной встречаться. А Кармен, как дочь палача, тоже не могла... Не то, чтобы я ее не любил... Но... Тогда Амадео, то есть мой тесть, мне сказал, что для получения квартиры...

Меняет тон и, пока Директор наливает ему новую порцию шампанского, объясняет:

— Квартира прекрасная, ничего не скажешь.. Далековато, правда, но у меня мотоцикл, и мне не приходится толкаться в трамвае.

Хосе Луис благодарен Директору за заботу. С отчаянным беспокойством старается объяснить свое присутствие здесь, оправдать свой отказ, оправдать все то, чего никто не понимает, несмотря на его пространные разглагольствования.

Директор. Значит, ваш тесть, то есть палач, для того, чтобы вам дали квартиру...

Хосе Луис. Да, поскольку он уходил на пенсию, он сказал, что хорошо было бы мне сменить его на посту...

Хосе Луис, сам того не желая, вот-вот готов расплакаться; продолжает:

— Я не хотел... Я всегда был порядочным человеком... Мой брат поссорился со мной, когда я женился на Кармен... У нас в семье никому не приходилось стыдиться за другого... Но поскольку я любил Кармен, и к тому же она была беременна... И тогда мой тесть заставил меня подать заявление... Он говорил, что мы получим квартиру и сохраним зарплату... А когда придется... Это... в общем... я смогу подать в отставку...

Директор подбадривает его:

— Пейте, пейте.

Протягивает ему сигарету.

Хосе Луис. Но я не хотел... Это мой тесть попросил моего брата повлиять на меня... Я хотел жить спокойно со своей женой... сыном... Только и всего... Потому что когда нам должны были дать квартиру, она ждала ребенка... и не могла сказать, что она не замужем... Кармен добрая, очень добрая... Я ее любил... Вот смотрите...

Достает бумажник и вынимает из него две фотографии: на одной — Кармен, на другой — Амадео с внуком на руках.

Хосе Луис. Это она...

Показывает фотографии, как самое очевидное доказательство своего права отказаться от роли палача.

Поначалу кажется, что на Директора подействовали аргументы Хосе Луиса.

Директор. Очень красивая... и ребенок... очень хорошенький, просто прелесть...

Хосе Луис *(тыча пальцем в одну из фотографий)*. А это Амадео... Если бы вы ему разрешили... Он сорок два года проработал... И ушел на пенсию по возрасту, но он еще молодцом...

Директор передал фотографии Капеллану, тот — Тюремщику и так далее.

Директор. Посмотрите, отец... Действительно, что называется, прелестный ребенок...

Поворачивается к Хосе Луису, который, имея в виду ребенка, объясняет священнику:

— Здесь ему было два с половиной месяца... Теперь он еще лучше...

Директор кивает головой, затем приступает к обработке Хосе Луиса.

Директор *(отеческим тоном)*. Хосе Луис, сынок...

Хосе Луис улыбается ему, в надежде услышать из его уст спасительные слова.

Директор. Вы — мужчина...

Хосе Луис *(кивая головой)*. Я мужчина...

Директор. Осужденный тоже мужчина...

Хосе Луис кивает.

Директор. Так вот, как мужчина мужчине, объясните мне, что самое главное для осужденного.

Хосе Луис *(не задумываясь)*. Помилование!

Директор отрицательно качает головой, огорченный непроницательностью Хосе Луиса.

Директор. Нет... Поскорее отделаться.

Хосе Луис *(простодушно)*. Как так?

Директор. Поскорее отделаться. А вы говорите, что подаете в отставку... Я могу передать вашу просьбу об отставке в Мадрид, телеграфировать туда, позвонить, добиться разговора с начальством, сделать все возможное, чтобы помочь вам и чтобы вместо вас прислали другого... Я могу сделать это, несомненно. Но вы знаете, что такое чиновничья волокита... Масса хлопот, до нас далеко... Пройдет день, два, три, четыре, даже пять, шесть или целая неделя... Осужденный не может ждать.

Хосе Луис по-прежнему не понимает.

Хосе Луис. Но почему?

Директор не отвечает и на этот вопрос и продолжает:

— С другой стороны, вопрос о смирении... Приговоренный исповедался и причастился, о чем нам надлежит помнить. Теперь это душа, познавшая божью милость... Не правда ли, отец?

Капеллан кивает головой.

— ...Но завтра, послезавтра, в один из многих дней, когда ему придется ждать ответа из Мадрида, он может впасть в отчаяние или взбунтоваться. Вы должны это учесть, Хосе Луис... Приговоренный не может ждать!

Требует назад фотографии, все ищут карточки, оказавшиеся в руках одного из поваров, который их немедленно возвращает.

Хосе Луис *(в отчаянии)*. Но почему?

Взглянув растроганно на фотографии, Директор возвращает их Хосе Луису.

Директор. Держите... у вас семья...

Встает и приглашает Хосе Луиса:

— Пошли, сынок...

Хосе Луис продолжает сидеть. Директор подает знак, и, пока один из тюремщиков выбегает из кухни, двое других хватают Хосе Луиса под руки и ставят на ноги. Хосе Луис пытается вырваться, но его крепко держат и в конце концов заставляют идти.

Хосе Луис. Почему? Почему? Почему?

Теперь уже его вопрос не относится к чему-то определенному. Он спрашивает и о том, почему обязан убить человека, почему ему пришлось жениться на дочери палача, почему сам он палач, почему он находится в этой кухне, почему так устроена жизнь... а тюремщики все подталкивают его к двери. Капеллан подходит к Хосе Луису и что-то шепчет ему на ухо.

В это время по коридору мимо кухни проходит группа людей, окружившая приговоренного к смерти. Он едва волочит ноги, и его поддерживают два монаха.

Хосе Луис. Почему?.. Почему?..

Следуя за группой, окружившей осужденного, группа, в которой находится Хосе Луис, направляется на тюремный двор, где все готово для казни. В окна тюрьмы проникает свет зари.

28. ТЮРЕМНЫЙ КОРИДОР. УТРО

Обе группы чем-то похожи одна на другую. И в той, и в другой произносятся одни и те же слова утешения.

Голоса *(как литания)*.

— Сын мой... не думай ни о чем...

— Мужайся и надейся... В последний момент...

— Мы тут ни при чем. Этого требует общество, сынок...

29. ПАРОХОД И ПОРТ ПАЛЬМА. ДЕНЬ

Солнечное утро. На борт парохода, готовящегося к отплытию, поднимаются пассажиры. На палубе на стуле сидит Кармен с ребенком на руках, рядом стоят чемоданы. У перил Амадео смотрит на пристань, на город, на море, на провожающих.

Гудок парохода

Кармен *(озабоченно, отцу)*. Не идет?

Амадео разводит руками. Затем помогает двум монахиням поставить их вещи поближе к двум стульям на палубе. Возвращается к перилам и вынимает сигарету. Его рассеянный взгляд задерживается на джипе, мчащемся по берегу. Джип останавливается, и Амадео видит Хосе Луиса.

Амадео. Он тут...

Смотрит на джип. Хосе Луис направился было к трапу, но его кто-то окликнул: ему передают саквояж. С саквояжем в руке Хосе Луис спешит к трапу.

Амадео *(направляется к нему навстречу)*. Хосе Луис... Хосе Луис...

Хосе Луис поднимается на палубу и проходит мимо старика, не говоря ему ни слова. Ищет взглядом жену. Подходит к ней и падает на соседний стул. Роняет саквояж и, сжав руками голову, упирается локтями в колени. Несколько секунд сидит в такой позе. Жена молча наблюдает за ним и ждет. Потом решается очень тихо спросить его:

— Ты что-нибудь ел?

Хосе Луис поднимает голову и с ненавистью смотрит на Кармен. Потом подавленный, вынимает из кармана конверт и протягивает жене. Она с неохотой берет конверт, но все же заглядывает в него и видит деньги. Старик, сгорая от любопытства, направляется к ним. Кармен смотрит на мужа, и ее глаза постепенно наполняются слезами. Старик вырывает у нее из рук конверт, пересчитывает деньги и читает приложенную к ним справку. Удивленный, говорит Хосе Луису, не отрывающему взгляда от пола:

— Значит, ставку повысили...

Хосе Луис поднимает голову и видит слезы на глазах жены и довольное лицо старика.

Хосе Луис *(угрожающе)*. Это первый и последний раз, понятно? Первый и последний...

Старик протягивает конверт Кармен, обнявшей Хосе Луиса, и берет на руки ребенка. Отходит к поручням и, смеясь сквозь зубы, говорит малышу:

— Я тоже когда-то так говорил.

Целует ребенка. Мимо парохода проплывает катер с туристами. Это может быть также богатая яхта, на палубе которой несколько беззаботных пар танцуют под веселую музыку проигрывателя.

Несколько слов о сценарии

Старожилы кинематографа еще помнят то время, когда сценарий записывался карандашом на манжете где-нибудь в ресторане — изготовление сюжета для картины занимало несколько часов. Но постепенно, с развитием выразительных средств, кинематограф стал нуждаться в литературной опоре. Все чаще можно видеть сценарии, которые представляют собой явление искусства сами по себе, независимо от того, как эти сценарии будут воплощены на экране режиссером. Сценарий стал одним из закономерных литературных жанров, он плотно входит в литературную семью.

«Палач» Луиса Берланги, Рафаэля Асконы и Эннио Флайано интересен прежде всего как явление высокой литературы. Первое, что поражает в этом сценарии,— это лаконизм. Содержание того романа, который вложен в эти пятьдесят страниц текста, его психологическое и идейное наполнение — огромно. Для того, чтобы разработать такую тему в привычных, устоявшихся литературных жанрах, вероятно, потребовалось бы втрое, вчетверо больше места. В киноромане «Палач» мы имеем дело не с лаконизмом фразы, а с лаконизмом выразительного действия. Ограниченная емкость картины заставляет авторов сжимать материал до состояния туго закрученной стальной пружины. Читатель все время вынужден додумывать, довоображать, как бы дописывать этапы драматического пути молодого человека, которого судьба вынуждает стать палачом.

Я сказал «лаконизм», а между тем, если просмотреть любой отдельно взятый кусочек сценария, он написан не только подробно, но как бы даже чересчур подробно — выписан каждый поворот головы, движение руки, написана каждая деталь мизансцены, любой мельчайший психологический оттенок. Подробнейшим образом протоколируется состояние человека, интонация, характер реакции. Точный протокол поведения человека и есть то новое, что приносит кинематограф в литературу.

Сценарий «Палач» абсолютно профессионален, он написан тремя превосходными кинематографистами, которые видят все, слышат все и не забывают ни о чем. Он написан для того, чтобы каждый кусочек его мог бы быть снят в полном соответствии с замыслом. Но именно протокольность записи действия и создает литературное и художественное своеобразие этого произведения. Авторы его думали только о целесообразной фиксации того, что должно быть подготовлено к съемке, а в результате перед вами возникает художественный образ огромной силы.

Красота современного самолета возникает в результате целесообразности его формы, ее аэродинамических свойств. Аэродинамическое совершенство оказывается эстетической категорией. То же самое произошло сейчас с кинодраматургией. Еще недавно сценарий пытались подравнять, подделать под привычную литературную форму, и сценарий становился полуповестью, полупьесой, полуновеллой. «Палач» — не повесть и не новелла, это сценарий в чистом виде.

Правда, кинематограф сегодняшнего дня очень разнообразен, и не все его виды нашли совершенную форму перевода в область чистого слова. В современном кинематографе есть режиссеры, произведения которых пока еще невозможно записать на бумаге без больших потерь — во всяком случае, мы еще не умеем записывать их. У этих режиссеров зрительная сторона, монтаж, поток ассоциаций, вызываемых самой

экранной формой фильма, составляют существо эстетического приема, и при переводе на бумагу это существо либо грубеет, либо исчезает.

Луис Берланга — режиссер реалистического и в какой-то мере традиционно-реалистического толка. Для него поведение человека представляет собой главный предмет, подлежащий рассмотрению. Именно поэтому сценарий «Палач» производит такое сильное впечатление при чтении его.

Идея сценария представляется мне очень глубокой и насущно нужной людям сегодня. Образ старого, вежливого, словоохотливого, ласкового палача поднимает целый пласт размышлений о таких явлениях нашего века, как, например, фашизм. Написан только палач, профессиональный палач, хорошо исполняющий свое дело в уголовной тюрьме, но за ним видится комендант Освенцима, который так же аккуратно делал свое дело в лагере истребления. Этот комендант привез в Освенцим свою семью — жена и дети были свидетелями его ежедневной работы. И когда его судили и прокурор спросил, как мог он привезти свою семью в Освенцим, комендант ответил, что он хороший семьянин и хороший отец.

Один из основных уроков сценария читается так: если ты протянул только палец, готовься к тому, что попадешь в капкан весь; если ты заключил малейшую сделку со своей совестью, готовься к тому, что будешь продан с потрохами. Насущный для нашего времени урок.

Судьба Хосе Луиса читается в образе его старого тестя — читается с поразительной ясностью. Когда переворачиваешь последнюю страницу сценария, возникает ощущение, что вся жизнь молодого Хосе Луиса уже известна тебе. Его жизненный путь как бы пройден читателем за рамками написанного, он довоображается, домысливается, и в этом заключен основной художественный прием — лаконизм плотно утрамбованной мысли.

Представим себе на минуту, что этот сценарий написан не в нашем двадцатом веке, а много, много раньше. Думается мне, что в прошедшие времена он не вызвал бы такого потока широких обобщений. «Палач» Л. Берланги — это явление нашего века.

М. Ромм

Критика

ЛАДИСЛАВ ШТОЛЛ

«КОММУНИЗМ — ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ БУДУЩЕГО»

(Зденек Неедлы, ученый и борец)

Многим своим современникам Зденек Неедлы казался загадкой, полной непримиримых противоречий. Были, например, люди, которые восхищались Неедлы как эрудитом, знатоком музыки и выдающимся историком. Ведь Зденек Неедлы уже двадцати пяти лет стал членом чешского Королевского научного общества, то есть самым молодым академиком своего времени. Но те же люди, которые так высоко ценили научную деятельность молодого ученого, не одобряли его политической позиции. А другие одобряли его политические выступления, но никак не могли понять Неедлы — самозабвенного защитника сокровищ национальной культуры, они не могли постичь, как может Неедлы сочетать горячую приверженность революционной пролетарской партии, шагающей под красным знаменем интернационализма, со страстной любовью к творчеству Божены Немцовой, Бедржиха Сметаны или Алоиса Ирасека к Национальному театру, который для чехов был символом национального самосознания. Кое-кто не мог взять в толк, как это автор истории гуситского пения, исследователь творчества Сметаны, основатель кафедры истории музыки, завсегдатай концертных залов вдохновенный критик, отстаивающий подлинные эстетические ценности,— как этот человек высокой культуры может связывать свою судьбу с суровой классовой борьбой революционного пролетариата, с судьбой Коммунистической партии Чехословакии.

А между тем поразительная цельность натуры и устремлений — самая характерная черта Зденека Неедлы; весь широчайший круг его научных интересов подготовил принятие им революционного движения, которому он отдал столько сил на протяжении многих десятилетий своей активной, боевой общественной деятельности. Эта цельность и целеустремленность придают истинную силу его наследию, его жизненному опыту, его высокому примеру.

По происхождению и воспитанию, по своему образованию Зденек Неедлы был связан с миром музыки. Его многочисленные труды в этой области полностью сохраняют свою актуальность и в наши дни. Среди них особенно важны его «Всеобщая история музыки», исследования о Вагнере, «История оперы Национального театра», «Эстетика Гостинского», можно назвать и многие другие. Но музыка была для Зденека Неедлы еще и вратами в широкий мир национальной жизни, ее прошлого и будущего.

Краеугольным камнем его творчества является обстоятельная трехтомная история гуситского пения. Можно сказать, что такие его капитальные (и очень разные) работы, как многотомные исследования о Сметане, о Масарике, о Ленине, примыкают к ней. Сметану Зденек Неедлы показал как величайшего представителя эпохи национального возрождения Чехии (первая половина XIX века); она виделась ему как «молодость общества». Вторую половину XIX века, которую представлял Масарик, Неедлы рассматривал как период кризиса «стареющего общества». В конце же этого века он видел начало нового возрождения общества, возрождения уже на социалистических началах, и его воплощал для Неедлы Ленин.

Яркая деятельность Зденека Неедлы — политика и публициста — заслуживает особого внимания. Сборник его статей «Борьба за новую Россию» — волнующее свидетельство того, что этот выдающийся ученый отдавал весь свой талант и ум, чтобы правдиво объяснить чехословацкой общественности значение Великой Октябрьской социалистической революции и исторической роли Ленина. Чрезвычайно важны были в период между двумя войнами выступления Неедлы с лекциями, статьями, исторические иссле-

дования о Советском Союзе, о советской музыке. Основатель и председатель «Общества для экономического и культурного сближения с новой Россией», он стремился к упрочению чехословацко-советской дружбы.

В апреле 1939 года Зденек Неедлы, скрывшись от фашистских оккупантов, эмигрировал в Советский Союз. Во время Великой Отечественной войны он жил в Москве и был участником ее героической обороны. Будучи избран профессором Московского университета, он, помимо педагогической работы, выступал по радио, читал доклады в войсковых частях на фронте, работал в Славянском антифашистском комитете. Он был дважды награжден орденом Ленина. И, может быть, больше всего до конца своей жизни ценил то, что советские люди называли его «наш Зденек Романович».

О Зденеке Неедлы написано уже немало. Но нам надо снова и снова обращаться к этой мощной фигуре, и мы будем постоянно находить в его деятельности, в его творческом наследии живую перекличку с проблемами, которые волнуют нас сегодня. Глубоко заглянув в прошлое, он освещал путь в будущее. И в этой статье мне хотелось бы остановиться на некоторых актуальных моментах жизни и деятельности Зденека Неедлы.

Выросший в семье народного учителя — преподавателя музыки, чешского патриота Романа Неедлы, Зденек Неедлы, живший, как и его отец, мечтой о национальном возрождении народа, в конце прошлого века приехал в Прагу. Воспитание его, однако, оказалось не совсем подходящим для того, чтобы добиться успеха в то время и в том обществе. Это были годы, когда чешский капитализм торжествовал победу и стал забывать о многих своих лозунгах прежних дней. В предместьях Праги пролетарии перебивались с хлеба на воду, все громче раздавался грохот фабричных машин, железа — и гул классовых стачек. Старая Прага рушилась под ударами кирок, расчищающих места для новых торговых домов, для дворцов банкиров. Скоробогач и прожигатель жизни из партии младочехов со своим купеческим вкусом и «парижской элегантностью» заполонил общественную арену.

В этот-то мир холодного расчета и голого чистогана приносит молодой Зденек Неедлы свежесть чувств, любовь к народу, к правде и красоте. Конечно, он находит опору и поддержку у своих друзей, какими были Гостинский, Фибих, Доланский, но его духовный мир совершенно естественно должен был прийти в противоречие с законами окружавшего его общества.

Можно было, как то случилось со многими деятелями культуры, более слабыми духом, поддаться чувству безнадежности, а можно было и смириться, утешиться, как декаденты, сознанием своей исключительности. Однако Зденек Неедлы не заболел ни одной из духовных болезней того времени: он не предался печали, как члены «Клуба за старую Прагу», не примирился «реалистически», не приспособился и не пошел по пути анархистского бунта. Зденек Неедлы не устыдился своей любви к народу, столь «немодной» во времена расцвета декадентства, стремившегося во что бы то ни стало выйти за национальные рамки, на «мировую арену»,— наоборот, гордо, как подобает бойцу, молодой Неедлы во всеуслышание заявил тогда о своем интересе к истории чешской культуры.

В известном смысле можно найти много сходства между Зденеком Неедлы и Роменом Ролланом, тоже историком музыки, тоже бросившим вызов господствующей моде; увлеченный стремительным взлетом народа во времена французской революции, Ромен Роллан создал Жана Кристофа, противопоставив его своему окружению; подобно этому и Зденек Неедлы был увлечен гуситской революцией и образом Бедржиха Сметаны.

Тут можно бы задать естественный вопрос: почему Зденек Неедлы, который боролся за сохранение и развитие культурного достояния чешского народа, еще до Октября не опирался непосредственно на единственную спасительную силу общества — на рабочее движение, почему не связал он открыто своей борьбы с борьбой социал-демократической партии уже в то время? Причиной тому было на первых порах неопределившееся, а затем просто нигилистическое отношение вождей II Интернационала к национально-освободительным чаяниям народных масс и вытекавшее отсюда их равнодушие, безучастие к наследию национальной культуры. К тому же, несомненно, интерес молодого ученого сосредоточивался тогда главным образом на изучении истории и истории музыки, которым он посвятил свою жизнь. Но было бы неверным думать, будто Зденек Неедлы в те годы недооценивал значение социальной борьбы рабочего класса. Об этом говорит, например, то, как принял Зденек Неедлы первую русскую революцию. В одной из критических статей он разбирает события в музыкальной жизни России того времени, взбудораженной революцией, описывает бойкот, который русские музыканты вместе со всей общественностью объявили «Императорскому музыкальному обществу». Эту статью Неедлы заканчивает, казалось бы, неожиданными, но примечательными словами: «Какими мелкими в конечном счете кажутся все эти музыкальные дела рядом с нынешними аграрным и рабочим вопросами на Руси!»

Все лично ему дорогие интересы отходят далеко на задний план перед живы-

ми политическими интересами трудящихся, перед величием социальной революции. Когда раздался революционный голос русского народа, Зденек Неедлы, страстно любящий музыку, внимал прежде всего этому призыву к свободе, к которому он так пристально прислушивался через века, составляя историю гуситского пения'

Зденек Неедлы никогда не был «кабинетным» ученым, он никогда не принадлежал к тому типу историков, которые народное движение, всякую живую политическую проблему воспринимают как некую помеху в их работе, которые отгородились от жизни и, погруженные в свои исторические изыскания, уже не в состоянии понимать современность. Обычно у таких ученых, изолированных от мира стенами кабинетов, история распадается на не связанные между собой исследования различных областей жизни. Подобная узость и неподвижность мышления чужды Зденеку Неедлы. Он всегда видел ограниченность буржуазных историографов и в 1910 году писал, что миновало время, когда наши политические деятели искали опоры в историках «широких горизонтов». По словам Неедлы, «для подлинного историка история не распадается на десять самостоятельных отделов; как жизнь бывает только едина, хотя в ней может преобладать то одна, то другая какая-нибудь сторона, так и история должна быть едина».

Эта философская позиция с самого начала привела Зденека Неедлы в области эстетики к борьбе против тенденций формалистов и свойственной им — как некогда это сформулировал Луначарский — буржуазной метафизической расчлененности. В сущности Зденек Неедлы всю жизнь боролся в области теории искусства на два фронта: с одной стороны — против формализма, с другой — против спиритуалистических, религиозных тенденций. Однако атеизм Зденека Неедлы был весьма своеобразным. Он не имел ничего общего с барским атеизмом свободомыслящих рационалистов, как правило, отличавшихся презрением к простому, необразованному народу. Идеалом Неедлы была подлинная свобода народа, избавленного от всякого рода угнетения — национального, социального, духовного, избавленного от оков идеологических предрассудков и иллюзий. Вот почему на него оказало такое воздействие знакомство с трудами Ленина, вот почему ему оказались близки произведения Чехова, Горького, Маяковского, великое классическое русское искусство.

Неедлы был органически родствен демократическому, народному началу национальной жизни. Если прочитать его научные и публицистические труды, легко убедиться, что с самых первых шагов его деятельности Неедлы-мыслителю было свойственно убеждение в том, что индивидуализм наносит величайший вред научному познанию и искусству. Неедлы усматривает в индивидуализме одно из типичных и трудноизлечимых хронических социальных заболеваний, которое может быть занесено и в социалистическое общество.

Вновь и вновь сопоставляя взгляды молодых патриотов, будителей чешского национального сознания, тесно связанных с народом, и высказывания либеральных националистов конца века, Неедлы и в Масарике находит следы этой болезни, столь характерной для политического деятеля, отошедшего от народа. Интересно, что именно «Право лиду», орган социал-демократической партии, резко обрушилось на Неедлы за то, что тот доказывал: «Масарик не социалист и не может им быть, потому что он индивидуалист чистой воды». Для Неедлы это — непримиримое противоречие, как он убедительно показал на примере деятельности Масарика.

Тотчас после Октябрьской революции, когда в руки Зденека Неедлы попали впервые ленинские книги, во времена поднявшейся в Европе революционной волны, в 1920 году, когда в Чехословакии решался вопрос о том, какой классовый характер примет новое государство, возникшее на развалинах австро-венгерской монархии, Неедлы приходит на помощь революционному рабочему движению. В своей предвыборной статье 3 апреля 1920 года он пишет: «Республика или окажется в руках тех, кто поведет ее вперед путем социальных реформ, чтобы создать совершенно новый тип государства, государство грядущего человечества XX века, или же она попадет в руки тех, кто всеми силами будет мешать ей развиваться в этом направлении, кто захочет любой ценой сохранить либеральное государство в духе XIX века... В высших интересах республики — чтобы на выборах победил мир социализма, победил бы решительно и значительным большинством, ибо это даст возможность сообщить государству новый характер и тем самым заложить прочное основание республики».

Стоящие в те годы у власти люди все еще видели угрозу республике слева, «большевистскую опасность», в то время как подлинная опасность грозила республике справа. Неедлы постоянно, настойчиво указывал на то, что означает для самого существования чешского народа «новая Россия», он пишет в одной из статей, помещенных в журнале «Ческе стражи» в 1919 году: **«Без России нет Европы, без России нет Лиги наций, без России нет мира. Вот та великая правда, которую не знает Западная Европа и которую именно поэтому мы долж-**

ЛАДИСЛАВ ШТОЛЛ
«КОММУНИЗМ —
ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ БУДУЩЕГО»

ны как можно громче возвещать миру в собственных интересах и в интересах всех народов».

Новая политика, заявляет Неедлы, должна опираться на интересы двух основных производительных сил народа — рабочих и крестьян. Поэтому он призывает к социализации рудников, банков и крупной промышленности, критикует растерянность и нерешительность социал-демократических лидеров, он требует нового общественного устройства, осуществленного в соответствии с идеалами рабочего класса. Неедлы призывал к расширению самоуправления за счет уничтожения бюрократических учреждений, он требовал демократического решения словацкой проблемы и т. д. Но революционное движение было подавлено в декабре 1920 года. Буржуазия с помощью правых вождей социал-демократии повела народ по другому пути; и в дни, когда рабочее движение в Чехословакии было побеждено, Неедлы констатирует: «Теперь мы знаем, что демократия может быть и ненародной».

В ту пору его внимание было отдано прежде всего борьбе против раскола внутри социал-демократического движения. И тут он, с большой дальновидностью и проницательностью анализируя этот процесс, с самого начала, сразу становится на сторону левицы (то есть левого крыла социал-демократической партии). В образовании левицы, а затем коммунистической партии Неедлы видит исторически закономерный и неизбежный процесс формирования политической партии нового типа. В эти годы сложилось окончательно кредо Зденека Неедлы, которое можно выразить его собственными словами, сказанными им в 1923 году: «Коммунизм — ведущая идея будущего».

■

Хотя к общественным проблемам Зденек Неедлы шел от искусства, его взгляды в области эстетики можно понять только в связи с его общественной деятельностью. Надо понимать время, говорил Неедлы, понимать его задачи и потребности людей, стремиться к жизненной правде — вот в чем постоянная задача современного художника, вот в чем смысл реализма в искусстве.

Лишите искусство способности уловлять в свои сети прекрасную добычу — реальность жизни, правду жизни, лишите его способности реалистического видения, и что останется? Останутся в лучшем случае лабораторные опыты, отдельные формальные изобретения, которые могут иметь цену и профессиональный интерес только в глазах узкого круга художников.

Зденек Неедлы часто подчеркивал, что коммунисты — наследники прогрессивных традиций народа, прекрасно зная, что тот, кто лишен чувства нового, как правило, не чувствует и традиций. Деятельность критика и теоретика искусства Неедлы рассматривал как звено в историческом процессе познания, осуществляемом коллективом: эта деятельность в его глазах отнюдь не должна была превращаться в догматическое утверждение неких норм со стороны непогрешимой и вышестоящей критической индивидуальности, которой все подчинены и к которой все должны приспосабливаться; критика не должна быть и этакой вольной игрой безответственного субъективного мнения, продиктованного личным вкусом. Поэтому нельзя отождествлять личный вкус каждого из нас, которым мы всегда будем отличаться друг от друга, с тем пониманием прекрасного, которое было выработано всем развитием культуры, с тем эстетическим идеалом, который объединяет наше чувство прекрасного с гуманистическими чаяниями народа. Зденеку Неедлы принадлежат замечательные слова, которые нелишне еще раз напомнить сегодня: «Неправда, что может существовать нечто прекрасное, если оно не правдиво, не морально, не здорово и идейно не велико».

На молодого Неедлы, так же как и на молодого Роллана, мощное воздействие оказал Лев Толстой. В начале века он совершил паломничество к Толстому в Ясную Поляну. Преклоняясь перед гением Толстого, Неедлы все же вел с ним идеологический спор. Вся концепция неедловского гуманизма складывалась под сильным влиянием русского реалистического искусства. «Я принадлежу к поколению,— говорил о себе Неедлы,— которое воспитано на классической русской литературе. Мы не только читали — мы в полном смысле слова переживали ее — начиная с Гоголя и Чехова и кончая молодым в ту пору Горьким... По этой литературе мы, во-первых, научились понимать и любить жизнь. Это было подлинное лекарство против декаданса, уже в те годы надвигающегося с Запада,— этот реализм, совершенно отличный от реализма других литератур... А во-вторых, мы научились понимать человека. Никакая наука, никакая другая литература не научили нас так глубоко проникать в чисто человеческие мечты, радости и страдания, как именно русский роман».

Русская литература, по убеждению Неедлы, воспитала поколение людей с совершенно новым пониманием социальных проблем, человека и человечества. Работая над биографией Ленина, он особое внимание обращает на то, как в семье Ульяновых читали русскую литературу, как высоко ценили ее, как под ее воздействием рос молодой Владимир Ильич. В эстетических воззрениях Неедлы мы постоянно встречаемся с характерным для него утверждением, что литература — одно из самых могуществен-

ных средств познания и воспитания. В социалистической позиции художника, в требовании реалистического изображения жизни он видел одно из условий подлинной современности искусства, подлинно авангардной его роли. В последние годы своей жизни он выступал против злоупотребления понятиями «современный», «модернистский», «авангардный». «Пора перестать играть словом «модерн»,— писал он. «В произведении искусства всегда важнее всего правда»,— не раз утверждал Неедлы. Он понимал реализм в искусстве очень широко, однако отнюдь не считал его некой областью без берегов. Когда он оценивал то или иное произведение, то первым и решающим критерием для него был не вопрос — называет ли автор свое произведение реалистическим или нет, первым и решающим критерием для него был вопрос — есть ли это произведение подлинного таланта, есть ли оно порождение настоящего художественного духа, без которого нет искусства, правдиво ли оно. Неедлы никогда не отделял субъективный момент творчества от объективного. Неедлы исходил из того, что «искусством, какого бы течения или направления оно ни было, может быть только искусство же, и если мы ведем борьбу за какое-нибудь направление в нем, мы тем более должны заботиться о том, чтобы не скомпрометировать его неискусством...» Понятие реализма не должно служить ширмой для недостатка таланта, творческой фантазии, смелости мысли, ширмой для творческого бессилия, как это порой случается. Реализм, за который надо бороться, это для Неедлы — высшая форма современного искусства, величайшее достижение человеческой культуры. Неедлы вместе с тем предостерегал некоторых критиков — и об этом тоже важно вспомнить сегодня,— стремящихся с порога отвергнуть и как бы не замечать все нереалистическое в современном искусстве. По словам Неедлы, «нельзя попросту отбросить так называемое модернистское искусство, как нельзя хитрым образом обойти его и войти в новую, высшую стадию реализма через какой-то там черный ход. Нет, надо идти грудью вперед на это последнее, преодолимое (но, как мы сегодня видим, еще не совсем преодоленное.— **Л. Ш.**) явление и через чащу так называемого модернистского искусства пробиться вперед».

Неедлы, как историограф культуры, знал, что в пестром потоке модернистского искусства, возникшего в конце прошлого века — часто как нонконформистский протест против изживших себя авторитетов прошлого,— вместе с гоняющимися за модой, скрывающими за этим свою бездарность снобами есть немало высокоодаренных людей, чью творческую силу прогрессивная критика обязана освободить от идеологических предрассудков, направить на верный путь. Понимая, что за каждым незаурядным художественным произведением стоит незаурядная личность, Неедлы учил критиков внимательно приглядываться к индивидуальности художника, которую как раз формалисты и скидывают со счетов. Поэтому он настойчиво советовал, анализируя сложный конгломерат модернистского искусства, очень внимательно различать и точно распознавать с одной стороны то, что порождено здоровой критикой действительности, активным, гражданским отношением к жизни общества, и с другой стороны — то, что уходит корнями в индивидуализм, в исторический скепсис и пессимизм и в конечном счете всегда связано с реакционной идеологией. Неедлы-борец не отступал перед сложными проблемами, это был до мозга костей демократический эстетик.

Народность была для него одним из основных требований к произведению искусства. В статье «Об эстетике святоянских празднеств» он напоминает, что надо уметь различать народность религиозных обрядов и народность крестьянских мятежей. В этом смысле он и сделал свое известное высказывание, ставшее широко популярным: «Художник, который желает идти к народу, должен двигаться отнюдь не вниз, а, наоборот, вверх, причем очень высоко».

■

Неедлы считал литературную критику подлинно творческой деятельностью. По словам Неедлы, критика состоит вовсе не в том, чтобы выставлять отметки писателям и поучать их. Такая критика, по его мнению, не имеет никакой цены. Подобные «критические действия», как он говорил, только отравляют общественную атмосферу и внушают писателям мысль, что лучше не писать вовсе, только бы не подвергаться опасности такой «критики». Выступая в 1948 году на съезде деятелей национальной культуры, Неедлы приводил как пример творческой критики труды Чернышевского и Белинского. Он сказал тогда: «В их критических произведениях нас захватывает не столько предмет их критики, сколько вся их концепция литературы, вся их концепция процесса литературного развития, их взгляды на функцию литературы, на ее задачи и на то, чего она уже достигла. Это не просто заметки по поводу литературы — это движущая сила, создающая новые ценности, в которых мы нуждаемся».

Зденек Неедлы последовательно выступал против формалистической критики, против забвения социальной и познавательной функции искусства. Литера-

---

ЛАДИСЛАВ ШТОЛЛ
«КОММУНИЗМ —
ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ БУДУЩЕГО»

тура и искусство, подчеркивал он, могут выполнить свою социальную функцию, только если это подлинное искусство, если оно отвечает самым строгим эстетическим критериям, если оно доставляет нам настоящее эстетическое наслаждение. Необычайно поучительно следить за его оценками различных групповых манифестов и программ. Он никогда не давал сбить себя с толку громкими декларациями. Он знал, что под знаменами таких групп собирались, как правило, люди разных взглядов и одаренности, разных потенциальных возможностей, и всегда советовал сосредоточивать внимание на конкретном анализе творчества каждого отдельного художника. Так, например, Неедлы одним из первых заметил среди чешских поэтов Витезслава Незвала. Неедлы видел, что с эстетической программой той группы, к которой поэт принадлежал, он на деле имел мало общего. Неедлы выделил и высоко оценил значение композиторов Отакара Острчила и Ярослава Ежека. Внимательное, вдумчивое отношение Неедлы к личности художника, к живому таланту позволило ему привести под знамя рабочего революционного движения многих одаренных художников, он помогал им понять, что именно активное участие в революционном движении способствует настоящему расцвету художественного таланта.

В объединении культурных сил Чехословакии Неедлы сыграл очень важную роль как в период между двумя войнами, так и после победы социализма. Он не выискивал догматически противоречия между группами художников, между направлениями, школами, манифестами и программами; он знал, что становиться на этот путь легче всего, но это поверхностный, доктринерский подход к художественному творчеству и при таком подходе в конечном итоге предмет искусства ускользает от исследователя. Но он знал также, что противоречия существуют реально, в том числе и в самом художнике, в его творчестве, и эти противоречия обычно являются следствием внутренней творческой борьбы, но что именно в этой внутренней борьбе и должна критика помогать художнику — тактично, с помощью научного мышления и развитого художественного вкуса. Критические статьи Неедлы поражают своим дружелюбным, полным любви к искусству тоном, который однако, становился бескомпромиссно строгим там, где затрагивались народные интересы, где речь шла о принципиальном идеологическом столкновении. Но даже расхождение во взглядах никогда не заслоняло от него своеобразия личности, таланта, особенностей художественного приема, проявляющихся в новом видении жизни и мира, в свежести формы и стиля, в подлинной современности произведения искусства.

В Зденеке Неедлы всегда в полном единении жили ученый и политик, историк и художник; он принадлежит к тем, кто подготавливал в Чехословакии почву для научного социализма, для новой социалистической эстетики; именно поэтому его творчество в высшей степени актуально и в наши дни. Его борьба за коммунистическое будущее во всех сферах человеческой жизни — это наша, сегодняшняя борьба.

Перевод с чешского Н. АРОСЕВОЙ

Писатель и время

ПРИЗВАНИЕ ХУДОЖНИКА

ИЗ ПИСЕМ ТОМАСА МАННА

Письма Томаса Манна к разным адресатам, публикуемые ниже, взяты из двух томов его избранных писем, подготовленных его старшей дочерью Эрикой Манн. Эти два тома охватывают период с 1889 по 1947 г. Третий, заключительный, том еще готовится к печати.

Каждое из писем приводится здесь полностью, без сокращений — или с теми купюрами, которые сделаны составительницей в немецком издании.

Для биографов Томаса Манна и исследователей его творчества его письма необычайно ценны. В них отражены все важнейшие события жизни писателя, творческая история всех основных его произведений, от «Будденброков», положивших начало его всемирной славе, до оставшихся неоконченными «Признаний авантюриста Феликса Круля». Но значение этих документов далеко выходит за пределы истории литературы. Томас Манн высказывается в них по коренным вопросам художественной, культурной, политической жизни. Подчас и по тем вопросам, которые по сей день — через десять лет после смерти писателя стоят в центре международных литературных споров.

Письма позволяют яснее увидеть ход сложной идейной эволюции Томаса Манна. И они в то же время говорят о глубокой внутренней цельности этого, казалось бы, очень противоречивого человека. Путь Т. Манна от начала и до конца отмечен большим внутренним единством. Еще в 1904 году молодой писатель в доверительно-взволнованном письме к будущей жене Кате Прингсгейм признавался, как ему трудно и как хочется побороть в себе холодок «артистической искусственности»; он уже тогда чувствовал, что высокомерная самоизоляция губительна для таланта. Сорок с лишним лет спустя трагедия художника, отъединенного стеной «артистической искусственности» от людей, от народа, была с гениальной силой воплощена Т. Манном в «Докторе Фаустусе».

Искусство и действительность, художник и общество — эти проблемы всегда стояли перед творческим сознанием Томаса Манна и много раз ставились в его письмах. Нужно ли и будет ли нужно искусство людям двадцатого столетия? Томас Манн отвечает: необходимо и всегда будет необходимо! «...Художественное изображение — настолько естественный, настолько непременный для меня вид жизнедеятельности, что я не в силах поверить, чтобы даже самое утилитарное, самое механизированное общество смогло когда-либо истребить тип, разновидностью которого я являюсь». Наперекор декадентскому культу смерти Томас Манн утверждает: «Художник — прирожденный противник смерти, бренности»,— искусство помогает человечеству отстаивать себя, противостоять силам разрушения. Искусство — не выдумка и не прихоть, не плод отвлеченной фантазии: творчество величайших писателей — Т. Манн ссылается здесь на Толстого — всегда основано на жизненном опыте, на лично пережитом. Вместе с тем художнику обязательно нужна «энергия воображения», самостоятельность мысли, ведь он преобразует видимое, а не копирует его.

Романисту — Томас Манн говорил об этом не раз — особенно необходима критическая, анализирующая мысль. Уже в «Будденброках» проявилось нелицеприятно-трезвое отношение писателя к окружающему миру. Тем, кто называл этот роман «разлагающей» книгой, Т. Манн не без запальчивости возражал: «Разве нужно петь дифирамбы, чтобы слыть жизнеутверждающим автором!»

Так осмыслено в письмах Томаса Манна высокое призвание искусства. Труд писателя, композитора, живописца — пусть этот труд и именуется у Т. Манна иной раз «священной игрой» — раскрывается, как с л у ж е н и е л ю д я м, выполнение ответственного нравственного долга.

Именно т а к о е понимание искусства влекло писателя, выступившего на исходе первой мировой войны с книгой «Размышления аполитичного», на путь активной п о л и т и ч е с к о й, антифашистской деятельности. «Я открыто прошу,— писал Т. Манн в 1937 году,— избавить меня от всякого почитания, не видящего и не учитывающего органической связи между всем, что я делал как художник, и нынешней моей позицией борьбы против Третьей империи». В одном из писем 1945 г. Томас Манн высказался еще более определенно: «Я думаю, что ничто живое не может обойтись сегодня без политики. Уклонение — тоже политика, причем такая политика, которая служит дурному делу»*.

Отвращение к фашизму нарастало в Томасе Манне задолго до прихода Гитлера к власти и даже задолго до того, как было художественно запечатлено Манном в рассказе 1930 года «Марио и волшебник». Т. Манна тревожила преступная возня фашиствующих «динамитчиков». Писатель-гуманист был убежден, что националистическая исключительность враждебна лучшим традициям германской культуры. Великие писатели и музыканты прошлого завещали немцам широту всемирного кругозора; именно в этом аспекте встает образ Гете в романе Т. Манна «Лотта в Веймаре». «Нельзя быть немцем, будучи националистом». Этот тезис может показаться парадоксальным, но для Томаса Манна он был глубоко выстраданным убеждением.

В годы гитлеровской диктатуры Томас Манн остро ощущал ответственность немецких деятелей науки и культуры за то, что творилось в стране. Он с бескомпромиссной суровостью — не щадя и иных бывших своих друзей — осуждал тех, кто приспособился и склонил голову перед фашистскими мракобесами. Глубокой искренностью, нескрываемой болью проникнуты строки, написанные им уже после войны: «...Никакими словами не избавить меня от горя и стыда по поводу ужасного, бессердечного и безмозглого провала немецкой интеллигенции на экзамене, которому она подверглась в 1933 г. Она должна сделать много в е л и к о г о, чтобы э т о забылось».

Находясь в изгнании, Томас Манн считал своим долгом говорить от имени немецкой литературной эмиграции, поддерживать и отстаивать ее моральный авторитет. Характерно в этом смысле его письмо к швейцарскому журналисту Корроди. Т. Манн решительно возражает против попыток преуменьшить силы немецкой литературы, находящейся за пределами страны. Гитлеровскую Германию покинули далеко не только те, кто опасался расовых преследований. Совершенно естественно, что литераторы, обладающие интеллектом и совестью, в большинстве своем не захотели жить под властью Гитлера — пусть даже некоторые из них и могли бы «притаиться в стороне и процветать без помех в прелестном уединенье». Примечательно, что, говоря о мастерах немецкой культуры, покинувших страну, Томас Манн в числе первых называет больших революционных поэтов Бертольта Брехта и Иоганнеса Р. Бехера.

Начиная с 1938 года Томас Манн жил в США. Он читал лекции в университетах, имел широкие возможности для того, чтобы помогать немецким эмигрантам-антифашистам. В письмах можно найти объяснение, почему Т. Манн после войны не захотел вернуться на родину: «Я не скрываю, что боюсь немецких руин — каменных и человеческих». За годы войны в нем окрепло чувство душевной привязанности к народу США, внесшему свой вклад в разгром фашизма. После смерти президента Рузвельта, которого Томас Манн лично знал и очень уважал, в США многое изменилось — старый писатель с болью наблюдал эти перемены. «Налицо первые признаки террора, шпионажа за инакомыслящими, политической инквизиции, ослабления правопорядка — все это пытаются оправдывать ссылкой на чрезвычайные обстоятельства. Как немец могу только сказать: с этого начиналось и у нас» **. В этой обстановке Томас Манн предпочел переехать в Европу. Последние три года жизни он провел в Швейцарии, периодически выезжая в обе части Германии.

Свои политические надежды Томас Манн в последние годы жизни связывал с несколько отвлеченной концепцией «социального гуманизма», далеко выходящего за рамки буржуазной демократии. Общеизвестны его слова: «Антибольшевизм — основная глупость нашей эпохи». Не разделяя коммунистических идей, Томас Манн в разные периоды жизни умел относиться с уважением и к этим идеям, и к их носителям. Об этом свидетельствует, в частности, его письмо к И. Понтену, датированное 1919 годом. Мысль о «пролетарской культуре» вызывала в Т. Манне боязливое «чур меня» — она шла вразрез со многими укоренившимися его представлениями. И вместе с тем Т. Манн был убежден: «В коммунизме, как я его понимаю, есть много хорошего и человечного...».

С юных лет Томас Манн хорошо знал русскую литературу и любил ее. Эта любовь отражена в его известных статьях о Толстом, Достоевском, Чехове и во многих письмах разных лет. Он неоднократно — в частности, и в приводимом ниже письме к д-ру Б. Фучику — говорил о том большом влиянии, которое оказали русские писатели на его творчество. Повторное чтение «Войны и мира» вызвало у него возгласы: «Какое могучее произведение! Таких больше уже не пишут. И как я люблю все русское!»

В русской литературе, которую Томас Манн, устами своего героя Тонио Крёгера, назвал «святой» литературой, его привлекало не только художественное мастерство

---

* Thomas Mann. Briefe 1937—1947. S. 425.
** Там же, S. 558.

классической прозы, но и, прежде всего, высота духовного уровня, серьезность нравственных запросов, предъявляемых к миру и человеку. В лучших произведениях русской литературы Томас Манн видел то, что было ему дорого в течение всей его жизни,— воплощение гуманистической миссии искусства.

Т. Мотылева

КАТЕ *

[Начало июня 1904 г.]

...и так восхитительно лукаво блестят вдобавок Ваши глаза... что это потеря времени, почти преступная потеря времени — все эти маленькие забавы, которые заполняют вечер, тогда как нам — Вам и мне — надо бы поговорить о куда более важном: Вы, конечно, знаете, Вы, конечно, видите по моему лицу, как часто я об этом думаю и как тяжко мне думать об этом снова и снова! Если бы мы больше бывали одни! Или если бы я умел лучше пользоваться теми короткими минутами, которые мне иногда бывают подарены! Я уже говорил Вам, с каким восторгом прочел я то, что Вы написали о «сближении»,— и какой в то же время болью это меня наполнило. Я ведь знаю, знаю ужасающе хорошо, как виноват я в «какой-то неловкости или чем-то вроде того» (до чего же трогательно это «что-то вроде»!), которую Вы передо мной так часто испытываете, знаю, как из-за «недостатка простодушия», непосредственности, бездумности, из-за всей нервности, искусственности, нелегкости своего нрава я не даю никому, даже самому доброжелательному человеку, сблизиться со мной или вообще хоть как-то со мною поладить; и это огорчает меня особенно, когда — а такое случается при всем при том невероятно часто — я чувствую в отношении людей ко мне тот теплый интерес, который называют симпатией...

...это моя вина; и отсюда постоянная моя потребность прокомментировать, объяснить, оправдать себя перед Вами. Возможно, что потребность эта совершенно излишняя. Ведь Вы же умны, ведь Вы же проницательны благодаря своей доброте и некоторому ко мне расположению. Вы знаете, что как личность, как человек я не мог развиваться подобно другим молодым людям, что талант порой ведет себя как вампир — высасывает кровь, поглощает; Вы знаете, какой холодной, обедненной, чисто исполнительской, чисто артистической жизнью я жил много лет; знаете, что много лет, и лет в а ж н ы х, я ни во что не ставил себя как человека и хотел, чтобы меня принимали во внимание только как художника... И вы понимаете, что такая жизнь не может быть легкой, веселой, что даже при большом сочувствии внешнего мира она не может родить спокойной и смелой самоуверенности. Исцелить меня от артистической искусственности, от недостатка простодушного доверия к своей личной, человеческой участи может только одно — счастье; только В ы, моя умная, милая, добрая, моя любимая маленькая королева!.. Чего я у Вас прошу, на что уповаю, чего от Вас жду — это доверия, это безоговорочной готовности быть на моей стороне даже наперекор миру, даже наперекор м н е с а м о м у, это что-то похожее на веру, короче—это л ю б о в ь... Это просьба и это желание... Будьте моим подтверждением, моим оправданием, моим завершением, моей избавительницей, моей — женой! И пусть Вас никогда не сбивает с толку эта «неловкость или что-то вроде того»! Высмейте меня и самое себя, если я вызываю у Вас такое чувство, и будьте на моей стороне!

КУРТУ МАРТЕНСУ **

28.III.1906. Мюнхен, улица Франца-Иосифа, 2.

Дорогой Мартенс!

Большое тебе спасибо за то, что ты любезно прислал мне свою статью. Прекрасный двойной портрет, делающий честь твоему критическому мастерству! Есть в нем, конечно, неточности, преувеличения, недоразумения, поспешные выводы, но в конце концов сказать надо что-то определенное, и потом — какое значение имеет «сходство»? Ты все интересно увидел, интересно сказал, а это главное.

И все же мне хочется указать тебе лично на несколько пунктов, по поводу которых я качал головой.

Не следует приписывать мне «ледяное человеконенавистничество» и «нелюбовь ко всякой плоти и крови», «заменяемую» якобы художническим фанатизмом. «Тонио Крёгер», да и «Фьоренца» полны иронии в отношении искусства, а в «Тонио Крёгера» вписано признание в такой любви к жизни, которая своей ясностью и непосредственностью доходит до нехудожественности. Разве этому признанию нельзя поверить? Разве это только риторика? Не следует называть «Будденброков» «разлагающей» книгой. «Критическая», «насмешливая» — пожалуй. Но ни в коем случае не «разлагающая». Для этого она слишком положительно-художественна, слишком покладисто-пластична, слишком светла в основе. Разве нужно петь дифирамбы, чтобы слыть жизнеутверждающим автором? Любая хорошая книга, написанная против жизни,— это все-таки обольщение жизнью... Мне почти жаль приводить тебя в замешательство, но

---

* Катя Прингсгейм (род. в 1883 г.) — будущая жена писателя.

** Курт Мартенс (1870—1945) — критик, сотрудник газеты «Мюнхнер нейсте нахрихген», был несколько лет близким другом Томаса Манна.

дело обстоит не так просто, как ты его изображаешь. Благодарен за замечание, что «Будденброки» — это не «почвенническое искусство», но не нужно называть их книгой по сути своей не немецкой. Сколько в этой книге Вагнера, Шопенгауэра, даже Фрица Рейтера! Спроси себя просто, в какой национальной атмосфере, кроме немецкой, могла она быть написана, и тебе придется признать: ни в какой. А потом подумай, вправе ли ты утверждать, что я чувствую себя среди моего народа безродным.

Не следует говорить, что я «хотел бы свести ценность творческой фантазии к ценности бульварно-беллетристической выдумки». Я утверждаю, что способность выдумывать персонажей и интриги не является критерием писательского дарования. Любой лирик, не умеющий ничего, кроме как непосредственно изливать свою душу,— есть доказательство моей правоты. А ведь я лирик (по существу). Я утверждаю, что тот, у кого за душой нет ничего, кроме «выдумки», не так уж далек от бульварной беллетристики. Я утверждаю, что величайшие писатели никогда в жизни ничего не выдумывали, а только наполняли своей душой и преобразовывали уже известное. Я утверждаю, что творчество Толстого по меньшей мере столь же строго автобиографично, как и мое крошечное. «Фантазия»? Ты согласишься, что у меня есть некоторая живость и наглядность деталей, некоторая острота глаза и э н е р г и я в о о б р а ж е н и я? А что же все это, как не фантазия? (Не говорю уж о фантазии в языке и стиле.) «Т в о р ч е с к а я фантазия»? Но ведь написал же я! Страшно мало пока что, четыре среднего качества книжки, но они-то е с т ь. Чего вам, собственно, нужно?

Ты очень пренебрежительно говоришь о статье «Бильзе и я». Почему? Странная вещь! При виде этой статьи всегда считают нужным что-то подтвердить или оспорить. Только что же? Подтвердить или оспорить можно какое-либо утверждение. Но ведь я — прочти-ка получше! — ничего, собственно, не утверждал. Я не говорю: писатель имеет право писать портреты людей. Такое право недоказуемо. Что выдающиеся писатели во все времена на него притязали — факт установленный. Я хочу этот факт оправдать. Я хочу указать на ошибочность практического отождествления действительности с ее художественным изображением. Я хочу, чтобы произведение искусства рассматривалось как нечто абсолютное, не подлежащее дискуссии с житейской точки зрения. Я устанавливаю некое недоразумение и стараюсь исследовать его корни, ослабить по возможности вредное его действие. Вот и все. Разве это недостойно, бесполезно, похоже на манию величия? Разве я не действую в интересах общества, как и в интересах искусства? Я рассчитывал на простую благодарность, а слышу только крики: «Да, да!» или «Нет, нет!» Странно устроен мир.

«Даже из простого сопротивления ф и з и ч е с к о м у недомоганию Т. М. хочется вывести достойное славы геройство». Ты говоришь это очень удивленным тоном, с подтекстом: «Что за вздор!» Ты явно думаешь, что каждого, кто улыбается, когда у него болит живот, я готов наделить бессмертием. Так понимают человека в баре «Одеон». Удивительно ли, что я предпочитаю сидеть дома?.. То, что я хочу сказать, коротко и более или менее точно выражено в словах моего Лоренцо: «Нельзя возвеличиться, не положив на то многих усилий... Препятствия — лучший союзник воли...» (в словах Лоренцо, владыки радости, которого я писал не без доли сочувствия и перед лицом которого ты заявляешь, что «всякое проявление радости жизни я принципиально клеймлю как нечто низменное»). Поэтому таких людей, как Геракл или Зигфрид, я считаю популярными фигурами, но не героями. Героизм, на мой взгляд,— это «вопреки», это преодоленная слабость, для него нужна «нежность». Слабый и маленький клингеровский Бетховен, который взошел на великий престол богов и, рьяно пытаясь сосредоточиться, сжал кулаки,— вот это герой. Исторически физическое страдание кажется мне почти обязательным спутником величия, и психологически я это понимаю. Не думаю, что Цезарь стал бы Цезарем без своей хилости и без своей падучей, а если бы и стал им, то без них он не был бы в моих глазах таким героем. В конце концов, разве не полна героизма стойкая представительность истощенного Томаса Будденброка? Неужели ты к этому глух?

«Т. М., которому по самой его природе суждено быть аскетом» — это не неверно, но это крайность. (Повторяю: ты должен был сказать что-то определенное.) Я аскет, поскольку моя с о в е с т ь требует от меня р а б о т ы как противоположности наслаждения и «счастья» — тем хуже для меня, потому что я не очень работоспособен. Вряд ли, следовательно, меня можно назвать аскетом в каком-либо другом смысле слова, кроме такого: «Стремлюсь ли я к счастью? Я стремлюсь к своему труду!» Я не доверяю наслаждению, я не доверяю счастью, я считаю их непродуктивными. Я думаю, что сегодня нельзя быть слугой двух господ — наслаждения и искусства, что для этого мы недостаточно сильны и совершенны. Я не думаю, что сегодня можно быть бонвиваном и в то же время художником. Надо выбрать одно из двух, и моя совесть выбирает работу. Если это «квакерство», то «Фьоренца» проповедует квакерский образ жизни — поскольку он означает работу. Н о н е в о о б щ е. Право же, тебе следовало бы знать, что я слишком скептичен или, если взять более гордое слово, слишком с в о б о д е н, чтобы в своих книгах что-либо проповедовать,— а квакерство и подавно! «Фьоренца»— это мечта о величии и о душевном могуществе. «О душах речь, о государстве речь» — вот и все. Дается изображение героической борьбы между чувствами и духом, и это изображение совершенно беспристрастно. Что Фьоре смотрит на художников свысока, еще не означает тенденции. Вот если бы на Лоренцо

свысока смотрел я, тогда моя книга приобрела бы тенденцию. Я смотрел на него как на героя. Я соблюдал почти чрезмерную справедливость. Приор иной раз оказывается в очень невыгодном положении. И разве ты не почувствовал, что в Лоренцо я вложил по меньшей мере столько же собственных черт, сколько в приора, что он по меньшей мере такая же субъективная и лирическая фигура? Между прочим, добрые слова, которые нашлись у тебя для языка «Фьоренцы», были мне искренне приятны. В «Цейтгейсте» недавно говорилось иное. Там была всякая всячина насчет «натужного новомодного языка, какой нынче в ходу у несовершеннолетних снобов», и насчет «грубых нарушений правил грамматики». В таком духе была выдержана вся статья, а написал ее Рихард Шаукаль. Разумеется, у него были причины для этой критики, или, как выразился бы ты, он «счел необходимым»...

И еще вот что! Ты говоришь, что когда-нибудь, если я чего-то достигну, я буду вызывать больше холодного уважения, чем сердечной любви. Дорогой друг, это неправда. Конечно, если ты скажешь это людям еще раз-другой, они поверят тебе. Если ты еще раз-другой изобразишь меня писателем озлобленным, холодным, язвительным и безродным, то, пожалуй, с любовью и прочим дело будет обстоять так, как ты предсказываешь. До сих пор все было иначе. Неверно, что «Будденброки» и «Тонио Крёгер» навязаны публике критическими разборами и приняты прохладно. Эти мои самовыражения любимы, поверь мне, и притом в такой степени, что мне впору тревожиться. «Неужели я так мягок, так сладок, так посредствен,— не раз спрашивал я себя,— что меня так любят?» Ну и пусть. Не греша ни фривольностью, ни причудливостью, ни педантизмом, ни чопорностью, я не вижу причины, по которой в будущем немцы должны, если мне суждена хоть какая-то долговечность, отказать мне в любви. Что может не понравиться им в части личного моего поведения? Я был тихим, вежливым человеком, который собственным трудом добился известного благосостояния, женился, производил на свет детей, ходил на премьеры и был настолько хорошим немцем, что за границей больше месяца не выдерживал. Неужели непременно нужно еще играть в кегли и пить?

Вот, пожалуй, и все мои несогласия. Я почти уверен, что и у моего брата нашлись бы подобные замечания,— у этого Генриха Манна, которого ты изображаешь отгородившимся от всех эгоистом и который теперь самым экспансивным образом сражается в газетах за профессора Мурри. Но пусть каждый печется о своих делах.

Ты не будешь, разумеется, так уж неправ, если сочтешь этот ответ неблагодарным или даже смешным. Но я думал: почему бы мне немного не поправить самого разумного и самого осведомленного своего друга, если он в чем-то, на мой взгляд, ошибается или что-то искажает.

Прости мне этот манускрипт!

Твой Томас Манн.

ЮЛИУСУ БАБУ *

31 авг. 1910 г. Бад Тёльц, дача Томаса Манна.

Многоуважаемый господин Баб,

я был искренне рад Вашей открытке из Любека и еще больше — прекрасной маленькой статье в «Рундшау», к которой она меня подготовила. Многим в этой статье я был потрясен так, как только можешь быть потрясен, когда из чужих уст слышишь вдруг то, что долго составляло часть немой подоплеки всех твоих мыслей и дел. Я не мог не вспомнить своего Лоренцо: «Так приятно слушать самого себя, это совсем не требует усилий». Что жизнь Томаса Будденброка и есть, как Вы намекаете, современная героическая жизнь, понял до сих пор только один критик — маленький, безобразный Люблинский. И, признаться, только в благодарность за это я недавно схлестнулся из-за него с сумасшедшим болваном Лессингом. Самое прекрасное место в Вашей статье — это слова о «социально воспитанной напряженности духа». Пластика — хорошая вещь. Но есть что-то великолепное в критическом слове, не правда ли? Мне хотелось бы, чтобы Вы когда-нибудь написали обо всем моем творчестве, о моем «напряженном» героическом типе, разными индивидуализациями которого и являются Томас Б., Лоренцо де Медичи, Савонарола, Клаус Генрих и тот, кого я держу на поводу сейчас (авантюрист!).

Очень благодарю Вас.

Преданный Вам Томас Манн.

ФИЛИППУ ВИТКОПУ **

4.X.17, Мюнхен, Пошингерштр., 1.

Дорогой господин профессор,

большое спасибо за юбилейные гинденбурговские номера. Они послужили для чтения во время болезни, ибо уже 8 дней, как я слег. Похожее на дизентерию заболе-

---

* Юлиус Баб (1880—1955) — драматург и критик, автор пятитомной «Хроники немецкой драмы». В 1933 г. эмигрировал из Германии и умер в США.

** Филипп Виткоп (1880—1942) — германист, профессор. До первой мировой войны был известен как лирический поэт.

вание кишечника снова знакомит меня с образом жизни больного, не лишенным, право же, прелести и всегда напоминающим мне тонкое замечание Ш. Л. Филиппа: «Les maladies sont les voyages des pauvres». * Я часто привожу эти слова. Не обязательно принадлежать к беднякам, чтобы восхищаться ими.

Было несколько отвратительных дней, но сейчас у меня нет жара и я поправляюсь. Я много читаю, перечитываю от корки до корки «Войну и мир» — по сути новую для меня книгу, потому что я читал ее только один раз в незрелом возрасте. Какое могучее произведение! Таких больше уже не пишут. И как я люблю все русское! Как веселит меня его противоположность французскости и его презрение к ней, с которым встречаешься в русской литературе на каждом шагу! Насколько ближе друг другу русская и немецкая человечность! Мое многолетнее искреннее желание — согласие и союз с Россией.

Политическое положение принимает прямо-таки юмористический характер. Центральные державы витийствуют о «роде человеческом» и Вечном Мире, а Антанта ругает их за банальную трескотню — все в мире шиворот-навыворот. Во всяком случае, демократия теперь у нас официальна, что сделает ее, вероятно, литературно невозможной.

Зимой мне предстоит большая поездка — я буду выступать в десяти городах, распределяющихся между самыми разными провинциями Германии. Дай бог, чтобы моя толстая кишка не помешала мне закончить до этого книгу. Я так рад, что буду повествовать. Кстати, в октябрьском номере «Нейе рундшау» помещена моя статья о «Палестрине» Пфитцнера **. Она тоже взята из «Размышлений» ***.

Недавно я познакомился с Адальбертом Штифтером, которого, представьте себе, мне вообще не случалось читать. Это была находка — я всей душой почувствовал себя в родной стихии. За эти годы я приучился чувствовать себя, несмотря на весь интернациональный налет, поздним отпрыском немецко-буржуазного повествовательского искусства.

Ваш Томас Манн.

ЙОЗЕФУ ПОНТЕНУ ****

29.III.19, Мюнхен, Пошингерштр., 1.

Глубокоуважаемый господин Понтен,
трудно сказать, почему я так долго не мог собраться прочесть Вашу новеллу, а значит, и написать Вам. Мешало то одно, то другое; для собственной моей работы приходилось много читать; а потом политика, газеты, время, которое то и дело потрясает и отвлекает! Все откладываешь и откладываешь, а там, глядишь, тебе уже представляется обязанностью и работой то, что первоначально казалось чистым наслаждением, каковым, впрочем, по природе своей, снова становится, стоит только за это взяться. Когда пришло новое Ваше письмо, я как раз начал читать, и, бог свидетель, вскоре я уже кончил, достаточно было двух-трех присестов, нескольких часов: это же не работа, а сплошное удовольствие — вбирать в себя такую историю, она очень существенно дополнила мое представление о Вас как о художнике и вызвала у меня еще большее любопытство ко всему дальнейшему! Какой гротеск, сколько в нем красоты! Такие картины, как ночная пляска монахов-заклинателей в трубчатых клобуках вокруг согрешивших влюбленных там, наверху, среди этой патологической ночи, не забываются. И Ваша интонация, Ваша манера повествования нравится мне необычайно. В ней есть что-то консервативное, хотя и очарования современности она ни в коей мере не лишена. Короче говоря, я снова порадовался, что на Вас «напал».

Что касается меня, то после «Размышлений» я на первых порах целиком погрузился в сферу интимно-идиллическую и написал две небольших вещи этого рода, которые после волокиты с корректурами выйдут у Фишера, вероятно, к осени или к зиме отдельной книжечкой. [...]

О политике лучше не начинать. Я разделяю Ваши чувства и, пожалуй, не желал бы, чтобы эта тошнотворно-лицемерная демократия поумнела благодаря венгерским событиям *****, взволновавшим меня до глубины души. Пускай бы они все обострили до крайности. У нас тоже можно со дня на день ждать слияния национального возмущения и большевизма. В «коммунизме», как я его понимаю, есть много хорошего и человечного. Его конечная цель — вообще уничтожить государство, которое всегда будет государством силы, очеловечить и оздоровить мир его деполитизацией. Кто может быть по существу против этого? Только чур меня тоже и еще раз чур меня от «пролетарской культуры».

Преданный Вам Томас Манн.

---

* Болезни — это путешествия бедных *(франц.)*.

** Ганс Пфитцнер (1869—1949) — композитор. «Палестрина» — опера, самое значительное произведение Пфитцнера. Она была впервые исполнена в Мюнхене в июне 1917 года. Дирижировал Бруно Вальтер, один из самых близких друзей Томаса Манна.

*** Имеется в виду книга Т. Манна «Размышления аполитичного», вышедшая в 1918 г.

**** Йозеф Понтен (1883—1940) — писатель.

***** 21 марта 1919 г. была провозглашена Венгерская Советская Республика.

ЙОЗЕФУ ПОНТЕНУ

22.4.25, Мюнхен, Пошингерштр., 1.

Дорогой Понтен,

Ваше большое письмо меня потрясло. Оно ясно и четко, в форме признания, высказывает то, что я давно видел, но о чем не мог сказать, а именно — что существует почти болезненная сосредоточенность Вашего внимания на моем духовном облике, сосредоточенность, для возникновения и сохранения которой я — во всяком случае, сознательно, умышленно — палец о палец не ударил и от которой, будучи Вашим другом, от всего сердца желаю Вам избавиться. И правда, надо покончить с этой привычкой не спускать с меня глаз, сравнивать себя со мной и мерять себя по мне, упорно размышляя, как это мне удалось что-то значить, тогда как на самом деле, чтобы иметь право что-то значить, мне следовало бы быть совсем другим, таким, как Вы. Господи, можно подумать, что в мире нет ничего, кроме Вас и меня и проблемы нашего отношения друг к другу. Это нездоровое мироощущение. И боже мой, как неверно Вы многое во мне видите! Мое творчество — это якобы насмешка над деловитостью. Она высмеивается, например, в образе гофрата Беренса *, этого состоящего на службе у дьявола властителя плоти, прячущего свою меланхолию за корпорантской молодцеватостью. И даже величие я будто бы высмеял в Пеперкорне, а между тем совсем не глупый Юлиус Баб находит в своей большой статье, что Пеперкорн — это, вероятно, наиболее удачный поэтический образ книги и что в нем есть достоинство самой природы. Считая прекрасной приметой очеловечения молодого героя то, что этот соперник вызывает у него, Касторпа, не рыцарскую ненависть, а восхищение, Юлиус Баб называет самой счастливой поэтической находкой книги ту сцену, где Пеперкорн держит свою последнюю речь на краю гремящего водопада. Одним словом, на моей памяти не было, кажется, случая, чтобы моя постоянно упоминаемая ирония показалась кому-либо такой подавляющей, такой нигилистической и дьявольской, как Вам. Наоборот, мои литературные противники видят в ней скорее проявление добродушной и нерадикальной буржуазности, а те, кто относится ко мне лучше, говорят обычно о доброте. Не знаю, кто прав, сам я себя не вижу, да и никто не видит себя самого. Но то отражение, которое Вы мне показываете, несомненно, как-то искажено; этого можно было ждать a priori, при Вашем чрезмерно страстном, можно даже сказать, патологическом отношении ко мне, и мне остается надеяться, что так оно и есть. Трудно понять, почему мое житье-бытье все больше и больше становится для Вас проблемой и crève-cœur **. Ведь коль скоро Вы сами считаете, что мы очень разные люди, о соперничестве, да, пожалуй, и о сравнении не может быть речи, и Вы спокойно можете предоставить мне быть таким, каков уж я есть, а сами спокойно оставаться тем, чем являетесь. Спокойствие — это и в самом деле то, чего я Вам, как уже сказал — по дружбе, желаю от всего сердца. Вы должны избавиться от этой мании, которая стала уже помехой Вашей творческой деятельности, как я, к ужасу своему, заключаю из Вашего признания, что эти раздумья и эта несвобода не позволяют Вам взяться за тот чудесный материал, о котором Вы мне тогда, в пути, рассказывали. Я давно твердо верю в Ваш самобытный и сильный талант, так не похожий на мой и при этом такой большой. «Студенты» несомненно окажутся выдающимся произведением, если во время работы Вы будете целиком самим собой. Я слышал, что Вы собираетесь путешествовать. Приветствую это почти с облегчением. Я сказал бы Вам: будьте мужчиной, если бы не знал, что Вы и так мужчина, и в чем-то в большей мере, чем я. Мужество тоже не такая простая вещь, соотношение всех «за» и «против» тут тоже весьма сложно. Обо всем этом мы, конечно, еще поговорим перед нашими дальнейшими, своими у каждого, дорожными приключениями. Благодарю Вас за то, что Вы излили мне душу, и шлю Вам самый теплый привет.

Ваш Томас Манн.

ВИЛЛИ ГААСУ ***

11.III.28, Мюнхен.

Многоуважаемый господин Гаас!

Большое спасибо за Ваше письмо. В частном порядке я получил все же много одобрительных отзывов о своей статье **** — и непосредственно, и косвенно; говорят, например, будто Георг Бернгард ***** сказал, что он сам с удовольствием напечатал бы эту реплику. А вообще-то я не удивился бы, если бы левая печать не поддержала меня, таково уж ее поведение в подобных случаях. Полагаться на нее мы можем гораздо меньше, чем наши противники на свою прессу. Я видел только два газетных

---

* Беренс, Пеперкорн, Касторп — герои романа «Волшебная гора».

** Заботой *(франц.)*.

*** Вилли Гаас (род. в 1891 г.) — публицист. После возвращения из эмиграции живет в ФРГ.

**** Имеется в виду «Открытое письмо Вилли Гаасу», где Т. Манн отвечал на нападки газеты «Берлинер нахтаусгабе».

***** Георг Бернгард (1875—1944) — один из самых влиятельных журналистов Веймарской республики. Эмигрировал в 1933 г.

отклика, оба со стороны немецких националистов. «Фёлькишер беобахтер»* сама прислала мне свой ответ, и, взглянув на него, я отправил его обратно с пометкой «за ненадобностью». О нем, право, не стоит и говорить. Затс я хотел бы обратить Ваше внимание на статейку, помещенную 7 марта в своем «Занимательном обзоре» газетой «Таг». Великолепную брань под заголовком «Расколдованная гора», которой там кроет меня какой-то молодой динамитчик из фашистских «революционеров», стоит прочесть уже как документальное свидетельство умонастроения известной части политической или псевдополитической молодежи, и мне кажется, что было бы очень хорошо, если бы именно Вы еще раз выступили с критической репликой по этому поводу. Как личное выражение мальчишеского темперамента эта статейка даже симпатична, но полное отсутствие в ней чувства ответственности заставляет все же задуматься. Имеет ли еще этот так называемый национализм хоть малейшее отношение к отечеству или какой-либо идее отечества? По-моему, нет. Это чистейшая романтика динамизма, чистейшее прославление катастрофы ради катастрофы, по существу беллетристика, и этим-то орган буржуазной реставрации занимает сегодня своих читателей. Странные времена!

Кажется, все в один голос упрекают меня в том, что я, мол, козырнул своей «славой», а ведь на самом-то деле она, честное слово, оставляет мое сердце и мой ум совершенно холодными. Не славу свою я отстаивал, а национальную подлинность своего творчества, и притом перед людьми, которые не могут подтвердить свою принадлежность к немцам ничем, кроме крика. Я не понимаю также, почему мои слова о различии между немецким и французским национализмом вызвали такое ожесточение, словно я сказал что-то неслыханное. Только что я перелистывал новую книгу Германа Кейзерлинга «Спектр Европы» и нашел там в главе о Германии фразы, которые попросил бы Вас перечесть в контексте: «Нет ни одного котирующегося в Европе немца, который был бы лишен этой вселенской широты. Немец-националист, в отличие от националиста-француза, не представляет собой культурной и общечеловеческой ценности, это частное дело Померании или Баварии, а то и вовсе какой-нибудь корпорации». Мне кажется, повторяю, было бы недурно, если бы Вы вернулись к этому инциденту в заключительной заметке, где могло бы найтись место для приведенной цитаты.

Преданный Вам Томас Манн.

Б. ФУЧИКУ **

15.IV.1932.

Дорогой доктор Фучик,
большое Вам спасибо за Ваше милое письмо. Прекрасный и богатый набор книг я тоже получил и искренне рад, что теперь у меня есть эти великолепные издания. Одновременно я получил корректуру и, как только до нее дойдут руки, просмотрю ее для авторизации.

Лучше всего я выражу свою горячую признательность за дружеские слова и прекрасные подарки, ответив как можно полнее на Ваши вопросы.

1. Кто заявляет о своей верности европейскому мышлению и мироощущению, того сегодня сразу же тривиально упрекают в безродности. Поэтому, вероятно, хорошо, что я чувствую себя лучшим немцем, чем многие из тех, кто ругает меня за мой европеизм. Мне совершенно ясно, да и всякому разумному человеку видно, сколь многим обязан я немецкой духовной традиции и какие глубокие корни меня с ней связывают. Но моя вера в высшее единство европейской культуры — не столько вера, сколько простое и ясное понимание. Два главных элемента этой европейской культуры — античность и христианство. Именно теперь, когда чтут память великого европейца Гете, оба эти элемента стали при юбилейном обращении к его творчеству снова особенно ощутимы. Я целиком разделяю мнение Ортега-и-Гассета, который в своей книге «Восстание масс» говорит: «Если мы в виде опыта представим себе, что должны жить только с тем, что нам «дано от природы», если мы попробуем, например, отнять у среднего немца все качества, мысли, чувства, которые он перенял в других странах земного шара, мы поразимся тому, как невозможно уже такое существование: четыре пятых нашей собственности — это общеевропейское достояние». Кстати сказать, единство европейского мира очень легко установить опытным путем в других человеческих мирах. Достаточно отправиться в Азию или Африку, чтобы самым непосредственным образом почувствовать брата в любом соевропейце, будь то немец, француз, чех или еще кто-либо.

2. В молодости я вобрал в себя многое из духовного и художественного мира русского Востока и не избежал огромного влияния, которое оказал Достоевский на всю Европу. Но и тут лично мне были ближе писатели, испытавшие влияние Запада, такие, как Толстой и Тургенев, а примесь латинской крови со стороны моей матери

---

* Газета немецких националистов впоследствии главный гитлеровский официоз.
** Об этом корреспонденте Т. Манна сведений нет.

объясняет уже, почему романская форма мышления, являющаяся формой в большей степени, чем любая другая, всегда привлекала меня и даже, может быть, все сильней и сильней привлекает с годами. Я ни в коей мере не разделяю веры в упадок европейского Запада, который еще недавно породил такое литературно-художественное явление, как Марсель Пруст, и духовные достижения романско-кельтского Запада неизменно бывали для меня самыми сильными и самыми счастливыми импульсами.

3. Я не решился бы огульно назвать славянское начало анархическим и разрушительным хотя бы по той причине, что понятие разрушительности очень неопределенно и отдает буржуазной трусостью, которая не представляет собой духовной ценности. То, что называют разрушительным, бывает часто направлено не против жизни, а на освежение и обновление жизни. Стремление Гете к порядку, к мере и к форме выражало его волю к самообузданию своей поначалу опасно, до демонизма, могучей натуры, и эта воля прекрасно сознавала свое большое народно-воспитательное значение, но если видеть разрушительное начало, например, в критическом духе, то в немцах его, конечно, столько же, сколько в любой другой расе, знаменитый пример чему — «сокрушительное» творчество Канта, и все знают, как много лирически-личного в образе гетевского Мефистофеля, а ведь он самым великолепным и самым забавным образом олицетворяет принцип разумной разрушительности.

4. Я считаю искусство изначальным феноменом, который ни при каких обстоятельствах не перестанет существовать, а художника как форму бытия — бессмертным. Если взглянуть на себя самого, то художественное изображение — настолько естественный, настолько непременный для меня вид жизнедеятельности, что я не в силах поверить, чтобы даже самое утилитарное, самое механизированное общество смогло когда-либо истребить тип, разновидностью которого я являюсь. Было время, когда один великий человек, Шиллер, мог сказать: человек лишь тогда вполне человек, когда он играет. В такие серьезные и трудные времена, как наше, это звучит фривольно, и все-таки я уверен, что та священная и освобождающая игра, которую называют искусством, всегда будет необходима человеку, чтобы он чувствовал себя действительно человеком.

5. Ни один художник, спору нет, не видит наперед плана своей жизни и не знает заранее всего материала, над которым он будет работать в ходе времени. Но большей частью ему удается установить связь между отдельными своими детищами, отмечая, что ростки всякого последующего произведения содержатся уже в предшествующем, и все больше и больше убеждаясь в том, что все исходит из какого-то личного центра и в конечном счете само собой образует естественное единство.

6. Во французском интервью я потому назвал «Тонио Крёгера» и «Смерть в Венеции» работами, в которые верю больше всего, что замкнутая и четкая форма новеллы, по-моему, долговечнее, чем рыхлая и растянутая форма романа. В Германии самая популярная из моих книг, несомненно, «Будденброки», и возможно, что в собственной моей стране мое имя всегда будет связываться преимущественно с этим произведением. В Америке, например, «Волшебная гора» благодаря своей современной проблематике произвела куда более сильное впечатление. Что касается «Марио и волшебника», то мне неприятно, когда этот рассказ рассматривают как политическую сатиру. Тем самым ему отводят сферу, которой он принадлежит разве что небольшой своей частью. Я не отрицаю, что в нем есть кое-какие политические приметы и намеки злободневного характера, но политика — это широкое понятие, переходящее без резкого разграничения в область этических проблем, и мне хотелось бы видеть значение этой маленькой истории скорее в ее этической, не говоря уж о художественной, чем в ее политической стороне.

7. Я думаю, что переживания детства, которые и вообще-то оказывают такое решающее влияние на склад человека, играют в любой артистической жизни большую роль и уж как раз творчество любого писателя обильно питают мотивами и впечатлениями. Во всяком случае, относительно меня такое утверждение совершенно справедливо. Характерно, что и в автобиографиях, и в автобиографических романах детство обычно — самая поэтическая и самая свежая часть. Музыку я всегда страстно любил и считаю ее в известной мере классическим образцом искусства вообще. Я всегда считал свой талант неким видоизменением музыкантства и воспринимаю художественную форму романа как своего рода симфонию, как ткань идей и музыкальное построение. В этом смысле характер партитуры носит из моих книг больше всего, пожалуй, «Волшебная гора». В музыке ближе всего мне всегда была немецкая романтика, но ранней и неизменной моей любовью был и Шопен, и опять-таки с давних пор я питаю решительную симпатию к славянину Чайковскому, от которого, на мой взгляд, идет четкая линия к такому современному явлению, как Стравинский, чье искусство вызывает у меня живой интерес.

8. Что касается чешской национальной культуры, то должен честно признаться, что вступал в непосредственный контакт с ней только через одного музыканта, Сметану, чья музыка входит в фонд европейской культуры, а в литературном отношении через нескольких новейших писателей, таких, как знаменитый автор «Швейка» Гашек,

затем Карел Чапек, чью прозу очень высоко ценю, и драматург Лангер *, которого часто играют в Германии. Это немного, но, к сожалению, язык создает преграду слишком могучую, чтобы я познакомился с достижениями чешской культуры поближе.

9. Тем многограннее и живее мое соприкосновение с немецко-чешской литературой, главным представителем которой Вы называете Рильке — лирика, и, на мой взгляд, конечно, высшего ранга. Меня всегда необычайно привлекал специфически пражский колорит в современной прозе. Мне достаточно назвать имена Верфеля, Франца Кафки, Макса Брода, Германа Унгара, Людвига Виндера, чтобы показать, какое значение имеют эти имена для современной прозы вообще.

10. Новая работа, которая занимает меня уже много лет и потребует еще немалого времени,— это библейско-мифологический роман под названием «Иосиф и его братья». Я не думал прежде, что история религии и даже теология могут вызвать у меня такой интерес. Эта склонность, по-видимому,— продукт возраста, и я отдаюсь ей с готовностью, которой заслуживает все, что жизнь органически приносит с собой.

[Окончания письма нет]

ЭДУАРДУ КОРРОДИ **

3.II.1936, Кюснахт-Цюрих.

Дорогой доктор Корроди,

Ваша статья «Немецкая литература в эмигрантском зеркале», появившаяся во втором воскресном выпуске «Нейе цюрхер цейтунг» от 26 января, привлекла к себе большое внимание, о ней много спорили, ее цитировала — чтобы не сказать: эксплуатировала — пресса самых различных направлений. Кроме того, она имела известное, хотя и косвенное отношение к заявлению, с которым я вместе с несколькими друзьями счел нужным выступить в защиту нашего старого литературного пристанища — издательства С. Фишера. Поэтому я считаю себя вправе сделать еще несколько замечаний по ее поводу и, возможно, даже высказать несколько возражений против нее.

Вы правы: издатель «Нового дневника» допустил явную полемическую ошибку, утверждая, что вся или почти вся современная литература покинула Германию, что она, как он выразился, «перенесена за границу». Я прекрасно понимаю, что это непозволительное преувеличение должно было разозлить такого нейтрального наблюдателя, как Вы. Господин Леопольд Шварцшильд — блестящий политический публицист, хороший боец, сильнейший стилист; но литература — не его область, и я полагаю, что он — быть может, по праву — считает, что при нынешних обстоятельствах политическая борьба — куда более важное, достойное и полезное дело, чем какая бы то ни было поэзия. Во всяком случае, ограниченность кругозора и недостаток художественной объективности, которые он обнаружил своим заявлением, не могли не вызвать возражения у такого литературного критика, как Вы, и некоторые приводимые Вами имена внутригерманских авторов опровергают его слова начисто.

Остается, правда, под вопросом, не предпочел ли бы иной из носителей этих имен тоже быть за границей, если бы это удалось устроить. Я не хочу ни к кому привлекать внимание гестапо, но во многих случаях действуют причины не столько духовного, сколько чисто технического характера, и поэтому границу между эмигрировавшей и неэмигрировавшей немецкой литературой провести нелегко: в духовном смысле она не просто совпадает с границей Германии. Немецким писателям, живущим вне этой границы, не следует, думается мне, глядеть со слишком неизбирательным презрением на того, кто волей или неволей остался на родине, и связывать свои художественные оценки с местопребыванием автора. Они страдают; но внутри Германии тоже страдают, и они должны остерегаться самодовольства, которое часто бывает порождением страданья. Они не должны, например, товарища по перу, хотя и отказавшегося ради своих европейских взглядов и ради своих представлений о немцах от дома и родины, от почетного положения и состояния; хотя и не поверившего прозрачным намекам, что его по сути не тронут, а на его непонятное, но уж так или иначе сложившееся мировоззрение посмотрят сквозь пальцы; хотя и оставшегося там, где он был, чтобы и расцвет, и гибель Третьей империи переждать на свободе, но ни в коем случае — сохранится ли нынешний немецкий режим или не удержится — не желавшего сжечь все мосты, связывающие его с родиной, и лишить себя всякой возможности говорить с ней,— такого человека писатели эмиграции не должны сразу же обвинять в предательстве и в измене, если в вопросах переселения немецкой культуры он, по каким-то, может быть, основательным и не вполне учитываемым ими причинам, держится иного мнения, чем они.

Оставим это. Отождествление эмигрантской литературы с немецкой невозможно уже потому, что к немецкой литературе относятся также австрийская и швейцарская. Из авторов, пишущих на немецком языке, мне лично особенно близки и дороги двое:

---

* Франтишек Лангер (род. в 1888 г.) — чешский романист и драматург, автор пьес «Верблюд проходит сквозь игольное ушко», «Гостиница Невада» и других.

** Эдуард Корроди (1885—1955) — швейцарский литературовед и критик. С 1914 по 1950 г. заведовал литературным отделом в «Нейе цюрхер цейтунг». После опубликования этого письма в «Нейе цюрхер цейтунг» гитлеровское правительство лишило Т. Манна германского подданства.

Герман Гессе и Франц Верфель, оба одновременно романисты и достойные восхищения лирики. Они не являются эмигрантами, так как один из них швейцарец, а другой — чешский еврей.

Трудным, однако, искусством остается нейтралитет даже при такой долгой исторической тренировке, какой можете тут похвастаться вы, швейцарцы! Как легко нейтральный наблюдатель, выступая против одной несправедливости, впадает в другую! В тот самый миг, когда Вы возражаете против приравнивания эмигрантской литературы к литературе немецкой, Вы сами допускаете столь же несостоятельное отождествление; ведь любопытно, что злит Вас не сама эта ошибка, а тот факт, что ее совершает писатель-еврей; и заключая из этого, что в данном случае снова, в подтверждение старого отечественного упрека, с немецкой литературой спутали литературу еврейского происхождения, Вы сами путаете эмигрантскую литературу с литературой еврейской.

Надо ли говорить, что это никуда не годится? Мой брат Генрих и я — не евреи Леонгард Франк, Рене Шикеле, солдат Фриц фон Унру, коренной баварец Оскар Мария Граф, Аннете Кольб, А. М. Фрей, а из более молодых, например, Густав Реглер, Бернард фон Брентано и Эрнст Глезер тоже не евреи. Что в общей массе эмигрантов много евреев — это в порядке вещей: это следствие надменной жестокости национал-социалистской расовой философии, а с другой стороны, особого отвращения еврейской интеллектуальности и нравственности к некоторым государственным мероприятиям наших дней. Но мой список, не претендующий, как и Ваш внутригерманский, на полноту, список, который я не стал бы составлять по собственному почину, показывает, что о целиком или хотя бы только преимущественно еврейском характере литературной эмиграции говорить нельзя.

Прибавлю имена поэтов Берта Брехта и Иоганнеса Р. Бехера — поскольку Вы сказали, что не можете назвать ни одного эмигрировавшего поэта. Как Вы могли так сказать, ведь я же знаю, что Вы цените в Эльзе Ласкер-Шюлер настоящую поэтессу? Эмигрировали, утверждаете Вы, «романная промышленность» и «несколько настоящих мастеров и творцов романов». Что ж, «промышленность», «индустрия» значит «прилежание», и люди, оторванные от родной земли, которых экономически стесненный и потому не слишком великодушный мир терпит повсюду лишь через силу,— такие люди и впрямь должны быть прилежны, если хотят выжить; было бы довольно жестоко ставить им это в упрек. Но жестоко и просто спрашивать их, не воображают ли они, что составляют национальное богатство немецкой литературы. Нет, об этом не помышляет никто из нас, ни промышленники, ни творцы. Но ведь есть же разница между всем нам дорогой сокровищницей немецкой национальной литературы, сокровищницей, обогатить которую суждено будет лишь немногому из того, что возникает сегодня,— и как раз этой, нынешней, выпускаемой живыми людьми продукцией, которая в целом и по сравнению с прежними эпохами, как везде, не так уж блистательна, но в которой, опять же как и во всем мире, р о м а н играет особую, можно даже сказать, главную роль — роль, не вполне оцененную Вами, если Вы говорите, что эмигрировала не поэзия, а всего-навсего проза, роман. В сущности, это не удивительно. Чистые стихи — чистые в том смысле, что держатся на почтительном расстоянии от общественных и политических проблем (что лирика делала далеко не всегда),— подчиняются иным законам жизни, чем современная прозаическая эпопея, роман, который из-за своей аналитической интеллектуальности, сознательности, из-за природного своего критицизма вынужден бежать от социального и государственного уклада, при котором те могут притаиться в сторонке и процветать без помех в прелестном уединенье. Но именно эти его прозаические качества, сознательность и критицизм, а также богатство его средств, его способность свободно и оперативно распоряжаться показом и исследованием, музыкой и знанием, мифом и наукой, его человеческая широта, его объективность и ирония делают роман тем, чем он является в наше время: монументальным и главенствующим видом художественной литературы. Драма и лирика по сравнению с ним архаические формы. Он преобладает везде, в Европе и в Америке. Он преобладает с некоторых пор и в Германии — и поэтому, дорогой доктор, Ваше утверждение, что немецкий роман эмигрировал, никак нельзя назвать осторожным. Если бы так было на самом деле — а утверждаю это не я,— тогда пришлось бы признать, что прав, как ни странно, политик Шварцшильд, а не Вы, литературный критик, тогда центр немецкой литературной жизни и впрямь переместился бы за границу.

Еще недавно, в связи с биографией Вассермана, написанной Карльвейс *, Вы, со свойственной Вам тонкостью и прозорливостью, рассуждали о процессе европеизации немецкого романа. Говоря об и з м е н е н и и типа немецкого романиста, происшедшем благодаря таким дарованиям, как Якоб Вассерман, Вы замечали: под действием интернационального компонента еврея немецкий роман стал интернациональным. Но ведь к этому «изменению», к этой «европеизации» мой брат и я причастны не меньше, чем Вассерман, а мы не евреи. Может быть, на нас повлияла капля латинской крови (и швейцарской — со стороны бабушки). «Интернациональный» компо-

* Марта Карльвейс (род. в 1889 г.) — жена писателя Якоба Вассермана (1873—1934), одного из близких друзей Томаса Манна.

нент еврея — это его средиземноморско-европейский компонент, а таковой является и н е м е ц к и м; без него немцы были бы не немцами, а не нужными миру лодырями. Это-то и защищает сегодня в Германии преследуемая (что возвращает ей уважение воспитанника протестантской культуры) католическая церковь, когда заявляет: только приняв христианство, немцы вошли в ряд ведущих культурных народов. Нельзя быть немцем, будучи националистом. Что же касается немецкого антисемитизма, или антисемитизма немецких правителей, то духовно он направлен вовсе не против евреев или не только против них; он направлен, как все ясней и ясней обнаруживается, против христианско-античных основ европейской цивилизации: он представляет собой — символизированную, кстати сказать, выходом из Лиги наций — попытку сбросить узы цивилизации, грозящую ужасным, гибельным разрывом между страной Гете и остальным миром.

Твердая, каждодневно питаемая и подкрепляемая тысячами человеческих, нравственных и эстетических наблюдений и впечатлений убежденность, что от нынешнего немецкого режима н е л ь з я ждать ничего хорошего ни для Германии, ни для мира,— эта убежденность заставила меня покинуть страну, с духовными традициями которой я связан более глубокими корнями, чем те, кто вот уже три года никак не решится лишить меня звания немца на глазах у всего мира. И я до глубины души уверен, что поступил правильно и перед лицом современников, и перед лицом потомков, присоединившись к тем, к кому можно отнести слова одного по-настоящему благородного немецкого поэта:

Но тех, кто к злу исполнен отвращеньем,
Оно и за рубеж погнать смогло бы,
Коль скоро дома служат злу с почтеньем.
Умней покинуть отчий край свой, чтобы
Не слиться с неразумным поклоненьем,
Не знать ярма слепой плебейской злобы *.

Преданный Вам Томас Манн.

ГОСПОДИНУ КИНБЕРГЕРУ **

23.XII.37, Кюснахт-Цюрих, Шидхальденштрассе, 33.

Многоуважаемый доктор Кинбергер, Ваше дружеское расположение ко мне лично обязывает меня, несмотря на Ваш резкий отзыв о журнале и его сотрудниках, вежливо поблагодарить Вас за Ваше письмо.

Я прекрасно понимаю, что у такого нейтрального, терпимого, внутренне спокойного наблюдателя, как Вы, всякое подобие борьбы, партийности, страсти сразу вызывает раздражение и отвращение. И все же мне кажется, что о Вашем соотечественнике Конраде Фальке ***, который, кстати сказать, не является выдворенным евреем, и о Дёблине — его, правда, можно назвать выдворенным евреем, но ведь это большой романист и оригинальный мыслитель — Вам не следовало бы говорить так, как Вы говорите. Вы плохо знаете творчество Дёблина, если пишете, что он «делает первые шаги в философии», и единственный Ваш конкретный упрек ему — в том, что он якобы путает понятия «прометеевский» и «фаустовский» (ведь речь идет о добытчике огня Прометее, а не о жаждущем бесконечности Фаусте),— кажется мне полной предубежденья придиркой.

Но плохо Вы знаете и меня, если, восхищаясь эстетической стороной моего творчества, пренебрегаете нравственными его предпосылками, без которых оно немыслимо, и считаете меня способным отречься от них из снобизма в такое время, как наше, когда дело идет не о «парламентаризме», а о человеке и его духовной чести. Я открыто прошу избавить меня от всякого почитания, не видящего и не учитывающего органической связи между всем, что я делал как художник, и нынешней моей позицией борьбы против Третьей империи.

Вы, как я вижу, начали читать «Мас унд верт» **** только с 3-го номера. Посылаю Вам две первые книжки, где кое-что, возможно, настроит Вас на более миролюбивый лад — не в последнюю очередь, смею надеяться, мое «Предисловие». Оно, может быть, объяснит Вам в общих чертах, почему я предоставил себя в распоряжение «эмигрантского журнала».

Преданный Вам Томас Манн.

УИЛЬЯМУ ЭРЛУ СИНДЖЕРУ *****

13 августа 1944 г., Пасифик Палисейдс.

Dear Mr. Singer,

все что я пишу Вам на этом листке бумаги, я мог бы с таким же успехом сказать Вам устно Но мне кажется, что час, когда художественное произведение, создававшееся

---

* Стихи Августа фон Платена.

** Кинбергер — лицо неизвестное.

*** Конрад Фальке (1880—1942) — швейцарский писатель, переводчик «Божественной комедии» Данте.

**** «Мас унд верт» («Мера и ценность») — антифашистский журнал, который Томас Манн и Конрад Фальке издавали в Цюрихе в 1937—1940 гг.

***** Уильям Эрл Синджер (род. в 1910 г.) — известный американский портретист.

усердно и преданно, взыскательно и радостно, когда портрет человека впервые предстает перед широким кругом друзей и знатоков искусства и выходит, так сказать, в мир,— мне кажется, что такой час связан с идеей долговечности, прочности, и поэтому мне тоже хочется не просто поздравить Вас с окончанием этого добротного труда и не просто поблагодарить Вас за то, что Вы оставили потомству такое долговечное и такое, полагаю, правдивое изображение моей особы, но и придать своим словам, написав их, известную прочность.

Мы много говорили об искусстве, когда Вы писали меня,— не удивительно, ведь искусство присутствовало при этом более, чем в одной своей ипостаси. Я, писатель, бывал еще внутренне занят работой, от которой только что оторвался, а Вы наносили краски на холст под звуки радио или проигрывателя, под музыку Брамса, Бетховена, Шуберта, Цезаря Франка или еще чью-нибудь; идея звуковая всегда соединялась с идеей духовной и с идеей цвета и формы. Насыщение этих часов музыкой было хорошим и умным правилом, которое обоим нам помогало. Слушая музыку, несомненно становишься лучшей, более достойной кисти моделью. По глазам на этом портрете видно, что изображенный слушал музыку. Но если по ним так ясно видно, что художник великолепно использовал этот психологический эффект, то, значит, слушая музыку, становишься лучше и как живописец.

Повторяю, мы много говорили об искусстве, о его единстве и о том, что во всех его разновидностях, будь то живопись, поэзия, музыка или ваянье, дело идет по существу об одном и том же: о порядке, организации, форме, о выразительности, о гармонии, о новом и добром, об усилении ощущения жизни посредством того, что называют очень туманным словом «прекрасное». Но кажется, мы так и не сказали, в чем, собственно, состоит главный инстинкт искусства и художника, их сокровеннейшая потребность и цель. Это длительность. Это стремление увековечить вещь, опыт, видения, страдания и радости, мир, каким он предстал художнику, а тем самым и свое «я», свою жизнь. Художник — прирожденный противник смерти, бренности. Его цель — не слава, а нечто более высокое, по отношению к чему слава всего только несущественная подробность,— бессмертие.

Мне кажется, дорогой господин Синджер, что в Вашем творчестве эта черта искусства выражена особенно ярко. Это хорошие картины, так принято говорить, но прежде всего это картины долговечные, долговечные благодаря усердию, взыскательности, любви, которые Вы в них вложили, хотя даже и материально они отмечены печатью прочности, способности противостоять времени, ведь у Вас есть краски непреходящей световой силы, которые, кажется, никогда не искрошатся и не поблекнут. Ваши paintings * — могучий след Вашего земного бытия. Он останется. И такой след, один из самых ярких и прочных, представляет собой, мне кажется, этот портрет, к долговечности которого приобщен и его объект — моя особа и ее вид, запечатленный на нем со всей силой искусства. Благодаря Вам потомство узнает, если пожелает узнать, как выглядел этот funny fellow **, что написал «Magi Mountain» и «Joseph-stories» ***. И так как узнает оно об этом через произведение искусства, оно будет знать это даже лучше, чем мои современники.

Вы изобразили меня на определенной ступени моей жизни и в некий поворотный ее момент: на семидесятом году, когда со мной произошло то, о чем я никогда и думать не думал,— когда я сделался американским подданным. Этот маленький праздник, этот vernissage не может не вызвать у меня радости по поводу нового моего положения. Он противоречит легенде о материалистической Америке, которая глуха ко всему духовному, ко всему, что освобождает нас от уз корысти. Это приятный праздник, он не был бы другим ни в Париже, ни во Флоренции 1500 года, после какой-нибудь литейной удачи Челлини. Тогда в городе царило веселье, а сердца переполнял тот же клич, который мы повторяем сегодня и здесь: «Three cheers for art, for beauty, for durability, for immortality!»

Very truly yours ****

Томас Манн.

ВАЛЬТЕРУ ФОН МОЛО *****

7 сентября 1945 г.

Дорогой господин фон Мол о!

Я должен поблагодарить Вас за очень любезное поздравление по случаю моего дня рождения и вдобавок за открытое письмо ко мне, переданное Вами немецкой прессе и в отрывках попавшее также в американскую. В нем еще сильнее и настой-

---

* Картины *(англ.)*.

** Забавный малый *(англ.)*.

*** «Волшебную гору» и «Иосифа».

**** Троекратное ура искусству, красоте, долговечности бессмертию! Искренне Ваш *(англ.)*.

***** Вальтер фон Моло (1880—1958) — писатель-романист. В 1928—1930 гг. президент Прусской академии художественной литературы, в годы гитлеровского господства оставался в Германии и продолжал литературную деятельность.

чивее, чем в частных письмах, высказывается желание, более того — обязывающее требование, чтобы я вернулся в Германию и поселился там снова, «чтобы помогать советом и делом». Вы не единственный, кто обращается ко мне с этим призывом; он, как мне сообщили, последовал и со стороны находящегося под русским контролем Берлинского радио, а также со стороны органа объединенных демократических партий Германии — с подчеркнутой мотивировкой, что «в Германии» мне надлежит «выполнить свою историческую миссию».

Казалось бы, я должен быть рад, что снова понадобился Германии — понадобился я сам как человек, лично, а не только мои книги. И все же эти обращения меня чем-то тревожат и удручают, я чувствую в них какую-то нелогичность, даже несправедливость и опрометчивость. Вы прекрасно знаете, дорогой господин фон Моло, как дороги в Германии «совет и дело» сегодня, при том почти безвыходном положении, в какое поставил себя наш несчастный народ, и я сильно сомневаюсь в том, что человек уже старый, к сердечной мышце которого это головокружительное время успело уже предъявить свои требования, сможет непосредственно, лично, физически, существенно помочь людям, так волнующе Вами изображенным, оправиться от их глубокой подавленности. Но это не главное. Обращаясь ко мне с подобными призывами, не задумываются, по-моему, и над техническими, юридическими и психологическими трудностями, препятствующими моему «возвращению».

Разве можно сбросить со счетов эти двенадцать лет и их результаты или сделать вид, что их вообще не было? Достаточно тяжким, достаточно ошеломляющим ударом была в тридцать третьем году утрата привычного уклада жизни, дома, страны, книг, памятных мест и имущества, сопровождавшаяся постыдной кампанией отлучений и отречений на родине. Я никогда не забуду ни той безграмотной и злобной шумихи в печати и радио, которую подняли в Мюнхене по поводу моей статьи о Вагнере, той травли, после которой я только и понял по-настоящему, что обратный путь мне отрезан; ни мучительных поисков слова, попыток написать, объясниться, ответить, «Писем в ночь», как назвал эти задушевные монологи Рене Шикеле *, один из многих ушедших от нас друзей. Достаточно тяжело было и дальнейшее — скитания из одной страны в другую, хлопоты с паспортами, жизнь на чемоданах, когда отовсюду слышались позорнейшие истории, ежедневно поступавшие из пропащей, дичающей, уже совершенно чужой страны. Всего этого не изведал никто из вас, присягнувших на верность «осененному благодатью вождю» (вот она, пьяная образованность,— ужасно, ужасно!) и подвизавшихся под началом Геббельса на ниве культуры. Я не забываю, что потом вы изведали кое-что похуже, чего я избежал; но это вам незнакомо: удушье изгнания, оторванность от корней, нервное напряжение безродности.

Иногда я возмущался вашими преимуществами. Я видел в них отрицание солидарности. Если бы немецкая интеллигенция, если бы все люди с именами и мировыми именами — врачи, музыканты, педагоги, писатели, художники — единодушно выступили тогда против этого позора, если бы они объявили всеобщую забастовку, многое произошло бы не так, как произошло. Каждый, если только он случайно не был евреем, всегда оказывался перед вопросом: «А почему, собственно? Другие же сотрудничают. Вряд ли это так уж страшно».

Повторяю: иногда я возмущался. Но никогда, даже в дни самого большого вашего торжества, я не завидовал вам, которые там остались. Я слишком хорошо знал, что эти дни торжества — всего лишь кровавая пена и что от нее скоро ничего не останется. Завидовал я Герману Гессе, в чьем обществе находил в те первые недели и месяцы поддержку и утешение,— завидовал потому, что он давно был свободен, вовремя отойдя в сторону с как нельзя более точной мотивировкой: «Немцы великий, значительный народ, кто станет отрицать? Может быть, даже соль земли. Но как политическая нация они невозможны! В этом отношении я хочу раз навсегда с ними порвать». И жил себе в безопасности в своем монтаньольском доме, в саду которого играл в бочча со своим растерянным гостем.

Медленно, медленно налаживались тогда дела. Появились первые пристанища, сначала во Франции, потом в Швейцарии, неприкаянность сменилась относительным успокоением, оседлостью, постоянным местожительством, возобновилась брошенная работа, казавшаяся уже безвозвратно загубленной. Швейцария, традиционно гостеприимная, но из-за своего опасно могущественного соседа обязанная соблюдать нейтралитет даже морально, разумеется, не могла скрыть некоторого смущения и беспокойства по поводу присутствия гостя без бумаг, который был в таких плохих отношениях со своим правительством, и требовала «такта». Потом пришло приглашение из американского университета, и вдруг, в этой гигантской свободной стране, всякие разговоры о «такте» прекратились, и кругом была только откровенная, незапуганная, декларативная доброжелательность, радостная, безудержная, под девизом: «Thank you, Mr. Hitler!» ** У меня есть некоторые причины, дорогой господин фон Моло, быть благодарным этой стране и есть причины показать ей свою благодарность.

---

* Рене Шикеле (1883—1940) — немецкий писатель, в 1933 г. эмигрировал во Францию.

** Спасибо, м-р Гитлер *(англ.)* [за то, что Томас Манн оказался в Америке].

Ныне я американский подданный, и задолго до страшного поражения Германии я публично и в частных беседах заявлял, что порывать с Америкой не собираюсь. Мои дети, из которых два сына еще и сегодня служат в американской армии, прижились в этой стране, у меня подрастают внуки, говорящие по-английски. Да и сам я, тоже прочно уже осевший на этой земле и связанный с Вашингтоном и главными университетами Штатов, присвоившими мне свои honorary degrees *, почетными связями, построил себе на этом великолепном побережье, где все дышит будущим, дом, под защитой которого хотел бы довести до конца труд моей жизни в атмосфере могущества, разума, изобилия и мира. Прямо скажу, я не вижу причины отказываться от выгод моего странного жребия, после того как я испил до дна чашу его невыгод. Не вижу потому, что не вижу, какую службу смог бы я сослужить немецкому народу и какую не смог бы ему сослужить, находясь в Калифорнии.

Что все сложилось так, как сложилось,— дело не моих рук. Вот уж нет! Это следствие характера и судьбы немецкого народа — народа достаточно замечательного, достаточно трагически интересного, чтобы по его милости многое вытерпеть, многое снести. Но уж и с результатами тоже нужно считаться, и нельзя сводить дело к банальному: «Вернись, все прощено!»

Избави меня бог от самодовольства! Нам за границей легко было вести себя добродетельно и говорить Гитлеру все, что мы думаем. Я не хочу ни в кого бросать камень. Я только робею и «дичусь», как говорят о маленьких детях. Да, за все эти годы Германия стала мне все-таки довольно чужой: это, согласитесь, страна, способная вызывать опасения. Я не скрываю, что боюсь немецких руин — каменных и человеческих. И я боюсь, что тому, кто пережил этот шабаш ведьм на чужбине, и вам, которые плясали под дудку дьявола, понять друг друга будет не так-то легко. Могу ли я быть равнодушен к полным долго таившейся преданности приветственным письмам, приходящим сейчас ко мне из Германии! Это для меня настоящая, самая трогательная отрада. Но радость мою по поводу этих писем несколько умаляет не только мысль, что, победи Гитлер, ни одно из них не было бы написано, но и некоторая нечуткость, некоторая бесчувственность, в них сквозящая, заметная хотя бы даже в той наивной непосредственности, с какой возобновляется прерванный разговор,— как будто этих двенадцати лет вообще не было. Приходят теперь порою и книги. Признаться ли, что мне неприятно было их видеть и что я спешил убрать их подальше? Это, может быть, суеверие, но у меня такое чувство, что книги, которые вообще могли быть напечатаны в Германии с 1933 по 1945 год, решительно ничего не стоят и лучше их не брать в руки. От них неотделим запах позора и крови, их следовало бы скопом пустить в макулатуру.

Непозволительно, невозможно было заниматься «культурой» в Германии, покуда кругом творилось то, о чем мы знаем. Это означало прикрашивать деградацию, украшать преступление. Одной из мук, которые мы терпели, было видеть, как немецкий дух, немецкое искусство неизменно покрывали самое настоящее изуверство и помогали ему. Что существовали занятия более почетные, чем писать вагнеровские декорации для гитлеровского Байрейта,— этого, как ни странно, никто, кажется, не чувствует. Ездить по путевке Геббельса в Венгрию или какую-нибудь другую немецко-европейскую страну и, выступая с умными докладами, вести культурную пропаганду в пользу Третьей империи — не скажу, что это было гнусно, а скажу только, что я этого не понимаю и что со многими мне страшно увидеться вновь.

Дирижер, который, будучи послан Гитлером, исполнял Бетховена в Цюрихе, Париже или Будапеште, становился виновным в непристойнейшей лжи — под предлогом, что он музыкант и занимается музыкой и больше ничем. Но прежде всего ложью была эта музыка уже и дома. Как не запретили в Германии этих двенадцати лет бетховенского «Фиделио», оперу по самой природе своей предназначенную для праздника немецкого самоосвобождения? Это скандал, что ее не запретили, что ее ставили на высоком профессиональном уровне, что нашлись певцы, чтобы петь, музыканты, чтобы играть, публика, чтобы наслаждаться «Фиделио». Какая нужна была тупость, чтобы, слушая «Фиделио» в Германии Гиммлера, не закрыть лицо руками и не броситься вон из зала!

Да, много писем приходит теперь с чужой и зловещей родины через посредство американских sergeants и lieutenants ** — и не только от людей выдающихся, но и от людей молодых и простых, и примечательно, что из этих последних никто не советует мне поскорее вернуться на родину. «Оставайтесь там, где Вы находитесь!» — говорят они попросту. «Проведите остаток жизни на Вашей новой, более счастливой родине! Здесь слишком грустно...» Грустно? Если бы только это, если бы не было вдобавок неизбежной и долго еще неизбежной вражды и злобы. Недавно я получил от одного американца, как своего рода трофей, старый номер немецкого журнала «Фольк им Верден» от марта 1937 года (Ганзейское издательство, Гамбург), выходившего под редакцией одного высокопоставленного нацистского профессора и почетного доктора. Фамилия его правда, не Криг ***, но Крикк, с двумя «к». Это было жуткое чтение. Среди людей,

---

* Почетные звания (*англ.*).
** Сержантов и лейтенантов.
*** Krieg — война (*нем.*).

говорил я себе, которых двенадцать лет подряд пичкали подобными снадобьями, жить трудно. У тебя было бы там, говорил я себе, несомненно, много добрых и верных друзей, старых и молодых, но и много притаившихся в засаде врагов — врагов, правда, побитых, но они всех опасней и злей...

Но, дорогой господин фон Моло, все это только одна сторона дела; другая тоже имеет свои права — права на слово. То глубокое любопытство и волнение, с каким я принимаю любую, прямую или косвенную, весть из Германии, та решительность, с какой я отдаю ей предпочтение перед всяким другим известием из большого мира, занятого теперь собственной перестройкой и очень равнодушного к второстепенной судьбе Германии,— они ежедневно показывают мне снова и снова, какими нерасторжимыми узами связан я все же со страной, которая меня «лишила гражданства». Американец и гражданин мира — отлично. Но куда деться от того факта, что мои корни — там, что, несмотря на все свое плодотворное восхищение чужим, я живу и творю в немецкой традиции, если даже время и не позволило моему творчеству стать чем-то другим, нежели затухающим и уже полупародийным отголоском великой немецкой культуры.

Никогда я не перестану чувствовать себя немецким писателем, и даже в те годы, когда мои книги жили лишь на английском языке, я оставался верен немецкому языку — не только потому, что был слишком стар, чтобы переучиваться, но и от сознания, что мое творчество занимает в истории немецкого языка свое скромное место. Мой роман о Гете, написанный в самые черные дни Германии и проникший к вам в нескольких экземплярах, никак нельзя назвать свидетельством забвения и отречения. Да и от слов: «Но я стыжусь часов покоя, стыжусь, что с вами не страдал» я могу воздержаться. Германия никогда не давала мне покоя. Я «страдал с вами», и это не было преувеличением, когда я в письме в Бонн * говорил о тревоге и муке, о «нравственной боли, не утихавшей ни на один час в течение четырех лет моей жизни, боли, которую мне приходилось преодолевать изо дня в день, чтобы продолжать свою работу художника». Довольно часто я вовсе не пытался преодолеть ее. Полсотни радиопосланий в Германию (или их больше?), которые печатаются сейчас в Швеции,— пусть эти то и дело повторявшиеся заклятия засвидетельствуют, что довольно часто другие дела казались мне более важными, чем «художество».

Несколько недель назад я выступал в Library of Congress ** в Вашингтоне с докладом на тему «Germany and Germans» ***. Я написал его по-немецки, и он появится в ближайшем номере журнала «Нейе рундшау», воскресшего в июне 1945 года. Это была психологическая попытка объяснить образованной американской публике, как могло все так случиться в Германии, и мне оставалось только восхищаться той спокойной готовностью, с которой эта публика принимала мои объяснения через такой ничтожный срок после окончания страшной войны. Нелегко мне было, конечно, не сбиться, с одной стороны, на неподобающую апологию, а с другой — на отречение, которое мне тоже было бы совсем не к лицу. Но в какой-то мере мне это удалось. Я говорил о том исполненном милости парадоксе, что зло на земле часто оборачивается добром, и о том дьявольском парадоксе, что от добра часто рождается зло. Я коротко рассказал историю немецкой «внутренней жизни» — теорию о двух Германиях, Германии доброй и Германии злой, я отверг. Злая Германия, заявил я,— это добрая на ложном пути, добрая в беде, в преступлениях и в гибели. Не затем, продолжал я, пришел я сюда, чтобы, следуя дурному обычаю, представлять себя миру как добрую, благородную, справедливую Германию, как Германию в белоснежной одежде. Все, что я пытаюсь сказать о Германии своим слушателям, подчеркнул я, идет не от стороннего, холодного, бесстрастного знания: все это есть и во мне, все это я изведал на собственной шкуре.

Это было, можно, пожалуй, сказать, выражением солидарности — в рискованнейший момент. Не с национал-социализмом, разумеется, отнюдь нет. Но с Германией, которая в конце концов ему поддалась и заключила сделку с чертом. Сделка с чертом — искушение глубоко старонемецкое, и темой немецкого романа, рожденного страданиями последних лет, страданием из-за Германии, должно быть, думается мне, это ужасное обещание. Но даже в отношении души одного Фауста злой гений оказывается в величайшей нашей поэме в конечном счете все же обманут, и не нужно думать, будто Германией окончательно завладел дьявол. Милость выше всяких подписанных кровью сделок. Я верю в милость, и я верю в будущее Германии, как ни бедственно ее настоящее и каким бы безнадежным ни казалось ее разорение. Довольно разговоров о конце немецкой истории! Германия неравнозначна тому короткому и мрачному историческому эпизоду, который носит имя Гитлера. Она неравнозначна и бисмарковской, короткой в сущности эре прусско-германской империи. Она неравнозначна даже тому всего лишь двухвековому отрезку своей истории, который можно назвать именем Фридриха Великого. Она собирается принять новый облик, перейти в новое со-

---

* Имеется в виду широкоизвестное письмо декану философского факультета Боннского университета от 1 января 1937 года, написанное в связи с лишением Томаса Манна звания почетного доктора философии.

** Библиотека Конгресса *(англ.)*.

*** Германия и немцы *(англ.)*.

стояние, которое, может быть, после первых мук перемены и поворота, сулит ей больше счастья и подлинное достоинство, отвечая самым специфическим нуждам и потребностям нации больше, чем прежнее.

Разве мировая история кончилась? Она весьма даже энергично движется, и история Германии заключена в ней. Правда, политика силы продолжает довольно грубо предостерегать нас от слишком больших ожиданий; но разве не остается надежды, что волей-неволей, по необходимости, будут предприняты первые пробные шаги к такому состоянию мира, когда национальная обособленность девятнадцатого века постепенно сойдет на нет? Мировая экономическая система, уменьшение роли политических границ, известная деполитизация жизни государств вообще, пробуждение в человечестве сознания своего практического единства, первые проблески идеи всемирного государства — может ли весь этот далеко выходящий за рамки буржуазной демократии социальный гуманизм, за который идет великая борьба, быть чужд и ненавистен немецкой душе? В ее страхе перед миром всегда было так много желания выйти в мир; за одиночеством, которое сделало ее злой, таится — кто этого не знает — желание любить и вызывать любовь. Пусть Германия изживет в себе чванство и ненависть, пусть она вновь откроет свою любовь, и ее полюбят. Она останется, несмотря ни на что, страной огромных ценностей, которая может рассчитывать на трудолюбие своих людей и на помощь мира, страной, которую, когда будет позади самое трудное, ждет новая, богатая свершениями и почетом жизнь.

Я далеко зашел в своем ответе, дорогой господин фон Моло. Простите! В письме в Германию хотелось высказать многое. И вот что еще: наперекор той великой изнеженности, которая зовется Америкой, мечта еще раз почувствовать под ногами землю старого континента не чужда ни моим дням, ни моим ночам, и, когда придет час, если я буду жив и если это позволят сделать транспортные условия и достопочтенные власти, я поеду туда. А уж когда я там окажусь, то, наверно,— такое у меня предчувствие — страх и отчужденность, эти продукты всего лишь двенадцати лет, не устоят против той притягательной силы, на стороне которой воспоминания большей, тысячелетней давности. Итак, до свидания, если будет на то воля божья.

Томас Манн.

РУДОЛЬФУ В. БЛУНКУ *

19 ноября 1945 г., Пасифик Палисейдс, Калифорния 1550, Сан Ремо Драйв.

Многоуважаемый господин Блунк!

Я получил Ваше любезное письмо от 6 ноября и выражаю Вам свое сочувствие по поводу неприятностей, которые выпали сейчас на долю Вашего брата, доктора Фридриха Блунка. Но даже если бы я верил в свою способность влиять на решения британской военной администрации больше, чем верю в действительности, я не был бы в состоянии в данном случае что-либо предпринять. Поведение Вашего брата в годы нацизма не дает мне для этого никаких оснований, и я вызвал бы справедливое недоумение, если бы вступился сейчас за него.

Никто, конечно, не будет считать Вашего брата «war criminal» ** в каком-то узком смысле слова. Но не забывайте, что в течение всех этих двенадцати лет он, как председатель нацистской «Имперской палаты по делам печати», занимал официальное, очень заметное положение внутри нацистской культуры, что он пользовался всеми благами, вытекавшими из этого положения, и не должен удивляться, если после краха режима, при котором и в сотрудничестве с которым протекала его деятельность, некий удар постигает и его лично.

Эрнст Вихерт, писатель очень немецкий, с самого начала выступивший против нацистского режима с большим мужеством и жестоко из-за этого пострадавший, приводит цитату из письма, посланного ему Вашим братом, где тот говорит, что «новое государство впервые после многих веков, может быть, даже впервые со времен Вальтера фон дер Фогельвейде, вернуло достоинство немецкому искусству». А ведь это уж никак не укладывается в понятие «чисто немецкое», которым Вы характеризуете поведение Вашего брата.

Придется нам, пожалуй, утешиться тем, что английские лагеря безусловно отличаются от нацистских концентрационных лагерей, в одном из которых томился такой человек, как Эрнст Вихерт, без какого бы то ни было протеста со стороны его коллег в Германии. Да и вряд ли арест будет очень длительным, и мы вправе надеяться, что скоро у Вашего брата будет возможность служить своим выдающимся талантом восстановлению Германии и поправить собственные дела.

С приветом и совершенным почтением

преданный вам Томас Манн.

---

* Рудольф Блунк — брат Ганса Фридриха Блунка (1888—1961), поэта, занимавшего при Гитлере пост председателя «Имперской палаты по делам печати».

** Военным преступником *(англ.)*.

ГАНСУ ФРИДРИХУ БЛУНКУ

22 июля 1946 г., Пасифик Палисейдс.

Многоуважаемый господин Блунк,

чувство, с каким я читал присланные Вами письмо и меморандум, нельзя назвать иначе, как «замешательство». Почему я получаю из Германии все эти сообщения, объяснения, оправдания? (Ваше послание — не единственное в этом роде.) Ведь у меня же нет власти вязать и разрешать! А если на меня смотрят как на представителя «мира», то этот мир ведет себя нынче, право же, так скверно, что оправдываться перед ним особых поводов нет. Пусть лучше каждый сведет счеты со своей совестью.

Мое высказывание о Вас было совершенно случайным, непреднамеренным, оно вызвано только прямым вопросом. Я должен был просто ответить Вашему брату, а ответить я м о г только, что мне, так демонстративно порвавшему с Третьей империей, было бы совсем не к лицу ходатайствовать перед оккупационными властями за представителя литературы и видного деятеля этой «империи».

Вы утверждаете, что не были таковым, и я не хочу считать Ваши слова просто лишним примером того, что сегодня все утверждают, будто они «были никем». Я охотно верю в Ваши добрые намерения. Но когда в Вашем меморандуме читаешь фразы такого рода: «В 1933 году, когда Гитлер, назначенный рейхспрезидентом фон Гинденбургом на должность рейхсканцлера, п о к л я л с я в в е р н о с т и В е й м а р с к о й к о н с т и т у ц и и, я верил торжественным заявлениям, что все подданные государства будут равноправны. Я полагал, что дело идет о кратком периоде перехода к н о в о й к о н с т и т у ц и и... После смерти Р. Биндинга я был назначен на его место в Немецкой академии в Мюнхене. Моя деятельность ограничивалась... советами и предложениями по вопросам п р е п о д а в а н и я н е м е ц к о г о я з ы к а з а г р а н и ц е й, которыми эта академия занималась»,— когда читаешь такие фразы, можно только возвести глаза к небу и сказать: «Господи боже!» Возможна ли такая слепота, позволительна ли интеллигентному человеку такая нечуткость и нечувствительность к окружающей его мерзости? Неужели колдовство Гитлера состояло в том, что люди верили, будто он будет защитником Веймарской конституции? Прежде чем даст новую конституцию? А «преподавание немецкого языка за границей»? Любой ребенок на свете знал, что означает этот эвфемизм — повсеместный подрыв демократических сил сопротивления, деморализацию их нацистской пропагандой. Только немецкий писатель этого не знал. Ему было легко, он мог быть незапятнанным глупцом и тупицей, начисто лишенным моральной чувствительности и способности испытывать отвращение, гнев, ужас при виде того подлейшего непотребства, каким был национал-социализм для всякого порядочного человека с первых же дней.

И приглашения в Мюнхенскую академию Вы не отвергли. А я, представьте себе, держусь мнения, что н и о д и н мой коллега не должен был соглашаться занять то место, с которого, сразу же после того как Гитлер «подтвердил Веймарскую конституцию», меня прогнали в самой оскорбительной форме. Вам кажется это чванством? Но это не только мой взгляд. Его разделяет весь интеллигентный мир. Только в Германии совершенно не понимают такой солидарности, такой гордости, такой смелости, которые нужны, чтобы протестовать или стать на чью-либо сторону. Слишком велика там зато готовность стать на сторону явного зла — покуда кажется, что «история» подтверждает его правоту. Но писателю поэтому следовало бы знать, что хотя жизнь и со многим мирится, безнравственности с о в е р ш е н н о й она не терпит.

Это письмо превращается в филиппику — вопреки моим намерениям. Я совсем не гожусь для роли непреклонного блюстителя нравственности, не мне бросать камень, и я ни в коей мере не чувствую себя инстанцией, к которой следует обращаться с оправдательными заявлениями. Но никакими словами не избавить меня от горя и стыда по поводу ужасного, бессердечного и безмозглого провала немецкой интеллигенции на экзамене, которому она подверглась в 1933 году. Она должна сделать много в е л и к о г о, чтобы э т о забылось. Дай бог ей только сил и внутренней свободы! Таковы мои общие и в то же время вполне личные пожелания, касающиеся Вашего труда и успеха.

Преданный Вам Томас Манн.

Перевод с немецкого и примечания С. АПТА

А. СУРКОВ

ПЕСНЮ НЕЛЬЗЯ РАССТРЕЛЯТЬ

(К 50-летию со дня гибели Джо Хилла)

Полвека тому назад, ранним утром 19 ноября 1915 года, во дворе каторжной тюрьмы штата Юта, в США, был расстрелян приговоренный к смертной казни по инсценированному властями штата делу об убийстве лавочника Моррисона и его сына рабочий человек Джозеф Хиллстром, широкоизвестный среди трудящихся Соединенных Штатов как Джо Хилл, боевой профсоюзный организатор и автор революционных песен.

Джо Хилла арестовали, бросили в тюрьму, приговорили к смерти и расстреляли по делу об убийстве, к которому он не был причастен. На суде не было найдено ни прямых, ни косвенных доказательств того, что именно он убил лавочника, и даже не возник вопрос, по каким мотивам обвиняемый мог бы убить человека, с которым он никогда не встречался. Но история юстиции Соединенных Штатов знает много случаев организации политических убийств в интересах господствующего класса. Ведь через двенадцать лет после казни Хилла по произволу суда были убиты на электрическом стуле два беззаветных борца за дело рабочего класса — Сакко и Ванцетти, которым так же, как Хиллу, облыжно приписали уголовное преступление.

Революционный поэт-песенник Джо Хилл был убит властями штата за то, что был он автором песен, которые распевали забастовщики и безработные всякий раз, когда вступали в борьбу за свои права; за то, что был он ненавистным для хозяев «уоббли», активистом самого революционного в те времена в США профсоюзного объединения «Индустриальные рабочие мира»; за то, что, работая среди шахтеров в районе Соленых Озер, осмелился вступить в борьбу с могущественными капиталистическими корпорациями, владевшими рудниками в этом районе.

Свыше двух лет после вынесения смертного приговора пролетарская общественность Соединенных Штатов, поддержанная рабочим классом многих стран мира, вела борьбу за жизнь своего поэта. В эту борьбу за пересмотр несправедливого приговора включилось правительство Швеции, подданным которой был Хилл, и даже президент Вильсон. Но ничто не остановило убийц, поставивших себе целью раз и навсегда разделаться с поэтом рабочего класса, устранить опасного вожака.

Далеко не полные, не исчерпывающие дела материалы, собранные в книге Барри Стенвиса, биографа покойного поэта, наглядно показывают зверское лицо юстиции этой страны, правящие классы которой и тогда, и ныне кичливо выдают ее за единственный в мире заповедник человеческих свобод. Столь же ярко и волнующе документы, собранные Стенвисом, рисуют Джо Хилла не только как талантливого рабочего-поэта и безгранично преданного своему классу бойца-революционера, но и как выдающуюся личность, обладавшую самыми высокими достоинствами, показывают его моральную чистоту, беззаветное мужество и бесстрашие перед лицом неотвратимо надвигавшейся смерти.

Нельзя без волнения читать опубликованные в книге Стенвиса материалы бесед ожидающего исполнения смертного приговора Джо Хилла с его адвокатом Хилтоном, с выдающейся революционеркой Элизабет Герли Флинн и другими лицами, принимавшими активное участие в борьбе за его жизнь.

Адвокат Хилтон после беседы с Хиллом в тюрьме получил от него письмо, в котором Джо, понимая, что ничего для изменения приговора уже сделать нельзя, писал:

«...Я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы для меня сделали. И Вы можете смело поспорить на Ваш последний доллар о том, что я покажу этой банде политических интриганов, которые действуют здесь именем правосудия, как должно умирать ЧЕЛОВЕКУ».

Отвечая на это письмо, полное отваги и высокого человеческого достоинства, Хилтон писал Хиллу:

«Мне чрезвычайно мучительно было читать Ваше письмо, но я восхищен Вашей мужественной, отважной позицией, ибо *понастоящему храбрых людей немного...*»

Лучшие люди рабочего класса — Билл Хейвуд, Эд Роуэн, Элизабет Флинн, Сем Меррей, честные представители интеллигенции, такие, как адвокат Хилтон, Вирджиния Стеффен и другие, опираясь на мощную поддержку трудящихся страны и всего мира, сделали все, чтобы отвести пули убийц от пламенного сердца неистового Джо. И не их вина, что враги рабочего класса оказались сильнее и не выпустили жертву из своих рук.

Чем же был замечателен этот человек, за жизнь которого боролись сознательные рабочие мира, чем он заслужил такую беспощадную ненависть врагов рабочего класса? Почему в то глухое время, когда внимание человечества было приковано к событиям первой мировой войны, проститься с расстрелянным пришли десятки тысяч рабо-

чих людей, и похороны его вылились в мощную демонстрацию революционной сплоченности пролетариев Чикаго и других городов США?

Прочтите песни, сложенные Джо Хиллом, и вы не только окунетесь в атмосферу классовых битв американского пролетариата начала нашего века, но и почувствуете, почему рабочие люди так дружно подхватывали и распевали песни, сочиненные их товарищем Джо, и превращали слово в оружие классовой борьбы и почему хозяева так яростно ненавидели автора этих песен.

Пять пуль, пробивших сердце Джо Хилла, оборвали его жизнь на самом взлете песенного таланта человека, совместившего в себе дарование и композитора, и поэта. Для Джо Хилла поэзия к музыка были его *призванием рабочего-революционера.* Он писал о том, чем жил сам и чем жил рабочий класс Соединенных Штатов, частицей которого он себя чувствовал и на свободе, и в тюрьме, и на тюремном дворе в миг расстрела.

Он писал песенку о штрейкбрехере Кейси Джонсе или о лишенных чувства классовой солидарности рабочих-обывателях Сиссор Билле или «мистере Блоке», и то, о чем говорилось в этих песнях, было сгустком мыслей и чувств рабочих, поднимающихся на борьбу.

Эти песни рождали в сердцах рабочих презрение к штрейкбрехерам и ненависть к хозяевам, они воспитывали чувство рабочей солидарности, как единственного верного средства борьбы.

Когда Джо Хилл писал в своей песне:

Встань, рабочий, для защиты
Прав своих, оковы сбей!
Отнимают паразиты
Плод твоей работы всей.
Иль терпеть вам, чтоб над вами
Измывались господа?
Иль послушными рабами
Быть хотите вы всегда?
Восстаньте, пленники мученья! —

то эта песня подхватывалась тысячами и тысячами как призыв к объединению для борьбы и победы.

Когда Джо Хилл писал свои антимилитаристские песни против вербовки во флот и в армию, разоблачая ложную романтику военной службы, обман и грабеж народа во имя гонки вооружений, то строки:

Если я солдатом буду,
То пойду под красный стяг
И с ружьем своим повсюду
Всем тиранам буду враг —

завоевывали сердца рабочих людей глубокой правдивостью, своей пламенной верой в справедливость революционного дела и быстро распространялись повсеместно.

Еще при жизни Джо Хилла такие песни, как «Кейси Джонс скеб», «Девушка-мятежница», «Долог путь за супом», распевались рабочими и в Канаде, и в Австралии, и в Англии. И, как свидетельствуют участники современного американского движения, несмотря на то, что прошло уже полсотни лет с тех пор, как залп во дворе тюрьмы штата Юта погасил голос рабочего-песенника, некоторые песни Хилла, потеряв имя их автора, и до сих пор еще бытуют в среде американских рабочих.

Джо Хилл до последней минуты своей жизни был предан борьбе рабочего класса и был предан своему призванию поэта-революционера. Силу и мощь его души, как ничто иное, оттеняет не только его упорное нежелание, чтобы средства, нужные для организации борьбы рабочего класса, тратились на кампании по спасению его жизни, но и то, что, сидя в тюрьме в ожидании исполнения приговора, он продолжал сочинять и отправлять на волю свои песни, и песни эти становились тем, о чем мечтал Маяковский — бомбой и знаменем в борьбе против капитализма.

И даже в те минуты, когда никаких шансов на отмену приговора не осталось, когда смерть подошла вплотную, Джо Хилл 18 ноября написал свою последнюю песню — завещание борцам-революционерам:

О завещанье ль думать мне!
Ведь нечего делить родне.
К чему ее притворный вздох —
«К камням лавин не липнет мох».
А тело? Был бы выбор мой,
Я сжег бы в пепел огневой,
Чтоб ветры весело в полях
Развеяли цветам мой прах.
Чтоб увядающий цветок
Опять воскреснуть к жизни мог.
Вот все, о чем бы я просил.
Желаю счастья вам...

Эти строки, полные неиссякаемой любви к людям, к жизни, поразительное мужество, с каким он встретил свой смертный час в то хмурое ноябрьское утро, его последние слова — «Не оплакивайте меня, организуйтесь!» — сказанные друзьям, делают его для нас старшим братом славного сына чешского народа Юлиуса Фучика и нашего земляка — татарского поэта Мусы Джалиля. С ними роднит Джо Хилла бесстрашие революционера перед лицом смерти и его неиссякаемая вера в правоту революционного дела рабочего класса.

Сборник песен Джо Хилла, выпускаемый издательством «Художественная литература» к пятидесятилетию со дня казни поэта-революционера, чей прах по его завещанию был разослан во все уголки нашей планеты и развеян на ее полях, будет знаком нашего глубокого уважения к его памяти и напоминанием о том, что враги, которые отправили его на расстрел, еще живы, еще по-прежнему полны ненависти к революции и революционерам и что его призыв «Организуйтесь!» сегодня, когда американский империализм превратился в мирового жандарма и оплот мировой реакции, для рабочих всех стран, борющихся за мир, и особенно для рабочих Соединенных Штатов звучит как никогда актуально.

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» С ПИСАТЕЛЯМИ ФИНЛЯНДИИ

Известны слова Максима Горького: «Литература всего легче и лучше знакомит народ с народом». Следя за международными писательскими встречами, которые так часты в наше время, постоянно вспоминаешь эту мысль, которая варьируется в самых разных выступлениях — как убеждение, как вывод из многолетней практики, наконец как требование больше переводить друг друга.

Дважды на протяжении нескольких месяцев советские писатели встречались со своими коллегами из Финляндии. Первый раз — в июле этого года в финском городе Ювяскюля, где проходила международная встреча-семинар переводчиков. В этой встрече приняли участие не только переводчики-профессионалы, но и видные писатели и критики; среди докладчиков с финской стороны можно было встретить такие известные имена, как Эйла Пеннанен, Ларс Хамберг, Юхани Яскари. Это отражает то большое внимание, с каким относятся сегодня в Финляндии к расширению литературных связей — именно здесь должен будет в 1966 году состояться очередной конгресс международной переводческой организации ФИТ (сокращение по первым буквам французского названия: Fédération Internationale des Traducteurs). В течение недели чуть ли не все газеты Финляндии на видном месте обсуждали писательские и переводческие проблемы (случай поистине небывалый) — как надо переводить поэзию (доклады П. Ниеминена, Финляндия; Эдмонда Кари, Франция), вопросы развития литературных языков (М. Саденieми, Финляндия: Гуго Мозер, ФРГ и др.), особенности перевода эпических произведений (П. Оксала, Финляндия; Уиллис Барнстоун, США; Бьёрн Коллиндер, Швеция), выступление президента ФИТ, югославского писателя Златко Гориана; доклад советского представителя Е. Калашниковой. Советским литераторам, принявшим активное участие в работе семинара, было приятно услышать в докладе Ларса Хамберга слова о давних традициях «культурных, идейных и общественных связей между нашими странами». Ларс Хамберг говорил о Баратынском и Батюшкове, о переводах из Тургенева и Пушкина («сделанных в эпоху, когда финская литература еще только зарождалась»), Гоголя и Островского, Толстого и Чехова, Горького («На дне» и «Мещане» были поставлены в финском театре в 1903 году); о популярности Шолохова, Гладкова («Цемент», «удививший мир в 1926 году», вышел по-фински уже в 1927), Маяковского, Пастернака; Ларс Хамберг особенно подчеркнул, что в настоящее время в Финляндии существует большой интерес к современной советской и классической русской литературе. (Известный переводчик Юхан Конкка был недавно награжден национальной премией за свои переводы с русского языка.)

Два месяца спустя в Ленинграде, где состоялась встреча советских и финских писателей, много говорилось о литературе Финляндии, современной и классической, пережившей за короткий срок мощный взлет. Федор Абрамов рассказал о том огромном впечатлении, которое произвел на него талант Вяйне Линны, чьи книги стали «подлинным открытием финна-человека, финского народа, финского характера»: «Особенно финны близки мне как северянину, родившемуся в Архангельской области, в глухих лесах. И я понял, что заботы финнов, их души — несколько суровые, но в то же время нежные — это и моя душа.

это души моих земляков, моих братьев и сестер».

Эта встреча проходила с 22 по 25 сентября в ленинградском Доме писателей им. Вл. Маяковского (там же, где два года назад состоялась встреча европейских писателей, посвященная судьбам романа). Тема была определена следующим образом: «Персонаж в современной литературе»; ей были посвящены вступительные доклады Эйлы Пеннанен и Б. Бурсова. Среди гостей из Финляндии были писатели разных направлений, и руководитель делегации Кай Лайтинен сразу же предупредил: «Мы можем оказаться в состоянии дискуссии между собой» * (что вскоре и подтвердилось). Выступления советских участников — драматургов, поэтов, прозаиков, критиков разных поколений и самых разных творческих манер — наглядно показали богатство и разнообразие индивидуальностей в современной советской литературе, и тем из гостей, которые предполагали увидеть в нашей стране некое «единовластие» формы в литературе, пришлось менять свое мнение. Но при всех индивидуальных различиях нетрудно было уловить единство советских участников в вопросе гражданской позиции писателя, понимании ответственности за ход истории и судьбы своего народа, понимании жизненной правдивости литературы. Об этом, в частности, говорил А. Салынский, подчеркивая революционный оптимизм, широту, силу социалистического реализма. Здесь, в сущности, и пролег нерв дискуссии, отчетливо ощутимый даже сквозь многие недоразумения, вызванные различием в терминологии — в такие понятия, как «реализм», «натурализм», «модернизм», «герой», «антигерой», «релятивизм» и т. д., выступающие, как выяснилось, подчас вкладывали совсем разное содержание.

Один из финских участников высказал мысль о том, что искусство должно быть свободно от политики и «если писатель протянет политике палец, то она откусит всю руку». Поэтому в искусстве все направления равно могут быть хорошими, и «фашист может написать хорошую книгу, а коммунист — плохую». Позиция читателя в этом случае выглядит так: «Я хочу иметь возможность в понедельник читать книгу, написанную техникой «потока сознания», во вторник — «абсурдистскую» литературу, в среду, может быть, я захочу читать полный абсурдизм, Беккета, в четверг очередь будет за романом Линны, в пятницу — за шведской лирикой, в субботу — за сказками «Тысячи и одной ночи». В воскресенье я не читаю».

За такой безбрежной широтой в понимании искусства легко скрывается уничижительное пренебрежение к литературе социального звучания, больших общественных вопросов. Нет ничего более чуждого традициям русской культуры, чем потребительская всеядность. Не удивительно, что это отношение к литературе, сводящееся к сатирической формуле Щедрина «писатель пописывает, читатель почитывает», вызвало решительное неприятие со стороны советских участников встречи, да и не согласовывалось с выступлениями многих финских писателей. Так, например, по мнению драматурга Тауно Юлирууси, задача финского писателя состоит в «постоянной и бдительной критике общества» с целью улучшения его. Реалисты, говорил Юлирууси, пишут для народа, а модернисты — друг для друга. Широкая публика не читает их произведения. Воздействовать на широкую публику они могут лишь в той мере, в какой их формальные достижения идут на службу реализму. Театр абсурда, известный и в Финляндии,— это пример тупика, в который заходит модернистское искусство.

Едва ли не во всех выступлениях говорилось о том, что если великие писатели прошлого «знали все» о своих героях, брали на себя смелость судить их и выносить им свой приговор, то среди современных писателей на Западе многие отказываются от определенности суждений или даже вовсе пытаются изгнать персонаж из своих книг. При этом в некоторых выступлениях финских гостей этот отказ от знания утверждался как характерный признак современного искусства, даже современного мышления вообще, как качество не только закономерное, но и равноправное, а то, может быть, и предпочтительное по сравнению с «классической определенностью».

И все же легко было заметить, что представление о жизненно правдивом герое, как основе творчества, как «единице мышления писателя», «самом главном предмете литературы», явно торжествовало победу, как только выступавшие обращались к своему личному опыту.

«Здесь много было сказано о том, что человек исчез из литературы,— говорила Эва Кильпи.— Что касается меня, то дело обстоит наоборот. Я не знаю, как мне помешать героям идти в мои книги. И каждый сразу же становится мне таким близким, что мне просто жалко вычеркивать его из книги... Мне нужна сила, которой недостает моим героям. И, мне кажется, эта сила в истине, в правде».

В литературах обеих стран много пишется о прошедшей войне, и, естественно, ее не раз вспоминали в ходе встречи, вспоминали с той мерой прямоты и честности, которая лучше многих деклараций свидетельствует о преодолении недоброго прошлого. Кай Лайтинен посвятил военной теме специальное выступление, отметив, что

---

* Вот полный состав финляндской делегации: Кай Лайтинен, известный литературный критик, редактор журнала «Парнассо»; Пирико Иссола, секретарь Союза писателей Финляндии; писатели Эйла Пеннанен, Йорма Этто, Эва Кильпи, Ласси Нумми, Тауно Юлирууси, Пер-Хакон Повалс. С советской стороны в беседе приняла участие большая группа ленинградских, петрозаводских и московских писателей: М. Дудин, А. Салынский, А. Тимошен, М. Борисова, Е. Винокуров, Ф. Абрамов, Ю. Бондарев, Ю. Трифонов, Л. Смолян, В. Орлов, А. Михайлов, Л. Яхименко, Е. Эткинд, Л. Аннинский, А. Нинов, В. Савицкий, И. Ефимов.

финский писатель смотрит на вторую мировую войну под иным углом зрения, нежели советские люди, и чтобы понять позицию финского писателя, надо «пользоваться цветным фильтром, который меняет красное на зеленое — то есть представить себе обратную по цветовому решению картину». Правдивый финский роман о войне — это антивоенный роман, он разоблачает «патриотический миф», отвечает на вопрос, почему Финляндия была втянута в войну на стороне Гитлера. «То, что в советской литературе показано как военный героизм, у нас — противоположно. Но общим для нас является то, что мы научились понимать войну и ее разрушительность, поняли, что проблемы, стоящие перед человечеством, не могут быть разрешены путем войны. Таков один из уроков финского военного романа. И в этом смысле, думаю, наши точки зрения близки друг другу». Кай Лайтинен особо отметил две книги — «Неизвестный солдат» Вяйне Линны и «Манильский канат» Вейо Мери, считая, что обе они будут интересны советскому читателю. *

В ходе беседы наметилось много точек соприкосновения, дающих основу для плодотворного спора, можно было найти и немало точек совпадения взглядов; спор не только не угасал, но, наоборот, день ото дня раскрывал резервы творческой дискуссии. Это стало особенно ясно в последний день работы, когда Эйла Пеннанен произнесла взволнованную речь, далеко выходящую за рамки чисто литературных проблем. Мне хочется привести заключительные слова из этой речи и именно ими закончить свою краткую информацию:

«Позвольте мне сказать совершенно откровенно, раз уж я встала на путь признаний, что я принадлежу к тому поколению в Финляндии, которое раньше было отравлено ядом ненависти, той ненависти, которая распространилась у нас ко всему советскому. К счастью, теперь я могу быть уверенной в том, что ненависть побеждена, она даже превратилась в свою противоположность — позитивную заинтересованность, что так естественно между соседями. Дружба — это та основа, на которой можно строить полезные духовные контакты. Сегодняшний разговор, в котором мы, может быть, были несколько излишне вежливы, послужит прекрасной основой для того, чтобы встречаться в дальнейшем. В будущем можно будет посвящать встречи обсуждению конкретных книг и тем самым избежать той всеобщности, расплывчатости, которая вносит неразбериху в терминологию. При этом мы могли бы заранее определить те термины, которыми можно пользоваться. Так мы получали бы действенную информацию друг о друге, и это было бы большой победой. Это было бы победой нового направления в укреплении связей между нашими странами».

П. ТОПЕР

---

* Об этих книгах см. в статьях Э. Карху «Писатель и судьбы народа» и «Против призраков прошлого» («Иностранная литература» № 3, 1964 г. и № 1, 1965 г.), в статье В. Линны «Два писателя» («Иностранная литература» № 8, 1964 г.).

ФИЛИПС ПРАЙС

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВРЕМЯ...

Книга Филипса Прайса «Русская революция, воспоминания о 1917—1919 годах», отрывки из которой впервые публикуются на русском языке, вышла в свет в Лондоне в 1921 году. Автор ее — корреспондент английской либерально-буржуазной газеты «Манчестер гардиан» — на протяжении 1917 года находился в революционной Москве и Петрограде, выезжал в Поволжье и Оренбургскую губернию, был очевидцем дней Великого Октября в красном Питере. Позже он вместе с Джоном Ридом, Альбертом Р. Вильямсом и другими прогрессивными журналистами принимал участие в организации революционной пропаганды среди войск английских и американских интервентов, выпустил брошюры «Правда об интервенции союзников в России», «Старый порядок в Европе и новый порядок в России», впервые перевел на английский язык текст Конституции РСФСР.

Впоследствии Ф. Прайс дважды побывал в Советском Союзе — в 1945 и в 1959 годах выпустил книги с записью своих позднейших впечатлений о нашей стране; в них тоже встречаются интересные строки воспоминаний об Октябре. Впрочем, следует заметить, что появившиеся в результате второго визита путевые заметки Прайса оказались огорчительно неглубоки, со многим в них трудно согласиться.

Что же касается книги «Русская революция», посвященной ее автором «тем лидерам и рядовым участникам британского рабочего движения, кто с помощью слова, пером и действиями защищал Советскую Республику России против натиска международных держателей акций», то она проникнута горячей симпатией к борьбе революционных рабочих и солдат России и содержит немало интересных свидетельств. Еще о первых его корреспонденциях, отправленных из России по свежим следам событий, Гарри Поллит в 1957 году писал: «...большой заслугой двух английских писателей — Филипса Прайса и Артура Рэнсома — являлось их стремление осветить более или менее объективно в газетах «Манчестер гардиан» и «Дейли ньюс» события, происходившие в Советской России».

Не свободные от фактических неточностей и от отдельных ошибочных оценок воспоминания Ф. Прайса — сочувствующего свидетеля незабываемых дней Октября — не утратили интерес и сегодня.

В феврале 1917 года Ф. Прайс находился на Кавказе, откуда, получив известие о Февральской революции, он немедленно выехал в Москву.

...Первое, что мне бросилось в глаза по приезде, сразу же возле Курского вокзала,— уличные собрания. Это меня поразило, в царской России уличные митинги были делом неслыханным... Как будто какая-то волна прокатилась по человеческому океану, собрала людей вместе повсюду — на углах, на площадях, около памятников. Чувство тревоги носилось в воздухе.

...Все разговоры невольно обращались к главной теме, которая явно занимала всех: хлеб и мир.

...Для характеристики направления, по которому стихийно устремлялись все мысли, я могу привести обрывки разговоров, записанные тогда мной в записную книжку. Сцена: хорошо одетые люди в меховой одежде вокруг двух только что прибывших с фронта в отпуск солдат. На заднем плане Страстная площадь и памятник Пушкину, с постамента ораторы обращаются к толпе. «Что он там говорит? Кончать войну потому, что не хватает хлеба? Да ведь тогда придут немцы и с революцией будет покончено». «А может, они не придут,— возразил один солдат,— если мы им скажем, что оставим их в покое». Офицер, упомянувший о нескольких своих ранениях, промолвил что-то о Константинополе и необходимости обеспечить торговый путь через Дарданеллы. Солдат, судя по все-

му, это не особенно интересовало. Они заговорили о том, что паек опять урезан, об отпусках и о своих видах на будущее после демобилизации. Прусский милитаризм был для них сейчас чем-то далеким. В данное время их скорее всего волновали только близкие и практически ощутимые вещи.

Москва, конец августа.

...На углу женщины стояли в очереди за скудным хлебным пайком. На их бледных лицах, в глазах был страх. Я дошел до Кремля и, пройдя через его прекрасные ворота, миновал место, где покоятся цари прошлых столетий... Россия стояла ныне у порога новой эпохи.

...Я остановился у колокольни Ивана Великого. Несколько хорошо одетых граждан беседовали с рабочими и солдатами, а группа студентов наблюдала за происходящим. «Почему вы не работаете? Россия стоит перед катастрофой, а русский народ бездельничает»,— заявил один из хорошо одетых. «А как я буду пахать, когда у меня одна лошадь, да и та хромая? — спросил дюжий крестьянин в солдатской одежде. — Всех лошадей позабирали на войну, мы теперь с братом по уши в долгах». «Во всяком случае, ты можешь пойти на фронт и воевать за Россию»,— последовал ответ. «Чего ради нам воевать за Россию, когда она не наша?» — сказал солдат.

Петроград. 4 ноября (н. ст.) Прайс присутствовал на заседании Предпарламента в Маринском дворце.

...Вечером я направился в Смольный. Члены Исполкома старого меньшевистско-эсеровского совета выглядели совершенно подавленными. Сообщения из провинции показывали, что большевистская агитация за немедленный созыв Второго съезда Советов была встречена весьма благоприятно. Советы северных провинций и солдатские советы Северо-Западного фронта назначили своих делегатов, которые уже прибыли. Как заявили члены исполкома, они со своей стороны сделали все возможное, чтобы воспрепятствовать созыву Второго съезда Советов, ибо считали его бесцельным. Приближались выборы в Учредительное собрание, и именно это «демократическое» учреждение, а не съезд Советов должно было все решить. Советам, говорили члены исполкома, придется отступить на задний план и в конечном счете выполнять функции хозяйственных комиссий, дающих рекомендации Учредительному собранию.

...Уже собираясь покинуть Смольный, я услышал громовые рукоплескания, доносившиеся из большого зала. Там происходило заседание Петроградского Совета... Вошли делегаты Второго съезда. Шум, давка, на всех лицах уверенность. «Демос» поднялся из глубины, полный грубой силы и готовности к отпору. Представители «революционной демократии», которые сидели этажом выше, предоставленные сами себе, оказались явно оторванными от действительности...

7 ноября Прайс присутствовал на исторических заседаниях Петроградского Совета и на Втором Всероссийском съезде Советов, был у Зимнего дворца и Петропавловской крепости.

Утром 9 ноября я прошел по Невскому проспекту. На улицах продавали буржуазные газеты, как будто ничего не случилось. Тон газет сдержанный. Кадетская «Речь» была, как видно, до того потрясена событиями, что ограничилась только вздохами о судьбах России. На главном телеграфе я встретил человека, который, как я знал, был связан с банковскими кругами. Он выглядел растерянным и утешал себя только тем, что большевики, несмотря на свои успехи, не удержатся у власти больше чем несколько дней. В Петроградском телеграфном агентстве настроение было, напротив, уверенное. Все старые служащие работали как ни в чем не бывало. Мне показали телеграммы от так называемых «комитетов солдат-фронтовиков», которые обещали полную поддержку в изгнании «предателей и захватчиков». Курьеры сновали между редакциями кадетских газет, печатались и раздавались брошюры с антибольшевистской информацией.

...На Садовой я встретил знакомого, сотрудника газеты «Новая жизнь». «Большевики сделали большую ошибку, захватив власть таким образом,— заявил он.— Вероятно, они не удержат власть, если умеренные демократические партии не придут к ним на помощь»...

На следующий день, 10 ноября, настроение, однако, изменилось. Чувствовалось, что впервые за много месяцев в стране появилась политическая власть, которая знала, чего она хочет. Это мнение сквозило в обычных уличных разговорах. Возле цирка «Модерн»

собралась большая толпа, перед которой наряду с другими должны были выступать делегаты съезда Советов. Мелкие собственники, неимущие студенты, владельцы мелких лавочек и все те, кого в России называют «мещанами», беседовали между собой. Никто не осуждал насильственных методов, с помощью которых большевики захватили власть... Окажутся ли большевики способны обеспечить города продовольствием и положить конец войне? Вот вопрос, который интересовал «человека с улицы». «Царское правительство с этим не справилось, правительство Керенского — тоже, пусть теперь попытаются эти» — такие слова я слышал повсюду. Мелкие лавочники и значительная часть «пролетариев в крахмальных воротничках», которые на протяжении всего лета были явно враждебны к большевикам, как видно, заняли сейчас позицию благожелательного нейтралитета.

Я отправился в этот день на Васильевский остров, на набережную, куда причаливали пароходы из Кронштадта. Вдоль набережной на некотором расстоянии друг от друга стояли возле костров патрули из красногвардейцев и из заводских рабочих с красными повязками на рукаве, командовали ими матросы. Толпы любопытных и зевак собрались, чтобы поглядеть на небольшой крейсер «Аврора» и минный заградитель, поднявшие красные флаги и бросившие якорь на Неве. Кронштадтские матросы и красногвардейцы превратили Балтийский флот в крепость революции. Поскольку они проявили себя как могучая ударная сила нового правительства, петроградский мещанин устремился сюда, чтобы увидеть своих новых хозяев. Некоторое время я наблюдал за тем, как они расспрашивали красногвардейцев и матросов — большевиков, на которых они еще вчера под влиянием буржуазной пропаганды смотрели чуть ли не как на исчадия ада и которые теперь, к их изумлению, оказывались обыкновенными людьми.

Далее Прайс рассказывает о мятеже юнкеров и его подавлении.

...Керенский во главе казаков и сохранивших ему верность войск приближался к Петрограду. По слухам, речь шла о 20 тысячах солдат, которые якобы уже заняли Царское Село. Было ясно, что они представляли собой ту внешнюю силу, с которой «Комитет спасения родины и революции» поддерживал связь с самого начала. Мятеж юнкеров было решено приурочить к приближению Керенского к Петрограду. Но вспыхнул он слишком рано. Тем не менее Комитет надеялся, что Керенский и один овладеет Петроградом. Какой-то полный энтузиазма член кадетской партии заверял меня, что Керенский безусловно уже к вечеру будет в городе.

Я отправился на другой берег Невы, на Выборгскую сторону, где хотел разыскать на металлообрабатывающем заводе одного знакомого. Заводы были закрыты. Отовсюду поступали заявления о желании идти на фронт против Керенского. На заводском дворе только что закончилось большое собрание, и прибыл грузовик с оружием, которое собирались раздавать рабочим. В толпе я наткнулся на моего приятеля. Как и другие, он был в штатском, но прикрепил к своей меховой шапке красный бант. Как он мне рассказал, транспорт с оружием прибыл из Сестрорецка, небольшого городка на финляндской границе; там находится оружейный завод. Военно-революционный комитет превратил этот город в центральный пункт снабжения оружием петроградских рабочих. Один за другим отправлялись оттуда грузовики на петроградские фабрики и заводы.

...Под звуки «Интернационала» рабочие покинули заводской двор и исчезли в тумане зимнего дня.

Улицы Васильевского острова и южного берега Невы были заполнены отрядами вооруженных красногвардейцев с заводов, державшими путь к Царскосельскому вокзалу. Хорошо одетые буржуа на Невском и Садовой глядели им вслед, мысленно посылая проклятия. Эти буржуа явно надеялись, что, несмотря на неудачу мятежа юнкеров минувшим днем, наступление казаков с фронта принесет им спасение. Но зрелище непрерывно изливавшегося с фабрик и заводов потока красногвардейцев, устремлявшихся на новый фронт, лишало их самообладания. «Хоть бы немцы пришли и уничтожили всю эту нечисть!» — воскликнул кто-то из них. Поистине величественным было шествие красных. ...И, как всегда, главное бремя борьбы взял на себя промышленный пролетариат, заводские рабочие, готовые пожертвовать собой для революции.

...15 ноября 1917 года распространился слух о колебаниях среди большевиков. «Новая жизнь» все время подчеркивала необходимость пойти на компромисс. ...Начало проявлять активность правое крыло среди большевиков, то есть группа, против которой

Ленин выступил еще накануне переворота. Она добивалась поддержки со стороны меньшевиков, эсеров и групп «социалистической интеллигенции», стремясь убедить их в необходимости сотрудничать со Смольным. Намечался созыв конференции, чтобы изыскать пути и средства для присоединения умеренчых элементов к советской власти или по крайней мере для окончания «стачки интеллигенции». Но Ленин оставался непоколебимым. Он не предпринимал никаких шагов, чтобы помешать созыву конференции, и даже... предоставил соглашателям свободу действий в переговорах с единственным условием, что они их затянут! Он не скрывал своего презрения к попыткам договориться с «социалистическими мастерами колебаний», презрения, которое он проявил еще в начале лета к предложениям сотрудничать с «социал-патриотами»...

...У Ленина, казалось, в это время совсем не было сторонников. Но, как это часто обнаруживалось в ходе русской революции, проницательный взор этого великого человека указал путь, по которому должна была идти революция сквозь весь туман, какой заволакивал взоры других, менее значительных деятелей. Ленин не скрывал, что он невысоко оценивает мнимую силу кадетов и правых эсеров, которые организовывали саботаж крестьян, направленный против промышленных центров Севера. И как показал ход Второго Всероссийского съезда крестьянских депутатов, состоявшегося тогда в Петрограде, эта оценка была близка к истине.

...Возник союз идущих за большевиками рабочих и солдат с крестьянской беднотой и середняками северных областей и средней России. Ленинская тактика победила... Своим отказом пойти на компромисс в момент, когда компромисс был равнозначен признанию поражения, Ленин одержал победу.

Вечером 30 ноября* я присутствовал в Смольном на заседании сессии ВЦИКа, избранного только что закончившимся съездом Советов. Когда я входил в зал, Ленин как раз говорил об указаниях, которые Совнарком намеревается дать солдатским комитетам на фронте, чтобы открыть дорогу переговорам о перемирии. Его предложение заключалось в том, чтобы солдатские делегаты вступали в связь с солдатскими советами немецких войск, а если таковые не существуют — с их офицерами и штабами. Этот выход был единственным, так как на русских офицеров и генеральный штаб в Могилеве нельзя было положиться... Ленин зачитал ответную телеграмму генерала Духонина на предъявленное ему Совнаркомом требование разработать условия всеобщего перемирия. Духонин заявлял, что без согласия союзников проект договора о перемирии подготовить невозможно. Это, сказал Ленин, наилучшее доказательство того, что офицеров генерального штаба следует рассматривать как агентов капиталистов стран Антанты, и, чтобы чего-нибудь добиться, следует рассчитывать только на солдат в окопах. Он сказал, что, пока не поступят ответы союзников на радиограмму от 20 ноября, сепаратного перемирия заключать не будут, но фронтовые комитеты солдат должны тем временем предпринять подготовительные шаги и вступить в переговоры с немцами. Таким путем надеялись подорвать авторитет немецких офицеров и одновременно укрепить товарищеские чувства между русскими и немецкими солдатами.

...Левые эсеры, которые обычно сопротивлялись централизму и упрекали большевиков в бюрократизме, в данном случае стали доказывать, что солдатские комитеты не компетентны заниматься подобными вопросами, которые являются скорее делом центра. Ленин стал вежливо спорить с «интеллигентскими путаниками», как он их называл. Его способность доброжелательно убеждать противника проявилась в этот вечер в полном блеске. Как раз в этом, мне кажется, и заключалась самая суть его величия — в способности добиваться, чтобы противники принимали его наиболее радикальные и наиболее оспариваемые ими требования за счет незначительных уступок в других вопросах. Он привлек весь ВЦИК на свою сторону.

Ф. Прайс рассказывает об обстановке, создавшейся после получения 23 февраля 1918 года ответа Германии с новыми условиями мира.

В Таврическом дворце царила атмосфера лихорадочного возбуждения. Одни ждали курьеров с фронта, другие спешно создавали отряды Красной гвардии для защиты Петрограда. Некоторые, считая, что надежд на успешное сопротивление нет, поскольку крестьяне остаются пассивными, советовали оставить Петроград и Москву и отступить за Урал...

---

* Видимо, описка. Следует читать: 23.— *Ред.*

...Первым голосом, прозвучавшим, как зов вождя во тьме, был голос Ленина. В большевистской газете «Правда» 23 февраля появилась подписанная Лениным статья, где он в решительном тоне изложил причины, в силу которых русская революция должна подписать мирные условия Германии... Статья тотчас же стала предметом ожесточеннейших споров. Решающий момент настал. Срок нового немецкого ультиматума истекал на следующее утро, 24 февраля и еще этой ночью ВЦИК должен был собраться, чтобы принять решение, от которого зависела судьба революции. ...Вечером, 23-го, в 8 часов большевики и левые эсеры, входившие в состав ВЦИКа, собрались на фракционные заседания... После долгих и бесплодных споров около полуночи обе фракции решили собраться вместе... В этом общем заседании участвовали также анархисты. Единственной группой, остававшейся в стороне, была кучка меньшевиков и правых эсеров. Находясь на галерее, я был свидетелем этого заседания и никогда не забуду подавленного и напряженного настроения, охватившего всех. Какой контраст тем триумфальным сценам, какие видел этот зал еще две недели назад при открытии съезда Советов.

Изложив речь Н. В. Крыленко и сообщение представителя флота, Прайс рассказывает о ходе прений.

Коллонтай, комиссар социального обеспечения, гневно напала на Ленина...

Ленин, невозмутимо потирая подбородок, смотрел перед собой, в то время как «горячая голова» — Радек нервно шагал за трибуной взад и вперед, бледный, с глазами, налившимися кровью. Казалось, что он в своем воображении рубит на куски генерала Гофмана. Потребовав слова, Радек в резком тоне заявил, что подписание мира означало бы моральное банкротство русской революции и выдачу Восточной Европы на милость прусской реакции. «Какими глазами вы посмотрите в лицо польским, литовским, латвийским, эстонским и белорусским социалистам после того, как выдадите их немецкому генеральному штабу?» Затем на трибуну вышел Рязанов и страстно заявил, что для революции лучше погибнуть с честью, чем с позором. Казалось, никто не хотел подписания мира...

Но вот поднялся Ленин, хладнокровный, невозмутимый, как всегда. Никогда еще столь тяжелая ответственность не лежала на плечах одного человека. И все же было бы ошибочным думать, что его личность была в этой кризисной ситуации решающим фактором. Сила Ленина тогда, как и в последующее время, заключалась в его способности правильно оценивать психологию русских рабочих и крестьянских масс. Как будто даже без созыва нового Всероссийского съезда Советов он знал уже мнение депутатов тысяч губернских и уездных советов...

Его речь произвела сильное впечатление. Казалось, никто не находил в себе смелости возразить, каждый чувствовал правоту Ленина. Я сам, несмотря на все мое жгучее стремление к реваншу, начал склоняться к ленинским взглядам. Был объявлен перерыв до двух часов ночи, с тем чтобы привлечь фракции меньшевиков и правых эсеров и открыть заседание ВЦИКа. Затем Камков, лидер левых эсеров, выступил от имени своей партии, которая в перерыве приняла решение. Он признал фактическую правильность ленинских доводов, но заявил, что его партия отказывается нести моральную ответственность перед Европой за подписание постыдного мира. Советам следовало бы, сказал он, оставить Петроград, отойти в глубь страны и предоставить немцам спокойно продвигаться вперед, если они на это решатся. Если же будет принято противоположное решение, то левые эсеры не будут противодействовать, однако отзовут своих членов из состава Совета Народных Комиссаров. В 5 часов утра было решено провести голосование, не связывая его участников партийным решением. Вряд ли я забуду эти мгновения. До последней минуты я сам не знал, какой из сторон русской революции, боровшихся за преобладание, я желаю победы. Наконец решение было вынесено. В пять часов утра состоялось голосование путем поднятия рук. За подписание мира проголосовало 112 человек, против — 84 и 24 — воздержались. Около шести часов утра — это было морозное зимнее утро — я, измученный усталостью и голодом, вернулся домой, чтобы тут же забыться сном.

На следующий день те делегаты и комиссары-большевики, которые минувшей ночью выступали против Ленина, совершили поездку по городу, по заводам и фабрикам, чтобы составить себе впечатление о настроении народа. Днем они вернулись в Смольный, сами проникшись теперь убеждением, что всякое сопротивление было бы

невозможным. Лучшие и наиболее дальновидные рабочие Путиловского, Балтийского и Обуховского заводов, так же как и железнодорожных мастерских и верфей, понимали положение, в котором находилась молодая Советская Республика, и при других условиях были бы готовы влиться в ряды Красной гвардии, как они это сделали, когда разбили Керенского в Царском Селе, как это сделали матросы, чтобы сражаться против Каледина. Но они отказывались вступать в безнадежную борьбу с хорошо вооруженными и дисциплинированными немецкими армиями без поддержки крестьян, составлявших становой хребет старой армии. Уж лучше заключить мир на максимально выгодных условиях и предоставить немцам разбивать себе голову на Украине и в балтийских провинциях; у России все еще останутся такие базы, как Донецкий угольный бассейн, Урал и богатые пшеницей области Поволжья. Между тем Ленин послал местным советам по всей территории Республики телеграммы с предложением известить о своей позиции по вопросу о ратификации мира. Он сообщил им, что в то время как ВЦИК в ходе последнего ночного заседания принял немецкий ультиматум и уже послал делегатов в Брест-Литовск для подписания мира, чтобы остановить дальнейшее продвижение немцев, во власти Советов все еще остается сделать это решение недействительным, так как договор требует ратификации Чрезвычайным съездом Советов, который должен быть созван возможно скорее.

...1 марта поступили первые ответы на телеграмму Ленина местным советам, и целые их пачки были напечатаны в официальных «Известиях». Они дали заслуживающую большого внимания картину настроений, царивших в провинции, и показали, как верно Ленин в ту историческую ночь 23 февраля оценил чувства своих соотечественников, когда он, можно сказать, один стремился побудить ВЦИК принять немецкий ультиматум. Советы городских и промышленных районов Северной и Центральной России сообщили в своих резолюциях, что рабочие были бы готовы сражаться, так как они вполне сознают последствия подписания мира. Однако большинство резолюций избегало определенных формулировок. Те, кто открыто выступали за подписание мира, настаивали на том, чтобы, не теряя минуты, немедленно положить начало созданию сильной Красной Армии из преданных представителей трудящихся классов. Провинциальные крестьянские советы большей частью подчеркивали, что Россия обессилела, поэтому продолжение борьбы невозможно и мир становится главным требованием момента. Было ясно, что на успешное сопротивление рассчитывать нельзя... Ленин знал требование момента: не продолжать старую войну, а использовать передышку, чтобы разоружить контрреволюционные банды, скопившиеся на плодородных окраинах России, и заложить основы свободной Рабоче-Крестьянской Армии.

Заканчивает свои воспоминания Прайс описанием событий ноября 1918 года.

...2 ноября пришло известие о революции в Венгрии, которая объявила себя независимой республикой и образовала коалиционное правительство из демократических и социалистических партий. Волны воодушевления вздымались в городах Советской России все выше. Каждый, кто был в какой-либо мере связан с Советами, твердо верил, что мировая революция уже наступила. Предсказывали, что в державах германского блока наступит период «керенщины» как переходная ступень, который, однако, недолго продлится, а затем уступит дорогу коммунистическим советам на всем европейском континенте.

В самый разгар этих волнующих событий я имел возможность повидать Ленина в его квартире в Кремле, и в ходе беседы, посвященной многим вопросам, он высказался также и о международном положении. К моему изумлению, он, казалось, далеко не разделял всеобщий оптимизм относительно вот-вот будто бы готового разразиться взрыва мировой революции. Напротив, он, по-видимому, думал, что события в Центральной Европе могут принести Советской Республике новые и притом грозные опасности. Его взор был устремлен к черноморскому побережью, куда приближался флот Антанты, проникший через Дарданеллы и готовый высадить на южный берег России хорошо обученные армии, вооруженные танками и другими новейшими средствами ведения войны. «Что мы сможем им противопоставить, если они действительно пошлют солдат,— сказал он,— а эти солдаты послушаются своих правителей и выступят в поход?.. И я боюсь,— задумчиво добавил он,— что социальная революция в Цент-

ральной Европе будет развертываться слишком медленно и не сможет оказать нам какую-либо помощь».

Вскоре после того, как я ушел от Ленина, мне попался номер «Кройццейтунг». В передовой статье, датированной первой неделей октября, этот орган прусских милитаристов указывал на большую задачу, которая выпадала Германии: не имея возможности достигнуть своих целей на Западе, она должна обеспечить себе место в «семье народов» тем, что подавит большевизм на Востоке. «В борьбе против Советов,— говорилось в этой статье,— государства Антанты и Германия найдут тот мост, который приведет к объединению их культур и к спасению европейской цивилизации». Видимо, Ленин был действительно прав: перед Советской Республикой открывался новый период возросших опасностей...

...Вечером 10 ноября я был приглашен на большой прием, происходивший в Кремле в честь германской революции. В 9 часов вечера, когда даже самые перегруженные работой комиссариаты наконец закрыли свои двери, я направился в банкетный зал старого дворца против колокольни Ивана Великого. Здесь я застал уже собравшейся группу руководящих русских революционеров. Совет Комиссаров был почти полностью налицо, за исключением Ленина...

Угощение было на редкость скромным. Даже революция в Германии не вызвала каких-либо проявлений роскоши. Я думаю, мы получили не больше, чем дополнительный паек, установленный Московским Советом для всех граждан по случаю годовщины Октябрьской революции. Самым крепким напитком, который нам дали, был кофе. После тостов за «мировую революцию» и за «коммунистов всех стран» и после бесчисленных речей, прерывавшихся взрывами веселого смеха, ...все собравшиеся поднялись. Кто-то принес граммофон. И тогда, в первые часы зимнего утра, под звон большого кремлевского колокола, и всего лишь в нескольких шагах от того места, где были погребены минувшие поколения царей из дома Романовых, эти очень человечные люди, вожди движения, сокрушившего троны, повергшего правительства в страх и трепет и изменившего самый облик огромной части Европы и Азии, пустились в пляс. Я представил себе негодование, какое охватило бы прежних священных покровителей этого дворца, портреты которых висели на стенах, если бы они увидели ту, впрочем, не вполне совершенно выполненную мазурку, которую протанцевал автор этих строк с товарищем Литвиновым!..

...Условия, приведшие к экономическим революциям в Западной Европе в XIX веке, а затем к мировой войне 1914—1918 гг., создали для русского пролетариата возможность взять власть и перейти к осуществлению величайшего социального эксперимента, какой только знает история человечества. Сколько времени пройдет, пока коммунистический общественный строй в России будет создан, никто не может предсказать. Начало положено, и ясно одно: возврат к старому в России не только невозможен, но пока существует Советская Республика, она будет лучом света, освещающим дорогу всем угнетенным, всем порабощенным и эксплуатируемым всех стран и частей света. В Западной Европе старые цивилизации, основу которых заложили последовавшие за реформацией буржуазные революции, будут, как можно предположить, затронуты социальными преобразованиями в последнюю очередь, и самый ход этих преобразований будет на Западе, разумеется, иметь отличия, обусловленные традициями и установлениями вековой культуры этих стран...

Но титанический труд Советов, который сначала пролетариат западных стран лишь наблюдал с интересом и симпатией, уже пробуждает в сердцах миллионов чернокожих и желтокожих, живущих на восток от Московии, страстные надежды. Разве за потерпевшей поражение русской революцией 1905—1906 гг. не последовали национальные восстания в Турции, Персии и Китае? Разве не столь же очевидно, как восход солнца, что в тех частях света, куда буржуазные революции еще не проникли, где «кули» и «райят» еще поныне терпят угнетение со стороны земельной и дворянской касты, за которой стоят флот, армия и золото западноевропейского капитализма, разве не очевидно, что в этих странах пример Москвы не останется незамеченным?..

Автор предисловия, публикации и перевода выдержек из книги Ф. Прайса О. В. КУЗНЕЦОВА.

Чешский художник Ян Рамбоусек

В Праге мне удалось побывать у Яна Рамбоусека, одного из зачинателей чешской социальной графики.

В холодный снежный день я сижу среди приветливых и славных людей в комнате с тихо потрескивающей печкой, в мастерской, где на всем лежит отпечаток долгой творческой жизни. Я погружаюсь в воспоминания пожилого художника, который, постепенно увлекаясь рассказом о пережитом, достает из шкафов альбомы с набросками, папки гравюр, написанные им книги. И чем больше ложится на стол графических листов, тем сильнее меня захватывают судьбы его героев, людей городских окраин 20-х и 30-х годов, обездоленных, голодных, неустроенных, озлобленных или протестующих. Все более отчетливым становится образ художника, всеми своими помыслами неразрывно связанного с рабочей средой, горячо отзывавшегося на людское горе, на беду человека-труженика. Все более осязаемым становится значение слов старого мастера: «Я не искал социальные мотивы, они сами находили меня. Социальная графика не была моей программой, она была жизнью».

Сын литейщика завода Рустонка, он провел детство на окраине Праги в Либени. Здесь, у речки Рокитки, на узких, сумрачных улицах, окружающих фабрику, он узнавал жизнь, здесь познакомился с тем, что такое горе, несправедливость: его отцу, получившему тяжелое увечье на заводе, было отказано в пенсии. После смерти отца мать делала все от нее зависящее, чтобы дать мальчику возможность учиться. Она продавала восковые цветы на Либеньском кладбище, и маленький Ян помогал ей чем мог. В пятнадцать лет он зарабатывал на жизнь, давая уроки.

Ян Рамбоусек подружился с Милославом Голым, ставшим в 20-е и 30-е годы видным живописцем со-

Разъяренные. Пятый лист из серии «Дно». Литография.

Продавщица газет. Из цикла «Из города света». Офорт.

циального направления. Рабочая окраина Праги, ее пейзаж, ее типы — вот темы ранних работ друзей.

Одаренные юноши с трудом уговорили родителей дать согласие на их поступление в Академию художеств. Однако вскоре учение Рамбоусека было прервано первой мировой войной. Он оказался на Восточном фронте, в обозе. Голодные люди подходили к обозу в надежде раздобыть что-нибудь съестное; они бродили по полям, выкапывали коренья и ели их; падали больные лошади. Все увиденное художник переносил в альбомы, и они смотрятся теперь, как документы времени, правдивые и страшные.

Вернувшись в Прагу, Рамбоусек продолжал образование в Специальной графической школе Академии художеств. В этой школе собрались люди, пришедшие с фронта, ровесники Рамбоусека; их жизненные пути были во многом схожи. Они и объединились в начале 20-х годов в одну из самых значительных групп, занимавшихся социальной графикой. Искусство, отображающее жизнь рабочей и крестьянской бедноты, полное горячего сочувствия к угнетенным и гневного протеста против гнета, в 20-х годах получило в Чехословакии исключительно широкое распространение. Как и в других странах, и в особенности в Германии (вспомним хотя бы Кольвиц, Гросса, Барлаха), это искусство чешских и словацких мастеров представляло собой как бы художественный итог войны. Благотворное влияние на художественную мысль Чехословакии оказывал пример революционной России. Злая, бичующая карикатура А. Пельца, Ф. Бидло, А. Гофмейстера, живопись и графика Й. Чапека, брата известного писателя, плакаты В. Машека и его иллюстрации к произведениям Маяковского наглядно свидетельствуют об этом.

Ян Рамбоусек в начале 20-х годов работает исключительно интенсивно. Один

за другим он создает три цикла гравюр, ставших классикой чешской социальной графики. Особой силой воздействия обладает первый, названный «Дно» (1921). Об автобиографическом характере этого цикла заявлено сразу же, в титульном листе, своеобразной графической увертюре ко всей серии. Тут повторяется мотив ксилографии 1919 года «Мое детство». Это — воспоминание о тех давних годах, когда мать брала мальчика с собой на кладбище, где торговала цветами, или на рынок, а на обратном пути несла усталого малыша в корзине за плечами. Введение немногословное, выразительное, суровое. И дальше следуют такие же напряженные и жестокие в своей правдивости рассказы. В центре темного листа «Детство» — светлый, уверенно очерченный плавной, жирной линией силуэт женской фигуры. Мать кормит ребенка, тяжело опустившись на мостовую у дома. Вечный образ мадонны лишен здесь даже намека на радость и поэтичность. Огрубевшая от изнурительного труда, придавленная постоянной борьбой за кусок хлеба, эта женщина являет и силу, и забитость одновременно.

Еще напряженнее, острее экспрессия в листе, носящем ироническое название «На работе». Безработные, подпирающие стены, утомительная, вынужденная бездеятельность физически сильных мужчин... Подвижные, широкие линии-контуры сохранили трепетность движения руки художника, и именно их характер определил, несмотря на статичность поз, динамический строй гравюры.

Этот лист, и в особенности литография «Разъяренные»,— кульминация цикла. Своей экспрессией, гражданским пафосом они напоминают ранние произведения Кете Кольвиц.

Первый цикл сразу же выдвинул Яна Рамбоусека в ряд зрелых мастеров графики. Чешский поэт Иржи Волькер принял цикл «Дно» от издателя вместо гонорара. Он обратился к худож-

Спящие.
Гравюра на дереве.

На работе. Второй лист из серии «Дно».
Литография.

Тянут.
Цветная гравюра на дереве.

[redacted]

За супом у церкви Святой Анны.
Ксилография.

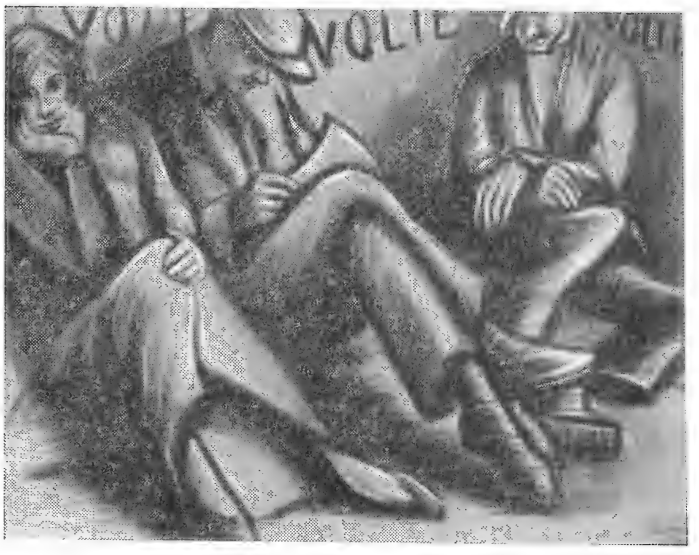
нику с предложением иллюстрировать создаваемые им баллады, во многом созвучные гравюрам. К сожалению, этому интересному содружеству двух больших мастеров не суждено было состояться из-за преждевременной смерти поэта.

Вторая значительная серия Рамбоусека «Из города света» была выполнена в 1922 году, во время его обучения в Париже. Его учитель профессор Волтнер удивлялся тому, что молодой чех и тут выискивает печальные мотивы из жизни низов. «...Ведь Париж все же веселый город, нам в нем хорошо живется...» — возражал он. А Рамбоусек говорил о своем цикле: «Чем больше света, тем виднее нищета. Я, если б и хотел, не мог бы пройти мимо нее...» В поле его зрения попадают будничные сцены: прогуливающиеся у Мулен-Руж женщины, изо всех сил орущая продавщица газет, слепой уличный музыкант...

Следующим был цикл «Блуждающий огонек» (1923). Четыре литографии его по образному строю и цветовому тону напоминали графику Тулуз-Лотрека. Судьба героини этого цикла — девушки предместья, которую художник знал с детства и которой симпатизировал, вобрала в себя тысячи других судеб. Девочка-подросток вышла на улицу вместе со взрослыми продавщицами газет («На улице»)... Сомнительный триумф в кабаре («На сцене»)... И вот — снова на улице, теперь уже без работы, всем чужая, никому не нужная («На мостовой»). И, наконец, трагическое завершение ее горькой судьбы — самоубийство («В реке»).

Уверенный и четкий контурный рисунок подцвечен приглушенными, пастельными тонами («На улице»), а иногда в зависимости от настроения гравюр краски образуют дисгармонию («На мостовой») или становятся сумрачными («В реке»).

Хотя Рамбоусек в 20-е годы явно тяготеет к обоб-



На мостовой. Третий лист из цикла «Блуждающий огонек». Цветная литография.

Мое детство
Гравюра на дереве.

Воспоминание о 30-х годах. Деталь.
Гравюра на дереве.

Рубка ветвей. Из цикла «Лесорубы в Лужицких горах».
Гравюра на дереве.

щениям, воплощенным в сериях графических листов, он вместе с тем работает и над отдельными графическими произведениями. Однако все они, хотя и не имеют общего повествовательного стержня, как бы составляют один обширный цикл: в них снова и снова отображается жизнь рабочих семей, тяжкий труд, невеселый отдых. В нескольких гравюрах показаны безработные, спящие на скамейках или на тротуарах.

Характерно, что даже спортивная игра выглядит у Рамбоусека как нелегкая работа. А мучительный труд, воспроизведенный в гравюре «Тянут» (1927), воспринимается как символ вечного закабаления рабочего человека. Отдельные эпизоды складываются в широкую и верную картину социальной несправедливости.

В цикле гравюр на дереве «Комедианты» (1928) раскрывается удивительный мир театра для бедноты: карлик Коко, акробатка Агнесс — «эластичная дама», гадалка... «Это просто портреты ярмарочных комедиантов»,— объяснял Рамбоусек. Он знал этих актеров, встречался с ними, интересовался их судьбами.

В 1929 году Яну Рамбоусеку пришлось уйти из Академии художеств, где он преподавал, и, следовательно, лишиться постоянного заработка. К этому времени он уже был признанным мастером социальной графики, но тем не менее остался без средств к существованию. Поиски работы привели художника в газеты. Он путешествует по всему миру, пишет репортажи, снабжая их собственными рисунками, издает книгу путевых впечатлений. В 30-е годы Рамбоусеку приходится поступить на работу в Государственную типографию в Праге на должность художественного и технического консультанта, а затем и технического редактора. Здесь он в совершенстве изучил полиграфическое дело, что сослужило ему службу при работе над матрицами для наборных машин в 1945 году, когда остро встал вопрос о необходимости создания отечественной полиграфической промышленности.

Работа в типографии оставляла мало свободного времени для творчества, и все же Рамбоусек продолжает резать на дереве свои станковые листы. В годы кризиса, голода, безработицы, он стал еще более зрелым, еще более зорким в своем искусстве. В гравюре на дереве «Поющая семья» (1929) видны три фигуры на темном фоне городской стены, но у зрителя рождается представление о равнодушных прохожих, которые идут и идут мимо этих выброшенных из жизни людей.

Ксилография «За супом у церкви Святой Анны» (1935) тоже смотрится как выхваченный из сцены кадр. Бесчисленная толпа уже заполнила пространство церкви, она срезана левым и правым краями листа. В этой гравюре, как и всегда, художник уверенно определяет контуры фигур, подчеркивая характерность каждой из них: согбенные спины, поникшие головы, тяжело ступающие ноги. Он режет деревянную доску частыми, прерывистыми штрихами, то направляя их косо, то сталкивая с вертикальными, то кладя параллельно, то собирая в пучок. Это беспокойное движение, мерцание коротких нервных штрихов становится динамическим ключом гравюры, в которой художник использует контраст сплошного черного мрачного пятна в центре композиции с яркими плоскостями белого в фоне.

Помимо станковой гравюры, Рамбоусек за свою многолетнюю жизнь создал немало иллюстраций, пейзажей, портретов, жанровых сцен. И все же снова и снова создавал гравюры, вдохновленные жизнью рабочих предместий Праги. В послевоенные годы, в новые времена, когда трудовой народ Чехословакии взял судьбу страны в свои руки, героем Рамбоусека по-прежнему остался человек труда, увиденный, разумеется, иначе, чем прежде («Рубка ветвей», 1958). Иногда он вновь обращается к безрадостному прошлому. Об этом говорит и ксилография «Воспоминание о 30-х годах» (1962).

Весной 1965 года Яну Рамбоусеку исполнилось семьдесят лет. По-прежнему он полон замыслов, не устраняется от общественной и художественной жизни. Гравюры старого уважаемого мастера, много сделавшего для развития чехословацкой графики, и его книги об искусстве помогают молодежи в ее творческих поисках.

Е. Виноградова

А. СТАРЦЕВ

ДЖОН РИД В ПРЕДОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ

1

Книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» — единственная в своем роде, как единственна в своем роде и судьба самого Рида, американца, отдавшего жизнь за дело Октябрьской революции и погребенного у Кремлевской стены.

Знакомство с идейной и творческой биографией Рида показывает, что за последние пять-шесть лет, предшествовавшие Октябрьской революции в России, он неуклонно шел к разрыву с миром капитализма. Мужественная борьба Рида в 1916—1917 гг. против империалистической пропаганды и военной истерии в США давала некоторый выход его жажде революционного действия. Однако отсутствие революционного единства в американском рабочем классе и вызванный социал-патриотическим предательством раскол в мировом социалистическом движении обескураживали его, подрывали его веру в освободительную миссию пролетариата.

Эти идейные трудности Рида отражены в автобиографическом очерке «Почти тридцать», написанном в 1916 году (и напечатанном лишь посмертно, двумя десятилетиями позднее).

Рассматривая сейчас судьбу Рида в скрещении определивших ее личных обстоятельств и исторических сил, нужно сказать, что приезд Рида осенью 1917 года в Петроград был великим и решающим событием в его жизни как революционера и как писателя. В сентябре — октябре 1917 года на петроградских заводах и в Смольном этот молодой американский журналист прошел ускоренным порядком такую школу революционной теории и революционного опыта, о какой, находясь в довольно отсталом американском социалистическом движении, он не мог и помышлять.

Со своей стороны, он беззаветно отдался делу социальной революции и создал книгу, которую Ленин, получивший ее от Рида в тяжелую для молодого Советского государства зиму 1920 года, прочитал «с громаднейшим интересом и неослабеваемым вниманием» и рекомендовал рабочим всех стран, так как она дает «правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата».

«Вхождение» Рида в события Октябрьской революции носило стремительный характер. Приближаясь к Петрограду и еще не зная об исходе корниловского мятежа, он шутливо сравнивает себя с английским путешественником, едущим в 1793 году из Булони в якобинский Париж. Однако, не пробыв еще и недели в Петрограде, он дает замечательную по верности и остроте анализа характеристику сложившегося политического положения:

«Революция здесь вступила в фазу прямой (pure and simple) классовой борьбы, как это было предсказано марксистами,— пишет он.— Так называемые «буржуазные либералы» Родзянко, Львов, Милюков и др. окончательно стали в один ряд с капиталистическими элементами. Интеллигенты и революционеры-романтики, за исключением Горького, шокированы революционной реальностью и либо примкнули к кадетам, либо удалились прочь. Ветераны вроде Кропоткина, Брешковской... в большинстве своем нисколько не сочувствуют нынешнему развитию. Они стремились к политической революции; политическая революция произошла; Россия — республика, и, я полагаю, окончательно. Но сейчас грядет экономическая революция, непонятная им и чуждая. В буре сотрясающих Россию политических событий неуклонно восходит звезда Большевиков...»

В те же дни он писал — в более личном плане — художнику Бордмену Робинсону, с которым в 1916 году приезжал в царский Петроград в качестве американского военного корреспондента.

«Город не узнать. Те, кто грустил, ликуют, а кто ликовал — грустят. Мы в самом центре событий, и, поверь, это потрясающе. Столько поразительного, о чем нужно писать, что я не знаю, на чем остановиться. По богатству красок и грозному величию это далеко превосходит Мексику» (Рид имеет в виду революционные события в Мексике, свидетелем и участником которых он был в 1913—1914 гг.).

Американские годы в жизни Рида основательно освещены в вышедшей в 1937 году в США биографии Гренвила Хикса «Джон Рид. Становление революционера». Это пока что единственная биография Рида, которая может претендовать на исследовательский характер и научное значение. Хикс использовал архив Рида и сверх того опросил 150 человек, близких к Риду или соприкасавшихся с ним в тот или другой период его деятельности. Тем главам в книге Хикса, которые специально посвящены пребыванию Рида в России, тоже нельзя отказать в содержательности; однако, как указывает сам автор, они в значительной мере составлены по «Десяти дням, которые потрясли мир». Этого, конечно, недостаточно.

В настоящих очерках я стремлюсь расширить сложившееся представление о деятельности Рида в первые недели его пребывания в России, предшествующие штурмовым д е с я т и д н я м. При этом я стараюсь сосредоточить внимание читателя на тех эпизодах, которые лишь вкратце затронуты в «Десяти днях, которые потрясли мир» или же не освещены совсем.

Основной привлекаемый мною источник нового о Риде в России — это «русские блокноты» Рида из архива его жены Луизы Брайант, записи, которые он вел с первых дней своего приезда в Петроград *. Записи эти лишь в малой мере использованы в книге Хикса. Я привлекаю здесь материал из трех самых ранних блокнотов Рида, относящихся к сентябрю и первой половине октября (по старому стилю) 1917 года. Первый и второй блокноты сохранились частично. Третий — в хорошей сохранности, записи в нем расположены в хронологическом порядке, листы пронумерованы Ридом. В первом блокноте заполнены 30 страничек, во втором — 35, в третьем — 154, всего 219 страниц беглых заметок и более упорядоченных журналистских записей.

Второй, дополнительный источник — малоизвестные у нас корреспонденции Рида, напечатанные в американской левой прессе в 1918—1919 гг. (в значительной части они должны были войти в две задуманные Ридом в дополнение к «Десяти дням», но ненаписанные книги: «От Корнилова до Брест-Литовска» и «Дым революции»).

Я также привлекаю мемуарную литературу и некоторые устные свидетельства. Последние относятся главным образом к личным связям Рида — сыгравшим важную роль немедленно по приезде его в Петроград — с русскими политическими эмигрантами, проживавшими в США и вернувшимися в Россию после свержения царизма. В блокноте Рида имеется специально составленный им список: «Русские из Америки, активно участвующие в революции». Некоторых из них он знал еще по участию в американском рабочем движении и в движении русских рабочих в США.

В большинстве это были молодые люди в возрасте Рида или даже моложе его, однако уже имевшие за плечами немалый опыт революционной борьбы и участия в рабочем движении как в царской России, так и в капиталистической Америке. Часть из них входила в США в Русскую федерацию Американской социалистической партии, часть примыкала к «Индустриальным рабочим мира» (ИРМ), массовой профессиональной организации анархо-синдикалистского направления **. Русские знакомцы Рида были активными участниками Октябрьской революции в Петрограде и в Москве, они воевали на фронтах гражданской войны, некоторые из них стали видными работниками Советского государства.

Одним из первых в списке стоит Володарский, к которому Рид, как это видно из «Десяти дней», не раз обращался в предоктябрьские дни за разъяснениями по вопросам большевистской тактики. Некоторым другим «русским из Америки», с которыми он был связан личными отношениями, Рид был обязан быстрым контактом с революционными массами в Петрограде и помощью на первых порах, пока недостаточное знание обстановки и языка мешало ему в полную меру участвовать в развернувшихся событиях.

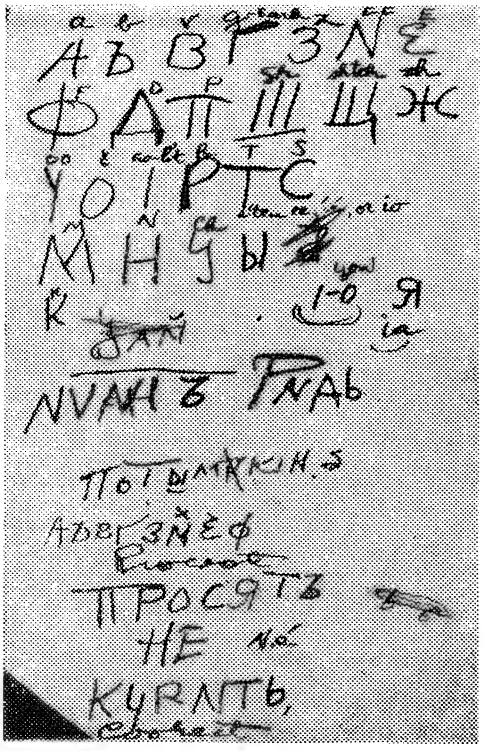
2

До знакомства с блокнотами Рида не было известно, что буквально через неделю после приезда в Россию он погрузился в гущу пролетарской борьбы, вошел в непосредственную близость с завоеванным большевистской партией пролетарским активом Петрограда.

---

* Блокноты Рида хранятся в настоящее время в собрании Луизы Брайант в Гарвардском университете (США). Фотокопии получены мною через посредство Рукописного отдела Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

** В 900-х годах и в канун империалистической войны 1914—1918 гг. ИРМ была боевой организацией американского рабочего класса; ее анархо-синдикализм в известной мере был реакцией на реформизм, господствовавший в американском социалистическом движении. Наиболее ценные революционные кадры ИРМ влились в дальнейшем в Американскую коммунистическую партию.



Листок из блокнота. Автограф Рида

В блокноте читаем: «Воскресенье. Конференция заводских комитетов. 300 человек. Организована за три дня. 3-я конференция фабзавкомов». Дальше следует ряд записей, сделанных Ридом на конференции.

Речь идет о Третьей (чрезвычайной) конференции фабрично-заводских комитетов Петрограда. Прежде чем привести записи Рида, нужно сказать о роли фабрично-заводских комитетов в Петрограде осенью 1917 года.

Фабрично-заводские комитеты возникли сразу после Февральской революции на казенных заводах военного и военно-морского ведомства в Петрограде. В отличие от профсоюзов царского времени, объединявших наиболее квалифицированных рабочих и сильно зараженных меньшевизмом и оборончеством, фабзавкомы охватывали всю рабочую массу и быстро стали орудием революционизирования пролетариата.

Предпринимательские союзы и Временное правительство, понимая опасность, какую представляют для них фабзавкомы, не раз делали попытки распустить их или ограничить поле их деятельности. Поход буржуазии против фабзавкомов достиг наивысшей точки в так называемых «скобелевских циркулярах» от 23 августа (4 сентября) и 28 августа (9 сентября) 1917 года. В первом из этих циркуляров меньшевик Скобелев, министр труда в правительстве Керенского, объявлял наем и увольнение рабочих и служащих исключительным правом владельца предприятия, угрожая фабзавкомам уголовным преследованием. Во втором циркуляре министр запрещал всякую деятельность выборных рабочих организаций в производственные часы и предписывал заводской администрации производить денежные вычеты «за пропуск соответствующего рабочего времени». Чрезвычайная конференция фабрично-заводских комитетов была созвана, чтобы дать отпор претензиям заводчиков и «министра-социалиста».

Конференция происходила в воскресенье 10 (23) сентября в помещении электромеханического завода «Динамо». Представлены были все крупнейшие предприятия Петрограда и окрестностей. На повестке дня стояли три вопроса: о походе правительства и предпринимателей против фабзавкомов, о попытке правительства «разгрузить» Петроград с тем, чтобы ослабить его как цитадель революции, и о текущем моменте.

Руководство большевиков на конференции было неоспоримым, все резолюции носили большевистский характер.

Свою работу конференция закончила пением «Интернационала».

Первая группа заметок Рида посвящена выступлениям ораторов.

«Циркуляр министра труда, воспрещающий рабочим и завкомам собираться в рабочие часы. Хозяева подхватили, говорят, что не будут платить. Каждый должен работать, никаких митингов...

Все выступавшие указывали на лицемерие Министерства труда. Не интересуются [профессиональным движением]... Говорят: нужно работать, а не болтать. Но мы-то в этом заинтересованы в первую очередь. Именно в том, чтобы наладить и укрепить производство, развалленное старым режимом и заводчиками. Члены заводских комитетов работают не по восемь часов, а по шестнадцать и зарабатывают меньше всех. Стараются перевести промышленность с военного положения на мирное. Борются с обменом инструментов на продовольствие и т. п.

Рабочие теперь не просто «руки» на производстве, а члены социального общества, заинтересованные в производстве для блага общества в целом; значит, должны участвовать в управлении производством. И мы будем игнорировать последний приказ Министерства труда. Проследим, чтобы никто не посмел и пальцем тронуть заводские комитеты... За дальнейшее развитие революции и переход средств производства в руки рабочего класса!»

Вторая, более обширная группа заметок Рида имеет подзаголовок «Беседы с делегатами». В этих беседах Рид выясняет для себя происхождение фабзавкомов, их функции, взаимоотношения фабзавкомов с профсоюзами и т. д.

«Профессиональные союзы представляют организованных рабочих; завкомы — всех рабочих завода за вычетом администрации. Движение, отдельное от профсоюзного». Рид пишет о трудностях, с которыми сталкиваются фабзавкомы: «Малая классовая сознательность. Неквалифицированные рабочие. Временный и сезонный труд. Боязливость рабочих».

«Завкомы были созданы в первые же дни после революции, когда профсоюзы, запрещенные при старом режиме, еще не успели стать на ноги, а некоторые вовсе исчезли. Потому фабзавкомы стали выполнять их задачи. За последнее время в руководстве фабзавкомами появилась тенденция отделить свои обязанности от обязанностей профсоюзов, больше заниматься тем, чем им положено, поддерживая с профсоюзами тесную связь. Наша задача — не соперничать с профсоюзами, а помогать им».

«Профсоюзы в русской промышленности были копией европейских тред-юнионов. Задачи казались ясными: за уменьшение рабочего дня, за повышение зарплаты, за улучшение условий труда. Теперь на новые формы работы профсоюзы взирают с подозрением. Боятся, как бы новое не пошло во вред тому, что уже есть».

«Задачи фабзавкомов: контроль и управление промышленностью. А это поведет к новой организации производства. Мы стараемся понять, что нам требуется в нашей стране и на что мы можем рассчитывать. Производство и распределение».

«Мы, конечно, не настолько наивны, чтобы думать, что это легко — овладеть промышленностью. Она расшатана войной, а рабочие в других странах еще дремлют. Но мы горячо надеемся, что Россия даст толчок другим странам».

Заключительная группа заметок Рида имеет подзаголовок «Боссы» (боссами в американском рабочем движении называют предпринимателей) и касается отношения заводчиков к фабзавкомам.

«Боссы сейчас заявляют, что они не против профессиональных союзов. С фабзавкомами же ведут смертельную борьбу. Последний приказ Министерства труда. Но там, где завкомы крепки, победа за нами. На казенных заводах мы — полные хозяева».

Как попал Рид на конференцию фабзавкомов? Ответить на этот вопрос можно с большой достоверностью. В президиуме Центрального совета фабрично-заводских комитетов Петрограда состоял «русский из Америки» (он значится первым в списке Рида) В. С. Шатов.

Владимир Сергеевич Шатов (1888—1942) назван Ридом в «Десяти днях, которые потрясли мир». В третьей главе, вспоминая, как 23 октября (5 ноября) в три часа ночи он покидал кипевший революционной энергией Смольный, Рид пишет:

«Вверх по лестнице взбегал Билль Шатов. «Ну,— крикнул он,— мы начали! Керенский послал юнкеров закрыть наши газеты «Солдат» и «Рабочий путь». Но тут пришел наш отряд и сорвал казенные печати, а теперь мы посылаем людей для захвата буржуазных редакций!» Он радостно похлопал меня по плечу и побежал дальше...»

К имени Шатова Рид делает сноску, в которой пишет: «Он хорошо известен участникам американского рабочего движения». Действительно, будучи политическим эмигрантом в США, Шатов играл заметную роль в революционном движении. Недавно скончавшаяся Элизабет Герли Флинн — председатель Коммунистической партии США — в своих воспоминаниях называет «Билля Шатова» в числе «великолепных ораторов», выступавших в предвоенные годы на рабочих собраниях в Нью-Йорке (оба они принадлежали в то время к «Индустриальным рабочим мира»). В октябрьские дни Шатов состоял членом Петроградского военно-революционного комитета *.

Рид впервые познакомился с Шатовым еще в 1913 году во время знаменитой забастовки текстильщиков в Паттерсоне. До сих пор не было известно о прямых связях Рида с русскими революционерами-эмигрантами в пору их возвращения в Россию. Но А. А. Шатова (вдова В. С. Шатова) сообщает, что Рид провожал их, когда они в мае 1917 года уезжали в Петроград. По-видимому, уже тогда Рид замыслил поездку в Россию.

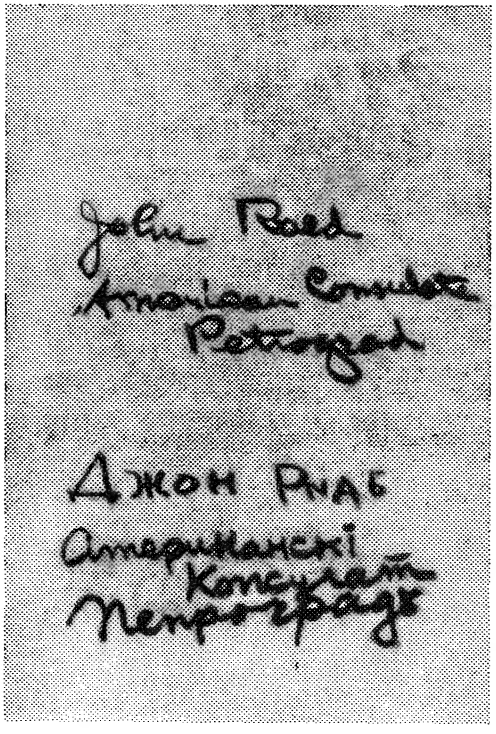
По приезде в Петроград Рид разыскал Шатовых. В первом же блокноте записан их адрес: «Шатов. Ковенский, 30». И дальше, со ссылкой на Шатова, информация о «скобелевских циркулярах», непосредственно подводящая к вопросу о фабзавкомах.

А. А. Шатова вспоминает, как вместе с Ридом они ходили по петроградским улицам в поисках подходящего жилища для него и Луизы Брайант (Риды остановились в гостинице «Англетерр», но позже перебрались на частную квартиру на Троицкой улице). В уже цитированном блокноте имеется запись Рида: «Передать Луизе, что Анна Шатова вступила в комитет по борьбе с контрреволюцией» (комитеты по борьбе с контрреволюцией стали возникать в Петрограде в дни корниловщины как своеобразные органы бдительности петроградских рабочих).

Шатов владел английским и мог быть полезен Риду, помогая ему войти в курс политической борьбы. Через Шатова Рид поддерживал и далее свои связи с Централь-

---

* После победы Октября В. С. Шатов был назначен комендантом Петроградского укрепленного района. В 1919 году награжден орденом Боевого Красного Знамени за выдающиеся заслуги в борьбе с Юденичем. В дальнейшем работал на ответственных советских и хозяйственных постах. Начальник строительства Турксиба. Незаконно репрессирован в годы культа личности Сталина. Реабилитирован посмертно.



Надпись на блокноте Джона Рида

ным советом фабрично-заводских комитетов. На I Всероссийской конференции фабзавкомов, происходившей в Смольном 17—22 октября (30 октября — 4 ноября), в самый канун восстания, Джон Рид и Луиза Брайант значатся в списке присутствующих на конференции по гостевым билетам *.

3

Третий из упомянутых русских блокнотов Рида, сохранившийся лучше других, имеет на верхней крышке надпись: «Джон Рид. Американское консульство. Петроград». Ниже та же надпись повторена Ридом по-русски (с характерными ошибками в написании букв — он только еще начинал учиться русскому языку). Надпись, как видно, была сделана Ридом на случай утери блокнота, чтобы получить его назад, но очень быстро «устарела».

Перед отъездом из США Рид заручился рекомендательным письмом от знакомого правительственного чиновника: тот просил американского посла в Петербурге — реакционного и ограниченного Д. Р. Френсиса — оказать содействие и помощь едущим в Россию корреспондентам американской прессы, Джону Риду и Луизе Брайант. О том, что Рид социалист и противник империалистической войны, американский посол не имел понятия и был донельзя испуган и разъярен, когда узнал о симпатиях молодого журналиста к надвигающейся пролетарской революции и о его связях с большевиками.

17 (30) сентября в помещении петроградского цирка «Модерн» происходил массовый митинг протеста против смертной казни, угрожавшей в США арестованному за антивоенную пропаганду анархо-синдикалисту Александру Беркману. Была принята резолюция, клеймившая показные американские «свободы» и произвол американской юстиции. Митинг постановил направить резолюцию в американское посольство. Заранее узнав о предстоящем митинге из расклеенных по городу афиш, американский посол направил в «Модерн» своего агента. Агент донес, что виновниками митинга и враждебной правительству США резолюции являются американец Джон Рид и русский по фамилии Шатов, проживавший ранее в США. Против Рида агент выдвинул добавочное обвинение, что тот воспрепятствовал допуску на Демократическое совещание корреспондента американского телеграфного агентства Ассошиэйтед Пресс, объявив его «представителем капиталистов» **.

На другой же день после митинга американский посол направил в госдепартамент шифрованную каблограмму.

«Из надежных источников стало известно,— писал он,— что Джон Рид, имеющий американский паспорт за номером ..., сердечно принят большевиками, с которыми, очевидно, заранее согласовал свой приезд.

Вскоре после прибытия сюда он потерял бумажник, который был доставлен в консульство и в котором было обнаружено письмо Хиллквита, рекомендующее Рида Гюисмансу, секретарю Стокгольмской конференции.

Полагаю, что сведения большевиков о Беркмане получены через Рида и Уильяма Шатова... Стараюсь выяснить, кем инспирирован митинг протеста. Шатов проживал в США в течение последних лет. Недавно вернулся в Россию, состоит секретарем какого-то советского комитета. Сообщите данные об обоих».

Бумажник был не «потерян» Ридом, а выкраден у него агентом американского посла (об этом сообщает в своей книге Гренвил Хикс, лично беседовавший с Луизой Брайант). В изъятом у Рида письме от секретаря бюро II Интернационала Камилла Гюисманса было сказано, что Рид, согласно рекомендации Мориса Хиллквита (пред-

---

* См. «Октябрьская революция и фабрично-заводские комитеты». М., 1927, ч. 2. стр. 261.

** См. D.R. Francis. Russia from the American Embassy. Apr. 1916—Nov. 1917. New York, 1921. p. 165 и далее.

ставителя Американской социалистической партии в бюро II Интернационала), является социалистом и членом редакции социалистической газеты «Нью-Йорк Колл».

. Френсис не ограничился приведенной каблограммой в госдепартамент. «После этих разоблачений,— пишет он в своих мемуарах,— я, разумеется, стал рассматривать мистера Рида как подозрительное лицо и установил наблюдение за всеми его действиями».

В своем роде любопытно цитируемое в мемуарах Френсиса донесение агента, который не только следовал за Ридом по пятам, но где-то нашел случай вступить с ним в беседу.

«Говорит, что социалист. Сказал: рабочие и сами могут управлять заводами. На некоторых заводах уже начали, и с полным успехом. А в газетах пишут лишь о неудачах. Если не считать кадетов, только большевики имеют настоящую программу. У других социалистических партий нет ни ясной политики, ни ясной программы. Хотя русский рабочий не достиг такой высокой производительности труда, как американский, он намного превосходит американского и в политической сознательности, и в политической борьбе.

Сказал: если рабочим будут оплачивать весь труд, к ним перейдет и вся прибыль. Вместо того чтобы закрывать заводы, нужно заставить [заводовладельцев] вернуть сырье или передать заводы под контроль рабочих. Был на продолжавшемся всю ночь заседании Демократического совещания в Александринском театре. Как видно, разбирается во всем, о чем шла речь.

Сказал: если большевики возьмут власть, первое, что они сделают, это выкинут вон все посольства и всех, кто с этими посольствами связан... Слишком уж посольства суют свой нос во внутренние дела чужой страны.

Упомянул о теории Маркса. Как видно, знает обо всем, что происходит в социалистических партиях».

Первую часть беседы Рид вел всерьез, желая, как видно, просветить незнакомого ему соотечественника. Однако в какой-то момент он разгадал в собеседнике посольского шпиона, и озорная фраза о том, что сделают большевики с посольствами, «слишком уж сующими свой нос во внутренние дела чужой страны», и была, конечно, предназначена Ридом специально для сведения американского посла. Священный ужас, с которым в донесении упомянута «теория Маркса», характеризует общий уровень и самого шпиона, и его нанимателя.

По мере сближения Рида с русской революцией американское посольство в Петрограде все более становилось для него источником угроз и опасностей. Заглядывая вперед, нужно сказать, что к доносам в госдепартамент Д. Р. Френсиса присоединились доносы херстовского журналиста Э. Сиссона, занимавшегося в Петрограде разведывательной деятельностью и скупкой антибольшевистских фальшивок. Стараниями Френсиса и Сиссона Рид, выехавший в феврале 1918 года из Советской России в США, был задержан на два месяца в Швеции: американское посольство не давало ему въездной визы. По приезде в Нью-Йорк 28 апреля 1918 года он был арестован портовыми властями и освобожден лишь под залог. Хотя Рид был журналистом с крупным именем, он не мог печатать свои статьи о России нигде, кроме жестоко преследуемых социалистических изданий. Все записи и материалы были у него изъяты. По счастью, через несколько месяцев их удалось вызволить, и Рид получил возможность начать работу над книгой.

4

27 сентября (11 октября) Рид вместе с Альбертом Рис Вильямсом и американским социалистом (позже коммунистом) Борисом Рейнштейном выехал на северный участок русско-германского фронта, в расположение XII армии.

Этой поездке Рид посвятил специальный очерк «Поездка в русскую армию», опубликованный им в «Либерейторе» в апреле и в мае 1918 года. В «Десяти днях» он лишь вскользь упоминает о фронтовых впечатлениях; в свете дальнейших событий они отступили на второй план. Однако для самого Рида, для роста его революционного сознания и политического опыта поездка в действующую армию имела первостепенное значение.

Записи в блокноте, относящиеся к поездке, кое в чем дополняют печатный очерк, особенно же ценны «попутным» материалом, который характеризует раздумья автора и выводы, которые он делает для себя из увиденного и услышанного.

Еще в поезде Рид с юмором записал рассказ попутчика, полкового священника, который пожаловался, что едва успел он возгласить с амвона: «На земле — мир!» — как солдаты насмешливо и угрожающе закричали: «Молись: без аннексий и контрибуций!»

На фронте под Ригой Рид увидел разутых и раздетых русских солдат, окончательно изверившихся в «войне до победного конца» и в лозунгах правительства Керенского. Армия с жадностью впитывала революционную пропаганду и требовала немедленного мира.

«У офицеров еды и питья досыта,— записывает Рид в блокноте,— у солдат... почти ничего. Без сапог, в сношенном летнем обмундировании».

Политическое положение в XII армии к моменту, описываемому Ридом, было таково: Искосол (Исполнительный комитет Совета солдатских депутатов XII армии) находился под влиянием эсеров и меньшевиков-оборонцев, но большевизация солдат шла стремительным темпом, в особенности во входивших в XII армию латышских частях. Исколастрел (Исполнительный комитет Совета латышских стрелковых полков) твердо шел за большевиками.

В уже названном очерке из «Либерейтора» Рид рассказывает о своей поездке на линию фронта в солдатский комитет пролетарской по составу 2-й бригады латышских стрелков. Он едет туда с военным врачом-большевиком, «доктором Нахумсеном», в санитарном автомобиле, нагруженном свежими номерами большевистских газет «Солдат» и «Рабочий путь».

Рид записывает некоторые из своих разговоров с «доктором Нахумсеном».

«— Состояние армии? — Доктор пожал плечами и зло усмехнулся.— Чего вы хотите? Наши французские, английские и американские приятели не шлют нам обещанного снаряжения. Должно быть, надеются задушить революцию».

По поводу угрозы правительства Керенского ввести в действующей армии смертную казнь «доктор Нахумсен» говорит:

— Нет, друг мой, смертная казнь господина Керенского предназначена вовсе не для трусов, дезертиров и мятежников. Смертная казнь в русской армии предназначена для большевиков, для агитаторов, чтобы любой офицер мог убивать их по своему произволу. Здесь — по счастью для них — ни один еще не пробовал. Пусть только поднимут руку!»

«Доктор Нахумсен», собеседник Рида, это, конечно, Семен Михайлович Нахимсон, член ВЦИК от большевиков и делегат Шестого съезда партии. В сентябре 1917 года он был направлен Петроградским комитетом в XII армию для политической работы *.

В комитете 2-й латышской бригады Рид встречает смелых, уверенных в себе, большевистски настроенных людей. Там в убогой крестьянской избе он находит недавно вышедшую книгу Ленина «Империализм как новейший этап капитализма», которую читает кто-то из членов солдатского комитета. Рид записывает в блокноте: «На столе книга Ленина» — и дальше, перемежая русские и английские слова: «Imperialism как новейший этап in capitalism» (над словами «как новейший этап» он вписывает для уверенности английский перевод: as a new stage).

Следующие несколько страниц в блокноте Рида заняты выписками из текущей петроградской прессы, посвященными возрастающему влиянию большевиков. Эти выписки, без сомнения, связаны с беседами Рида с Нахимсоном и с солдатами-большевиками во 2-й бригаде латышских стрелков.

Рид записывает: «Банкротство политики примиренчества и компромисса» и дальше: «Рабочая газета» — Либер-Гоц, «Известия» — Дан. Обе поддерживают правительственную декларацию. Правительственная декларация — попытка подавить и запретить демократические организации». Еще одна заметка: «Умеренный центр между кадетами и большевиками у русских называется «болото» (Рид переписывает для памяти английскими буквами «bolota»).

Дальше у Рида идут обширные записи, посвященные воскресному многотысячному митингу в Вендене (ныне Цесисе) русских и латышских солдат и торжественным похоронам павших накануне трех латышских стрелков. Описанный Ридом митинг — известный в советской исторической литературе солдатский митинг, состоявшийся 1 (14) октября 1917 года в замковом парке в Цесисе. Два собрания — раздельно русских солдат и латышских стрелков — проходят под большевистским руководством. Рид присутствует на митинге. Он записывает лозунги на знаменах: «Хлеб, мир и свобода!», «Власть народу!», «Да здравствует мир!». «Мне сказали,— пишет он далее в блокноте,— что Искосол запретил оба митинга. Никто не стал считаться с этой половинчатой реакционной организацией». Дальше он указывает, что представителя Искосола, пытавшегося выступить с меньшевистской речью, криками прогнали с трибуны. «Есть желающие выступить против большевизма?» — спрашивает председатель митинга. Ответа нет!»

В заключение Рид описывает, как русские и латыши, слившись в единую демонстрацию, «стремительным непреоборимым потоком» проходят по улицам города со знаменами и революционными песнями.

5

По возвращении в Петроград 2 (15) октября Рид посетил крупного капиталиста Лианозова, «русского Рокфеллера», как он его называет, и взял у него интервью. Несколько строк из своего интервью он привел в первой главе «Десяти дней». В напе-

* В ноябре 1917 года на чрезвычайном съезде XII армии С. М. Нахимсон был избран председателем нового, большевистского, Искосола. Участвовал в формировании первых частей Красной Армии. В июне 1918 года расстрелян белогвардейцами во время контрреволюционного мятежа в Ярославле.

чатанной в марте 1918 года в «Либерейторе» корреспонденции «Победа большевиков» он излагает еще несколько строк беседы с Лианозовым. Полностью она сохранилась лишь в рукописных заметках в блокноте.

Рид придавал очень большое значение этой беседе с русским капиталистом, тесно связанным с контрреволюционными кругами. В уже названной статье в «Либерейторе» он характеризует ее как «исключительно важную».

Считая, видимо, что с американским журналистом можно быть откровенным, Лианозов развернул перед Ридом полную программу запланированного реакцией контрреволюционного переворота. Он делает ставку на развал экономики в стране и на немецкое наступление. Он призывает иностранные капиталистические державы к интервенции, доказывая, что лозунг пролетарской диктатуры имеет для них непосредственную опасность. Как ближайшие практические шаги он рекомендует правительству эвакуировать Петроград, объявить осадное положение и истребить революционные элементы в столице или же — в другом варианте — дождаться созыва Учредительного собрания и, «если оно проявит утопические тенденции», опять же применить оружие.

В начале интервью, пока Лианозов знакомит его со своим положением в русском нефтяном мире, Рид делает предварительные заметки:

«Степан Георгиевич Лианозов. Нефтяное товарищество «Лианозов и сыновья»,— записывает он. «Монташев. Братья Мирзоевы. Терское нефтяное товарищество». И еще о Лианозове: «42 года. 15 лет в промышленности».

Лианозов начинает с жалоб на экономические требования рабочих и на деятельность заводских комитетов. «Требуют непомерной заработной платы. Если бы за большие деньги работали всю ночь, я не возражал бы. Но производительность упала на 30%, а заработная плата в нефтяной промышленности возросла на 465%. Волжские грузчики бастуют и требуют 250 рублей в день. Постоянные конфликты с заводскими комитетами. Требуют, чтобы им предоставили право найма и увольнения, а на это мы не пойдем. Что прикажете делать? Разве договоришься с неграмотными рабочими? Отменили сдельную оплату. Теперь надо ее вводить снова, потому что никто не работает... Безработица, кажется, привела их в чувство, согласны на сдельщину».

Лианозов яростно нападает на «большевистскую» деятельность рабочих в области экономики. Он заявляет, что на своих заводах был первым, кто согласился на арбитраж, но дальше этого не сделает ни шагу. Вот на его заводе «Вулкан» состоялось заседание арбитражной комиссии с законным представительством рабочих. «А рабочие организовали Красную Гвардию, вооружились винтовками и пулеметами, окружили заседающих и говорят: «Посмотрим, какое вы сейчас примете решение!» Заводской комитет пришел к соглашению с заводовладельцами и сообщил об этом рабочим. А те отвечают: «Вы продались буржуям!»

Рид, присутствовавший на конференции фабрично-заводских комитетов, конечно, знает истинную цену жалобам Лианозова. В статье в «Либерейторе» он так резюмирует его позицию по экономическим вопросам: «Мы, предприниматели, никогда не согласимся, чтобы рабочие через посредство своих союзов или иным путем как-либо влияли на управление производством или контролировали его».

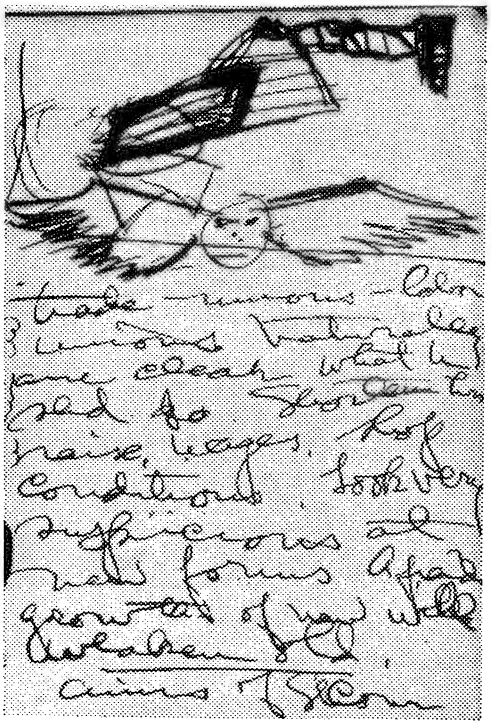
Лианозов переходит к политическим вопросам. Он сообщает, что сочувствует кадетам, хотя формально к кадетской партии не принадлежит. Называет Ассоциацию торговцев и промышленников, отмечает организаторскую деятельность Третьякова и Коновалова. О Керенском он прямо говорит, что тот уже выполнил свою роль, и в порядке дня не коалиционное, а чисто кадетское по составу правительство.

Дальше Рид записывает следующие слова Лианозова: «Гражданская война. Большевистское восстание [назначено на] 20 октября. Будет подавлено силой оружия. Из силы оружия возникнет новое правительство. Корнилов не умер. Он потерпел неудачу, но имеет достаточную опору в населении... Жизнь показала, что единственная партия, имеющая подготовленных государственных людей,— кадеты. Большевики — трусы. Их подавят казаки, несколько гвардейских полков, юнкера. Нужно проявить государственное мужество. Они разбегутся при первых же залпах. Республика? Его личное мнение, что она долго не продержится. Монархия! Народ не созрел еще, чтобы подчиняться равным. Никаких компромиссов до разгрома большевиков».

Рид прерывает кровожадный бред зарвавшегося «русского Рокфеллера», чтобы записать: «Короткие пухлые руки. Суставы пальцев заплыли жиром».

«Если правительству удастся провести эвакуацию к 15 ноября,— продолжает Лианозов,— город будет подчинен военному командованию. Это даст нам возможность действовать без видимости гражданской войны. Вот почему большевики против эвакуации».

Далее Лианозов переходит к вопросам международной политики. «Возможна лишь одна политика,— заявляет он Риду,— идти вместе с союзниками. Что касается лозунга «Мир без аннексий и контрибуций», то, поскольку «демократы» (Лианозов имеет в виду правительство Керенского.— А. С.) его не приемлют, западным державам нечего беспокоиться. Требование о присоединении к России Константинополя остается в силе, как и при старом режиме. Международное положение России важно для держав. Пока [революция] внове, она всех поражает; и никто не смеет что-либо сказать.



Листок из блокнота.
Автограф Рида.

не смеет занести руку. Но нужно отнестись к делу серьезно. Их долг прийти и вылечить больного ребенка, научить его самостоятельно ходить... Можно использовать японцев и совместно навести порядок... Большевистские идеи крайне соблазнительны и прилипчивы. Мало ли найдется бездельников, которые захотят получить все за ничто!.. Большевики надеются на мировую революцию. Разговоры о мировой революции будят звериные инстинкты».

В заключение Лианозов касается вопроса, представляющего для него чрезвычайную и особую важность: о роли и месте иностранного капитала в экономическом будущем России после планируемого им контрреволюционного переворота. Записи Рида весьма лаконичны, но, как можно заключить, речь идет о стремлении Лианозова освободиться от опеки английского капитала, очень сильного в дореволюционной российской нефтепромышленности, и выгодно продаться американцам. Беседу с американским корреспондентом Лианозов, очевидно, считает удобным каналом для предпринимаемой им «заявки». Записи таковы:

«*Не для печати.* Америка вступила (в войну) не ради идей. Ослабить могущество Англии. Америка — первая страна, добившаяся свободы морей. Мирная конференция. Финансирование всего мира. Внешняя политика России будет не такова, как при старом режиме. Горное дело и железнодорожное строительство. Золото, металл, нефть. Нефтяную промышленность нужно будет трестировать. Концессии. Кадетское правительство будет вполне современным правительством. Не столь просто, как с Аляской».

Последней фразой Лианозов напоминает об американской покупке Аляски у царского правительства и хочет предупредить, что покупка промышленных богатств России у кадетского правительства обойдется американцам дороже.

«Одну истину я здесь усвоил,— писал Рид на другой день после встречи с Лианозовым в краткой корреспонденции из Петрограда, предназначенной для социалистической «Нью-Йорк колл».— Рабочий класс и класс капиталистов не имеют между собой ничего общего».

6

Вскоре после конференции фабзавкомов Рид начал объезжать петроградские заводы. Среди записей, сделанных им на конференции, имеется такая: «В пятницу решено дать мне право посещать фабрики и заводы». Очевидно, решение принадлежало Центральному совету фабрично-заводских комитетов. Трудно восстановить полную картину поездок Рида по заводам; между тем эти поездки имели для него огромное значение; они показали ему революционную решимость и творческие силы русского пролетариата. «Какое изумительное зрелище являет собой Путиловский завод, когда из его стен густым потоком выходит сорок тысяч рабочих...» Этой одной фразой в «Десяти днях» отмечено у Рида посещение Путиловского завода. В блокноте имеется краткая запись: «Завтра в 6 часов вечера. Коллонтай. Патронный завод. Тихвинская. Трамвай № 9». Это, как видно, договоренность о поездке совместно с А. М. Коллонтай на шедший за большевиками Петроградский патронный завод (Рид познакомился с Коллонтай в ложе прессы Александринского театра в дни Демократического совещания).

В «Десяти днях» (во 2-й главе) Рид бегло описывает массовый митинг на Обуховском орудийном заводе и приводит вкратце выступления на митинге Луначарского солдата, прибывшего с румынского фронта, и члена заводского комитета Петровского. В блокноте Рида имеются более подробные записи, касающиеся этого

митинга. Указан день митинга: 8 (21) октября. Сообщается, что митинг продолжался пять часов, и все пять часов многотысячная толпа рабочих стоя внимательно слушала ораторов.

«Огромный голый недостроенный корпус,— записывает Рид,— сумрак и тени; в вышине горстки людей, забравшихся на столбы и стропила; море открытых, доброжелательных сосредоточенных лиц; предзакатное солнце бросает красные лучи. Сглушительные аплодисменты. Ропот приближающейся бури». Дальше он, как видно, цитирует выступающих ораторов: «Провокационная болтовня в «Новой жизни» о «большевистском Левиафане». Ленин в «Рабочем пути» призывает перейти от слов к делу».

Из блокнота мы узнаем, что сам Рид и бывший вместе с ним Альберт Рис Вильямс тоже выступили с речами на митинге. О выступавшем члене завкома Петровском сообщается, что он был в эмиграции в США, под фамилией Нельсон принимал участие в американском рабочем движении и сейчас пользуется у обуховцев авторитетом (Петровский упоминается в «Десяти днях» и значится у Рида в списке «русских из Америки»). Рид записывает рассказ Петровского о ходе рабочего контроля на Обуховском заводе:

«Как член завкома, обследовал торпедный цех, который администрация хотела закрыть из-за отсутствия труб определенного диаметра. Их должен был поставить другой завод, но не выполнил заказа. Пошел к управляющему, сказал, что берется достать трубы. Управляющий сухо: «Доставай!» Нельсон пошел в завком того завода [где производились трубы], сказал: «Товарищи, нам нужны трубы, иначе тысяча людей потеряет работу». Завкомовцы стали проверять книги заказов, подумали, как быть, чтобы люди не потеряли работу. Нельсон вернулся к себе на завод. Управляющий (насмешливо): «Ну что, достал трубы?» Нельсон: «Уже везут!»

Рид завязывает на митинге знакомства, записывает беседы. «Человек, с которым я разговорился по-французски на Обуховском заводе, сказал, что они не намерены больше ждать, что скоро начнут действовать. И не только Красная Гвардия, а весь народ, вся армия. Армия категорически требует немедленных действий: надо заставить державы заключить мир».

В конце блокнотной записи о митинге на Обуховском заводе Рид рассказывает о возвращении с митинга в машине по Шлиссельбургскому проспекту и приводит речь едущего вместе с ним солдата-фронтовика, который кричит, бешено взмахивая руками: «Почему американские рабочие допустили, чтобы Америка вступила в войну и затянула ее? Почему они не поднимутся и не помогут нам покончить с войной? Да разве это не ужас, что русские революционеры гибнут, наша революция захлебывается кровью, а братья наши, те, для которых мы боремся, и пальцем не хотят пошевельнуть!»

Рид был на Ижорском заводе. В блокноте краткая запись: «Колпино. Николаевский вокзал. Ижорский завод. Дыбец».

Степан Семенович Дыбец (1887—1942), слесарь-инструментальщик, участник рабочего движения на юге России, провел десять лет в эмиграции в США. По возвращении в Петроград в мае 1917 года он стал председателем завкома на крупнейшем металлургическом Ижорском заводе. Дыбец значится у Рида в его списке «русских из Америки». По свидетельству Р. А. Дыбец (вдовы С. С. Дыбеца), Рид приезжал осенью 1917 года в Колпино, интересуясь успехами рабочего контроля. Дыбецы также встречались с Ридом на квартире у Шатовых в Петрограде*.

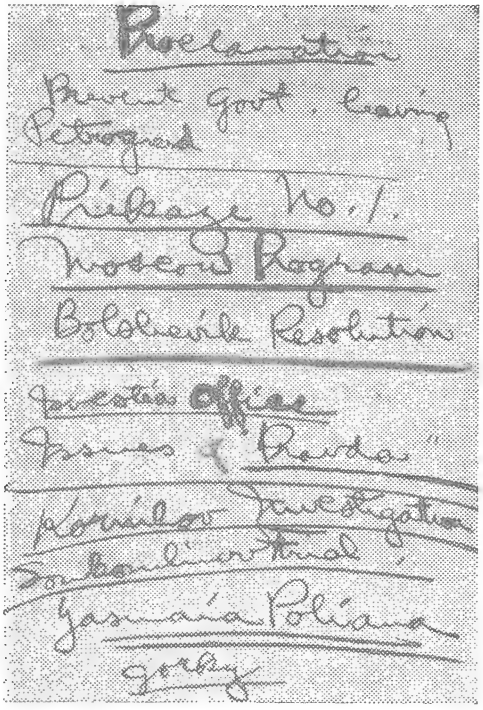
Безусловно важными были поездки Рида на Сестрорецкий оружейный завод. В «Десяти днях» о Сестрорецком заводе не упоминается вовсе, но, выступая в феврале 1919 года на Сенатской комиссии Овермена, Рид заявил, что бывал там неоднократно. Свой разговор на Сенатской комиссии о Сестрорецком заводе Рид начинает с упоминания Воскова, видного руководителя сестрорецких рабочих в 1917 году.

«...Восков был организатором союза плотников в Америке,— говорит Рид.— Восков проделал огромную работу по созданию государственного оружейного завода недалеко от Петрограда... Он — прекрасный организатор».

Сергей Петрович Восков (1889—1920) — рабочий-столяр, спасаясь от каторги, эмигрировал в США, где играл видную роль в Русской федерации Американской социалистической партии. Вернувшись в марте 1917 года в Россию, Восков, по указанию Петроградского комитета партии, поступил столяром на Сестрорецкий оружейный завод. Он быстро завоевал уважение и любовь сестрорецких рабочих и уже в мае стал председателем могущественного сестрорецкого завкома. Решительнее, чем где-либо, здесь, на казенном военном заводе, возглавлявшемся генералом царской службы, большевистский завком проводил явочным порядком директивы Шестого съезда о рабочем контроле.

Характеризуя в своих показаниях в комиссии Овермена первые результаты рабочего контроля в России, Рид говорит: «Мне известно, что есть пред-

* Вместе с ижорскими красногвардейцами С. С. Дыбец принял участие в октябрьских боях в Петрограде. Гражданскую войну провел на Южном фронте. В дальнейшем — один из организаторов советской автотракторной промышленности. За успешное строительство Горьковского автомобильного завода награжден орденом Ленина. Незаконно репрессирован в годы культа личности Сталина. Реабилитирован посмертно.



Листок из блокнота. Записи «для памяти». Автограф Рида

приятия, которые управляются рабочими. Одно из них находится в Сестрорецке. Это государственное предприятие, производящее вооружение. Если я назову цифры, вы, пожалуй, возьмете их под сомнение. Но данные можно проверить... Это предприятие принадлежало государству и при старом режиме. В то время там полно было взяточников и производительность его была низка. Но когда оно перешло в руки рабочих, производительные расходы уменьшились на пятьдесят процентов, рабочий день сократился с одиннадцати с половиной до восьми часов, а выпуск продукции увеличился на сорок пять процентов. Но это далеко не все. Рабочие взяли в свои руки также городское самоуправление, проложили канализационную систему, которой до того времени не было, выстроили трехэтажную школу и больницу. Беру на себя смелость утверждать, что это — образцовый завод и образцовый город...»

Но не только экономические достижения завкома наблюдал Рид на Сестрорецком заводе. Сестрорецкие большевики превратили свой завод в арсенал готовящегося восстания. Через голову администрации завком снабжал оружием Петроград, Кронштадт и отдаленные рабочие центры. Как видно, Восков освещал в беседах с Ридом и эту сторону деятельности Сестрорецкого завкома. В блокноте Рида многочисленные записи о том, как Сестрорецкий завод создавал Красную Гвардию и вооружал петроградских рабочих в дни корниловского мятежа. Упоминаются также две тысячи винтовок, отправленных из Сестрорецка в распоряжение Петроградского Совета. Там же у Рида говорится о вооруженных рабочих дружинах в Шлиссельбурге, в Колпине, в Кронштадте, на Путиловском заводе.

В октябрьские дни сестрорецкая Красная Гвардия приняла активное участие в охране Смольного и в боевых действиях против юнкеров и войск Керенского. В «Десяти днях» в конце 3-й главы Рид упоминает С. С. Зорина, еще одного «русского из Америки», тоже работавшего на Сестрорецком заводе.

«Около 4 часов утра я встретил в вестибюле Зорина. За плечами у него была винтовка.

— Мы выступили! — спокойно, но удовлетворенно сказал он мне.— Мы уже арестовали товарища министра юстиции и министра по делам вероисповеданий. Они уже в подвале. Один полк отправился брать телефонную станцию, другой идет на телеграф, третий — на Государственный банк. Красная Гвардия вышла на улицу...»

Рид придавал глубокое, принципиальное значение творческой деятельности сестрорецких рабочих в области производственного и государственного строительства. Привлекала его, как видно, и яркая фигура Воскова, рабочего-самородка, активного большевика, вожака рабочих. Восков стоит в ридовском списке «русских из Америки» на втором месте. Познакомился он с ним, вероятно, на сентябрьской конференции фабзавкомов, где Восков представлял Сестрорецкий завод. Когда Рид вернулся в Советскую Россию в 1919 году, ему уже не пришлось встретиться с Восковым*.

7

Настоящие очерки, разумеется, нисколько не исчерпывают деятельности Джона Рида в Петрограде в предоктябрьские дни. Как уже было сказано, автор ставит своей задачей осветить те стороны деятельности Рида, которые получили малое отражение на страницах его знаменитой книги.

* С конца 1918 года С. П. Восков сражался на фронтах гражданской войны. Член Реввоенсовета сформированной на Петроградском фронте 7-й армии. Делегат Восьмого съезда партии. В марте 1920 года, на посту комиссара дивизии, скончался от сыпного тифа в Таганроге. Похоронен на Марсовом поле. Его имя присвоено Сестрорецкому оружейному (ныне инструментальному) заводу.

Из «Десяти дней» известно, что Рид в сентябре—октябре пристально и систематически следит за работой политических органов правительства Керенского, посещает сперва Демократическое совещание, а затем Временный совет Российской республики (Предпарламент). С каждым днем он все больше времени проводит в Смольном, на заседаниях руководимого большевиками Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Однако и некоторые страницы «Десяти дней», относящиеся к этому периоду, могут быть дополнены по блокнотам Рида и его корреспонденциям в «Либерейторе».

Когда большевики 7 (20) октября, огласив декларацию, разоблачающую Предпарламент, как ширму реакции, покидали заседание в Мариинском дворце, Рид подошел к Володарскому и попросил разъяснить ему тактику большевиков. Свой разговор с Володарским он записал:

«— Почему вы уходите? — спросил я.

— Мы не можем сотрудничать с этой контрреволюционной бандой,— отвечал он.— Они подтасовали состав делегатов и теперь будут сговариваться с корниловцами, как подавить революцию.

— Что же вы намерены делать? — спросил я.

— Мы созовем новый Всероссийский съезд Советов. Вот где подлинная сила революции. А потом возьмем власть в свои руки. Вся власть Советам! Она принадлежит им по праву».

Там же в Мариинском дворце Рид делает гротескные зарисовки «министра-председателя»: «Керенский сидит в президиуме слева, лицо серое, глаза закрыты. Подходит адъютант, что-то шепчет на ухо. Вздрагивает, встает, выходит».

И еще: «Керенский сидит, подперев лицо руками. Ему подают бумаги. Икает. Читает, не отрывая руки ото лба. Поворачивает лицо к оратору. Глаза закрыты». И, наконец, речь Керенского: «Доводит себя до исступления. Теряет силы. Рыдает. Выбегает вон».

Во всех трех блокнотах Рида много отрывочных записей и пометок «для памяти», которые не всегда поддаются расшифровке. На примере тех, которые раскрыты на страницах «Десяти дней» или же проясняются по другим источникам, видно, что каждая такая строка Рида — это дело, подлежащее выяснению, предстоящая поездка, срочное интервью, знакомство с документами.

Чтобы представить себе огромную насыщенность политической жизни Рида в этот период, можно привести записи на двух лишь блокнотных листках. Некоторые из них подчеркнуты (иногда дважды), как особо важные. Вот первый листок:

«Поехать на заводы.
Комплект «Известий» с начала выхода.
Пропуск на Демократическое совещание.
Увидеться с Черновым.
История Совета.
Разрешение фотографировать.
Посольство: Милюков.
Бизнесмены.
В Кронштадт, на 2—3 дня».

Вот второй листок:

«Воззвание: не дать правительству покинуть Петроград.
Приказ № 1.
Московская программа.
Резолюция большевиков.
Редакция «Известий».
Расследование мятежа Корнилова.
Суд над Сухомлиновым.
Ясная Поляна.
Горький».

Тут же адреса и телефоны газетных редакций, рабочих организаций, различных политических деятелей.

Среди встреч этого времени, не отмеченных в «Десяти днях» следует выделить встречу с Феликсом Коном, который знакомит Рида с политическим положением в Польше и с проблемами польского рабочего движения. «Польский вопрос будет разрешен только усилиями международного пролетариата.— говорит Кон.— Польские социалисты будут бороться против всех попыток нового империалистического раздела Польши или создания из Польши милитаризованного буферного государства. Польские социалисты за сотрудничество с русской революцией».

На одной из последних страничек блокнота Рид пишет:

«Со времени корниловщины — два процесса:

1) Усиление революционных устремлений пролетариата.

2) Усиление реакционных надежд буржуазии».

Он подводит предварительный итог своим наблюдениям за истекшие полтора месяца. Впереди — решающие дни Октября.

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Ганс Шерфиг. Замок Фрюденхольм. Перевод с датского А. Кобецкой и Н. Крыловой. Редактор К. Федорова. Предисловие А. Погодина. Москва, «Прогресс», 1964. 480 стр.

Йенс Йенсен. Они пришли с юга. Перевод с датского С. Тархановой и Ю. Яхниной. Редактор К. Федорова. Москва, «Прогресс», 1964. 192 стр.

За двумя этими книгами любопытнейшие, принципиального значения сдвиги в общественной и культурной жизни сегодняшней Дании. Это происходит, кажется, исподволь, без каких-либо явных побудительных импульсов: тема гитлеровской оккупации, тема Сопротивления обрела неожиданно такой масштаб в датской литературе и искусстве, какого не было даже в первые послевоенные годы, когда невыплаканные слезы счастья победы и горя утрат, незаросшие могилы, неостывшие пожарища, необнародованные подвиги требовали немедленного запечатления, когда к событиям вчерашнего естественно было обращено внимание многих художников Дании.

Двадцать лет спустя трагические события войны вновь властно заявляют о себе на экранах кинотеатров, на сценических подмостках, на вернисажах и с книжных полок. Кинодокументалисты выпускают монтажные ленты «Дания в цепях» и «Север в огне», основу которых составили уникальные съемки операторов — непосредственных участников Сопротивления. Талантливейший график Палле Нильсен создает мрачную и гневную серию офортов «Солдат и ребенок» Театры ставят психологическую драму Эббы Торстейнссон «Те, кто победил», где тени прошлого неотступно следуют за персонажами и современная нравственная ситуация проверяется уроками «черного пятилетия».

Главное же — десятки романов, повестей, сборников рассказов, написанных маститыми и дебютантами, людьми самых различных общественных темпераментов и политических воззрений: «Неизвестный друг» Юлиуса Бомхольта, «По следам героя» Эрика Йенсена, «Бесконечная осень» Йоргена Рюттера, «Обнаженные деревья» и «Дневная звезда» Таге Скоу-Хансена, «Держись за меня» Ханса Лембурна, «Мрак над морем» Антона Кьедегора и многие, многие другие.

Един, в сущности, жизненный материал, едина потребность осмыслить с его помощью сугубо современные, предельно актуальные вопросы бытия, но во всех этих книгах тема войны получает самые несхожие, а подчас неожиданные идейно-образные претворения.

Национальная трагедия может стать поводом для прочувствованной апологетики социальных и нравственных устремлений мелкого буржуа. И когда на страницах романа «По следам героя» выспренняя риторика сочетается с циничной ухмылкой в таких, к примеру, разглагольствованиях: «А были ли юные подрывники и борцы за свободу действительно героями? Не были ли их отважные подвиги просто результатом недостаточного развития индивидуального элемента в их характерах, что, в свою очередь, привело к преобладанию элементов гораздо меньшей ценности? Давали ли моральные достоинства борцов за свободу основания для радужных надежд?» — то это не только оскорбление погибших и живущих участников Сопротивления. Это прежде всего сознательное намерение возвысить мелкого буржуа в его собственных глазах, доказать естественность и необходимость инертности, трусости, себялюбия, короче,— придать хорошо известному мещанскому «здравому смыслу» отсвет высшей целесообразности.

Выходят в Дании и такие книги. Но все чаще авторы, обращающиеся к военной теме, пытаются искренне, всерьез уяснить, почему «порвалась связь времен», почему верность высоким идеалам, чувство коллективизма, решимость отстоять свободу в пору Сопротивления впоследствии в некоторых слоях датского общества сменились тем, что философ и социолог Вилли Серенсен определил как «страх перед идеями, страх перед братством, страх перед свободой». К сожалению, очень часто попытки остаются попытками, вопросы остаются без ответов. Причиной тому — аморфность, а то и определенный консерватизм мировоззренческих позиций, лишь усугубляемый такими сомнительными новациями, как увлечение психологическими казусами, эротизмом, который становится поистине повальным бедствием.

А главное, очевидно, состоит в том, что прежде чем исследовать сложные взаимосвязи между прошлым и настоящим, нужно иметь четкое представление как о настоящем, так и о прошлом. И оказывается, что в отношении прошлого выяснено далеко не все и далеко не до конца. Парадоксально, но факт: множество датчан, особенно нового, послевоенного поколения, плохо ориентированы в событиях, отнюдь не успевших покрыться пылью истории.

В январе этого года газета «Ланд ог фольк» напечатала под общей рубрикой «Оккупация — что знаем мы о ней сегодня» несколько бесед с юношами и девушками восемнадцати-двадцати лет. Это голоса передовых, мыслящих людей, стоящих на пороге самостоятельной жизни.

Ляссе Кофод: «Прежде всего, мы слишком мало знаем о том времени и о событиях, которые тогда происходили... Нас это интересует потому, что здесь — ключ к пониманию многих проблем современной политики. Интерес к истории, особенно к истории общества, который обязана пробуждать в нас школа, помог бы нам понять происходящее в «большом мире» — во Вьетнаме, в Конго, Южной Африке...»

Кирстен Струнге: «Люди, с которыми я говорила об оккупации, рассказывают либо об увлекательных эпизодах, либо о том, как трудно жилось, когда все было по карточкам. Очень редко речь заходит о политической ситуации тех лет. А нам необходимо узнать обо всей политической игре с нацизмом, потому что мы постоянно должны быть начеку: мне думается, что все это преотлично может повториться — не так в точности, как в 1939 году, но... по тем же причинам».

Йонни Мейер: «Чувствуется чье-то настойчивое желание предать забвению политические события до и во время оккупации».

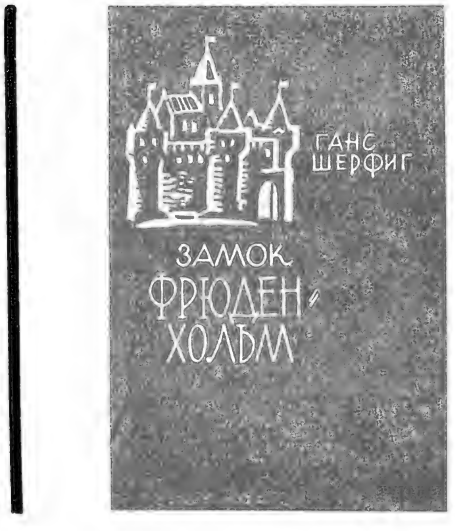
Итак, многократно подтвержденная, причем примерно с одной и той же аргументацией, настоятельная потребность знать всю правду, все хитросплетение фактов и противоборствовавших тенденций, *политическую* сущность происходившего тогда, глубокое понимание непосредственной *актуальности* уроков истории — таковы причины обостренного интереса передовой датской общественности к событиям оккупации и, следовательно, причины большого внимания к военной теме в литературе и искусстве. Вне всего этого невозможно до конца понять принципиальное, новаторское значение книг Ганса Шерфига, одного из крупнейших прозаиков датской литературы двадцатого века, и Йенса Йенсена, начинающего писателя, ранее выступившего лишь с несколькими рассказами. Оба — коммунисты, люди ясных, бескомпромиссных мировоззренческих критериев, высокой тенденциозности, убежденной гражданственности. Нельзя не отметить, что их романы приняты широким читателем и получили высокую оценку — иногда, может быть, вынужденную,— в прессе разных политических ориентаций.

«Они пришли с юга» — произведение небольшого объема, удивительно чистое и строгое в своей безыскусственности. Повествуется в нем о жизни обитателей маленького, ничем особым не примечательного городка с начала и до конца войны, так сказать, о буднях оккупационных лет: угол зрения вполне традиционный, неоднократно встречающийся в работах датских писателей и кинематографистов, посвященных этой теме. Качественно новым для датской литературы здесь является то, что не рефлектирующие интеллигенты и мелкобуржуазная среда и тем более не коллаборационисты и теоретики «гуманного невмешательства» занимают наше внимание, как то чаще всего бывало раньше, а трудовой люд, пролетарии — семья рабочего Якоба Карлсена, их соседи, товарищи по заводу. Впрочем, прослеживаются на страницах романа и судьбы слабых, потерявших себя, бездумно приспосабливающихся к «новому порядку». Но ведущий мотив здесь — здравое народное сознание, народная нравственность, твердое и не бьющее на эффект народное мужество, то есть те духовные силы

нации, которые вызвали к жизни движение Сопротивления, возглавленное Коммунистической партией Дании и другими патриотическими организациями.

Можно если не оправдать, то понять некоторую прямолинейность и дидактизм в обрисовке внутреннего мира персонажей. Это не психологический роман, и Йенсена прежде всего интересует общественная ситуация, в которой герои должны избрать свой жизненный путь. А ситуация тогда сложилась крайне своеобразная. Как известно, гитлеровцы заняли страну без объявления военных действий, под предлогом «защиты от британской угрозы». Гитлер намеревался сделать Данию образцово-показательным протекторатом, а «родственный по расе, нордический» народ — исправным поставщиком сельскохозяйственных продуктов и рабочей силы. Поэтому была сохранена видимость полной «независимости»: социал-демократическое правительство Стаунинга, собственная армия, фольketинг, газеты. При этом захватчикам не пришлось утруждать себя: датские власти сами выполняли всю «черную» работу, призывая народ к коллаборационизму во имя сохранения «демократии».

Но народ никак не хотел оценить усилий социал-демократических мудрецов. «Датчане жили в отблеске пламени мирового пожара. Иногда дым и искры попадали в глаза, напоминая, что война — дело нешуточное»,— говорится у Йенсена. Могучая волна забастовок, диверсий, вооруженных столкновений привела к тому, что в 1943 году гитлеровцы распустили датское правительство и установили режим жестокого террора. Героизм простых людей Дании измерялся не только количеством пущенных под откос поездов и убитых гитлеровцев, но и решимостью, с какой отказались они от соблазна относительно спокойного существования на коленях. Истоки этого героизма, социальные и духовные мотивы этой решимости и становятся ведущей темой романа «Они пришли с юга».



Если дебют Йенса Йенсена свидетельствует о непреходящей молодости литературы социалистического реализма в Дании, наглядно опровергая тех, кто сводит это направление лишь к творчеству нескольких писателей старшего поколения, то новое произведение Ганса Шерфига «Замок Фрюденхольм» — еще одно свидетельство зрелости социалистического реализма и безграничности его идейно-эстетических возможностей.

«Фрюденхольм» не укладывается в привычные жанровые и стилевые определения. Что это? Историческая хроника? Политический памфлет? Народно-героический эпос? И то, и другое, и третье. Как и у Йенсена, возникает здесь панорама типичного местечка Фрюденхольм. Но рассказ о нем — лишь отправной момент для всепроникающего исследования общественного бытия целой страны; судьбы фрюденхольмских обитателей оказываются самым непосредственным образом обусловленными тем, что происходит в кабинетах министров и редакциях газет, полицейских канцеляриях и замках помещиков, на съездах местных партий и на полях отдаленных мировых сражений. В многоплановой, полифонической структуре романа чувствуется своего рода саркастическое опровержение традиционного лозунга датской социал-демократии: «Все мы сидим в одной лодке». Писатель ведет нас по всем ярусам, по всем отсекам Ноева ковчега, что зовется «доброй маленькой Данией». Для того чтобы показать, как цинично попирались интересы страны пассажирами первого класса, с какой блудливой утонченностью подготавливалась на капитанском мостике духовная капитуляция, моральная разоруженность, приведшие к трагическому фарсу 9 апреля 1940 года, Шерфиг подробно, пунктуально воспроизводит исторические события, вводя в повествование действительных участников всех этих событий, пространо цитируя подлинные документы — сам роман приобретает объективность документа. Но не бесстрастность.

Нашим читателям хорошо известно своеобразие шерфиговской сатиры. Никакого преувеличения, никакого нажима. Невозмутимо-спокойный тон, коим рассказывается об уродливых, подлых характерах и событиях, тончайшая ирония, кроющаяся в невинно-простодушном повествовании, словно бы случайные повторения одних и тех же деталей, частностей или же житейски немудреных сентенций. Возникает блистательный юмористический эффект. Но Ганс Шерфиг заметил недавно относительно своего романа «Загубленная весна»: «Это не юмористический роман, как некоторые считают. Это трагическая книга. Это рассказ о том, как калечат людей». То же самое можно с полным правом отнести к «Фрюденхольму», тем более что, сколь ни нова новая книга, она имеет принципиальные истоки в предшествовавшем творчестве писателя (симптоматично: на ее страницах вновь появляются персонажи «Загубленной весны» —

официозный литератор Харальд Хорн, вдохновенно разглагольствующий о «северном жизненном пространстве и древних нордических началах» и предприимчивый делягапастор Нёррегор-Ольсен).

В «Загубленной весне» мы видели, с какой неукоснительной педантичностью калечит будущих граждан система буржуазного воспитания. В новом романе мы видим, как калечат сознание ближних и пастор, и литератор, и политические деятели, и профсоюзные бонзы, и присяжные борзописцы из «либеральных» газет. И перед нашим взором проходит вереница жителей Фрюденхольма: Мариус Панталонщик, с идиотической восторженностью уверовавший в свое расовое превосходство; хуторянин Йенс Ольсен, замкнувшийся в трусливом неведении всего, что происходит за пределами его свиного хлева; доктор Дамсё, «свободомыслие» которого сводится к ленивому поддразниванию обывателей. В сознании, искалеченном догмами мелкобуржуазного индивидуализма, усматривает Шерфиг одну из причин национальной трагедии 1940—1945 годов.

С особой обстоятельностью раскрываются в романе все перипетии трусливо-двусмысленной по форме, откровенно черносотенной по существу игры датских политиканов того периода в вопросе о коммунистической партии. Кропотливая возня полицейских, составляющих по собственной инициативе черные списки; злорадная готовность, с которой откликаются на требование оккупантов фолькетинг и Верховный суд, ставя партию вне закона и отказывая депутатам-коммунистам в парламентской неприкосновенности; наконец, подлая передача арестованных в руки эсэсовцев вопреки высокопарным уверениям — все это воссоздано в точном соответствии с действительными фактами, которые до последнего времени тщательно замалчивались. Это дает Шерфигу возможность глубоко проанализировать мучительный, но благотворный процесс прозрения того же доктора Дамсё, учителя Тофте и многих подобных им, чей прекраснодушный идеализм и наивная вера в конституционные гарантии, свободу личности и прочие «блага» буржуазной демократии были подвергнуты серьезному испытанию. Это дает Шерфигу возможность раскрыть во всем величии исторический подвиг коммунистов, сумевших в час решительного испытания поднять на неравный бой трудовую, мыслящую Данию. Отсюда — высокий оптимизм этой трагической книги. Отсюда — высокая современность произведения, рассматривающего исторические события и ведущие тенденции общественного развития в их перспективе. Многое изменилось за прошедшие двадцать лет, но по-прежнему жупел антикоммунизма, вкрадчивая пропаганда мелкобуржуазной идеологии, антинародные устремления реакционных политиков создают реальную опасность новой национальной катастрофы. И завершается «Фрюденхольм» неожиданной публицистической нотой: «Борьба не кончена. Мы победили, но если мы не победим окончательно, нацизм снова появится под другим именем и в другой форме».

В этом году Дания вместе со всем миром отмечала двадцатилетие победы над фашизмом. В этом году Дания вспоминала о том, что произошло двадцать пять лет назад. Книги Ганса Шерфига и Йенса Йенсена вышли вовремя.

ВЛ. МАТУСЕВИЧ

ВСЕ ЖИВОЕ

Нгуен Зу. Все живое. Переводы с вьетнамского Аркадия Штейнберга. Составление, подстрочный перевод и вступительная статья Н. Никулина. Примечания Н. Никулина и Б. Рифтина. Москва, «Художественная литература», 1965. 132 стр.

И так, мы узнали нового для нас поэта. Русские стихи А. Штейнберга, сделанные по подстрочному переводу Н. Никулина, донесли до нас национальное своеобразие поэзии Нгуен Зу и позволили нам проникнуть во Вьетнам конца XVIII—начала XIX века. Сжатую и точную характеристику творчества поэта находим мы во вступительной статье Н. Никулина, автора недавно вышедшей книжки «Великий вьетнамский поэт Нгуен Зу».

Нгуен Зу родился в 1765 году и умер в 1820 году. Он был ученым, вельможей, воином, управлял уездом, выполнял обязанности посла в Китае. Принадлежа к высшему сословию феодального Вьетнама, он имел возможность судить о многом, совершавшемся в его стране в эти годы крестьянских восстаний, бурного развития ремесел и торговли, роста городов. Часто и подолгу живя в деревне, он знал и любил не безымянный народ, а тех крестьян, с которыми ему приходилось общаться. И писать о людях для него было так же необходимо, как писать о себе. А самого его беспокоили все перемены, совершавшиеся в жизни:

Ночью не сплю от щемящей боли,
бодрствую поневоле.

Светит луна, лишь флейта вдали
нежно вздохнет иногда.

Но разве тонкость восприятия природы, разве переполнение чувством — удел лишь одного поэта или тех, других, кого возвысило рождение? Тоскующий по любимой, безграмотный юноша «из мастерской островерхих шляп», от чьего имени говорит Нгуен Зу, способен не на меньшее:

Луна, словно девушка, холодна,
и равнодушна ко мне,

И я одиноко смеюсь над собой
в ночной тишине.

Как близки каждому из нас слова о родине, даже если сказаны они о стране далекой! И конечно, не обидит нас никогда тот, кто свой родимый край предпочтет нашему, потому что мы знаем, что нет мест лучше тех, где появились на свет мы, но и весь мир прекрасен и дорог, так как в каждом его уголке рождается для любви к нему человек. Все это дает нам понять вьетнамский поэт, любующийся в Китае прекрасными видами Ханьданя:

Ивы увил волшебный туман
в вечерней голубизне...

С красою Ханьданя — из книг я узнал —
ничто не стоит наравне.

Но есть еще Хонг-лин — лесная сторона на родине поэта, может быть, не такая яркая по краскам, как Ханьдань. И восторг перед Ханьданем заканчивается восклицанием:

О, если бы дикий гусь принес
на родину весть обо мне!

Родина, милая родина предстает перед нами синеющей горой, и мостом над рекою, и дровосеком с вязанкой хвороста, и рыбаком в челне, и дымом над хижинами. Все вобрало в себя сердце поэта:

В старый колодец глядится луна;
поверхность воды ровна.

Пока никто не опустит бадью —
пребудет ровной она.

А если опустят — влага колодца
только на миг всколыхнется...

Сердце мое — словно старый колодец,
в который глядится луна.

Лишь одну неточность допустил здесь поэт: не на миг, а на всю жизнь всколыхнулось его сердце, однажды и навсегда тревожно забившееся от несчастий людских. Могло ли обмануть его современников то, что тяжко страдает от нищеты китаец, слепой певец из Тайпина, подошедший к богатой лодке посла, или то, что от голода «умирает с проезжей дорогой рядом» китаянка с тремя маленькими детьми. Образованные вьетнамцы, читавшие эти стихи поэта, знали великих его китайских предшественников, но и легко догадывались о том, что традиционная «китайская тема» Нгуен Зу прежде всего относится к собственной их стране. Иначе зачем бы поэту в стихотворении «Бродячий певец из Тайпина» так удивляться тому, что и в Китае люди бедствуют:

Казалось мне — в Поднебесной стране
любая семья сыта!

Казалось, что пища у всех в достатке,
у всех одежда в порядке.

Не подозревал я, что есть и здесь
подобная нищета!

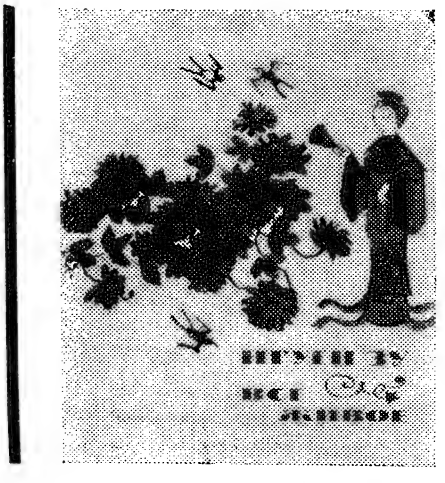
«Люди в шапках высоких, в пышных шелках любят блеск суеты». А поэту корыстная суета противна. Он обличает ее в поэме «Все живое». Вера в могущество и справедливость Будды не мешает Нгуен Зу быть недовольным тем, как устроен этот мир, и призывать людей к активному добру.

Нгуен Зу был великим поэтом, выразившим дух своего народа, и каждое его произведение драгоценно верностью жизни, верностью остановленному им для потомков далекому от нас времени. Но самое замечательное сочинение Нгуен Зу — «Стенания истерзанной души». Вся эта большая поэма дана переводчиком в отрывках, соединенных между собой прозаическим пересказом. Что лучше может представить все черты феодального общества, чем судьба женщины в нем! Следуя традиции готового сюжета, поэт писал поэму о красавице Кьеу — о ее любви и мытарствах — по канве китайского романа, о котором теперь уже вспоминают лишь в связи с этим сочинением Нгуен Зу. Возможно, однако, что поэт просто прибег к испытанному во многих литературах приему и как бы замаскировал иноземным романом свое произведение, вполне самостоятельное и повествующее о страданиях вьетнамской женщины.

Поэма «Стенания истерзанной души» была откровением для Вьетнама того времени и открытием для вьетнамской литературы. Пусть еще однолинейны, еще не индивидуализированы характеры людей, окружающих героиню поэмы, но автор доступными ему средствами сумел создать пленительную атмосферу поэзии, растрогать читателей силой любви Кьеу, восхитить их доблестью одних и возмутить подлостью других, а главное — в свой жестокий век пронести сквозь всю поэму веру в человека, непременно торжествующего над несчастьями. С этими чувствами читаем «Стенания истерзанной души» и мы, не современники и не соотечественники поэта.

«Все живое» — так называется книжка по известной нам уже поэме Нгуен Зу. Все живое — можем мы повторить, прочитав ее. Потому что настоящая правда искусства живет вечно. На нашу же долю выпало отметить лишь двести лет, прошедших со дня рождения великого вьетнамца.

Л. ЭЙДЛИН



СКАЗКИ НАРОДОВ — СКАЗКИ О ЖИЗНИ

Сказки народов Индии. Переводы с языков маратхи, панджаби, тамили, телугу, хинди. Предисловие и примечания Г. Зографа. Редакция переводов В. Бескровного. Москва—Ленинград, «Художественная литература», 1964. 515 стр.

В этой книге есть особенность: читаешь ее — и перед тобой проходит одна сказка, другая, удивительное событие сменяет обыденность, волшебство вплетается в обычный человеческий поступок; и вдруг на какой-то странице начинаешь ощущать, что хотя ты попал в далекий, причудливый мир индийских сказок, но он, этот мир, тебе близок и понятен, как земля, по которой ты ходишь и на которой ты живешь. Читая, отлично сознаешь, что это совсем *иная* страна, *иной* народ, и в то же время он тебе как родной брат; ты и сам бы так поступал, очутись перед теми же преградами, доведись тебе вступить в борьбу с теми же силами зла.

Богатство и Знать еще сильны там. Несправедливость и Зло еще убеждены в своем могуществе. Но своим трудом, своим разумом человек добивается торжества справедливости. И вот, раз возникнув, это чувство реальности мира, в который нас увела сказка, несмотря на волшебство, не покидает до тех пор, пока не прочтена вся книга, ее последняя страница.

Сказку зачастую понимают упрощенно. Напрасно принято думать, что чудесное и волшебное — ее основной признак. Если, например, две собаки разговаривают, как два человека, то это, мол,— сказка. Ну, а если два человека разговаривают, как две собаки, так это — рассказ?.. Примитивность подобного толкования бесспорна: никакая фантастика, как бы она ни нагнеталась, сама по себе еще не создает сказки. Вспомним: даже такие «именитые» представители мира чудесного, как Мефистофель или Демон, отнюдь не превратили произведения, где они действуют, в сказки!

Чудесное — всего лишь одно из средств сказки. Подобно этому самый лучший словарь рифм — еще не стихотворение, так же как ритм и рифма среди прочих — средства поэзии, ее «строительный материал». Чудесное, фантастическое в сказке только тогда убедительно, когда оно — не произвольная выдумка, а несет в себе зерно реальности. Известная мысль М. Горького о том, что сказка — мечта народа о лучшей жизни, перекликается с более широким высказыванием В. И. Ленина о сказках: «... не хватает, очевидно, рук или желания все это обобщить, все это просмотреть под социально-политическим углом зрения, ведь на этом материале можно было бы написать прекрасное исследование о чаяниях и ожиданиях народных... Вот на что нам нужно было бы обратить внимание наших историков литературы. Это — доподлинное народное творчество, такое нужное и важное для изучения народной психологии в наши дни» Мечта народа о лучшей жизни всегда неразрывно связана в сказке с трезвой оценкой условий его существования.

Сказка требует такой высокой степени обобщения, при которой конкретность реальной действительности — а ведь сказка, как всякое подлинное искусство, ею оперирует — освобождается от всех наслоений, от всего случайного, что всегда содержит в себе реальный факт. Тогда-то сказочная ситуация или сказочный герой становятся наиболее полным выражением, если можно так выразиться, неким алгебраическим воплощением общей идеи — социальной, национальной, этической,— являя то «общее народа его понимание жизни», о котором писал Белинский.

Если в сказке действует герой, то он не столько Иван или Петр, сколько народный герой, в котором сосредоточены характернейшие черты народного типа. Это предельно обобщенный и социальный тип — бедняк или богач, крестьянин или помещик, царь, раджа или пария, ремесленник или солдат. В сказке вполне достаточно сказать: «Жили-были два брата, один богатый, а другой бедный» или «один скупой, а другой добрый», чтобы экспозиция героев была ясна читателю.

Суть сказочного жанра — в соединении алгебраичности обобщения с предельным реализмом образного выражения, конкретностью народного бытия.

Наиболее выразительно народная сказка рисует быт и жизнь трудового человека — ремесленника, крестьянина, не только потому, что автор сказки народ, но и потому, что этот простой человек, как правило, бывает показан в борьбе за свое место под солнцем, за свое человеческое достоинство.

В «Сказках народов Индии» перед нами причудливый, порой волшебный мир, где героя-труженика окружают монахи, брахманы и... множество богов. Герой попадает в трагические, иногда в комические бытовые передряги, но это всегда животрепещущие вопросы бытия, борьбы за человеческое существование, за социальную справедливость. Поэтому оправдано замечание автора содержательной вступительной статьи Г. Зографа о том, что «сказки отчетливо воспроизводят картину индийского общества, существовавшего в не таком уж далеком прошлом».

Действительно, «Сказкам народов Индии» присуще подлинное национальное своеобразие. Вот, например, великолепная сказка «Пену и бобовое поле» Ни в славянском, ни в тюркском фольклоре не встретить такой сказки потому, что только в Индии в те времена миллионы людей были объявлены париями, неприкасаемыми, не-

достойными имени человека. И не потому ли героем этой сказки нарочито избран маленький, ничтожный пену, а попросту говоря — вошка?

Пену засеял поле бобами. Каким образом? Он попросил быка вспахать ему поле и обещал накормить его не соломой и травой (как его кормят люди богатые), а бобовыми стручками. Он попросил пастуха полить его поле. Он созвал всех своих родичей — «семья у него большая» (подразумевается, как у всякого бедняка), и у него, у пену, зазеленело небывалое поле, какого у царя не было. Царь возмущен этим. Он вступает в борьбу с ничтожным пену. Он приказывает своим воинам и слугам вытоптать все поле пену. Но маленький пену оказывается не таким уж беззащитным. Недаром он сказал царю: «Глупый ты царь!.. Да разве ты знаешь, что такое работа? Много ли ты в своей жизни трудился? Такого царя не в паланкине носить, а выкинуть в канаву да ногами растоптать — и все тут!»

Пену смело вступил в борьбу с могучим властелином. С помощью других героев сказки царь был уничтожен.

«Никто не жалел о глупом и жестоком царе,— говорит сказка,— все люди только радовались». И выразительная концовка ее с предельной четкостью свидетельствует о силе и могуществе малых и слабых мира сего: «Вот что может натворить маленький пену!»

Мотив борьбы с царями, раджами, феодалами, купцами-богатеями можно было бы множить на примере других сказок, содержащихся в книге. Однако для нас гораздо существеннее то, что в этом сборнике наличествует еще один — иной, но чрезвычайно важный мотив, неожиданный для европейского читателя, который по литературной традиции зачастую рисует себе простого человека Индии, народную массу как глубоко религиозную, безропотно подчиненную буддистским верованиям. А в книге мы, вопреки этому, находим антирелигиозные сказки, героя, вступающего в прямую борьбу с такой силой, как всемогущие боги. Всевышний бог индусов известен в великой триаде богов: Брахмы — творца, Вишну — хранителя и Шивы — разрушителя. Так вот великий Брахма не поладил... со скромным охотником (сказка «Охотник и ворона» даже не называет его имени), который жил в домике «среди леса... вместе со своей семьей». Желая уничтожить охотника и его семью, Брахма решает, что «теперь дождя больше не будет и настанет великий голод». Но ворона охотника, которая сидела на дереве во дворе у Брахмы, подслушала, что «только в горах будет дождь». И охотник вскопал себе поле в горах. Разгневанный и всесильный Брахма диктует писцу, что «нынче пусть будет невиданный голод», и велит послать в горы «сто тысяч жуков и червяков», чтобы они съели поле охотника. Но тот призвал на помощь птиц, и они склевали всех жуков и червяков.

Еще и еще раз всесильный Брахма обрушивает на бедного охотника свои страшные удары, а тот снова и снова отражает их и в конце концов собирает богатый урожай: «В тот год,— говорит сказка,— у охотника был полон дом хлеба, а веление Брахмы не сбылось».

Но, может быть, это просто удача героя? Тогда слушайте, сказка отвечает и на наш вопрос. «Выходит,— говорится в ней в заключение,— старанием да трудом можно и козни судьбы одолеть».

Как мы видим, народная масса, выражая свои чаяния в сказке, верит в победу даже тогда, когда речь идет о борьбе с самыми могущественными силами.

Следует отметить, что антирелигиозные мотивы отнюдь не единичны в народных сказках Индии, и это свидетельствует о том, что наряду с гипнотической силой религиозного чувства, в народе живет трезвое, порой насмешливое (как, скажем, в русской сказке или в тюркской) отношение не только к служителям культа, но и к самим божественным силам. Об этом говорит и сказка «Как девушка нашла жениха».

Это произведение представляет собой совсем особую разработку традиционного сюжета о «самом сильном», за которого героиня хочет выйти замуж. Увидя, что все кланяются царю, она «пошла следом за его слоном»; но царь поклонился отшельнику, и девушка пошла вслед за отшельником. Но он поклонился статуе Шивы, и девушка осталась в храме. А когда в храм прибежала собака и съела «жертвоприношения, приготовленные для Шивы, подняла заднюю лапу и помочилась на статую бога», то не только девушка решила, что собака не боится Шивы, но и читатель понял, что вряд ли так единодушен трепет народа перед силами неба. Кстати, собака прибежала в деревню к помещику и стала тереться о ногу его молодого сына, почему сказка благополучно закончилась: девушка вышла замуж за юношу, и они счастливо зажили.

Исполнены изящества и тонкой поэтичности история о «Тенали Рамакришне —

веселом поэте» в его споре с богиней Кали, насмешливая сказка-повесть о «Злоключениях преподобного Горемыки и его пяти учениках» .(сюжет, бытующий и в народных сказках Цейлона), которая высмеивает бездельников-монахов вместе с их настоятелем и учителем — всю эту «братию», говоря современным языком, захребетников и тунеядцев. И именно поэтому добродушный юмор сказки, поначалу напоминающий похождения наших лубочных дурачков-пошехонцев, постепенно принимает иную окраску и становится сатирой, порой весьма соленой издевкой над этими дармоедами, которые живут за счет народа.

Бесспорно интересна сказка «Что посеешь, то и пожнешь» о жадном брахмане (член высшей касты, обычно священнослужитель), который, позарившись на обещанное золото, выпустил льва из клетки. Лев резонно не верит его доброте, утверждая: «Вы, брахманы, жадны... и освободил ты меня только ради денег»,— и готовится съесть брахмана. Чтобы решить спор, они, по сказочной традиции, обращаются за советом к ряду героев сказки, и те единодушны в своем ответе: «Если ты, лев, съешь брахмана, это будет вполне справедливо». Конечно, Индия — родина философии непротивления злу, но лев поступает так, как ему советуют: он беспощадно расправляется с брахманом.

Эта сказка многозначительна не только своим антирелигиозным содержанием, но и своей социальной направленностью. Герои сказки: буйволица, лошадь и бык — заметьте, не случаен их выбор, это те, кто олицетворяет труд, приносит пользу человеку, это кормильцы и поильцы его! — решительно высказывают свое кредо: враг, творящий зло, должен быть уничтожен.

Знакомство с этим сборником образцов фольклора Индии показывает, что в центре почти каждой сказки стоит человек-труженик: бедный крестьянин, или ремесленник, или охотник. Сказке чуждо пассивное созерцательство. Она смело вторгается в жизнь, рисуя борьбу человека из народа за свою судьбу, за счастье. Народ твердо верит: труд — вот что приведет его к победе. Труд и ум. Отсюда возвеличивание труда и глубокая вера народа в свои силы, в свой разум, свою правоту. Множество сказок: «Перечное Зернышко», «Бедный ткач», «Испытание ума», «Дровосек-малютка», «Некрасивое имя» и многие другие разрабатывают эти мотивы.

Сборник «Сказки народов Индии» составлен интересно и разнообразно. И хотя в нем есть небольшие просчеты (соседство одинаковых, ничего не прибавляющих друг к другу сказок, таких, как «Трусливый тигр» и «Как шакал прогнал льва», равно как и отдельные стилистические погрешности, например, выражения, которых, на мой взгляд, следовало бы избегать в переводах индийских сказок: «батюшка», «животики надорвешь», «почем зря», «какой ни на есть», «зайчишка», «испить» и т. д.), книга эта — полезный вклад в переводную литературу сказок народов мира на русском языке.

Советский читатель уже искушен предыдущими широкоизвестными публикациями индийских сказок в отличных пересказах и переводах академика С. Ольденбурга, М. Клягиной-Кондратьевой, В. Крашенникова, Н. Ходзы и др. Однако в большинстве своем они взяты с языков хинди и урду. Сборник «Сказки народов Индии» дает переводы и с языков маратхи, панджаби, тамили, телугу и таким образом более полно представляет нам творчество многих областей этой великой страны и народов, живущих и на севере и на юге, и на западе и на востоке, и в самом сердце ее.

ВИКТОР ВАЖДАЕВ

КОРОЛЕНКО — ПЕРЕВОДЧИК СЕНКЕВИЧА

Генрик Сенкевич. Янко-музыкант. Перевод с польского В. Г. Короленко. Москва, «Детская литература», 1964.

В издательстве «Детская литература» огромным, без малого полумиллионным тиражом вышел «Янко-музыкант» Генрика Сенкевича. Польского романиста у нас знают, любят и много переводят. Его рассказ о маленьком деревенском скрипаче издавался уже более шестидесяти раз, в семи, если не ошибаюсь, переводах. Тем не менее рецензируемая книга заслуживает пристального внимания: рассказ печатается в переводе В. Г. Короленко, выполненном к тому же в необычных условиях.

В 1880 году, год спустя после того, как «Янко» был напечатан в Польше, Короленко содержался в вышневолоцкой политической тюрьме. Среди заключенных наряду с известным издателем-народником Павленковым и журналистом Анненским были поляки — революционные студенты. От них, по-видимому, Короленко и получил новинку — рассказ Сенкевича. Польский язык Короленко знал превосходно. В «Истории моего современника» читаем: «На мою разноплеменную душу заявили притязания три национальности! Польская по матери и по материнской речи, на которой мы говорили в семье, русская, так как отец считал себя русским и после восстания ввел в нашу семью русский язык, и, наконец, украинская...»

И хотя, по словам Короленко, «этот душевный кризис разрешился тем, что меня всецело привлекла русская литература», он знал и до конца дней любил польский и украинский языки и литературу.

Приведу начало рассказа:

«Родилось это на свет слабое такое да тщедушное. Кумушки, собравшиеся участливой кучкой у скамьи, на которой лежала родильница, покачивали головами над этой матерью и над этим ребенком. Шиманиха, жена кузнеца, самая разумная из них, обратилась к больной с словом утешения.

— Давайте, — говорит, — я над вами громницу зажгу. Вы уж,— говорит,— не жилица на свете, вам уж на тот свет собираться да его преподобие позвать, чтобы грехи вам разрешил».

Только очень крупный талант может так смело вводить в русский язык польские краски. В тюрьме не дозволялись ни карандаш, ни перья, ни бумага. Короленко прятал карандаш в гриве своих густых волос. Рассказ переводился, по-видимому, для печати. Короленко снабдил его подстрочными примечаниями. Перевод был записан в тюремной тетради, пролежал три четверти века в архиве писателя и был найден там литературоведом А. Храбровицким. Книга заключается рассказом Храбровицкого об этой находке. Кроме нескольких страниц прекрасной прозы читатели получили, таким образом, страницу занимательного литературоведения.

Борис СЛУЦКИЙ

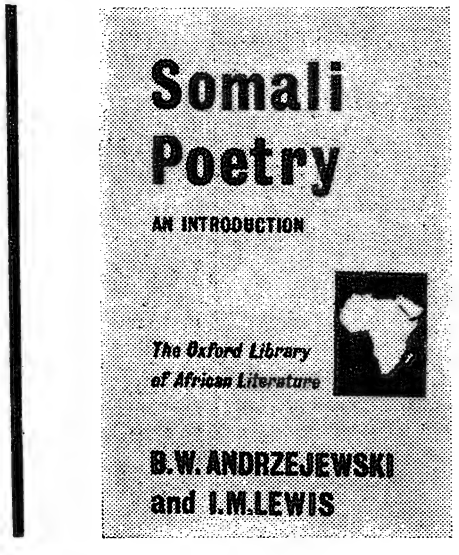
ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ПОЭЗИЯ ДАЛЕКОГО СОМАЛИ

B. W. Andrzejewski and I. M. Lewis. Somali poetry. Oxford, Clarendon Press, 1964.

Книга этнографа И. М. Льюиса и лингвиста Б. В. Анджеевского, вышедшая в серии «Оксфордская библиотека африканской литературы», заслуживает внимания, потому что она вводит читателя в удивительный мир сомалийской поэзии.

О суровой жизни сомалийских племен, кочующих со стадами верблюдов по выжженной солнцем африканской саванне, о славном историческом прошлом сомалийцев, об их социальном строе и религии (сомалийцы — мусульмане-сунниты) рассказывается во вступительной статье, занимающей примерно треть всего объема книги. В легкой и доступной форме авторы знакомят нас с особенностями сомалийского языка, принадлежащего к кушитской ветви семито-хамитской семьи языков, с сомалийским стихосложением, с биографиями наиболее выдающихся поэтов Сомали.



Поэтические тексты иллюстрируют и дополняют все то, что было сказано во введении. Они даны как на языке оригинала (по-сомалийски или по-арабски), так и в английском переводе. Хотя перевод выполнен прозой, он достаточно верно передает дух оригинала. Ввиду того, что сомалийский язык все еще не имеет общепринятой письменности, составители книги использовали для передачи сомалийских текстов систему письма на основе латиницы, предложенную ученым-сомалийцем Ширре Ахмедом Джама (существует и несколько других проектов сомалийского алфавита как на арабской или латинской основе, так и совершенно оригинальных). Что касается стихотворений, написанных по-арабски, то их оригиналы прилагаются в конце книги в виде фотокопий.

В томе представлены, хотя и неравномерно, основные жанры сомалийской поэзии. Составители книги отдали явное предпочтение классической поэзии (жанры габай, герар, джифто). Для этой поэзии характерна серьезная, обычно героическая тематика. Каждая поэма состоит из большого числа (от 30 до 150) стихов, разделяемых цезурой на два полустишия. Рифма не обязательна, зато любой сомалийский поэт должен неукоснительно соблюдать правила аллитерации (по-сомалийски «хиггад»). По этим правилам хотя бы одно слово в каждом полустишии должно начинаться с одинаковой согласной. В этом основная труд-

ность сомалийского стихосложения; так, если, например, поэт берет в качестве «аллитерируемого» звука «г», то в поэму из 150 стихов или 300 полустиший, он должен включить не менее 300 слов, начинающихся на «г».

Подлинными сомалийскими бардами были поэты-классики XIX—XX веков Раге Угас, Махаммед Абдилле Хасан, Абдиллахи Мусе, Исма'ил Мире, Салан Аррабей и Фарах Нур (из них один Исма'ил Мире здравствует по сей день).

Выдающееся место среди этих поэтов занимает шейх Махаммед Абдилле Хасан (1864—1920) — национальный герой сомалийского народа, возглавивший в начале столетия мощное восстание сомалийских племен против иностранных колонизаторов. Гневные, проникнутые язвительным сарказмом стихи-прокламации шейха Махаммеда поднимали сомалийский народ на борьбу с чужеземными поработителями (поэмы «Смерть Корфилда», «Ответ Сеййида», «Дорога к проклятию» и другие). Однако шейх Махаммед был также превосходным лириком, что видно из его габая «Хин Финин» («Грохот камней» — так звали любимого коня поэта, которого ему пришлось отдать в качестве выкупа за невесту).

В Сомали любят не только героические габаи и джифто. Большим почетом там пользуются песни. Это старинные бурамбуры, исполняемые обычно женщинами, современные хелло и хесы, обрядовые и трудовые напевы. В книге все произведения этого рода, за исключением бурамбура «Плач об умершем возлюбленном», сочиненного поэтессой Сирад Хад, анонимны. В отличие от серьезных бурамбуров, современный жанр хелло или бальво напоминает веселые задорные частушки. Это песни любовного, часто фривольного, содержания (раздел «Двенадцать современных любовных песен»). Наконец, в последнее время появился хес, или жанр политической песни. Один из хесов — «Песня о независимости»—включен в книгу. Радостный припев этой песни впервые прозвучал на улицах сомалийских городов в 1960 году в дни провозглашения Сомалийской Республики.

Наш рассказ о книге будет неполным, если не упомянуть о разделе религиозной поэзии сомалийцев, сочиняемой по традиции на арабском языке. Авторы этих стихов — большей частью представители мусульманского духовенства, которые воздают хвалу знаменитым святым и праведникам и сурово поучают молодежь.

Заслуга составителей книги заключается в том, что они показали сомалийскую поэзию в ее многообразии, познакомили не только с поэтическими памятниками прошлого, но и дали почувствовать живую душу далекой африканской страны.

Л. СТЕПАНОВ

КЭТ УОКЕР — ДОЧЬ АВСТРАЛИИ

Kath Walker. We are going. Poems. Brisbane, The Jacaranda Press, 1964.

Во многих произведениях австралийской литературы говорится об аборигенах — коренных обитателях Австралии, согнанных белыми колонизаторами со своих земель, обреченных на голод и вымирание. Автор книги, о которой пойдет речь, сам в полной мере испытал все тяготы жизни «або»: поэтесса Кэт Уокер, написавшая книгу стихов «Мы уходим»,— метиска (отец ее был белым). В тринадцать лет она начала работать домашней прислугой; через три года сделала попытку поступить в больницу сиделкой, но безуспешно: аборигенке не место в больнице для белых. В годы второй мировой войны Кэт Уокер была военной телефонисткой. Сейчас она живет в предместье Брисбена и активно участвует в работе «Лиги прогресса аборигенов».

Небольшой сборник Кэт Уокер — это первая книга стихов, опубликованная в Австралии аборигеном. Книга привлекла к себе внимание и на протяжении немногих месяцев выдержала несколько изданий. Ей предпослано предисловие известного австралийского писателя Джеймса Девени. С большим уважением говорит он о Кэт Уокер и дает высокую оценку ее стихам.

«Аборигены,— пишет Девени,— не могут забыть свое прошлое, когда «туземцев» беспощадно уничтожали, не могут забыть рабовладельцев, чудовищную преступность наших отношений к черным. Обо всем этом говорится в книге, но автора прежде всего тревожит тяжелая участь аборигенов сегодня: всеобщее равнодушие, все еще продолжающий существовать «цветной пояс», тенденции к апартеиду, проявляемые многими

австралийцами... Однако главное в ее стихах — это надежда на будущее».

В книге несколько десятков стихотворений. Одни написаны белым стихом, другие — рифмованные. Уже сами заглавия говорят об их гематике: «Цветной пояс», «Обездоленные», «Белый и черный», «Плач о мертвых», «Несчастный народ», «Нетерпимость». И рядом — «Свобода», «Все мы — одной расы», «В единстве наша победа», «Песня надежды».

С глубокой душевной болью пишет поэтесса о племени нунукалов, к которому она принадлежит и которое почти целиком вымерло; о трагической судьбе известного художника-аборигена Наматжиры, о так называемых полицейских «протекторах», которым поручено «опекать» аборигенов. Тот, кто преследует людей за цвет их кожи, вновь и вновь повторяет Кэт Уокер, тот попирает человеческое достоинство.

С любовью вспоминает поэтесса старинные обычаи аборигенов, их сказания и поверья. Ей близки «все те, за кем охотятся и кого травят», все те, на кого занесена рука гонителя. «Мое сердце с вами!»— восклицает она. Стихотворение «Мы уходим», давшее название сборнику, рассказывает о том, что чувствуют «туземцы», ставшие чужими в своей стране. «Отсюда улетел орел, отсюда ушли эму и кенгуру... теперь уходим и мы». Кэт Уокер охотно и часто пишет о прошлом своего народа, но она далека от идеализации этого прошлого. Стремясь пробудить у «або» надежду на лучшее будущее, она призывает их видеть в белых трудящихся своих друзей и соратников.

«Будем судить о народах по лучшим из людей». В стихотворении «Призыв» Кэт Уокер обращается к писателям, «которым принадлежит ухо народа»:

Говорите о наших бедах громко и ясно.
Пусть узнают о них все.

А стихотворение «Сыну» заканчивается словами:

Грядущее не для святош,
Оно в дороге топчет ложь.

Мой мальчик, ты в него войдешь
И друга белого найдешь.

(Перевод Ю. Морица)

Эти слова о единстве в борьбе придают особое звучание всему сборнику: «Черные, желтые, краснокожие, белые — все одна семья...»

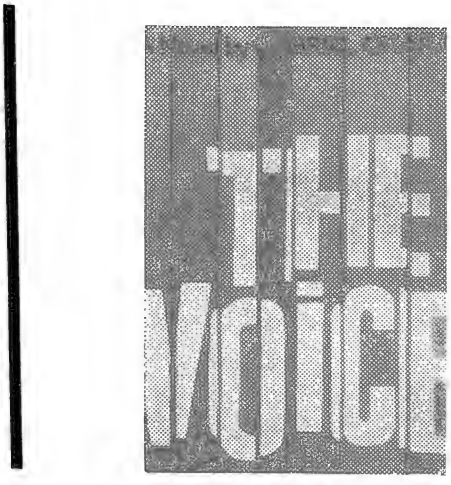
То, что у иного поэта могло бы прозвучать риторической декларацией, в стихах Уокер приобретает черты истинной поэзии. Правдивые и безыскусственные, стихи ее сочетают в себе фольклорные мотивы аборигенов с лучшими традиционными особенностями английской и австралийской поэзии. О страданиях и чаяниях своих соплеменников она говорит во весь голос.

ВЛ. РУБИН

ГОЛОС ИСКАТЕЛЯ ПРАВДЫ

Gabriel Okara. The Voice. London, Andre Deutsch Limited, 1964.

Нигерийский лирик Гэбриел Окара до сих пор редко обращался к прозе. Его лучшие стихи, как правило, пронизаны невеселыми интонациями, в них явственно проступают мотивы неудовлетворенности, разочарований, сомнений. Размышляя о жизни, поэт показывает себя тонким и чутким мыслителем. Его повесть «Голос» — синтез этих размышлений. В ней писатель рассказывает о трагической судьбе молодого искателя правды Около (имя это означает «Голос» на родном языке автора — ибо), пожелавшего понять суть вещей.



В основу повествования положена аллегорическая басня народа ибо. О фольклорной традиции говорит и стиль повести, вся ее богатая и своеобычная образность. Писатель воспроизводит, видимо, ритм родного языка, передает его структуру, его обороты, которые по-английски звучат причудливо, хотя и не требуют специальной расшифровки. Метафоры, на каждом шагу возникающие в тексте, поражают не только свежестью, но и удивительной конкретностью. Слог повествования выдает автора африканца, притом поэта.

Вдумчивый юноша, получив образование и вернувшись в родные места, встречается с непониманием, а вскоре и с ненавистью поселян, которую раздувают местный вождь и его приспешники. Только мудрой Туэре, такой же, как и Около, искательнице правды, близки его мысли.

Вождю Изонго ненавистен и страшен пытливый ум Около, ненавистна его упрямая решимость проникнуть в суть вещей, в смысл существования, найти правду на земле. Эти поиски — страшная угроза порядкам, установившимся в деревне Амату, угроза власти старейшин, которые в ней правят «после изгнания империалистов». Почти с первых страниц повести Окара

таким образом уточняет: как бы ни был аллегоричен рассказ, время, когда развиваются события,— современность.

Около преследуют, бросают в темницу и затем изгоняют из Амату — возвращение грозит ему смертью. И юноша поплыл по большой реке и попал в большой город Сологу (видимо, Лагос). Но и там он не нашел правды. Его всюду встречают непонимание, ложь, насилие.

Полно аллегорического смысла описание суеты большого города, аллегорична встреча с хозяином ресторана, в который спешит проголодавшийся Около. На белых стенах зала он видит надпись: «Даже Иисус белых не исправил мир. А потому предоставь испорченному миру портиться дальше... Ешь, пей — наступит день, и все мы умрем». И хозяин ресторана убеждает Около остаться в чертоге, где услаждается плоть: «То, что ты ищешь, ты все равно не найдешь»,— говорит он пришельцу.

Названный сумасшедшим в Амату, Около встречается с угрозой заточения в психиатрическую больницу в Сологе. «Все это (правда, справедливость.— *В. И.*) просто не существует в жизни,— говорил ему белый человек.— Никто не поблагодарит тебя за то, что ты скажешь людям, что ты лучше, чем они».

Решимость «посеять Правду» заставляет Около вопреки всем запретам вернуться в родные места и на этот раз обратиться уже не к вождю и старейшинам, а, как он говорит, «к массам».

Около верит в будущее, в то время, когда «взойдет слово о Правде», «как взойдет кокосовое семя, брошенное им в землю». Но читатель с первых страниц ощущает во всей атмосфере повествования неизбежность трагического конца.

Изонго и старейшины расправляются с вернувшимся в Амату Около. Финал повести печален. Когда забрезжил день, первые лучи солнца упали на челнок, бесцельно плывший вниз по течению. В челноке было двое — Около и Туэре. Они были крепко привязаны к сиденью: «Челнок начало бросать от одного берега к другому, как щепу, пущенную в реку. Потом потянуло в водоворот. Челнок завертелся и медленно начал погружаться, пока не исчез в пучине. А вода текла своим чередом, и поглотившая их река мягко катилась дальше по своему руслу, как будто ничего не случилось...»

В повести «Голос» настойчиво противопоставляются две точки зрения, два подхода к жизни. Одни — искатели правды. Это Около и Туэре и сочувствующие им жители Аматы, которые прячутся от людей. Их немного. Другие — и их большинство — готовы подчиниться силе, лишь бы спокойно существовать и «есть свой каждодневный ямс».

Один из приближенных Изонго злобно говорит о возможных переменах, которые предсказывает Около. Второй выражает те же мысли ясней: «Какие бы перемены ни произошли, я извлеку из них выгоду. Я люблю спать, я люблю свою жену и единственного сына. А потому не хочу думать».

«Не ищи сути вещей»,— советует юноше властный над его жизнью и смертью вождь Изонго. Даже мудрая Туэре, которая сравнивает Около с упавшим на дорогу деревом, с горечью говорит ему: «Как ты хочешь найти ее, когда все закрылись в себе? Где ты надеешься найти ее, когда все говорят ничего не значащие слова, когда вещи потеряли свои корни?»

Аллегорическая повесть Гэбриела Окары имеет скрытый обличительный смысл, содержит определенные намеки на нигерийскую современность. Порой они спрятаны в подтекст, порой высказываются довольно непосредственно.

Льстивый советник Изонго Абади, побывавший в Европе и Америке и получивший там научные степени, напоминает старейшинам, что они «живут в демократическом государстве, где каждый имеет право свободного голоса», но тут же призывает помнить о благодеяниях вождя. Сам Изонго призывает старейшин к «коллективной ответственности», которую он трактует по-своему: «Кто не поднимет с нами руки, тот против нас»,— и руки поднимаются, «как хорошо обученные солдаты». Быть может, не случайно правители Амату выведены как люди, крепко связанные с феодальными порядками, несмотря на их кажущуюся «современность»

О том, что аллегория Окары имеет современную основу, в повести говорит многое. «Ты должен примириться с новыми временами,— говорит Около старейшина Тебеовеи.— Каждый теперь заботится о деньгах, машинах, бетонных домах, и деньги льются рекой. Если деньги попадают мне в руки, я их подбираю. Если же ты их не подберешь, а отшвырнешь прочь — тебя назовут ничтожеством и самого тебя отбросят, отшвырнут». За них в Сологе «грызутся, как собаки». И хотя Изонго в начале повести говорит об «изгнании империалистов», как о деле совершившемся, белый человек, замечает герой повести, «увозит деньги сородичей Около в свою страну».

В повести Окары попеременно звучит то обличительный мотив, то мотив усталости и тщетности борьбы. Около часто «погружается в темноту», охвачен ею. Надежды его на каждом шагу разбиваются, «как тарелки о цементный пол».

Один из наиболее талантливых представителей литературной интеллигенции своей страны, Окара, видимо, с горечью ощущает то, что происходит в Нигерии.

Таким образом, противопоставляя законопослушных обывателей и «сильных мира» искателю истины, Окара отнюдь не пытается создать притчу об отвлеченной Правде, которую трудно найти на отвлеченной Земле.

В. ИВАШЕВА

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

60 лет назад, в ноябре 1905 года, в газете «Новая жизнь» — первой легальной большевистской газете, которая фактически стала тогда центральным органом РСДРП,— была опубликована знаменитая статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература». Теоретическое и практически-политическое значение этой статьи, вместившей огромное богатство ленинской мысли, поистине невозможно переоценить. Сохранившая поныне всю свою актуальность, она по-прежнему питает международную марксистскую эстетическую мысль. Принцип коммунистической партийности лег в основу марксистских работ по вопросам литературы и искусства, вышедших в различных странах. Назовем лишь некоторые из них, появившиеся в последние годы.

Проблемам марксистской эстетики посвящены исследования, статьи, доклады, вошедшие в 6 и 7 тома избранных произведений Тодора Павлова. Немецкий ученый и общественный деятель Ганс Кох опубликовал работу «Марксизм и эстетика. К вопросу об эстетической теории Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ильича Ленина». В Бухаресте вышла в свет книга М. Новикова «Реализм. Критический реализм. Социалистический реализм». Софийское издательство «Болгарский писатель» выпустило работы Г. Димитрова-Гошкина «Партия и литература», «Проблемы философии, эстетики и литературной критики» и сборник статей того же автора «Классовая идеология и литература». Издательство Академии наук Румынской Народной Республики опубликовало исследование М. Брязу «Художественное познание», в котором подвергаются марксистской критике современные буржуазные эстетические теории. В Будапеште вышел в свет коллективный труд «Основы марксистско-ленинской эстетики», под редакцией И. Нирёй. В Болгарии вышли книги «Проблемы марксистско-ленинской эстетики» П. Данчева, «Талант и художественный метод» К. Горанова, «Цель или самоцель искусство?» А. Натева. В Италии издан сборник работ философа-марксиста А. Банфи «Философия искусства».

Македонское литературное издательство «Культура» в г. Скопле (Югославия) выпустило сборник произведений Максима Горького под названием «Рассказы для детей».

Выходом 22-го тома французское издательство «Эдитер франсе реюни» завершило публикацию полного собрания сочинений Горького. Последний том включает впервые переведенный на французский язык роман «Трое».

Государственным издательским институтом Польши — ПИВ — недавно выпущены два произведения советских авторов: сборник стихов Максима Рыльского и книга «Японское море, декабрь» Юхана Смуула.

Краковский театр им. Словацкого под руководством режиссера Лидии Замков поставил «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского. Это уже третья за последние годы постановка пьесы Вишневского в Польше.

В связи с выходом в издательстве «Народна култура» (Болгария) романа Л. Леонова «Вор» критик Вл. Свинтила писал в еженедельнике «Литературен фронт»: «Вор» Леонова — бесспорно один из десятка шедевров в литературе века. В этой книге есть опьянение музыкой языка...»

Болгарские театры показали своим зрителям постановки пьес советских авторов: театр «Народна сцена» — «104 страницы про любовь» С. Радзинского, а Молодежный театр — «Обыкновенное чудо» Е. Шварца.

Выход в свет романа «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова в новом переводе Джона Ричардсона литературный обозреватель лондонского еженедельника «Обзёрвер» называет выдающимся событием в истории английского книгоиздания.

Вместе с романом «12 стульев», вышедшим несколько ранее, произведение советских сатириков является, по определению обозревателя, «одним из самых веселых, какие довелось читать в наше время».

Поэма А. Вознесенского «Оза» опубликована журналом «Уй ираш» (Венгрия). Автор перевода — известный венгерский поэт, лауреат государственной премии им. Кошута — Габор Гараи.

Венгерский журнал «Надьвилаг» опубликовал стихи Е. Виноградова, С. Кирсанова, А. Суркова. Тот же журнал поместил на своих страницах стихи Б. Пастернака, О. Мандельштама, а также рассказ В. Войновича «Расстояние с полкилометра» и рассказ Ю. Казакова «Адам и Ева».

Датское издательство «Тиден» выпустило книгу В. Пановой «Времена года».

Произведения Г. Бакланова «Девять дней», «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут» вошли в однотомник, подготовленный чехословацким издательством «Наше войско».

В издательстве Риццоли (Италия) вышел отдельной книгой перевод поэмы Е. Евтушенко «Братская ГЭС».

Стихи Сергея Есенина вышли в издательстве «Реклам» (ГДР).

Стихи Л. Мартынова, В. Солоухина, Е. Евтушенко из сборника под названием «Двое и яблоко», подготовленного издательством «Фольк унд вельт» (ГДР), опубликованы в журнале «Нейе дейче литератур» Сборник скоро выйдет в свет.

Роман Юрия Трифонова «Утоление жажды» выпущен тем же издательством. «На примере строительства канала в Туркмении Трифонов рассказывает о тех переменах, которые произошли в Советском Союзе после XX съезда КПСС»,— пишет обозреватель журнала «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

ЗРИТЕЛИ СОЗДАЮТ СВОЙ ТЕАТР

Театр имени Ивонны Арно в Гилдфорде — самый молодой в Англии. «Трудно себе представить более романтично расположенный театр,— пишет обозреватель английского журнала «Тиэтр уорлд».— Он находится на живописном берегу реки Уэй. Ночью, с противоположного берега, когда большие панорамные окна театра освещены, он кажется маленьким хрустальным дворцом».

Открытие нового театра было отмечено фестивалем пьес различных авторов. В программе фестиваля были «Месяц в деревне» Тургенева, «Муки Самсона» Мильтона, комическая опера Бикерстаф-Дибдин «Лайонел и Кларисса» и другие. В спектаклях приняли участие такие известные актеры, как Ингрид Бергман, Майкл Редгрейв, Фэй Комптон, Энн Роджерс, Мэрион Гримальди.

Следует отметить, что театр построен на общественные средства, собранные главным образом жителями Гилдфорда и его окрестностей, которые хотели иметь свой театр. Он назван в честь известной французской актрисы Ивонны Арно, которая много лет прожила в Гилдфорде.

АЛАН БУШ ОТВЕЧАЕТ РОКФЕЛЛЕРУ

Всемирно известный композитор Алан Буш получил недавно приглашение из-за океана прибыть в Нью-Йорк на торжества по случаю награждения одного из заправил НАТО Лестера Пирсона премией так называемого общества «Единая человеческая семья». Это приглашение было подписано не кем иным, как муль-

Сцена из спектакля «Месяц в деревне» в Театре имени Ивонны Арно в Гилдфорде. В главных ролях заняты Ингрид Бергман и Майкл Редгрейв (на снимке).

(Журнал «Тиэтр уорлд»)

тимиллиардером Дэвидом Рокфеллером.

Алан Буш послал Дэвиду Рокфеллеру следующий ответ:

«Его превосходительство господин Лестер Пирсон хорошо известен в международных кругах. Однако я не считаю возможным для себя участвовать в церемонии вручения ему награды в знак признания его заслуг, хотя бы и частичных, связанных с его деятельностью в НАТО.

Возникновение и существование вышеупомянутой организации — одна из главных причин непрекращающейся международной напряженности.

Упорная поддержка со стороны этой организации военных планов ФРГ, в правительстве которой, как известно, нет недостатка в генералах и политических деятелях, подвизавшихся во времена гитлеровского режима,— вот основная причина отсутствия какого бы то ни было прогресса на женевских переговорах по вопросам всеобщего разоружения.

Именно вследствие отсутствия сдвигов в вопросе о разоружении огромные средства во всем мире тратятся на гонку вооружений. В значительной мере эта гонка осуществляется в соответствии с требованиями НАТО. Подобное положение вещей приводит к растущему обнищанию всех народов.

В таких обстоятельствах Вам, я полагаю, ясно, что нельзя ожидать от сторонников мира, каковым я являюсь, какого бы то ни было участия в подношении награды лицу, не только поддерживающему НАТО. но и являющемуся одним из руководителей этой организации».

«Сборщицы малины» — так называется этот рисунок известного болгарского графика профессора Васила Захариева, который отметил недавно свое семидесятилетие. Чистота и четкость рисунка, национальная самобытность стиля, жанровое разнообразие — все это, по словам обозревателя журнала «Изкуство», свойственно работам Захариева, которого называют «Нестором современной болгарской гравюры».

БОЛГАРИЯ

ГОРЬКИЙ В БОЛГАРИИ

«Иногда случается, что иностранный писатель незаметно становится своим и начинает участвовать не только в литературной, но и в общественной жизни страны»,— пишет обозреватель журнала «Септември» в связи с выходом в издательстве Болгарской академии наук исследования Ивана Цветкова «Максим Горький и болгарская литература».

«Автор труда о Горьком,— продолжает обозреватель,— исследовал все факты проникновения в нашу страну, распространения и воздействия на наше общество произведений Горького, критически «просеял» разные взгляды на писателя и суммировал огромный материал с тем, чтобы лучше показать мощную фигуру русского буревестника, ускорившего наш общественный и литературный процесс. И что самое важное: автор сделал это с большой любовью к Горькому».

«Впервые, — заключает обозреватель,— так целостно и последовательно показаны различные этапы воздействия творчества Горького на наше общество и его значение для духовной жизни страны. Автор работал над своей актуальной и страстной книгой с тем воодушевлением, какое придало исследовательскому труду особое внутреннее горение».

СЕМИНАР, СТАВШИЙ ТРАДИЦИОННЫМ

«В наше время во всем мире растет интерес к славянским народам, к их языкам и культуре,— пишет корреспондент еженедельника «Литературен фронт».— Интерес проявляется не только к старой культуре, но и к нашей новой социальной системе. Поэтому

Третий международный семинар по болгарскому языку и литературе как нельзя кстати удовлетворяет потребность всех тех, кто работает в области славистики и болгаристики, освежить и углубить свои знания».

Семинар, организуемый софийским университетом «Климент Охридский» при содействии министерства народного просвещения, стал традиционным. В этом году в нем приняли участие около 80 славистов из двадцати стран. На семинаре в течение месяца кроме практических занятий по болгарскому языку были проведены лекции по литературоведению, организованы экскурсии, знакомящие участников с болгарским народным творчеством и музеями страны.

БРАЗИЛИЯ

ПОЧЕМУ НЕ ПРОВОДЯТСЯ «ФЕСТИВАЛИ ПИСАТЕЛЯ»

Пять лет назад в Рио-де-Жанейро был впервые проведен «Фестиваль бразильского писателя», который, по отзывам печати, превратился в ежегодный «крупнейший в Бразилии праздник книги и писателя» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 1, 1962).

В прошлом году, в связи с государственным переворотом, традиционный фестиваль и выставка-продажа книг были отменены.

Будет ли организован фестиваль в нынешнем году?

Этому вопросу бразильский литературный журнал «Лейтура» посвящает передовую статью, в которой говорится: «К сожалению, условия для проведения «Фестиваля бразильского писателя» остаются неблагоприятными. Если в прошлом году серьезнейшие причины сделали невозможным устройство праздника бразильской культуры, то и ныне общее положение в стране, хотя и несколько изменившееся, все еще неблагоприятно. Продолжается террор, ущемляются свободы, гарантированные конституцией. Писатели, профессора, журналисты, студенты до сих пор находятся в тюрьмах, подвергаются пыткам, человеческое достоинство их попирается...»

«Только в условиях подлинной свободы,— говорится далее в статье,— писатель может отметить свой праздник, как прежде — в содружестве с писателями всей страны. А пока существует военно-полицейский произвол, нам нечего думать о «Фестивале бразильского писателя».

ВЕНГРИЯ

«САМАЯ БОЛЬШАЯ ВЕНГЕРСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

Недавно издательство «Сепиродалми» выпустило книгу Йожефа Дарваша «Самая большая венгерская деревня». По отзывам критиков, это — волнующий рассказ об истории его родного города Орошхаза на протяжении последних 30 лет, рассказ о тех огромных изменениях, которые произошли в нем за годы народной власти. Интересна история написания книги. Ее первая часть, давшая название всей книге, была создана писателем еще до Освобождения — в 1936 году. Вторая — «Перемены в Орошхазе» — в наши дни.

«В первой части книги Дарваш раскрывает бесперспективную действительность всей Венгрии в период между двумя мировыми войнами,— пишет на страницах газеты «Непсабадшаг» критик Иштван Фенье,— ее ужасающую отсталость, дикую противоречивость продолжавших существовать в стране средневековых крепостнических отношений».

Во второй части книги Йожеф Дарваш прослеживает историю Орошхаза начиная с октября 1944 года до наших дней. Писателю хорошо удалось передать в ней беспокойную обстановку первых месяцев, последовавших за освобождением города, атмосферу рождения нового мира, наполненную активной деятельностью людей, которые наконец обрели свободу и веру в будущее. «Новая книга Дарваша,— отмечает Фенье,—принадлежит к числу первых художественных произведений, которые с большой выразительной силой изображают героическое время после Освобождения...»

Волнующие и радостные факты приводит писатель из истории последних восьми лет развития Орошхаза, который из города безработицы и нищеты превратился в город нефти, передовой промышленный город, где бурлящая жизнь пришла на смену прежнему застою. При этом, как подчеркивает рецензент, писатель через частное показывает общее, через развитие одного из уголков страны — развитие всей Венгрии, на примере Орошхаза — сущность пути, проделанного всем венгерским народом, основные вехи исторического двадцатилетия социалистической Венгрии.

ГДР

АНТОЛОГИЯ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИЙ МИРА

Берлинское издательство «Фольк унд вельт» выпустило антологию избранных произведений лауреатов Международной премии мира и Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

В эту антологию под названием «Примеры» вошли стихи, рассказы, отрывки из романов и эссе П. Неруды, Ю. Фучика, Н. Хикмета, Ж. Амаду, Го Мо-жо, И. Эренбурга, Н. Тихонова, А. Корнейчука, П. Элюара, Л. Арагона, Мулк Радж Ананда, Н. Вапцарова, Х. Лакснесса, Л. Кручковского, Н. Гильена, Н. Казандзакиса, К. Варналиса, А. Лундквиста, М. Садовяну, Ф. А. Фаиза, А. Зегерс, И. Бехера, Б. Брехта и А. Цвейга. В сборник включены также многочис-

На выставке-продаже работ берлинских художников и скульпторов демонстрировался и этот рисунок профессора Фрица Кремера — «Восставший», посвященный борющемуся Вьетнаму. Доходы от выставки-продажи пошли в фонд помощи вьетнамским патриотам, сражающимся против американских интервентов и их сайгонских марионеток.

(Газета «Берлинер цейтунг»)

ленные репродукции работ Пабло Пикассо и цветных гравюр Ци Бай-ши.

Рецензент западногерманского еженедельника «Ди андере цейтунг» пишет по поводу выхода антологии: «...Эту книгу следовало бы особенно приветствовать у нас, так как она знакомит с произведениями авторов, которые в нашей части расколотого мира известны очень немногим...» Подчеркивая растущее значение Международной и Ленинской премий мира, рецензент отмечает, что этих премий были удостоены не только граждане социалистических стран, а на Западе — не только коммунисты.

ХУДОЖНИК-БОРЕЦ

Мрачный каземат в Плётцензее в Берлине. На стене — нарисованная углем голова заключенного, под ней подпись — «Фриц Шульц, июнь 1942». Это одна из последних работ известного немецкого антифашиста-художника, казненного гитлеровцами в 1942 г.

Выставка памяти Шульца открылась в картинной галерее на площади Карла Маркса в Берлине. Здесь можно увидеть ранние зарисовки художника, плакаты, дружеские шаржи. Шульц был профессиональным революционером, великолепным художником, использовавшим весь свой талант для борьбы против фашизма. Он входил в Ассоциацию деятелей революционного искусства, был одним из самых активных немецких коммунистов.

Диапазон Шульца как художника был очень широк — от гравюр по дереву до больших полотен. Значительное место в творчестве Шульца заняли лаконичные карандашные зарисовки и небольшие яркие акварели, в которых ему удалось передать весь свой оптимизм и жизнерадостное восприятие окружающего.

Внимание посетителей выставки привлекают прежде всего большая красочная картина из крестьянского быта «Продажа скота» и полная сочного народного юмора зарисовка «Игроки». В другом конце зала — испанские рисунки Шульца, в них лаконично переданы впечатления художника от поездки в Испанию.

А вот последние работы Шульца — скупые зарисовки, сделанные им уже в тюрьме; в них он стремился передать чувство солидарности узников, их непреклонность в борьбе против фашизма.

ФРГ

РЕКОМЕНДУЕТ РЕМАРК

Недавно в мюнхенском издательстве «Рюттен унд Лёнинг» вышел роман западногерманского писателя Ганса Фрика «Брейницер, или Другая вина». Герой романа Макс Брейницер был врачом в концлагере и принимал участие в преступлениях, совершавшихся фашистами. И вот теперь, двадцать лет спустя, его начинают мучать угрызения совести, преследуют кошмары. Раскаиваясь в содеянном, он хочет возбудить судебный процесс против самого себя и трех своих соучастников, из которых сейчас один начальник полиции, второй — владелец публичного дома, а третий — родной брат Брейницера, ставший неонацистом. Однако суд и соучастники не желают ничего знать о «какой-то» вине и раскаянии. Отчаявшийся Брейницер кончает жизнь самоубийством.

Некоторым рецензентам в Западной Германии антифашистская книга Фрика пришлась не по нутру; его обвинили даже в «использовании методов пропаганды ГДР».

Выкрикам реваншистов противостоит отзыв Эриха Марии Ремарка, отрецензировавшего роман Фрика по просьбе гамбургского журнала «Шпигель». Маститый писатель начинает свою рецензию кратким анализом положения в литературе ФРГ после 1945 г.

«Тот, кто думал,— пишет Ремарк,— что после падения тысячелетнего рейха мгновенно, как после взрыва, наступит духовное освобождение немецкой литературы, основательно разочаровался. Ничего подобного не случилось. Не было ни бури, ни обвинений, ни мятежа. Была тишина, и лишь потом, постепенно, с неуверенностью и осторожностью началось «ретропрощупывание» прошлого. Но и тут никто не пускался в крайности, не шел на рискованные эксперименты, а делал только то, что было безопасно...

Но и с этим вскоре было покончено. После долгих лет глубочайшей депрессии мимолетная иллюзия обретенной безопасности быстро улетучилась: слишком многое было разрушено — и в городах, и в людских сердцах...

Если в 1918 г. мы поняли, что сражались, собственно, ни за что, то вторая мировая война окончилась несравнимо более страшным шоком: сознанием того, что сражались за убийц и преступников...

К немногим литературным произведениям, которые в последние годы начали открыто, без дымовых завес, атаковать прошлое, относится и книга Ганса Фрика. С первых же страниц чувствуется незаурядный талант. Впечатляет не только мужество, сила и решимость, но и мастерство. Достоинство книги и в том, что автор видит события не глазами журналиста или репортера — будь так, она стала бы еще одной из многих ей подобных,— а глазами художника. Любому писателю грозит опасность стать навязчивым, если он не обладает жаром души и одержимостью, способными расплавить шлак предрассудков и убедить читателя. Фрик сумел избежать этой опасности. Ему веришь даже там, где он повторяется (ведь это его первая книга), «выскакивает» из самого себя и порой вращается вокруг собственной оси. Честность и интенсивность авторского видения захватывают. Невольно вспоминаешь бюхнеровского Войцека, Дилана Томаса, Брендана Биэна, а также раннего Фрица фон Унру.

Эпизодичность в композиции, быстрые, резкие перемены в атмосфере и настроении, насыщенность повествования, частые переходы к балладной и даже поэтической интонации придают книге осязаемую силу и красочность и вместе с тем создают дистанцию, необходимую для того, чтобы образы не производили впечатления порождений фантазии,— они возникают совершенно неожиданно, как живые, как мы с вами, и от этого кажутся еще более грозными...

Ганс Фрик принадлежит к той категории писателей, которых в Германии всегда слишком мало. Его роман — значительное и многообещающее начало».

ПРОБЛЕМЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Ежегодно в Западной Германии, по инициативе Союза театральных обществ, проводятся дискуссии по вопросам культурной жизни. В 1962 г., например, внимание западногерманской общественности было привлечено к проблеме бедственного положения небольших театров в провинциальных городах Западной Германии.

В этом году такое обсуждение проводилось в течение четырех дней в г. Эрлангене и было посвящено вопросу развития «духа ансамбля в театре». Участники обсуждения отмечали, что «в театре воцарился непоколебимый культ звезд, там забыли о духе ансамбля...» В числе других вопросов обсуждалась необходимость развития юношеских театров.

Однако все эти вопросы, хотя сами по себе они и немаловажны, не могли заслонить основной проблемы — растущей материальной зависимости театра от «сильных мира сего» и давления цензурных ограничений.

По сообщению собственного корреспондента газеты «Вельт» Дитмара Шмидта, «официальные круги слишком строго ограничивают свободу театров в выборе репертуара, в подборе актеров и в других важных вопросах».

ГОЛЛАНДИЯ

ТОЙН ДЕ ФРИС: «ПОКАЗЫВАТЬ ВАРВАРСКУЮ СУТЬ КАПИТАЛИЗМА...»

Советскому читателю хорошо знаком переведенный на русский язык роман Тойн де Фриса «Рыжеволосая девушка» — о «голландской Зое Космодемьянской». Эта книга входила в давно задуманный автором цикл «Фуга времени».

Сейчас в амстердамском издательстве «Пегасус» вышла новая книга цикла, снова повествующая об оккупации Голландии немецкими фашистами — «Волчье время, или Жизнь полна любви». И снова в центре событий молодая женщина. Но героиня нового романа — Мобси Зейфен — полная противоположность партизанке, которая стала национальной героиней, отдав жизнь родине.

Мобси становится любовницей эсэсовцев, предает близких, в том числе своего брата. Всеми презираемая, в дни освобождения от фашизма она ищет спасения в связи с канадским сержантом. Окончательно спившаяся, преследуемая видениями погибших по ее вине людей, Мобси отдает себя в руки правосудия. Но и за тюремными стенами она не может избавиться от страданий и в конце концов принимает яд...

В большинстве своем читатели и критика с энтузиазмом встретили новый роман популярного писателя. Так, рецензент газеты «Фризе курир» отводит произведению «особое место среди книг о годах войны и оккупации».

Обозреватель газеты «Де Хэлдерландер-Пэрс» отмечает, что «автор «Волчьего времени» уже много лет дает нам доказательства своего необычного таланта в описании общества, отводя при этом значительное место социальным элементам».

Однако в адрес романа раздавались и критические голоса. Полемизируя с теми, кто упрекал писателя в «тенденциозности», Тойн де Фрис сказал на состоявшейся в Амстердаме читательской конференции: «...Прогрессивный писатель обязан показывать читателям всю варварскую суть капиталистического строя».

Первое издание романа разошлось за пять недель; недавно «Пегасус» выпустил второе его издание.

ИТАЛИЯ

ПИСАТЕЛИ ПРОТИВ АТОМНОЙ БОМБЫ

В двадцатую годовщину взрыва американской атомной бомбы над Хиросимой римская газета «Паэзе сера» опубликовала серию интервью видных представителей итальянской культуры, призывающих к мирному использованию энергии атома и решительной борьбе против угрозы ядерного уничтожения. Газета помещает высказывания писателей Альберто Моравиа и Карло Леви, Марии Беллончи и Джанни Родари, кинорежиссеров Микеланджело Антониони и Франческо Рози, художников Уго Аттарди и Анны Сальваторе, Альберто Дзивери и Тоно Дзанканнаро и других известных деятелей культуры и искусства.

«ГОДЫ И ОБМАНЫ»

Так называется новая книга Марчелло Вентури, удостоенная литературной премии «Пуччини — Сенигаллия», ежегодно в течение последних восьми лет присуждаемой за лучший сборник рассказов. В состав весьма представительного жюри входили Карло Бернари, Васко Пратолини, Дарио Пуччини, Чезаре Дзаваттини и другие писатели. Марчелло Вентури, творчество которого знакомо нашему читателю по повести «Отпуск одного немца» (опубликована в «Иностранной литературе» № 10, 1962) и другим переводам,— видный представитель современной итальянской прозы, уделяющий основное внимание антифашистской и антивоенной теме. В сборник вошли все рассказы Вентури за 20 лет — с 1945 по 1965 г. Расположены они в хронологическом порядке в трех разделах: «Война», «Мир» и «Память», отражая, как отмечает автор одной из рецензий, «жизненный опыт самого писателя, несомненно, весьма близкий тем тяжелым и противоречивым переживаниям, которые выпали на долю итальянской молодежи за последние двадцать лет».

Жюри отметило также несколько произведений других писателей: «Поворот» Марио Бонфантини, «Вечер с тобой» Серджо Чивинини, «Золотой парус» Луиджи Дави, «Конец света» Фульвио Лонгобарди и «Жена Ноя» Альберто Спаини.

Известный венецианский художник Тоно Дзанканнаро выполнил новую серию иллюстраций к «Божественной комедии» Данте. На нашем снимке: «Царица в дивной высоте». (XXXII песня «Рая»).

(Газета «Паэзе сера»)

ЛИВАН

СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ

Пятьдесят ливанских писателей — в их числе Робер Дахан, Фарджаллах Хайек, Виктор Хаким, Джамиль Джабре — основали Ассоциацию писателей Ливана. Эта организация объединяет всех ливанских писателей, как уже имеющих опу-

бликованные произведения, так и только еще вступающих в литературу.

Цель Ассоциации — защищать интересы писателей, поощрять их литературную работу премиями и стипендиями, содействовать им в публикации их произведений. Ассоциация намечает широкую программу общественной деятельности: проведение конференций и собраний, установление контактов между ливанскими и иностранными писателями и многое другое.

ПОЛЬША

ЮБИЛЕЙ ЛЕНИНСКОГО МУЗЕЯ

Здание бывшего дворца польских магнатов Радзивиллов на улице Сверчевского в Варшаве известно не только многим гражданам Польской Народной Республики, но и приезжающим в польскую столицу иностранцам: здесь находится музей В. И. Ленина. Недавно музей отметил 10-летие своей деятельности. Все эти годы работники музея вели непрерывные творческие поиски. Вносились изменения в сценарий экспозиции, на первый план выдвигались связи Ленина с Польшей. Предмет постоянных забот работников музея — усовершенствование методов подачи материала. Обозреватель газеты «Трибуна люду» Зофья Квецинская пишет в связи с этим, что, пожалуй, нигде в мире поиски новых форм экспозиции не являются такими интенсивными, как в польских музеях; это особенно справедливо для варшавского музея В. И. Ленина.

Немаловажную роль для обновления постоянной экспозиции музея играют временные выставки, названия которых говорят об их тематике: «Плакаты, посвященные Ленину», «Ранние нелегальные издания сочинений Ленина», «Дети о Ленине», «Политическая сатира в революции 1905—1907 гг.».

Проводит музей и различные конкурсы, связанные с жизнью и деятельностью В. И. Ленина. Работы, присланные на конкурс, дают возможность пополнить экспозицию музея, организовать выставки. Так, один из последних конкурсов — «Скульптура, живопись, графика» — дал необыкновенно интересные материалы, которые были оформлены в выставку «Ленин и Польша».

В МИРЕ «ИНТЕЛЛЕКТРОНИКОВ»

Любителям научно-фантастической литературы будет интересно узнать о выходе в свет новых произведений Станислава Лема — сборника рассказов под названием «Охота». Здесь читатели встречаются со своим старым знакомым — космонавтом Пирксом, а также с персонажами юмористического рассказа «Альтруизина» — Кляпостолом и Кляпанциушем, которые чем-то близки герою «Звездных дневников» Иону Тихому.

Приключения бесстрашного Пиркса, как всегда, по словам рецензентов, описаны Лемом с большим мастерством и с поистине «космической» изобретательностью. В конце своей межзвездной жизни Пиркс рассказывает о чем-то таком, что он хранил про себя долгие годы скитаний по вселенной. Слишком долго люди надеялись на встречу с живыми существами из других миров — и перестали в это верить. А Пиркс однажды, во время полета вблизи Меркурия, попал в зону метеоритов, прилетевших из другой солнечной системы. Здесь-то он и встретил межзвездный корабль «тех» — уже не подававший признаков жизни и, вероятно, миллиарды лет носившийся мертвым грузом по неизведанным космическим путям... Это был первый такой случай, который возможен раз в сотни миллионов лет. И Пиркс решил никому ничего не говорить — все равно ему бы не поверили.

Рассказы Лема «населены» самыми разнообразными и хитроумно придуманными роботами — «интеллектрониками», «кибербериками» и т. д. Они порой ведут себя очень самостоятельно, как было, например, с героем рассказа «Несчастный случай» роботом Акелем, который сорвался в пропасть во время непредусмотренной программой прогулки по горам на одной из необжитых планет.

Лем в своих рассказах пишет об очень далеком будущем человечества, отмечает рецензент газеты «Жице Варшавы». В связи с этим вызывает некоторое недоумение то, что в эру межзвездных полетов существует Совет Безопасности ООН, а Луна разделена на секторы, находящиеся в ведении отдельных стран. Тем не менее, по единодушному мнению критиков, читатели получили новую интересную книгу Лема.

НАХОДКИ ПОЛЬСКИХ АРХЕОЛОГОВ

В варшавском Национальном музее в настоящее время экспонируются девять древних фресок, относящихся к раннехристианскому периоду. Они были найдены польскими археологами пять лет назад в песках Нубийской пустыни, недалеко от деревушки Фарас, ныне затопленной водами Асуанской плотины. На стенах древнего христианского храма (эти места лишь впоследствии были завоеваны мусульманами) было обнаружено множество изумительных фресок, изображающих главным образом сцены из книг Старого и Нового Завета.

Научная и художественная ценность найденных сокровищ чрезвычайно высока. Польским археологам удалось сохранить около 120 произведений этого древнего искусства. Примерно половину из них польские археологи получили возможность увезти на родину. Среди них — прекрасно сохранившаяся фреска «Святая Анна». По пути в Польшу древние фрески выставлялись в различных европейских странах, а по прибытии в Варшаву были на-

чаты серьезные работы по их консервации. Фрески, выставленные в Национальном музее,— первые из числа тех, которые Польша получила в свою собственность.

РУМЫНИЯ

СТИХИ ТУДОРА АРГЕЗИ

Известный румынский поэт Тудор Аргези, которому исполнилось 85 лет, недавно выпустил новый сборник стихов под названием «Слоги». По словам рецензента газеты «Скынтейя» Валериу Рыпяну, поэт «шлифует драгоценные камни народной лирики не только для того, чтобы придать им новый блеск, но и для того, чтобы раскрыть их особую значимость». В своих стихотворениях поэт воспевает труд как высший принцип человеческого существования. Герои поэтических строк Аргези — простые люди с их мыслями и чувствами. Таково стихотворение «Мать страны», открывающее сборник, а также «Доброе утро, весна» и «Каденция».

«Тудор Аргези — поэт большого, огромного мира труда и энергии, так же как и поэт маленького мира ребенка, с его котенком, засыпающим в теплой, домашней туфле»,— пишет в заключение рецензент.

ПОКАЗЫВАЮТ СТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ

Недавно в стране прошла декада драматических театров Бухареста. Столичные театры побывали во многих провинциальных городах, демонстрируя свои новые работы. Кроме пьес современных авторов большое место в репертуаре театров занимала классика, как румынская, так и мировая. Особый успех, по сообщениям печати, имел спектакль Бухарестского областного драматического театра «Отелло».

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

1425 ЛЕТ СПУСТЯ...

Название Сук Указ часто встречается в арабских хрониках. Это местность, расположенная между деревней Накле и городом Аль-Таиф в Саудовской Аравии; там в начале нашей эры поэты проводили свои состязания. Они продолжались целый месяц, и в них принимало участие множество людей, совершавших паломничество в эти места. Сходные состязания в чтении стихов и красноречии проводились не только в Сук Указе, но и во многих других местах. Эти своеобразные конкурсы способствовали развитию и распространению устного творчества арабов.

Теперь, спустя 1425 лет, решено восстановить Сук Указ как место поэтических конкурсов. Король Саудовской Аравии Фейсал заявил об этом на пресс-конференции.

Арабские поэты приветствуют возможность ежегодно собираться на поэтические фестивали в том месте, которое явилось колыбелью арабской поэзии.

Сцена из спектакля «Отелло» в Бухарестском областном драматическом театре.

(Журнал «Флакэра»)

США

МАЛЬКОЛЬМ БОЙД — ПЕВЕЦ СВОБОДЫ

Борьба миллионов американских негров за свободу и гражданские права приобретает все более широкий размах и находит новые формы. Недавно газета «Уоркер» опубликовала интервью с Малькольмом Бойдом, бывшим священнослужителем епископальной церкви, писателем, актером и драматургом, который вместе с группой певцов свободы совершает турне по южным штатам. В программу выступлений группы входит исполнение песен свободы, чтение отрывков из произведений известных негритянских писателей, а также исполнение пьес, написанных Малькольмом Бойдом.

Первое выступление группы состоялось в Джексоне, штат Миссисипи. Малькольм Бойд прочел отрывки из поэмы Ричарда Райта «Черные руки» и рассказ того же автора «Человек, который отправился в Чикаго». Читались также главы из романа Ральфа Эллисона «Невидимый человек» и сочиненные Бойдом «Молитвы о расовой свободе».

Большим успехом у зрителей и слушателей — негров, по словам корреспондента

газеты «Уоркер», пользуются песни «О, свобода» и «Смерть на пути к Алабаме», а также две пьесы, написанные Бойдом,— «Бой» и «Цветной этюд», посвященные борьбе против расовой дискриминации. Они исполняются двумя актерами — белым и негром. Интересно, что роль негра исполняет белый артист с черной маской на лице, роль белого — негр с белой маской.

Малькольм Бойд заявил корреспонденту газеты «Уоркер», что искусство — такое же сильное средство воздействия на людей, как и политические призывы к свободе. И потому певцы свободы считают своим долгом средствами искусства участвовать в битве за гражданские права негров.

КОРАБЛЬ ИДЕТ В БРЕМЕРХАФЕН

На экраны Соединенных Штатов Америки вышел новый фильм известного кинорежиссера Стэнли Крамера «Корабль дураков», сценарий которого создан на основе одноименного романа Кэтрин Энн Паркер. Реакционная пресса сразу по появлении картины выступила с нападками на нее. «Слишком много социальных проблем»,— недовольно брюзжал «Тайм». «Снова на экран вытаскиваются набившие оскомину вопросы»,— вторила ему «Дейли ньюс». О чем же идет речь в фильме?

На корабле, отправляющемся из Веракруса в немецкий порт Бремерхафен, встречаются люди различных профессий, социального положения, взглядов. Тут и чета влюбленных из Нью-Йорка, и старый алкоголик, и женщина-картежница, и еврей-коммивояжер; всех их объединяет одно: неспособность понять угрозу, нависшую над миром в результате победы фашизма в Германии (действие фильма происходит в 30-е годы). Коммивояжер, например, органически не способен представить себе, как народ, давший миру Гете и Баха, может внушать какие-то опасения. Другие, интуитивно чувствуя, что мир стоит на пороге катастрофы, или убеждают себя в том, что это их не касается, или стараются забыться в азартных играх, оглушить себя алкоголем.

В результате этого на корабле не находится ни единого человека, способного дать отпор фашистской идеологии, проповедником которой выступает в фильме нацист-издатель.

По словам критики, новый фильм в какой-то мере продолжает тему другого известного антифашистского фильма Крамера «Нюрнбергский процесс».

В «Корабле дураков» снимались известные актеры Элизабет Эшли, Джордж Сегал, Вивьен Ли, Симона Синьоре.

Известный американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии Роберт Лоуэлл (на снимке) отказался участвовать в фестивале искусств, проводившемся Белым домом. В письме президенту Джонсону Лоуэлл выразил свое несогласие с политикой правительства США во Вьетнаме и Доминиканской Республике.

(Газета «Пиплз уорлд»)

«ФЕНИКС» ГОРИТ...

Один из немногих «некоммерческих» репертуарных театров Нью-Йорка — «Феникс»,— как сообщает печать, вынужден прекратить существование ввиду отсутствия средств.

Художественный руководитель театра Эллис Рааб, взывая к общественности, пишет на страницах «Нью-Йорк геральд трибюн»: «Труппа прекращает существование в тот момент, когда публика и критика говорят о том, что наша работа необходима». Руководители «Феникса» намеревались расширить свою деятельность. Но осуществить эти планы без субсидий в нынешних условиях — означало бы поднять цены на билеты до уровня коммерческого Бродвея, то есть закрыть доступ в театр для значительной части его зрителей. Урезать расходы? Но такой путь привел бы к снижению художественного уровня постановок, на что театр идти не хочет. «Наше правительство,— сетует Рааб,— слишком медленно осознает значение искусства для духовного развития нации».

Судьба театра «Феникс» с 74-й улицы Нью-Йорка — новая иллюстрация того, в каком бедственном положении находятся в США прогрессивные театры.

ТАНЗАНИЯ

ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОЙ КИНОСТРЯПНИ

В связи с созданием в Дар-эс-Саламе общества любителей кино, газета «Нэшналист» выступила с редакционной статьей, посвященной вопросам национальной кинематографии и кинопроката. Подвергнув критике политику прокатных компаний, которые закупают фильмы главным образом в странах Запада, «Нэшналист» призывал к широкому показу в стране фильмов многих стран мира, в том числе и социалистических — СССР, Польши, Чехословакии, ГДР.

На страницах газеты выступили читатели с резкой критикой англо-американских фильмов, которые зачастую проникнуты плохо замаскированной проповедью «превосходства белой расы». Вскоре после этих выступлений танзанийская цензура запретила демонст-

рацию двух американских фильмов, в том числе картины об «агенте 007» — Джеймсе Бонде. Демонстрации протеста против показа американских фильмов прошли на острове Занзибар.

ФИНЛЯНДИЯ

СТИХИ АРВО ТУРТИАЙНЕНА

В сборник под лаконичным заглавием «Стихи 1934—1964 гг.» выдающегося финского поэта Арво Туртиайнена, перу которого принадлежат и прозаические произведения, в частности автобиографическая книга «Человек 503/42» (1946 г.), вошли лучшие его произведения. Здесь собраны различные стихи: от лирических до социально-сатирических.

Поэт Пентти Саарикоски в рецензии на сборник стихов Туртиайнена пишет в газете «Кансан уутисет»: «Туртиайнен — политический поэт; в его поэтических портретах «маленьких людей» отражаются актуальные общественные явления современности...»

Среди многочисленных переводов, выполненных Туртиайненом, рецензент выделяет его переводы стихов Владимира Маяковского под общим заглавием «Облако в штанах» (1959).

ФРАНЦИЯ

«ИСПАНИЯ, ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

Вышел новый роман Владимира Познера «Испания, первая любовь». Действие романа происходит в январе 1939 г.

...Заключительный этап гражданской войны в Испании. Тысячи республиканцев бегут из фашистской Испании во Францию, где их ожидает «свобода» в наскоро сооруженных концлагерях. Рассказчик, по поручению комитета помощи беженцам, пытается освободить возможно больше испанцев, заключенных в одном из лагерей. Среди них он встречает французского художника Пьера Гетта, прожившего много лет в Испании, который и рассказывает ему свою историю. Художник много лет уединенно жил в деревне, политикой и социальным устройством Испании не интересовался и рисовал преимущественно пейзажи. Война заставила его присоединиться к толпам испанцев, бегущих от фашизма. Тогда-то он впервые столкнулся с неисчислимыми бедствиями, которые принес фашизм испанскому народу. На дорогах изгнания художник встретил, полюбил и потерял прекрасную андалузку Пилар. Ее образ навечно соединился для него с образом истерзанной Испании...

В интервью, опубликованном в «Юманите-диманш», на вопрос корреспондента, почему он только двадцать пять лет спустя написал эту книгу, Познер ответил:

— Трудно сказать. Некоторые книги пишутся по горячим следам событий, другие ждут двадцать лет...

— Существовали ли герои вашего романа и знали ли вы их? — поинтересовался корреспондент.

— Нет. Они не существовали, но могли бы быть живыми людьми. В этом-то и заключается метод социалистического реализма: не давать фотографической репродукции событий. Писатель слушает, наблюдает, читает — так рождаются персонажи, которые затем живут самостоятельной жизнью и сами творят свою историю.

Я действительно был на испанской границе в 1939 г. и пытался освободить нескольких деятелей культуры,—продолжал писатель,— так что атмосфера наших концентрационных лагерей мне хорошо знакома. Трудно отличить здесь правду от вымысла. Могу только сказать: в Испании произошла первая крупная международная битва с фашизмом, и потому страна эта дорога всем, кто когда бы то ни было боролся против фашизма. Испания — моя первая любовь, и на всю жизнь.

НУЖЕН ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Французский еженедельник «Ар» к началу нового театрального сезона выступил со статьей своего обозревателя, в которой делаются попытки разобраться в причинах плачевного состояния французского театра. «Царит какое-то оцепенение, истощение и вялость мысли; налицо медленная смерть парижских театров. Необходимо возрождение театра»,—констатирует обозреватель.

«В прошлом театральном сезоне не было ни одной

«Горит ли Париж?» — так называется новый фильм о героических днях восстания парижан против гитлеровцев в августе 1944 года, который снимает сейчас французский кинорежиссер Ренэ Клеман. На нашем снимке: Ренэ Клеман (справа) беседует с исполнителями главных ролей в фильме — Мари Версини и Жан-Полем Бельмондо.

(Еженедельник «Юманите-диманш»)

оригинальной постановки,— продолжает он.— До небес превозносились бьющие на эффект пьесы «Made in USA». Можно назвать лишь несколько постановок, и то почти исключительно в народных театрах (Обервиль, Нантер, Менильмонтан), в которых Реторе, Гарран, Дебош создали такие значительные спектакли, как «Макбет», «Смерть коммивояжера», «Андорра», «Враги». Парижские же театры, если учесть, что Вилар ушел в документальный театр, кроме яркой постановки Серро «Трагедия короля Кристофа», не дали ни одной из ряда вон выходящей вещи».

«А для чего, собственно говоря,— иронизирует обозреватель,—молодому режиссеру рисковать, выдумывать, экспериментировать в стране, где приветствуется благонамеренная косность, где государство поощряет фальшивую посредственность и плоское благоразумие, лишь бы они никого не задевали...»

Автор статьи отмечает низкий уровень театральной культуры и отсутствие настоящей театральной школы во Франции.

Всерьез подготовкой кадров для театра во Франции занимается только Университет Театра наций. Он проводит огромную работу, но ассигнования государства ничтожны и возможности его очень ограничены.

Однако реального выхода обозреватель не видит, единственное, что он может предложить, это создание государственного театрального института.

«ПРОМЕТЕЙ, ИЛИ ЖИЗНЬ БАЛЬЗАКА»

Это название новой книги Андре Моруа, вышедшей в издательстве Ашетт.

По мнению рецензента еженедельника «Экспресс», это «самая подробная и самая точная из биографий великого романиста». «Моруа очень деликатно отнесся к многочисленным работам, посвященным Бальзаку и его творчеству, использовав и углубив весь имеющийся в них материал,— пишет рецензент.— Моруа видит Бальзака глазами художника... Он как бы зафиксировал великого писателя в рамках его времени, его окружения и тем «оживил» этого гения для нас...»

«В книге нет ни одной главы, которая не раскрывала бы хоть один из удивительных тайников творческой мысли гения»,— заключает рецензент.

УРУГВАЙ

ЧЕТВЕРТЫЙ ФИЛИАЛ

В этом году Уругвайско-советский институт культурной связи, который является старейшим в Латинской Америке, отметил свое 20-летие. Как сообщают из Монтевидео, его филиалы до недавнего времени действовали в городах Пайсанду, Сальто и Ривере. Накануне двадцатилетия четвертый по счету филиал института был открыт в городе Сан-Хосе в присутствии представителей уругвайской общественности, культурных учреждений и сотрудников советского посольства в Уругвае.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НОВЫЕ РАССКАЗЫ ВЛАДИМИРА МИНАЧА

Вышел новый сборник рассказов известного словацкого прозаика Владимира Минача под названием «Кто идет по дороге». По мнению рецензента еженедельника «Литерарни новины», новый сборник продолжает традиции прежних рассказов Минача, вышедших в его книжках «Медвежий угол» и «Записки». В сборнике «Кто идет по дороге» представлены произведения, написанные Миначем на протяжении нескольких последних лет.

По словам рецензента, писателя больше всего привлекает именно тот момент, когда человек «соприкасается» с историей, творит ее, и это является наиболее важным для автора, кульминационным пунктом его произведений.

Для рассказов, представленных в новом сборнике, как и для произведений Минача вообще, характерно чувство высокой гражданской ответственности, пишет рецензент.

ШВЕЦИЯ

К ПРИСУЖДЕНИЮ М. А. ШОЛОХОВУ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Весь мир обошло сообщение о присуждении Шведской Королевской академией Нобелевской премии по литературе за 1965 год выдающемуся русскому советскому писателю Михаилу Александровичу Шолохову. В Варшаве и Лондоне, Нью-Йорке и Берлине, Париже и Будапеште, Каире и Софии, Риме и Белграде, Хельсинки и Праге, а также во многих других столицах мира известие об этом было опубликовано под крупными заголовками, рядом с портретами лауреата. Ежедневные газеты, еженедельники и ежемесячные журналы помещают биографические сведения о М. А. Шолохове, сведения об издании его произведений в различных странах мира, критические статьи, посвященные творчеству этого глубоко народного писателя.

«Тихий Дон» — величайший русский роман за 80 лет» («Гардиен», Лондон); «Решение шведского жюри запоздало на 20 лет. Шолохов — самый популярный прозаик нашего века» («Аванти», Рим); «Шолохов—великий писатель-эпик и великий лирик нашего времени» («Борба», Белград); «Тихий Дон» — величайшее после «Войны и мира» историческое повествование... богатейшее изображение народа после Горького, самый страстный роман о любви после «Анны Карениной» — сегодня занял свое место среди немногих классиков мировой литературы» («Свенска дагбладет», Стокгольм); «Шолохов — живой классик советской литерату-

ры» («Работническо дело», София); «Решение Шведской академии присудить Нобелевскую премию по литературе Михаилу Шолохову встречено всеобщим одобрением» («Нью-Йорк таймс», Нью-Йорк); «Нобелевскую премию, эту высокую международную премию, получил самый значительный романист нашей эпохи. Своей жизнью и своим творчеством Шолохов воздвиг себе памятник при жизни в сердцах сотен миллионов людей всех континентов, представителей всех рас и мировоззрений» («Нейес Дейчланд», Берлин); «Шведская академия присудила Нобелевскую премию писателю, о котором с полным правом можно сказать, что он — выдающийся представитель советской литературы» («Франкфуртер рундшау», Франкфурт-на-Майне).

Тепло поздравили М. А. Шолохова коллеги по перу, писатели различных стран. Известный шведский писатель Артур Лундквист сказал: «Выбор академии правилен, хотя сделан он очень поздно. Уже давно мне было совершенно ясно, что Шолохов должен получить Нобелевскую премию по литературе. Если бы это произошло десять лет назад, то было бы значительно лучше. Академия только исправила теперь свою ошибку».

Председатель Союза польских писателей Ярослав Ивашкевич заявил представителям печати: «Я очень рад, так как считаю Шолохова одним из самых выдающихся современных писателей. Я еще более рад потому, что недавно виделся с ним в Москве на торжествах по случаю его шестидесятилетия. Он встретил меня очень сердечно, сказал, что собирается в Польшу.

«Тихий Дон» я считаю одним из величайших произведений литературы современности».

Популярный финский писатель Мартти Ларни сказал: «Мое личное мнение таково — на этот раз Нобелевская премия присуждена правильно».

Венгерский писатель Лайош Мештерхази заявил корреспонденту газеты «Непсабадшаг»: «В глазах общественного мнения Шолохов уже давно получил Нобелевскую премию. В официальном решении лишь сформулирован и уточнен давно решенный вопрос. Решение о присуждении этой премии, хотя оно и написано явно по-буржуазному мыслящими людьми, является признанием того, что коммунизму присущи гуманизм, стремление к созиданию и миру».

Литературный критик Андре Вюрмсер писал во французской газете «Юманите»: «Наконец!.. Присуждение Нобелевской премии Шолохову является своего рода победой разума, мирного сосуществования, справедливости.

Однако важно не только это. Важно и другое.

Неоспоримо то, что Шолохов — один из значительных писателей современности. Он не просто показал важнейший этап в жизни русского народа — его борьбу за свободу, но и сделал это со страстной убежденностью, с позиций гуманизма, со стремлением к справедливости, он показал все величие идей революции. И в этом характерная особенность его произведений.

Нельзя рассматривать писателя с двух разных позиций: это писатель, а это — политически мыслящий человек. Если глаза Шолохова способны видеть ясно, то именно потому, что он — коммунист».

ЮГОСЛАВИЯ

ИГРЫ В ДУБРОВНИКЕ

Шестнадцатый раз на площади перед дворцом Спонза заиграли фанфары. На мачте взвился старинный алый стяг города Дубровника. Со стен крепости прогремели пушечные залпы. Пятнадцать тысяч жителей города и туристов собрались на летний фестиваль в Дубровнике.

Традиционный фестиваль этого года, как сообщает корреспондент газеты «Борба», был значительно красочнее и разнообразнее прежних. На многочисленных сценах под открытым небом и на фоне природных декораций — у стен старинных дворцов города — было показано 80 драм, опер, балетных представлений, концертов, в которых приняло участие свыше тысячи югославских и зарубежных артистов. Особым успехом у зрителей пользовалась комедия классика югославской литературы Марина Држича «Дундо Марое».

«Фестиваль в городе Дубровнике — не какое-нибудь надуманное мероприятие, а демонстрация перед всем миром достижений нации в области искусства»,— так охарактеризовал дубровницкие игры генеральный секретарь Международного театрального института Жан Дарконт.

ГОТОВИТСЯ «ИСТОРИЯ ЮГОСЛАВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

«У нас нет намерения создавать какой-то законченный, гениальный, эпохальный труд,— сказал писатель Бошко Новакович, один из редакторов пятитомника «История югославской литературы» корреспонденту газеты «Борба».— Мы хотим просто суммировать и подвести черту подо всем, что мы сейчас знаем о нашей литературе».

«Новая «История югославской литературы» будет в основном литературно-историческим обзором,— продолжал Новакович.— Мы стремимся дать научные, строго проверенные сведения, нарисовать картину развития литературы всех времен на научной основе, но в стиле эссе. Будет охвачена вся литература до 1964 г., а также наиболее значительные произведения признанных авторов, которые выйдут в 1965—1966 годах. В состав редколлегии входят в основном профессора университета, но в число наших сотрудников мы включили много молодых критиков...»

«Историю югославской литературы» готовит издательство «Матица српска» совместно со своими хорват-

Два рисунка известного югославского графика Джордже Андреевича-Куна: «Переход через реку» (вверху) и «Политчас в Народно-освободительной армии».

(Газета «Политика»)

скими и словенскими коллегами и кафедрой литературы Скоплеского университета. Все пять томов истории выйдут в 1967 г. Печататься будут одновременно два издания — кириллицей и латиницей. Позже «История» появится в переводах на словенский и македонский языки.

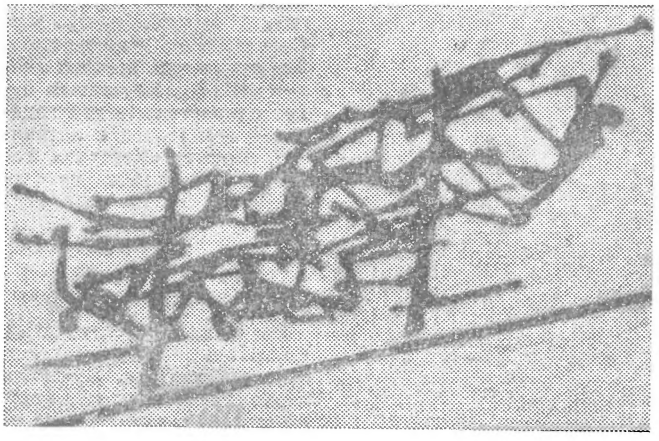
НАПРАВЛЕНИЕ — СОВРЕМЕННОСТЬ

Закончился двенадцатый фестиваль югославских фильмов в Пуле. Лучшими картинами года признаны «Прометей с острова Вишневица», награжденная и на московском кинофестивале этого года, «Три» и «Прийти и остаться». Два первых фильма получили золотые призы, третий — серебряный. Режиссеру фильма «Три» Александру Петровичу присуждена премия «Золотая арена». Награждены также многие режиссеры и киноактеры.

Для смотра югославского кино в Пуле характерно, по отзывам критики, то, что в нем участвовали несколько молодых режиссеров-дебютантов. И многие склонны считать, как пишет обозреватель журнала «Арена», что фестиваль этого года прошел под знаком «смены поколений».

Изменилась и тематика сценариев; три четверти из выпущенных картин — на современную тему с большим жанровым диапазоном: от комедии «Инспектор» и приключенческого фильма «Убийца отсутствует» до бытовой драмы «Оборотная сторона медали».

«Фильмы на современную тему у нас ставились и раньше,— пишет рецензент газеты «Политика».— Разница состоит в том, что теперь главную роль играет не формальная принадлежность к какой-то эпохе, а ощущение современности у самого автора картины, современность его чувств и взглядов. Даже прошлое в фильмах рассматривается сейчас сквозь призму современности. Война теперь уже не патетическая картина атак и подвигов, а психологическое и моральное изображение того вре-



Памятник погибшим узникам концлагеря в Дахау работы Нандора Глида.

(Газета «Културни живот»)

мени. Смерть, как мотив, скажем, в фильме «Три», хоть и дана в мрачных тонах, но в действительности возвеличивает жизнь и идеалы революции».

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДАХАУ

Международный комитет по увековечению памяти патриотов, зверски замученных в нацистском концлагере Дахау, остановил свой выбор на памятнике работы белградского ваятеля Нандора Глида — с тем, чтобы установить памятник на территории бывшего лагеря. Четыре года назад Глиду была присуждена первая премия на конкурсе по архитектурному оформлению территории лагеря, которое осуществляется сейчас под его руководством и будет закончено к маю 1967 года.

Новая работа Нандора Глида представляет собой часть проволочного ограждения, на котором повисли тела пораженных электрическим током заключенных. Скульптурная группа из бронзы высотой в семь, длиной в семнадцать и шириной в три метра будет установлена между столбами, символически представляющими 24 страны, граждане которых находились в этом лагере.

«Успех Нандора Глида на международном конкурсе,— писал корреспондент газеты «Борба»,— признание больших достижений всего югославского искусства».

ЯПОНИЯ

«СВЕРСТНИКИ КИДЗАБУРО»

Ериёси Арима создал сатирический роман о японской армии — «Сверстники Кидзабуро». Действие романа происходит в Маньчжурии в период второй мировой войны. Критики отмечают, что героя романа многое роднит со Швейком. Автор создал запоминающийся, дышащий юмором образ солдата, презрительно относящегося к военной службе, ловко дурачащего начальство и всегда выходящего победителем из, казалось бы, совершенно немыслимых положений.

Роман Арима нельзя назвать резко антимилитаристским, но сатира на армию вряд ли может вызвать симпатии к ней, указывают критики.

Роман вышел в издательстве «Бунгэй сюндзюся».

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

В связи с 80-летием литературного журнала «Тюокорон» редакция решила учредить новую премию, которой присвоено имя одного из старейших японских писателей — Дзюньитиро Танидзаки, прочно связавшего свое творчество с журналом.

Премиями будут награждаться художественные произведения, печатающиеся в «Тюокорон».

Авторы этого номера

ПЕТАР ДЖУРАНОВИЧ (род. в 1930 г.).

Публикуя поэму «Мамаев Курган» югославского поэта Джурановича, мы впервые знакомим советского читателя с его творчеством. Поэма была напечатана в журнале «Стваранье».

Стихи Джурановича собраны в сборники «Распутья» («Раскршћа», 1955), «Может быть» («Може да буде», 1960), «Мы вместе убили бога» («Заједно смо убили бога», 1964); в 1960 году вышла его поэма «Мертвые, похороните себя сами» («Мртви сахраните се сами»).

■

СТЭН БАРСТОУ —STAN BARSTOW (род. в 1928 г.).

Впервые на русском языке мы представляем английского писателя и литературного критика Стэна Барстоу. Роман «Любовь... любовь?» («A Kind of Loving»), первый роман писателя, вышел в 1961 году. Он определил место этого молодого прозаика в русле так называемого «рабочего романа», знакомого советскому читателю по произведениям Силлитоу. В этом же году вышел сборник «Головорезы и другие рассказы» («The Desperados and Other Stories»), в 1962 году появился второй роман Барстоу — «Спроси меня завтра» («Ask Me Tomorrow»).

■

В публикуемую нами подборку входят рассказы вьетнамских писателей:

НГУЕНА ДИНЬ ТХИ (род. в 1924 г.) — депутата Национального собрания, генерального секретаря Союза писателей Вьетнама. Творчество Нгуена Динь Тхи разнообразно по жанру, среди произведений последних лет большой популярностью пользуется книга рассказов «На берегу реки Ло», поэма «Песня о Черном море», пьеса «Черный олень» и роман «Прорванные берега», над продолжением которого работает сейчас писатель. Первый его роман «Вперед, в атаку» (1951) переведен на русский язык.

Рассказ, помещенный в номере, вошел в сборник «На берегу реки Ло» (1957).

МИНЬ ТХЮИ и **ВАН АНА**, которые публиковались во вьетнамской периодической печати. Рассказ **ФАН ТЫ** дается по тексту французского журнала «Эроп».

■

Стихи румынских поэтов, которые читатель найдет в этом номере, принадлежат мастерам старшего поколения, известным на родине и у нас в стране.

ТУДОР АРГЕЗИ — TUDOR ARGHEZI (род. в 1880 г.).

Читатели журнала знакомы с творчеством румынского поэта, академика, лауреата Государственной премии, стихи которого неоднократно печатались на страницах «Иностранной литературы». Литературное творчество Т. Аргези охватывает около 70 лет. В 1960 году на русском языке вышел сборник его стихов.

В этом номере мы поместили стихи, отобранные из румынских литературных еженедельников, часть этих произведений уже вошла в различные поэтические сборники Аргези.

МИХАЙ БЕНЮК — MIHAI BENIUC (род. в 1907 г.).

Румынский поэт, академик, лауреат Государственной премии. Автор многих стихотворных сборников, в последние годы вышли сборники «Цветы осени» («Culorile toamnei», 1962), «На струнах времени» («Pe coardele timpului», 1963) и другие.

Большинство стихов поэта, помещенных в этом номере, еще не вошли в сборники, они взяты из литературных еженедельников.

ДЕМОСТЕНЕ БОТЕЗ — DEMOSTENE BOTEZ (род. в 1893 г.).

Румынский писатель, автор нескольких романов и многих сборников стихов, среди них: «Потусторонние слова» («Cuvinte de dincolo», 1934), «Подсолнечник» («Floarea soarelui», 1948), «Сквозь годы» («Prin ani», 1958), «Зеркала» («Oglinzi», 1963) и др.

В этом номере помещены стихи, вошедшие в различные сборники стихов Ботеза, и стихи, написанные недавно, которые публиковались в литературных еженедельниках.

МИРОН РАДУ ПАРАСКИВЕСКУ — MIRON RADU PARASCHIVESCU (род. в 1911 г.).

Румынский поэт и журналист, начал печататься с 1927 года. Параскивеску — автор нескольких поэтических сборников, среди них: «Цыганские песни» («Cîntece ţigăneşti», 1941), «Хлеб, земля, крестьяне» («Pîine, pamînt, ţărani», 1943), «Хвала и другие стихи» («Laude şi alte poeme», 1959), «Патетическая декларация» («Declaraţie patetică», 1960) и др.

В этом номере мы знакомим читателя со стихами самого недавнего времени, большинство из которых были опубликованы в румынском журнале «Вьяца ромыняскэ».

■

ХУАН БОШ — JUAN BOSCH (род. в 1909 г.).

Доминиканский писатель Хуан Бош является также видным общественным деятелем. В 1963 году он был избран на пост президента республики, но был вскоре свергнут в результате переворота, организованного американскими империалистами. Хуан Бош выпустил несколько сборников рассказов о жизни крестьян, роман «Плутовка» («La mañosa», 1936), ему принадлежит ряд литературоведческих работ. В 8-м номере нашего журнала за этот год опубликована его статья «Возможности рассказа».

В этом номере мы публикуем новеллы, вошедшие в различные сборники рассказов писателя.

■

Мы знакомим читателя со сценарием фильма испанского кинорежиссера Берланги и сценаристов Асконы и Флайано—«Палач». В 1963 году на Международном кинофестивале в Венеции фильм получил премию Федерации международной кинопрессы. В Испании фильм вышел на экран вырезанным цензурой на треть, особенно тщательно были убраны сцены с гароттой.

ЛУИС ГАРСИА БЕРЛАНГА — LUIS GARCÍA BERLANGA (род. в 1921 г.).

Имя испанского кинорежиссера Берланги знакомо советскому зрителю по фильму «Добро пожаловать, мистер Маршалл». Берлангой сняты также две кинокомедии «Жених на виду» и «Калабуиг», фильм «Пласидо» и запрещенный испанской цензурой — «Чудеса - каждый четверг».

РАФАЭЛЬ АСКОНА — RAFAEL ASCONA (род. в 1927 г.).

Испанским сценаристом Рафаэлем Асконой совместно с итальянским режиссером Феррери сняты в Испании фильмы «Квартира» и «Коляска».

ЭННИО ФЛАЙАНО — ENNIO FLAIANO (род. в 1910 г.).

Итальянский писатель Флайано часто пишет для кино, он был соавтором сценариев таких фильмов, как «Рим — открытый город» и «Сладкая жизнь». Им написаны роман, две комедии для театра и другие произведения.

■

ЛАДИСЛАВ ШТОЛЛ — LADISLAV ŠTOLL (род. в 1902 г.).

Чехословацкий литературовед, академик, член ЦК КПЧ, Ладислав Штолл занимается главным образом проблемами теории литературного творчества и теории искусства вообще. Ему принадлежит ряд работ по вопросам социалистического реализма.

Статья, которую вы найдете в этом номере, написана Штоллом для нашего журнала.

■

ФИЛИПС ПРАЙС — PHILIPS PRICE (род. в 1885 г.).

Английский журналист и парламентский деятель Филипс Прайс, чьи воспоминания мы публикуем в этой книжке журнала в переводе с авторизованного немецкого издания, в описываемое им время был корреспондентом английской газеты «Манчестер гардиан» в России.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **В. Ф. Лактионов** Технический редактор **В. Б. Захаров**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 13634. Сдано в производство 1/IX-65 г. Подписано к печати 10/XI-65 г.

Бумага 70×108¹/₁₆=10 бум. л.; печ. л. 27,4. Зак. 2027.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5

ИНДЕКС 70394

Цена 80 коп.